СТАНЦИЯ
ПЕРЕДЕЛКИНО:
ПОВЕРХ ЗАБОРОВ
роман частной жизни
Александра Нилина

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Александр Нилин — прозаик и мемуарист, автор книг о легендах большого спорта. “Станция Переделкино: поверх заборов” — необычные воспоминания о жизни писателей и поэтов, разведённых личной судьбой и степенью известности, но объединённых “единством места и времени” — дачным поселком литераторов, где автор живёт со дня своего рождения. С интонацией одновременно иронической и сочувствующей А. Нилин рассказывает о своих соседях по “писательскому городку”, среди которых Борис Пастернак, Александр Фадеев и Ангелина Степанова, Валентина Серова и Константин Симонов, Чуковские, Катаевы, семья автора “Брестской крепости” Сергея Смирнова, Юрий Олеша…

Полагаясь на эксклюзив собственной памяти, в “романе частной жизни” автор соединяет первые впечатления ребенка с наблюдениями и размышлениями последующих лет.

- Александр Павлович Нилин
  -
  - I. Поверх заборов
    - Глава первая
    - Глава вторая
    - Глава третья
  - II. Лауреаты
    - Глава первая
    - Глава вторая
  - III. Аллея классиков
    - Глава первая
    - Глава вторая
    - Глава третья
  - IV. Дом творчества
    - Глава первая
    - Глава вторая
    - Глава третья
    - Глава четвертая
    - Глава пятая
    - Глава шестая
  - V. Предполагаем жить
  - Иллюстрации к книге

Александр Павлович Нилин
Станция Переделкино: поверх заборов

Они ушли, а я остался их соседом
по Переделкину, по времени и по себе,
вместившему память об ушедших…

Александр Нилин

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

Издательство благодарит за предоставленные фотоматериалы Государственный литературный музей

В книге использованы фотографии из личного архива А.П. Нилина, а также семейных архивов А.А. Фадеева, К.И. Чуковского, С.С. Смирнова

Судя по всему, я и зачат был здесь длинной дачной ночью осенью тридцать девятого — и мне ли не чувствовать дачный поселок Переделкино своей родиной?

Все, кого узнал я в раннем детстве (или чуть-чуть позже), давно ушли, и вот что самое забавное: очень скоро не будет и меня — ребенка, впервые увидевшего литературных людей сквозь штакетник соседских заборов.

Для красного словца, без которого про писателей не расскажешь, я сразу же отчасти и приврал: за войну все заборы между дачами сожгли, и вновь они появились позднее, когда я чуть подрос.

Мое первоначальное представление о Переделкине — территория, не разграниченная ни послевоенным штакетником, ни сплошными заборами впоследствии.

И какой сюжет мог увлечь меня больше, чем тот, что заложен был в особенностях писательского соседства — менявшегося в оттенках, но все равно продолжавшегося?

Все, кого знал я с детства, исчезли.

Они уходили один за другим. Одни жили в Переделкине (и вообще) очень долго, другие относительно долго; были и такие, что ушли, как принято говорить, безвременно, хотя кому дано знать, с какой интенсивностью расходуется время, отведенное на жизнь каждого из нас.

Они ушли, а я остался их соседом — по Переделкину, по времени и по себе, вместившему память об ушедших.

“Но кто мы и откуда…”

Доподлинно ли знаю, что строчка эта сочинена на дачной переделкинской земле?

А какая — в данном случае — разница?

Книги на тщательно проверенном справочном материале напишут другие, а ты, Саша (я то есть), полагайся на эксклюзив собственной памяти.

И все же лестно надеяться, что вопросом “кто мы” и так далее наш сосед задался именно в Переделкине.

К тому же сам Борис Леонидович предпочитал тасовать карточную колоду безусловных реалий по своему усмотрению: не согласился же он с замечанием Ахматовой, что в белые ночи питерских фонарей не зажигали, — в его трансформации ночей утро должно было тронуть “первой дрожью” фонари непременно зажженные, а то как бы он назвал их “бабочками газовыми”?

За годы, проведенные в писательском поселке, я так и не сделался арендатором и прожил в Переделкине больше семидесяти лет на птичьих (родственных) правах.

Официальным владельцем здешних угодий считается потерявший свое прежнее значение Литературный фонд.

Но принадлежит Переделкино в своей писательской части и будет все равно принадлежать, когда исчезнет физически (что не за горами, а точнее, за гибнущим лесом), истории, и не только истории литературы.

И я, ничуть не смущенный неопределенностью своего статуса, позволяю себе развести действующих в повествовании лиц в определенную (мною же определенную) мизансцену для моментальных снимков.

I. Поверх заборов

Глава первая

1

Среди игрушек моих в последний год войны выделил бы кроме большой, не заряженной, естественно, ракетами, ракетницы фотоаппарат — тоже немецкий, трофейный и тоже не заряженный, что менее естественно, пленкой. Не было пленки, ничего не поделаешь, да и не требовалось ее для осуществления моих детских замыслов.

Ни тогда, ни потом я не хотел ничему учиться — и фотографировать не учился (да и у кого я в тот год мог учиться, если бы даже вдруг захотел). Зато легко воображал себя приезжавшим иногда на дачу к моему отцу Виктором Тёминым, известным во время войны фотокорреспондентом, — я и всю дальнейшую жизнь себя постоянно кем-то воображал и до сих пор воображаю; интересно, в чьем образе умру (неужели в своем собственном наконец?).

Весной сорок пятого года маршал Жуков хотел Тёмина расстрелять за то, что фотограф самовольно улетел на его самолете в Москву. Но тут же выяснилось, что маршальским самолетом фотограф доставил в газету “Правда” снимок знамени над Рейхстагом (позже я услышал, чего стоила организация этой затеянной политуправлением фотосъемки), — и Жукову из-за исторического значения снимка пришлось свое решение о расстреле корреспондента отменить.

О намерении Жукова я не мог тогда знать, но видел, сколько на пиджаке всегда пьяного фотографа боевых наград.

Я бродил по поселку — и всех встречных (а на аллеях Переделкина народу встречалось тогда мало) фотографировал, и в частности Александра Александровича Фадеева.

Заслуги и звания Александра Александровича в ту пору не были мне известны — он, кстати, в сорок пятом году и не стал еще писательским министром (правда, членом Центрального комитета партии оставался, что вряд ли мог принять я во внимание, не осведомленный о партийной иерархии, и уже не помню сейчас, знал ли о роли коммунистической партии вообще). Но, вероятно, в тоне взрослых, произносящих имя Фадеева, что-то я улавливал — и когда при следующей встрече Александр Александрович серьезным голосом спросил меня: “А когда принесешь карточки, Саша?” — необычайно взволновался: в

мечтания, которые смело полагал я реальностью, вторглась реальная реальность, с ней я как-то себя не соотносил (и соотношу ли сейчас, не излечившись от мечтаний?).

Я прибежал домой и спешно стал рисовать — не карандашом, заметьте, а обмакнутым в чернильницу пером — и ждал с испугом, но и не оставлявшей меня надеждой, что фокус мой пройдет.

На мою удачу — удачей, однако, считаю, не тогда, конечно, а сегодня, осмысливая всю свою жизнь целиком, не то вовсе, что мой обман не раскрылся, а то, о чем сейчас скажу, — на тогдашнюю, подчеркну, мою удачу, Фадеев так никогда больше про снимки не спросил.

Удачей же — одной из очень немногих за всю, повторяю, жизнь — стало открытие для себя жанра “изображения и рассказа”: я фантазирую, что фотографирую натуру, а на самом деле пытаюсь нарисовать ее, сменив со временем перо на пишущую машинку в прошлом веке и на компьютер в наступившем.

Поэтому и не стоит удивляться, что Александр Александрович Фадеев занимает в моих воспоминаниях большую площадь.

Хотя есть на то и другие причины.

Фотографировал я Фадеева летом, но в сознание мое он вошел как человек из зимы.

Так и вижу до сих пор снег на краю дачного участка с нашими глубокими в нем следами — и Фадеева в узком черном пальто (я любил военную форму и людей в ней, сам носил шинель, перешитую из гимнастерки жившим на адмиральской даче портным по фамилии Свиньин), остановившегося на дороге, которая называется теперь улицей Горького.

Мы с отцом пилим дерево.

Генетический — по отцовской линии — крестьянин, я терпеть не мог с детства физический труд (позже догадался, что не люблю вообще никакой труд — ни физический, ни тем более умственный, не знал, что буду к нему приписан). Но в раннем детстве моем выбирать не приходилось: младший брат, любящий всякий труд, еще не родился, в семье, кроме отца, мужчин больше не было — и я пилил дрова, колол, помогал корчевать “вагой” (никогда потом не слышал больше названия этого инструмента) пни; мы даже разобрали на дрова бревенчатый блиндаж, оставшийся на участке нашем с войны (до боевых действий в Переделкине не дошло, но блиндажи вырыли). А летом и картошку копал и окучивал, на слуху были слова “рассада”, “усы” (клубника тоже была своя); помидоры не успевали приобрести

красный цвет за лето, дозревали, зеленые, на закрытой террасе.

Но пока стоит снежная зима, и Фадеев от дороги идет к нам в своем узком черном пальто.

Фадеев берет у меня пилу, и они с отцом вместе пилят, о чем-то, мне неинтересном (я не вслушиваюсь), разговаривают.

И вдруг вижу, что лицо Александра Александровича меняется, словно вспомнил он о чем-то важном, — и чуть краснеет. “Павлик, — спрашивает он отца, — а у тебя есть разрешение лесхоза — пилить?”

Лесхоз вообще-то в двух шагах от нашей дачи. Но разрешения пилить сухое дерево нет — отец не удосужился спросить и отвечает, что нет, нет разрешения. Фадеев огорчен — пилят тем не менее дальше.

Смысл вопроса доходит до меня много позднее.

Фадеев ощущает себя государственным человеком — и всякое нарушение общих для всех правил ему неприятно.

Возникла — уж не припомню, в какие годы, но кажется мне сейчас, что до весны пятьдесят шестого, — бредовая идея: дать улицам в нашем городке литературные имена (контора, ведавшая литфондовскими дачами, отделяла свои владения от остальной части поселка псевдонимом “городок писателей”).

Я потому считаю ее бредовой, что, выбери Литфонд (или кто там утверждал названия) имена безусловных классиков — Пушкина, Гоголя, Льва Толстого, кто бы с начальством спорил. Но когда вместе с Гоголем и Лермонтовым (Пушкину и Льву Толстому не повезло) увековечить захотели советских классиков: Вишневского, Павленко, Тренева, — получился эстетический винегрет с комическим привкусом. Писателей, в иерархии стоящих примерно рядом, оказалось больше, чем улиц. И Николай Погодин, например, жил на улице Тренева, которого вряд ли считал лучшим, чем сам, драматургом. А когда Николай Федорович в шестидесятом году умер, его именем назвали безымянную до того улицу (в то время почти без домов), ведшую к вокзалу. По-моему, драматургии в сочетании названий улиц с именами тех, кто продолжал жить на них, побольше, чем в пьесах, временно прославивших наших соседей.

Есть столичная улица имени Фадеева, но жил он последние годы, когда в городе, на улице Горького, а дачный его адрес — улица Вишневского, дача № 4.

2

Когда въезжаешь в Переделкино со стороны Москвы, набирая ход от Самаринского пруда при подъеме на горку к перекрестку (где, кстати, на ржавых железках перечислены все наши улицы), недолго и проскочить мимо улицы Вишневского — она у самого подножия резко, но укромно ныряет в тень от елок.

Вместе с тем эта улица — не пролог даже к истории писательского поселения, а ее краткий курс: мне кажется, разобравшись в странностях улицы Вишневского (от изначальных соседств до названия), дойдешь когда-нибудь и до романной сути всей местности.

На наших сегодняшних улицах непременны стрелки-указатели, направляющие в музеи Пастернака, Чуковского, Окуджавы.

А вот улицу Вишневского я бы и саму уподобил стрелке, надломленной почти посредине шлагбаумом, за которым теперь новые каменные дома, сразу ставшие для меня подобием миража.

Замечал неоднократно, что обрывающий мои шаги в прошлое шлагбаум сильнее воздействует на мое воображение, чем когда бродил я по той же улице, утратившей былых жильцов-арендаторов, но сохранявшейся в том же пейзаже, в каком застал я ее впервые почти семьдесят лет назад.

К музеям местным в знакомых мне с детства и отрочества дачах я отношусь равнодушнее, чем к улице Вишневского.

3

Улица некогда упиралась во всегда запертые ворота, окрыленные высотой сплошного забора. За воротами и забором различалась лишь крыша самой дачи, где жил писательский министр Александр Фадеев.

Но я успел захватить время, когда забора еще не было, ворота не запирались и хозяин — арендатор дома министром не был.

И теперь, когда нет ни дома, где и жил он и ушел из жизни добровольно совсем нестарым (в пятьдесят пять лет), ни возникших при нем забора и ворот, а стоят на месте фадеевской дачи чужие каменные строения за другим забором и другими воротами — и шлагбаум нынешний пересек бы, пожалуй, сегодня дорогу тогдашнему длинному (в пол-улицы Вишневского) черному “ЗИСу”, вызванному мною за Александром Александровичем из воспоминаний ребенка в свое нынешние воспоминание, — все равно моему рассказу никакое предметное отсутствие былого не мешает.

Для меня реальной остается та несуществующая дача, а

сегодняшняя постройка — что-то вроде помех на экране старого телевизора.

С этой улицы начиналось поселение — и обозначалась судьба — не одного только поселка, но самого понятия “Переделкино”, перебродившего затем в писательском сознании.

4

Первый коттедж на будущей улице Вишневского сделан был улучшенной, как стали говорить позднее, планировки — комнат на восемь. Он предназначался видному партийному деятелю Льву Каменеву, потерявшему в полемике со Сталиным все шансы оставаться во власти.

Понизив его в должностях и унизив насколько хотел, Сталин по просьбе Горького совсем было согласился пощадить соперника, дав ему должность директора издательства *Academia, но после смерти Горького передумал — и не удержался, казнил Каменева. В дачу тот не въехал.*

Из дачи решили сделать Дом творчества — вроде общей мастерской для писателей, не имевших дач.

К тому, чтобы жить мне сразу после рождения в Переделкине, коттедж Каменева имеет непосредственное отношение. Живший в Доме творчества мой тридцатилетний отец решился на авантюру — поселиться в дачном поселке. Риск даже не в том был, что самочинно вселялся он в дачу репрессированного Пильняка — и мог навлечь на себя гнев карательных органов. Не менее существенным для литературного будущего становился риск быть отторгнутым писательской средой как самозванец, захотевший сделаться соседом едва ли не всех тогдашних литературных знаменитостей.

Впрочем, к тридцать восьмому году въехать в дом, в котором не поселился призрак репрессированного хозяина, едва ли представлялось возможным. Скажем, Бабелю построили новый дом в полусотне шагов от неслучившейся дачи Каменева, но репрессированным суждено было стать и ему.

В это второе на будущей улице Вишневского дачное строение Вишневский и вселился.

Я видел Всеволода Вишневского один-единственный раз, летом сорок седьмого года. Но с того раза поверил, что Вишневский — прирожденный драматург, — и поверил в рассказы о нем. Как собирает он знакомых на читку новой пьесы, предварительно кладет на письменный стол толстые тома энциклопедии и заряженный револьвер; чтение начинается с авторской ремарки: “Слышна отдаленная канонада” (спихивает со стола на пол

тяжелые фолианты) — продолжает: "…револьверные выстрелы" (стреляет из револьвера).

Биография его казалась выдуманной от начала до конца (даже то, что и на самом деле с ним было). Жизнь свою он непрерывно додумывал — и соответственно декорировал. Московский обратный адрес он так надписывал на конвертах: "Москва. Кремль. Лаврушинский переулок" (из его окна, на пятом, кажется, этаже, действительно были видны кремлевские башни).

Так вот, единственный раз, когда я мог наблюдать Вишневского воочию, он сидел (полосатая пижама) в плетеном кресле, вынесенном из огня, — горела дача Федина. Все сбежавшиеся хотя бы делали вид, что тушат пожар, — таскали ведрами воду и так далее (правда, по голодному времени были факты мародерства со стороны соседей — не писателей, но в отдельных случаях со стороны их сторожей, фадеевского сторожа Чернобая, например), — а Вишневский сидел будто в партере театра и с круглолицей радостью дорвавшегося до зрелища ребенка завороженно смотрел на огонь.

Про исчезнувшего Бабеля никто тогда не помнил — вернее, я вообще о нем не знал, а взрослые, вероятно, не хотели говорить. Но помнить, наверное, помнили — не хотели, как мне теперь кажется, лишний раз вспоминать, чтобы не огорчаться. Бабель был из Одессы, Катаев тоже. И неужели, бывая у Фадеева, Катаев совсем никогда не думал о том, что дача Вишневского предназначалась для его земляка?

Отец мой вряд ли был знаком с Бабелем лично. Позднее уже, когда я не только знал про Бабеля, но и почти все прочел из написанного им, отец рассказал, что, когда писатели навещали перед войной Ясную Поляну, от станции все они шли пешком, а Бабель взял извозчика…

Самое смешное, что и Фадеев въехал в дачный дом, освободившийся после ареста Зазубрина. Странно, что фамилии Бабель я до середины пятидесятых годов не слышал, а про то, что до Фадеева в последней на улице Вишневского даче жил некто Зазубрин, — знал, может быть, потому, что Зазубрин был родом из Сибири, а отец мой тоже сибиряк, но сомневаюсь, что были они знакомы.

Позднее я прочел в чьих-то воспоминаниях, что на вечере в доме Горького, куда позвали известных писателей на встречу со Сталиным, Зазубрин повел себя не лучшим образом — и в состоянии алкогольного опьянения чуть ли не надерзил товарищу Сталину, во всяком случае, вызвал его неудовольствие.

Я даже знал название наиболее заметной вещи, сочиненной Зазубриным, "Щепка", но так и не удосужился ее прочесть —

посмертно возращенным в литературу репрессированным писателям на читателя не везло (Бабель — исключение), переизданные через столько лет книги почти не возвращались в читательский оборот. Вместе с тем я слышал, что "Щепка" была по тем временам вещью острой, и товарища Сталина не поведение Зазубрина у Горького возмутило (на кремлевских приемах известным деятелям случалось напиваться без каких-либо для себя последствий), а сильно не понравилась сама "Щепка". Действительно, лес рубят…

И все же факт, что дачу сначала дали не Фадееву, говорит о том, какое положение в литературном сообществе занимал погибший Зазубрин.

Я не подсчитывал, но где-то же есть точные данные, сколько из первых поселенцев писательского городка замели в конце тридцатых. На каждой из улиц были свои репрессированные. И тем не менее по количеству потерь ни одна из улиц не дотягивала до той, что стала имени Вишневского, — там выбыл весь первый состав дачников.

Между прочим, переданный бездачным писателям Дом творчества вскоре после войны сгорел. Я знал к тому времени, что пожары случаются, видел пепелище, оставшееся от дачи Всеволода Иванова рядом с дачей Пастернака, но свежий запах залитых водой углей вдохнул в себя впервые утром, когда прибежал к месту сгоревшего за ночь Дома.

За недосмотр, приведший к пожару, уволили директора городка писателей Розу Яковлевну Головину, никогда потом не появлявшуюся в Переделкине. Она служила в московском Доме литераторов на скромных административных должностях — и каждое свое выступление на собраниях начинала фразой: "Может быть, я и не писатель…"

В последний предвоенный год никого в писательском поселке больше не сажали — и по записям отца вижу, что оставшиеся (и заменившие репрессированных) дачники жили вызывающе открытой жизнью: дружили, как не дружили никогда потом, общались тесно семьями — и делали, в общем, вид, что самое страшное позади и никогда больше не повторится. Но без такой эгоистической эйфории как бы жить и работать?

Допускаю, что с подобными — неподтвердившимися — надеждами вступали писатели-переделкинцы и в послевоенную пору. Самое, как казалось (ну и на самом деле было), страшное — война — было позади.

Глава вторая

1

Фадеев приходил к нам (к моим родителям) читать “Молодую гвардию”. На моей памяти писателям необходимы были слушатели только что сочиненных страниц. Думаю, что Александр Александрович читал свою новую книгу и в других домах, но зимой тогда на дачах жили немногие; кроме семьи Катаевых и одинокого (семья зимовала на московской квартире) Фадеева, никого и не припомню. Разве что в двухэтажном бараке, всеми называемом стандартным домом (я и сейчас, когда слышу выражения “стандарт”, “стандартный”, мгновенно представляю этот дом, который до сих пор существует и в нем живут), у автора “Молодой гвардии” жила возлюбленная Клавдия Стрельченко, вдова погибшего на войне молодого поэта. Я дружил с ее сыном Валей и бывал у них в стандартном доме.

Когда книга Фадеева вышла в издательстве “Молодая гвардия” (меня удивило тогда, что и книга, и само издательство называются одинаково) — нетолстая, но большая по формату, в светло-защитного цвета обложке, — автор подарил экземпляр моим родителям с надписью (крупным твердым почерком, буквы, четко выведенные черными чернилами, не сливались): “Дорогим друзьям Тиле и Павлику”. И точно такую же книжку, надписанную точно таким же, разумеется, почерком, я увидел в доме Стрельченко. Не помню, к сожалению, точного текста автографа, но я, мне пять уже исполнилось, почувствовал, что к маме моего приятеля Фадеев все же относится по-другому, чем к моим родителям, особеннее, как показалось мне, хотя ничего про отношения Александра Александровича с Клавой я не мог себе тогда представить.

Последний раз я видел Фадеева за год до его кончины — летом. Он прошел уже перекресток, и я увидел Александра Александровича со спины — спину в сером пиджаке он держал очень прямо. Мне было уже не пять лет, а пятнадцать, и у меня не оставалось сомнений, что идет он от Клавы (вспомнил тут же рассказ Жени Чуковского про звонок, специально проведенный Валей Стрельченко в их комнату, чтобы гость не беспокоил соседей, стучась в общую дверь).

Саму книгу “Молодая гвардия” я прочел намного позже, чем слышал в авторском чтении.

Кстати, Александру Александровичу Фадееву я обязан тем, что довольно рано, задолго до школы, научился читать (буквы мне и раньше показывали — и я даже имя свое, осилив четыре буквы, написал, но букв, составляющих фамилию, не знал и наивно верил, что если правильно напишу “Саша”, то и фамилия сама собой к имени приложится).

Мне не то чтобы совсем уж неинтересно было слушать чтение “Молодой гвардии” — запомнил же я сцену, где Сережка Тюленин ныряет, высунув из воды для эпатажа тех, кто на берегу, голую попку, — но утром (чтение происходило после обеда) я заходил в еще не сгоревший Дом творчества, и кто-то из писателей подарил мне книжку-раскладушку с цветными картинками сатирического толка, они сопровождались подписями, где зло высмеивали фашистов, изображенных разными противными зверями. И мне не терпелось поскорее прочесть эти подписи. Но не Фадеева же мне было просить их прочесть. Я кружил вокруг обеденного стола, за которым происходило чтение, со своей книжкой, желая обратить на нее внимание взрослых, — и безуспешно: родители слушали “Молодую гвардию”, а Фадеев, соответственно, читал.

(Пройдут годы, и текст Фадеева станет непременным для декламации в самодеятельности или при поступлении в театральные училища. Выбирали обычно кусок про материнские руки, что-то вроде того: мама, я помню руки твои…)

Лицо самого Фадеева краснело от смеха; как я теперь понимаю, этим смехом он скрывал авторское волнение, спрашивая отца: “Будешь еще слушать?” Водку пили в паузах между чтением, закусывали рыжими консервами из железных банок — война, пока читал вслух свое произведение писатель, продолжалась.

С какого-то момента следующего, по-моему, года Фадеев в доме моих родителей больше не появлялся; не приносили от него теперь записок с просьбой прислать бумаги — пусть даже чьей-то ненужной рукописи, он готов писать и на обороте — с подписью: *Александр Фадеев, эсквайр*.

Что-то изменилось, о чем и сейчас мне с полной определенностью судить трудно — разные приходят на ум варианты.

Ссоры или разрыва отношений по какой-либо причине не было, как не было и дружбы, какую можно бы предположить, пробежав страничку моих воспоминаний. Была, может быть, необходимость в соседском общении, когда соседей было раз-два и обчелся, было соединявшее вновь благодушие, рожденное скорым окончанием войны и всегдашней надеждой, что начальство сменит когда-

нибудь гнев на милость, во что, надо сказать, близкий к этой власти, да и сам ставший ее частью Фадеев совсем не верил. Не верил — и от тех, с кем в послевоенный год приятельствовал, не скрывал, очень советуя не обольщаться послаблениями со стороны товарища Сталина; он имел по своему положению право на такие откровения в узком кругу: не он кого-то из слушателей боялся, а они его — при всем восхищении им большинства мужчин, не говоря уж про женщин.

Заборов между дачами, как я уже докладывал, тогда не было.

Начало другой, отличной от военной и послевоенной, жизни Фадеева я себе визуально представляю со строительства сплошного забора и крепких ворот. Притом что совсем уж образа своей жизни (и своего в ней образа для любивших его во всех обстоятельствах знакомых писателей, особенно из Переделкина) Фадеев не изменил и в годы, когда остался за сплошным забором.

Из крепости он иногда выходил и на чьих-то дачах иногда бывал — у Корнея Чуковского, например, — не оставлял привязанностью своею Клаву, но я, много времени проводивший на улице и на чужих участках, с ним больше не сталкивался.

К нам он, повторяю, на дачу не заходил, но году, может быть, в пятьдесят втором как-то вдруг пришла искать Александра Александровича его секретарша Валерия Осиповна — она, значит, допускала, что зайти сюда он в определенном состоянии все-таки мог бы…

Валерия Осиповна была родной сестрой фадеевской жены, знаменитой актрисы Художественного театра Ангелины Осиповны Степановой.

Валерия Осиповна и после смерти Александра Александровича оставалась близкой к семье сестры. Я знаю, что дети Фадеева с теткой дружили, сына ее, Колю Зарахани, я часто видел в Переделкине, а с невесткой Линой мы как свои люди встретились уже в середине девяностых при печальных обстоятельствах — хоронили старшего (приемного) сына Фадеева Шуню.

Но мне кажется, что Ангелина Осиповна недолюбливала сестру, подозревая ее в излишней преданности Александру Александровичу, и ставшую, значит, его конфиденткой, знавшей о тайной жизни Фадеева больше, чем знала (вернее, не хотела знать) народная артистка.

По-настоящему я с Валерией Осиповной познакомился не в Переделкине, а в Москве, когда стал частым гостем в квартире на улице Горького — не в той, где на доме мемориальная доска, а в той, что над кафе “Молодежное”, куда семья переехала после смерти Фадеева.

Я узнал, что замужем Валерия Осиповна была не только за неизвестным мне Зарахани, но и за одним из первых русских футболистов Павлом Халкиоповым — с ним я даже имел честь выпивать, когда Шуня Фадеев приводил родственника в ресторан Дома актера.

Валерия Осиповна предлагала мне вместе с ней собрать книжку писем Фадеева — и меня бы эта идея увлекла, поскольку уже вышедшая книга его переписки одно время стала у меня настольной; велик был соблазн прочесть и остальные письма. Но те письма, что хранились у Валерии Осиповны, очень уж большого интереса для меня не представляли. Он писал ей, например (по памяти цитирую): "Валя, помни, что ты мой литературный секретарь, — и ни на что, с литературой не связанное, не отвлекайся". Тем не менее в следующей строчке просил погладить ему брюки — и сообщал, что отправился в шалман, поскольку дома смог найти всего две рюмки водки.

Про шалман этот над прудом легенд и апокрифов сложено вряд ли меньше, чем о всем прочем литературном поселении.

Да ради бога — мне и самому когда-то хотелось сделать какую-нибудь сценку в шалмане вроде эпиграфа к повествованию о нашем поселке. Он и расположен удобно — на дальнем (ближний, напоминаю, — у подъема напротив улицы Вишневского) берегу, не доезжая плотины, удерживающей пруд на въезде в Переделкино.

Но мне не кажется удачным комикование вроде названия "Никишкин-холл" (наподобие московского "Коктейль-холла"), придуманного бедными студентами Литинститута, когда организовали им в конце сороковых общежитие рядом с писательскими дачами.

Во-первых, название "шалман" точнее передает время и характер самого заведения. Во-вторых, Никишкой шалманщика никто из писателей, становившихся его клиентами, никогда не звал. Тот же Фадеев говорил не иначе как "Никифор Степанович", и связывали их уважительные (без намека на барство или панибратство) отношения. Когда министру писательскому до зарезу надо было выпить часа в четыре ночи — Никифор Степанович готов был для такого замечательного человека открыть ночью шалман, правда, в этом просто не было необходимости: дом Никифора Степановича располагался на задах шалмана, выпивка у него всегда была — и почему бы не принять Александра Александровича у себя, когда у них еще будет возможность побеседовать с ним тет-а-тет?

На мой взгляд, шалман Никифора Степановича по самой

своей идее выгодно отличался от позднейших ведомственных кабаков отсутствием многолюдства или, иначе говоря, лишних при тайной выпивке людей.

Некоторые исследователи склонны отмечать демократический характер запоев Фадеева — читал (со смехом, сознаюсь) в мемуаре критика Корнелия Зелинского, что Александр Александрович “запил с шофером Нилина”.

Почему со смехом? Ну как-то уж очень благополучно выглядит в этих описаниях жизнь нашей семьи.

Запой датирован сорок восьмым годом, а в сорок седьмом отец машину продал — на что-то надо было жить. Дела его резко накренились (Чуковский записывает в дневнике, что приходил к нему Нилин и рассказал, какую крупную сумму должен был получить за вторую серию “Большой жизни”, но в связи с запретом фильма не получил ни копейки).

Михаил Григорьевич Кононов вполне мог составить компанию Александру Александровичу Фадееву и пить с ним неделю-другую без просыпу, но “шофер Нилина” — звание не пожизненное, и не правильнее ли было бы критику назвать собутыльника Фадеева просто по имени-отчеству, упомянув профессию без указания фамилии бывшего работодателя.

Сам я хорошо понимаю Александра Александровича.

Запой — великолепный способ сменить обстановку, отодвинуть от себя привычные (читай: осто… осточертевшие) жизненные обстоятельства — и от общества коллег желательно отдохнуть.

Правда, Фадееву случалось выпивать и с коллегами.

И еще поворотным моментом в отношениях с дачной публикой, ставшей для него вроде бы своей (а он, как ей казалось, стал своим для нее, многие звали Фадеева запросто Сашей, не говоря уж о том, что за глаза и не называли иначе все соседи по нашему поселку), оказалась установка на фадеевской даче телефона.

Дело было так.

Товарищ Сталин выразил желание поговорить с Фадеевым как с писательским руководителем. Фадеев вернулся на учрежденную для него должность генерального секретаря Союза писателей СССР. Если кто забыл, напомню, что и должность самого товарища Сталина называлась Генеральный секретарь — Генеральный секретарь Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии; после войны еще сохранялось уточнение, что большевиков, аббревиатура — ЦК ВКП(б). Один

(самый большой) Генеральный секретарь выбрал время вызвать на связь другого генерального секретаря (поменьше).

Товарищ Сталин удивился (а вдруг и разгневался слегка), что желание его выполняется с промедлением.

Ему объяснили — лучше, конечно, сказать — доложили (как это — объяснять товарищу Сталину, который сам все знает?), что у Фадеева на даче нет телефона — и взять немедленно трубку он физически не может.

Товарищ Сталин, сдерживая гнев, сказал, что все-таки хочет поговорить с товарищем Фадеевым по телефону.

И кто-то из талантливых придворных нашел выход.

В километре от дачи Фадеева — на самом дальнем въезде в Переделкино — располагалась воинская часть (во время войны — зенитная батарея), и от нее провели так называемую воздушку, после чего разговор генеральных секретарей состоялся.

В поселке писательском до того был один-единственный телефон, и звонить ходили в контору городка. Жили спокойно и без телефонов на дачах. А Фадееву телефон за городом тем более не был нужен — он чувствовал себя куда свободнее, когда не могли его сразу же отловить. В Переделкине ему нравилось чувствовать себя писателем, которого никакая сила не оторвет от письменного стола, если хорошо пишется.

Телефон для прочих писателей все равно оставался одним— единственным в конторе (позже установили еще и в Доме творчества).

Но как-то я застал старика Чуковского при параде — светлый пиджак, авторучка во внешнем кармане золотистой заколкой наружу — и от внука Корнея Ивановича Жени узнал, что дед идет к Фадееву позвонить в Москву. Я догадался, что Корней Иванович так оделся оттого, что хочет понравиться Ангелине Осиповне. И все равно удивился, что не пошел он звонить в контору, до которой идти всего ничего, а прется к Фадеевым, куда ходу минут пятнадцать в его возрасте.

Позже я сообразил, что Фадееву после сеанса связи с вождем поставили не обычный аппарат, а телефон правительственной связи — воздушку сменили на вертушку (фамильярное наименование недоступного простым смертным средства коммуникации).

Фадеев за своим сплошным забором стал теперь для высшего начальства (для Верховного главнокомандующего), что называется, под рукой.

Выходит, что я имел возможность непосредственно наблюдать Фадеева всего лишь какой-то год (чуть, может быть, больше или чуть меньше).

Но был ли у послевоенного Фадеева год важнее, чем сорок пятый, почти целиком проведенный им за городом, где жил он жизнью настоящего писателя, с увлечением сочинял вещь, которой рассчитывал вернуться в литературу как читаемый автор, а не только быть в ней главным писателем по должности?

2

Историю “Молодой гвардии” (романа и молодежной организации, о судьбе которой рассказал Фадеев) я знал чуть подробнее массового читателя. Почти одновременно с предложением Центрального комитета комсомола Александру Александровичу взяться за эту тему, уже затронутую газетными корреспонденциями, тот же агитпроп комсомола предлагал отцу моему сочинить сценарий о молодогвардейцах. Репутации прозаика у отца не было, а репутация сценариста — после Сталинской премии за первую серию “Большой жизни” — некоторым образом сложилась.

Репутацию сценариста скорее следует считать все же недоразумением. Сценаристом в строго ремесленном значении слова отец все же не был. Просто сочиненное им в прозе удачно превращалось в кинематографический сюжет. И вторая серия “Большой жизни” — тема формулировалась киношным начальством как “Шахтеры на войне” — стала первым для моего отца опытом сочинения сценария без опоры на свою прозу.

Зная теперь, чем закончилась история со второй серией “Большой жизни”, то есть специальным строгим постановлением ЦК, небезынтересно представить, как сложилась бы судьба отца, возьмись он за комсомольский заказ.

Формы отказа его от такого задания не знаю. Причину же отказа отец довольно сбивчиво объяснял тем, что ситуация в Краснодоне, если вникнуть в нее глубоко, предстанет до такой степени противоречивой, что не в кино ее распутывать — в прозе он к ней, возможно, и обратился бы, но выбрал бы не тех, о ком уже рассказано в газете, а какого-нибудь выдуманного персонажа, через которого было бы всего интереснее — и трагичнее, главное, — ощутить жизнь молодого человека, оставшегося в оккупированном городе.

Мое предположение покажется странным, когда в такую моду вошел — к моей, между прочим, радости — нон-фикшн и уже проводятся специальные ярмарки произведений, написанных в этом жанре.

Я, конечно, сужу, как и в большинстве случаев моего повествования, по детским впечатлениям — и литературоведам не составит труда поправить меня (или вовсе опровергнуть). Но у меня осталось ощущение, что сочинители поколения Фадеева и поколения моего отца сугубо документальную, условно беллетристическую прозу относили скорее к паралитературе. Притом, что без хороших очерков не обходились ни газеты, ни толстые даже журналы, что газетную школу прошли очень многие (Фадеев, однако, столкнулся с газетами уже как редактор литературного издания).

Мой отец служил в “Известиях” очеркистом, печатался в “Наших достижениях” у Горького, в прозу и кино пришел из очерков, поэтому особенно странно такое отношение к беллетризованному документу с его стороны. Правда, и очень отцом ценимый писатель Александр Бек, всегда дававший понять, что пишет с натуры, обращался с этой натурой более чем свободно — и Мамыш-улы в его знаменитом “Волоколамском шоссе” к реальному Мамыш-улы относится как вино к воде.

Думаю, что и очерки газетно-журнальные моего отца — особенно очерки, сложенные им в первый свой роман, откуда и взяты были типы характеров, сыгранные некогда со всенародным успехом замечательными артистами Петром Алейниковым и Борисом Андреевым, — в чистом виде сочинены им, далеко оттолкнувшимся, подобно Беку, от живой натуры.

У меня ген сочинительства отсутствует — сочинение фраз привлекает меня больше, чем придумывание ситуаций и героев. Мне интереснее превратить в действующих лиц людей хорошо знакомых, друзей и родню (что не исключает и персонажей исторических, когда есть о них незаемное суждение) — попытка проникнуть в суть реальной ситуации мне дороже любого вымысла (на который я к тому же неспособен).

В последние годы жизни отца, когда никак не мог он остановиться окончательно на каком-нибудь из несметного числа его замыслов (а время поджимало, сил и здоровья с каждым днем становилось меньше), я нескромно лез к нему со своими советами: последовать рекомендации Ивана Бунина — и не придумывать больше ничего. И вообще посмотреть вокруг, как сверстники-сочинители все более склоняются к нон-фикшн, нравится им этот термин или не нравится (мне он, между прочим, самому не нравится, кажется слишком неточным, но не обо мне речь).

Отец же всегда отвечал в том смысле, что “над вымыслом слезами обольюсь”.

Он и в жизни ни одной истории не мог рассказать вполне

реалистически, обязательно чего-то добавлял, по-своему интерпретируя чужую речь, непременно преувеличивая.

Отправляясь в последнюю свою больницу, он сидел — мы вынесли ему табуретку — на лестничной площадке в ожидании лифта. И спохватился, что не взял узенький блокнотик, в какой привык делать записи, когда не было под рукой дневниковых тетрадей.

Я принес ему блокнотик — и он, засунув его в карман, предположил, что вряд ли раньше, чем через месяц, отпустят из больницы. “Хотя, — не удержался он от свойственного ему тона, — боюсь, что на этот раз сыграют «Вы жертвою пали в борьбе роковой»”.

В больнице ему лучше не становилось, но записи он делал регулярно. На страничке с датой 1 октября рассказывает, как плохо было ему предыдущей ночью — так плохо, что пришлось позвать дежурного врача, который зажег в палате свет, чем вызвал негодование уже заснувшего соседа с койки напротив. А врач сказал соседу, что нельзя быть настолько уж эгоистом: “Вам ведь тоже, надеюсь, бывает плохо”.

В ночь на второе отец умер — и я второго же, поздним вечером, перечитывая эту страничку из блокнотика, сказал матери, что отец оставался верен себе — приписал врачу это “надеюсь”, которое тот вряд ли вставил бы в свою реплику не способному якобы на сострадание соседу. И тут же вспомнил, что, когда накануне был у отца, вообще никакого соседа не видел — вероятно, за несколько дней до конца отец остался в палате один.

3

Кто бы предположил, кто бы смог поверить в сорок пятом году, что история работы Александра Александровича над романом “Молодая гвардия” (и сам сюжет обращения к теме) окажется нам сегодня интереснее, чем книга, прочитанная едва ли не каждым третьим жителем огромной страны?

И что история книги будет иметь ко всему, что произошло с нами и происходит до сих пор, более непосредственное отношение, чем сама знаменитая книга.

Что сам автор, следующей книги так и не сочинивший, из фигуры, воплощавшей для всех бравурную и брутальную победительность, превратится для тех, кто понимает, что к чему (и сочувствует, несмотря ни на что, писателю Александру Александровичу Фадееву), в фигуру всего скорее трагическую — и трагическую не только в истории зачитанной книги, но и всей

страны с ее литературой.

Что окажется он жертвой тех литературных правил, которые по высочайшему поручению и по-своему талантливо насаждал, внушал, призывал к ним с почти вдохновенной настойчивостью.

Знаменитый физик Жолио-Кюри, узнавший Фадеева ближе, когда стали они оба борцами за мир (понимая свои задачи в этой борьбе тоже, вероятно, по-своему каждый), восхищался (или огорчался) дару Фадеева придавать любому спущенному ему сверху тезису стилистический блеск литературного эссе.

Фадееву надо было спешить — никакого промедления, никакой рефлексии и продолжительных мук начала он не мог себе позволить. Чувствовал, что времени у него — для взятых на себя обязательств по роману — в обрез.

И с “Молодой гвардией” он успел — надеялся успеть. И успел ведь — с первым вариантом.

Фадеев, повторяю, ни в какие возможные после войны послабления не верил. Куда определеннее не вхожих туда, куда вправе входить был он, знал, что неоткуда — точнее, не от кого — ждать послаблений.

Кстати, китайцы переводили фамилию Фадеева иероглифом, обозначавшим понятие “строгий порядок”.

Фадееву надо было спешить.

Работая над романом, он почти год отдыхал от властных своих обязанностей.

“Надо было жить и выполнять свои обязанности”.

Почти год в отдалении — большей отлучки романист не мог себе позволить. Дальнейшее отсутствие во власти выглядело бы нелепостью — и на будущем романа тоже, между прочим, могло сказаться.

Фадеев же видел тогда проблему только в том, чтобы погрузиться, ощутив атмосферу Краснодона, в себя — не то чтобы утраченного или позабытого — в его-то годы (помню, он сказал отцу: “Сегодня, Павлик, мне сорок четыре года”), — но *на время отодвинутого.*

Удалось ли ему — при его воле многое было возможно — забыть (отчасти, разумеется) установленные для себя и всех остальных правила, или одно только увлечение работой (я не был поклонником приподнятого слога “Молодой гвардии”, но на лучших, по моему разумению, страницах чувствуется, как истосковался автор по запойно-непрерывному вождению пером), увлеченность сочиняемым заставляли Фадеева отступать от правил? Кто жил в те времена (а никого и не осталось), тот только бы и понял, до

какой степени далеко главный по чину писатель от принятых правил отошел, а кто живет сегодня, вряд ли и поймет, о каком вообще отступлении-наступлении я говорю.

4

“Молодая гвардия” по немедленности успеха и массовости прочтения ни с чем и сегодня не сопоставима. Официоз не препятствовал популярности, а популярность — официозу.

Режиссеры театра и кино торопились перенести грандиозный успех на сцену и экран, развить его актерским одушевлением: театры начали репетировать инсценировки, режиссер Сергей Герасимов в небывало краткий срок запустился с фильмом, обрадованный возможностью занять в им же самим сделанной экранизации (муж знаменитой актрисы МХАТа Фадеев к драматургии никогда никаких наклонностей не проявлял) весь свой молодой курс в институте кинематографии, где он одновременно обучал артистов и режиссеров.

Записав уже несколько страничек своих воспоминаний, прочел в газетах сообщение, что молодой писатель Сергей Шаргунов — его непрерывно хвалят и показывают по телевизору — сочиняет для серии “Жизнь замечательных людей” “книгу о Фадееве”.

То, что напишет Шаргунов (что у него получится, что знает он, что слышал, что думает), мне, пожалуй, даже интереснее, чем то, что сам я сейчас пишу (что может получиться у меня), и не только из-за того, что взгляд Шаргунова — взгляд из другой молодости, другого времени.

Есть за моим ожиданием (и недоверием отчасти) естественное любопытство.

Писатель Шаргунов — сын девочки из моего детства, которую помню не очень хорошо, лучше помню ее маму (бабушку нового биографа Фадеева) на пляже в Дубултах: она загорает, открыв солнцу больше пространства оголенного тела, чем прочие отдыхающие на литературном курорте дамы.

Эту красивую женщину с пляжа, мать моей сверстницы Ани, звали Валерией Герасимовой. Она была первой женой Фадеева и двоюродной сестрой Сергея Герасимова.

Аня носила фамилию Герасимова — и я как-то никогда не задумывался о том, кто ее отец.

Но совсем недавно в одной мемуарного толка книжке наткнулся на фотографию: елка у Либединских, многодетных и

многолетних друзей Фадеева, — мы были соседями по Беговой, угол с Хорошевским шоссе, и я вполне мог быть на том детском празднике. Среди перечисленных по именам детей с фотографии и Аня Левина; я, как всегда, с опозданием сообразил, что Аня Герасимова — дочь Бориса Левина.

И как могло быть иначе: после Александра Александровича Валерия Герасимова вышла замуж за Бориса Левина (он погиб на войне).

Она говорила о нем как о человеке лучше Фадеева. И я слышал, что Борис Левин был человеком прекрасным. Моего ближайшего друга Борю Ардова назвали Борисом в честь Левина.

Левин (дедушка нынешнего писателя Шаргунова) сочинил известный некогда роман “Юноша” — романа я не читал, но опять же слышал (полнилась слухами среда, где я рос), что прототипом романного героя стал Фадеев.

Куда деться от мысли, что люди, мною здесь просто справочно перечисляемые, мистически между собою связаны и, абстрагируйся я от сочиненного ими или поставленного в кино, история их пересекшихся в советской истории жизней не станет менее захватывающей.

5

Единственный раз, когда я был в квартире Сергея Аполлинариевича Герасимова — он жил в том высотном доме, где большую часть занимала гостиница “Украина” (сейчас у нее, по-моему, другое название), вместе со своей знаменитой актрисой-женой, красавицей Тамарой Макаровой, им для большего удобства быта соединили в одну две квартиры, — я в кабинете хозяина увидел карандашный портрет, сейчас не вспомню, то ли Фадеева, то ли Сергея Аполлинариевича, с надписью Фадеева (фадеевский почерк запомнился мне с детства): “Моему великому другу!”

Не знаю, кто уж из них кого считал более великим, но разговаривал Герасимов так, что казалось, это Ираклий Андроников (я и в Москве, и в Переделкине жил с ним по соседству и слышал некоторые из его историй в домашней обстановке) изображает Александра Александровича Фадеева.

Завершая свою долгую жизнь в киноискусстве, Сергей Аполлинариевич сыграет в своем же фильме Льва Толстого, и говорить его Лев Николаевич будет — от Фадеева; кто Фадеева видел и слышал — не отличить.

Мне кажется, в таком голосово-интонационном сходстве известная логика просматривается.

Фадеев при всей, на мой взгляд, выспренности слога толстовской фразы не чуждался — у советских писателей (даже у великого Гроссмана) всегда была слабость следовать стилистически за Львом Николаевичем.

Сергей Герасимов тоже был щедро взысканным властью человеком. Во время войны руководил студией документальных фильмов в чине полковника — конечно, сталинский лауреат. При всем влиянии у себя в цехе считаться киношным аналогом Фадеева тогда еще не мог (были среди режиссеров люди и поглавнее), но в сотрудничестве с главным писателем получал шанс подняться повыше. Хотя почти не сомневаюсь, что “Молодая гвардия” нравилась ему совершенно искренне, перед Александром Александровичем он преклонялся.

Картину Сергей Аполлинариевич снимал в местах, где происходило действие романа, снимал с тем же увлечением, с каким сочинял роман Фадеев, — огромным стимулом становилась возможность выйти с картиной на волне грандиозного успеха книги.

Конечно, каждого зрителя, успевшего прочитать “Молодую гвардию”, интересовало, насколько подобранные на роли артисты совпадут с теми образами, что рождены были писательским пером.

Но главный зритель, решавший дальнейшую судьбу фильма, судя по всему, не читал самой книги, уже удостоенной премии его имени, — и впечатление о романе создавалось у этого главного зрителя на просмотре картины Герасимова.

Пожалуй, это был единственный в идеологической практике товарища Сталина случай, когда книгу, вызвавшую столько шума, он, едва ли не единственный, прочесть не удосужился, что совсем не было похоже на Иосифа Виссарионовича, штудировавшего толстые литературные журналы с цветным карандашом в руке.

С одной стороны, в случае с отложенным чтением “Молодой гвардии” можно увидеть исключительное доверие к Фадееву (этот не подведет), но с другой — оскорбительный для любого автора неинтерес к его тексту.

Закрадывается сомнение: а любил ли товарищ Сталин Фадеева как писателя?

Впрочем, любовь к тому или иному деятелю искусства или литературы за художественные достоинства их произведений, как мне кажется, не имела для Сталина-политика никакого (или почти никакого) значения при выдвижении на должность,

проходящую по идеологическому (а других у нас тогда, в сущности, не было и не могло быть) департаменту.

Известно, что больше всех из мира искусства он любил Чарли Чаплина — ни один кремлевский просмотр не заканчивался без какой-либо ленты любимого вождем актера и режиссера (“Огней большого города”, например).

Но можно ли вообразить, что, будь у нас свой Чаплин (или допустим гипотетическую возможность, что настоящий Чаплин сделался для нас своим), товарищ Сталин доверил бы ему руководить кинематографом?

Любимые Сталиным фильмы Чаплина в прокате для обыкновенных людей у нас никогда не шли.

Я впервые увидел “Золотую лихорадку” на просмотре в частном доме, когда мне было лет восемнадцать. Фильм на узкой пленке принадлежал знаменитому и засекреченному до поры физику-академику Алиханяну.

Академик был влюблен в жену композитора Шостаковича Нину Васильевну и после ее смерти продолжал дружить с ее детьми, Галей и Максимом. Вот Максим и принес, с позволения или без позволения Алиханяна, я не знаю, “Золотую лихорадку” в квартиру покойного Евгения Петрова, соавтора “Двенадцати стульев” и “Золотого теленка”. Максим дружил с будущим композитором Ильей Катаевым, сыном Петрова. Если кто не знает, Петров и Валентин Катаев — родные братья.

Не покупали картин Чаплина не ради экономии валюты, на идеологии не экономили, просто Сталин считал свои любимые фильмы вряд ли полезными для подданных. Его самого они, возможно, расслабляли, а массам расслабляться не следовало вовсе — или следовало расслабляться на подражательных по стилистике Чаплину комедиях Григория Александрова (товарищу Сталину, кстати, нравилась “Волга-Волга” с Игорем Ильинским, отечественной заменой Чарли Чаплина).

И не ошибся Иосиф Виссарионович, не доверяя до конца любимому Чаплину, — подставил-таки его никогда не видевший воочию своего кремлевского зрителя Чарли (в данном случае я говорю о персонаже, а не об актере и режиссере. Сталин, как я понимаю, полюбил персонаж — бродягу, а не миллионера из Америки).

Чаплин метил в другого, из Германии, но попал в того, в кого нельзя не попасть, если целишь в диктатора. Диктатора в изображении Чарли наш диктатор Чаплину не простил.

Более того, мне кажется, что обида на Чаплина распространилась и на своих кинематографистов — нам разве привыкать к тому, что личные обиды начальства превращались в

обобщения государственного масштаба?

6

В “Молодой гвардии” — фильме Герасимова, строго (все же говорим мы про кино) следующего букве романа, Сталин увидел то, что из внимания все понимавшего Фадеева вряд ли выпало.

В городе, не имевшем никакого стратегического значения, покинутом советским начальством всех видов и рангов, обнаружилось сопротивление врагу со стороны детей, чьи действия отдыхавшие в Краснодоне от фронта немцы приняли поначалу за обыкновенное озорство — не ведали они о мотивах такого непослушания.

Если говорить о патриотизме как о доктрине, имеющей особое воспитательное значение, то Фадеев с Герасимовым угадали вроде бы на двести процентов: воспитанная советской властью молодежь может и обойтись, как доказали события в Краснодоне, без старших наставников, когда встает на защиту одной для всех Родины.

Вот это и не понравилось товарищу Сталину: она, может быть, и может, а не должна, нельзя допускать, чтобы обходилась наша молодежь без наставников.

Ушлыми людьми были Фадеев с Герасимовым, но в понимании сталинской политики им до Сталина было еще очень и очень далеко.

Сталинской премии у Фадеева товарищ Сталин отнимать не стал — но дал всем понять, что он может быть недоволен и такими проверенными, как товарищ Фадеев, людьми.

Дал возможность знаменитому писателю признать публично свои ошибки — и, главное, справедливость критики этих ошибок (“критика и самокритика — движущая сила нашего общества”). И сесть за исправление романа.

Второй вариант романа я не читал, но помню, что новое издание книжки стало много толще.

А второй вариант фильма “Молодая гвардия” видел (не видел первого). Герасимов тоже расширил картину — до двух серий (две серии в то время большая редкость). Появилась и роль для Сергея Бондарчука — тот сыграл недоставававшего Сталину партийца, направлявшего молодогвардейцев на подвиг. Не помню, получил ли едва ли не со всей герасимовской компанией Сталинскую премию Бондарчук за роль Валько, только не пройдет и трех лет, как получит он за роль Тараса Шевченко не только

премию первой степени, но и звание народного артиста СССР. Звание через ступеньку что в армии, что для артистов — случай… сказал бы — беспрецедентный, но вспомнил, что в тридцать седьмом году Сталин точно так же сделал народными СССР мхатовских артистов Тарасову и Хмелева.

Не дожидаясь указа Президиума Верховного Совета, Иосиф Виссарионович просто перечеркнул в каком-то иллюстрированном журнале подпись под снимком Сергея Бондарчука, обозначавшую прежнее его звание (то ли заслуженный артист, то ли заслуженный деятель), — и своею собственной рукой начертал новое звание. С этого момента понравившийся (возможно, и с политической точки зрения) артист стал народным.

Этот журнал с личной правкой своего отца генерал-лейтенант Василий Сталин, откуда-то знавший Бондарчука, привез ему в грузинский ресторан “Арагви”, потребовав выставить бутылку армянского коньяка.

Василий Сталин первым узнал о возвышении Сергея Федоровича, а вот узнать, что станет еще и родственником Александра Фадеева, не довелось: дочь Василия Надежда в конце семидесятых выйдет замуж за приемного сына Фадеева, тоже Александра.

Не получит Сталинской премии очень популярный впоследствии комик-толстяк Евгений Моргунов — у Герасимова в “Молодой гвардии” ему (тогда молодому и стройному) выпало сыграть предателя Стаховича, проклинаемого во всех советских школах, где изучали роман Фадеева.

Со Стаховичем вообще-то выйдет неувязка — выяснится, что прототип Стаховича (настоящая его фамилия Третьякевич) вовсе и не предатель.

За роль Олега Кошевого артист Владимир Иванов свою Сталинскую премию, конечно, получит, но за актерскую команду Герасимова почему-то не зацепится, останется в нашей памяти артистом одной роли. Правда, в середине шестидесятых Бондарчук вспомнит о нем и снимет в эпизодической, но хорошей роли; перекинувшись от Фадеева к Шолохову, Сергей Федорович снимет картину “Судьба человека” — и там, когда идет колонна пленных, полуголый красноармеец запевает “Катюшу”…

С Ивановым — Олегом Кошевым я случайно познакомился лет тридцать с лишним назад.

В кооперативных домах возле метро “Аэропорт” жило много известных работников культуры — и киноактеров среди них хватало. Были и очень среди них знаменитые или популярные в

прошлом, народные и заслуженные, но чаще всех на улице возле магазина видели аэропортовские жители Юрия Киреева — очень красивого, представительного и почти всегда выпившего мужчину, — он сыграл эпизодические роли во множестве советских фильмов, но года с шестьдесят девятого — семидесятого мало снимался, что не уменьшало его известности среди местной публики.

И вот однажды я увидел Юру в обществе господина с медалью лауреата Государственной премии (Сталинские премии давно отменили, а лауреатам выдали новые медали, без сталинского профиля) на светлом пиджаке.

Я не сразу сообразил, что это тот самый Иванов, сыгравший героя фадеевского романа. Пикантность ситуации придавало то, что Киреев недавно тоже сделался родственником Фадеева: уже упомянутый мною как родственник Сталина Александр Фадеев-младший, прежде чем жениться на дочке Василия, был женат короткое время на дочке Киреева. Почему, собственно, бывший Олег Кошевой Кирееву, а не кому-нибудь другому жаловался на идиотов издателей, не желавших печатать его многолетнее исследование о Фадееве-старшем, где он, Иванов, неопровержимо доказывает, что причиной гибели автора “Молодой гвардии” стал Хрущев, державший Александра Александровича под домашним арестом, отключив у него телефон (тот самый, вероятно, который поставили по распоряжению товарища Сталина, о чем Иванов вряд ли был информирован до знакомства со мной).

У запретов на ту или иную книгу или фильм в послевоенные и последующие долгие годы нет улавливаемой нами логики, но характер, я уверен, есть.

Характер товарища Сталина — при всех интересных в этом направлении предположениях и некоторых свидетельствах, которым хотя бы отчасти можно доверять, — нами не постигнут, возможно, потому, что рассматривать его с холодным разумом никак не удается.

Но характер запретов (или неожиданных разрешений) неотделим от характера того, кто запрещает или вдруг допускает еле заметное послабление.

Я бы допустил вариант, что Сталин всегда руководствовался политической целесообразностью. Но кто поручится (хотя охотников ручаться все прибавляется, только доверия к ним у меня все меньше), что его интерпретация политики была единственно возможной в тех обстоятельствах — и других вариантов не существовало в природе?

В то же приблизительно время, когда патрон решает посечь неприкасаемого для чисто литературной (да и вообще никакой) критики своего протеже Александра Фадеева, журнал “Знамя”, издаваемый под эгидой политуправления армии и возглавляемый соседом Фадеева по даче Всеволодом Вишневским, публикует повесть никому до той поры не известного Виктора Некрасова “В окопах Сталинграда”, где талантливой свидетельской правды о войне несопоставимо больше, чем в “Молодой гвардии”.

Некрасов пишет до бесхитростности искренне. О правилах, мешавших поневоле (вернее, по должности) ортодоксальному Александру Александровичу, он и понятия не имеет — и не только опубликован, но и по прямой инициативе Сталина (иначе бы ни в коем разе) тоже получает Сталинскую премию, никаких поправок свыше к своему тексту не получив.

Но следующие книги о войне — названные “лейтенантской прозой” (их тоже напишут фронтовики) — появятся через десятилетие, уже после смерти Сталина.

Как тут не вспомнить реплику Охлопкова.

Николай Павлович говорил, что у нас в Советском Союзе тридцать три года что-нибудь запрещают, а потом вдруг на три минуты разрешат — и вот этими минутами разрешения необходимо воспользоваться.

“Молодую гвардию” на сцене своего театра (бывшего Театра Революции, затем просто драмы и, наконец, имени Маяковского, хотя театр этот все равно называли не иначе как театр Охлопкова) он поставил чуть ли не раньше, чем Герасимов начал снимать фильм.

Сергей Аполлинариевич был сугубым реалистом, Фадеев с некоторыми отступлениями, в общем, тоже.

А Николай Павлович, отрекшись (куда было деться, не профессию же бросать) от учителя — Мейерхольда, все равно тосковал по исчезнувшему театру, где главным всегда оставался театр, — и, строго придерживаясь в репертуаре того, что называли современной советской темой, все время пытался протащить на сцену под соусом социалистического реализма запрещенную вместе с Мейерхольдом “мейерхольдовщину” — и у него три минуты затягивались иногда на годы и годы.

В истории с “Молодой гвардией” ему и минуты разрешения не требовалось — в стиле Фадеева он безошибочно обнаружил любимые им котурны, почувствовал, что под маркой Фадеева сойдут ему и котурны формалистические тоже.

Когда с помощью художника Вадима Рындина, позднее — главного режиссера Большого театра и мужа Галины Улановой, он придумал образ спектакля в форме огромного — во все

зеркало сцены — красного знамени, Сталинская премия была у Охлопкова в кармане.

И в спектакле, напоминавшем одновременно и оперу, и балет, но сыгранном очень талантливыми драматическими артистами, сам черт бы не разобрал, кто на подмостках партийный, а кто беспартийный.

И все равно остается нам гадать, почему в одни и те же три минуты знаменитый Фадеев был приструнен, а безвестный Виктор Некрасов стал знаменитым.

Какая логика в том, что унижение самокритикой Сталин компенсировал Фадееву еще большим упрочением его положения в советской литературе (хотя, казалось, куда уж выше?), а Некрасова только попробовали на должности одного из секретарей украинской писательской организации, да и то скорее для того, чтобы напомнить украинцам, что русский писатель на Украине — фигура самая желанная (а то, почудилось товарищу Сталину, там иногда пытались думать иначе)?

Книгу Виктора Некрасова, как и полагалось книге лауреата Сталинской премии, издали все областные издательства. Но и Фадеев материально не пострадал: “Молодую гвардию” включили в школьную программу, и поэтому толстый ее вариант переиздавали ежегодно — а по популярности “Окопы…” (ни в какую программу не включенные) к роману генерального секретаря Союза писателей и близко не подходили.

Был лишь один нюанс: писателя Фадеева, со всеми его званиями, титулами, всенародной славой (сейчас уже, пожалуй, забытой, как все тогдашние славы), после переделок романа как пишущего писателя больше не существовало. У него отнято было литературное будущее за несколько лет до отмеченного со всей официальной помпой полувекового юбилея, где произнес он речь о своей пожизненной верности Сталину (“имени его, знамени его…”).

Когда-то в киношном комитете в Гнездниковском сидели в соседних кабинетах два чиновника — я никогда их не видел, но, когда проходил мимо дверей, машинально прочитывая на табличках фамилии этих господ, всегда мысленно смеялся: фамилия одного была Фадеев, а другого — Шолохов.

Я думал о том, что настоящих Фадеева и Шолохова — того и другого — сердила непременность сочетания их фамилий (не говорили же, например, никогда “Симонов — Твардовский”).

Известный всем замысел: назначить в каждой области знания одного самого главного человека и видеть структуру власти системой матрешек, вбирающей в себя одну за другой неумолимо

уменьшающиеся копии.

С гуманитарными дисциплинами замысел иногда и буксовал: одно дело назначить посредственность выдающимся деятелем, другое — довериться посредственности целиком; и при расхожем мнении, что самые крупные таланты сознательно Сталиным уничтожались, признаем все-таки, что преобразовать талант в дельного придворного вождь все же пытался и удачи на этом пути случались.

И думаю, что за все сталинские времена большей удачи, чем назначение Александра Александровича Фадеева на роль писательского министра, у вождя-режиссера (главного режиссера) при распределении ролей — основного условия для успеха спектакля любой значимости — не отыщешь.

Кто еще из министров пользовался такой любовью подчиненных, каких бы несправедливостей в отношении к ним он ни совершал? Кто из министров мог запойно пить, кто так пел, как пел в застолье Фадеев, кого так любили женщины (и мужчины, между прочим, не очень уступали им в этом — без малейшего намека на перемену сексуальной ориентации). И кто (из министров опять же) находил столько времени на то, чтобы на чувства женщин ответить?

Но при всем при том никто из министров (и боюсь, что не только писательских) с такой точностью не улавливал (осечки по пальцам перечтешь) направления сталинской мысли, касавшейся литературы, не превращал их в факсимильные, окрашенные собственной индивидуальностью решения — и с жестокостью советских полководцев не проводил их в жизнь.

Все последующие писательские министры неизбежно сравнивались с Александром Александровичем — и всегда в таком сравнении проигрывали.

Обречены были на проигрыш.

Ну, решил бы, скажем, Сталин сделать начальником и Шолохова (фигуру в литературном отношении помощнее) или каким-нибудь образом соединить их в руководстве (“По деревне мы идем, оба председатели, мы к тебе не пристаем, иди к такой-то матери”) — эффект был бы гораздо меньшим.

Решение сделать Фадеева начальником, а Шолохова вроде бы выведенным за скобки субординации, но все же не начальником (нюанс при строгости нашей дисциплины существенный) намного остроумнее, чем какое-либо другое.

Сталин дорожил удачей своего решения. Но возможное соперничество между Фадеевым и Шолоховым при такой расстановке фигур на официальной литературной доске могло

его и развлекать.

Почему недолюбливал Фадеева Шолохов, понятно: тот не сочинил “Тихого Дона”, но жил с такими привилегиями и полномочиями, словно сочинил.

Любивший Фадеева Корней Иванович Чуковский все же записал себе для памяти разговор в гостинице “Националь” с Шолоховым о Фадееве, где Шолохов говорил о Фадееве раздраженно, называл Сашкой, иронизировал, что Фадееву нравится, когда писатели ждут его в приемной: “А ты попробуй быть просто Фадеевым, не членом ЦК”.

Понятно, почему недолюбливал Шолохова Фадеев, — причина, в общем, та же. Притом что в письме (еще довоенном) Ангелине Осиповне он писал об ощущении в себе силы большей, чем у остальных писателей, “Тихого Дона” он не сочинил.

Я давно, еще в школе, читал “Тихий Дон” и так и не собрался перечесть его позднее, когда за свою жизнь кое-что прочел и мог бы сравнивать.

Поэтому верю на слово тем, кто считает роман Михаила Шолохова великим. И не хочу верить, что кто-то сочинил этот роман за него. Чьими-то записями или дневниками он, наверное, мог воспользоваться, но надо же было и понять ценность этих дневников в столь молодом возрасте. А кто мешал другим (и тому же Фадееву) найти рукопись, от которой можно было оттолкнуться в большой собственный замысел?

Верю Василию Шукшину, например, который остался под большим впечатлением от встречи с Шолоховым в станице Вешенской.

Сам я видел Шолохова один раз — в Москве, в конференц-зале агентства печати “Новости”, когда организовали встречу с ним для французских журналистов.

Французов усадили в первый ряд, чтобы они могли задавать вопросы нашему классику. А на сцене были Шолохов и председатель правления агентства Борис Сергеевич Бурков.

Что-то, видимо, с вопросами и ответами не клеилось, и Буркову хотелось форсировать разговор. В завершение встречи он все порывался поцеловать Михаила Александровича.

Руководитель АПН был ощутимо выше ростом, чем автор “Тихого Дона”. Автор, однако, уклонялся от объятий Буркова — сказал, что не хочет целоваться с “этим старым политиком”, а лучше поцелует журналистку из первого ряда: “Французский коньяк я пил [это, кстати, бросалось в глаза], а целовать француженок не приходилось…”

Вырвавшись из бурковских объятий, писатель шагнул с невысокой сцены прямо к француженке из первого ряда — его еле

подхватили, предохранив от возможной при падении травмы.

Глава третья

1

В принятой с тех еще пор литературной иерархии Александр Фадеев стоял выше, чем мой отец, что не мешает мне, однако, проводить неожиданные параллели между их внутренней жизнью.

У отца, надо сказать, и в годы безвестности я никаких комплексов по отношению к знаменитому коллеге не замечал.

Несомненная симпатия отца к Фадееву не связана была с отношением к писательскому дару Александра Александровича.

Поэт Семен Израилевич Липкин — человек, крайне сдержанно относившийся к моему отцу (к Фадееву, в общем, тоже сдержанно, но все же лучше, уважительнее или сочувственнее), — раза два или три рассказывал мне про случай из послевоенной переделкинской жизни, когда отец якобы сказал Александру Александровичу: “Эпигона Льва Николаевича Толстого прошу уйти с моего участка!”

Я не до конца поверил в правдивость этого рассказа — ситуация выглядит несколько комично: в общем-то самовольный арендатор, мой отец прогоняет с принадлежавшего Литфонду участка начальника, которому и Литфонд подчинен. Но и Липкин не отличался склонностью фантазировать, наоборот, был педантичен и строг в точности фактов — и я рискнул привести этот забавный эпизод, полагаясь на память Семена Израилевича.

Отец спокойно отнесся к прекращению завязавшихся в конце войны отношений с Фадеевым. Он вообще не стремился к дружбе с кем-либо в писательском поселке — правда, я знал, что перед войной новосел довольно быстро сошелся со многими старожилами (четыре года в те времена — немалый срок для постоянного жительства в дачном Переделкине). Но на моей памяти после полутора послевоенных лет никто, кроме Корнея Ивановича Чуковского и Александра Остаповича Авдеенко, державшего свою “татру” в нашем пустующем после продажи машины гараже, из примечательных насельников нашего городка к нам на дачу не заходил.

Только лет через десять возник Сергей Сергеевич Смирнов — они с отцом вместе ездили в Будапешт и начали дружить, редкий для отца случай. Ну и молодые тогда писатели, жившие в Доме творчества, иногда заходили: Владимир Тендряков, Григорий Бакланов, Юрий Казаков, Василий Аксенов, еще кто-то…

Отец и не вспоминал почти про Александра Александровича,

но вдруг встрепенулся, когда в газете прочел о работе Фадеева над романом “Черная металлургия” — журнал “Огонек” опубликовал главы, кажется, две.

Отношения писателя с властью, если уж обойтись без нее нельзя, надо искать не в сохранившихся чудом или по бюрократическому замыслу все той же власти документах, как поступают историки — и правильно, наверное, делают (исходя из своего профессионального кодекса), — а, наоборот, в текстах незаписанных, несуществующих, принесенных в дань тому, что казалось главным, вернее, интерпретировалось властью как главное.

Но что же главнее текстов, чей смысл никем не предписан, какие еще отношения могут быть для писателя важнее, чем отношения с персонажами, поселенными в его судьбе?

На мой взгляд, не менее интересно и поселение самого автора в судьбу персонажа.

Конечно, в авторстве так и не записанных текстов есть что-то мистическое, но это все же скорее факт биографии, а не судьбы — линия судьбы проходит по рукописи, иначе как же ее проследить?

Отец мой вряд ли мог знать, с каких верхов Фадееву была спущена — опять спущена — новая тема.

Маленков — второй в ту пору человек в партии. Его соперник на идеологическом фронте Жданов два года как умер в довольно молодые для начальника годы, при обстоятельствах, которые позже, когда заваривалось знаменитое “дело врачей”, сочли странными, и врачей, лечивших члена Политбюро, обвинили в его смерти. Со смертью этому соратнику Сталина, считай, повезло: в предшествующем “делу врачей” “ленинградском деле” верх взяла группа Маленкова — и соратников Жданова, заправлявших во время войны партийной организацией Ленинграда, вскоре после того как сделались они москвичами, кандидатами в члены Политбюро, расстреляли. Так вот, Маленков инициировал работу Фадеева над романом, где прогрессивным металлургам противостояли замаскированные под ученых вредители. По велению Маленкова писателю предоставили все материалы, подтверждавшие злодеяния вредителей.

Не думаю, что тема романа о металлургах увлекла Фадеева в той же мере, в какой увлекла его “Молодая гвардия”. Но подозреваю, что на этот раз пригрезился ему пресловутый эпический масштаб предстоящего повествования.

Стреноженных идеологически советских писателей все равно не оставляла мечта о чем-то непременно грандиозном по размаху

— не “Война и мир”, так “Тихий Дон”.

Василий Гроссман в итоге и написал такую книгу, но для этого надо было перестать быть внутренне стреноженным, преодолеть страх перед критикой и запретом.

А как мог избавиться от пут много знающий и больше других понимающий Фадеев, выполнявший к тому же государственный заказ?

Некоторым кажется скучным, излишне производственно приземленным название начатого Фадеевым романа — “Черная металлургия”. Но мне название нравится, метафора очевидна: все в нашей жизни переплавится, и выйдем из переплавки закаленными, как чугун или сталь. Глядишь, в школьной программе “Металлургия” Фадеева стала бы рядом с “Молодой гвардией” и другой “Сталью” — Николая Островского, поднятой у нас в целях воспитания молодежи как бы не выше “Тихого Дона”. (В школе, насколько я помню, изучали не “Дон”, а “Поднятую целину”.)

Отец о предыстории “Черной металлургии” ничего не слышал. Его взбудоражило, что Фадеев снова пишет — и, похоже, на занимавшую и отца тему.

Зимой пятидесятого, кажется, года отец летал на похороны сказочника Бажова (дедушки тогда еще не родившегося Егора Гайдара) в Свердловск — и там, по-видимому, познакомился с заводскими людьми. Что-то удивившее его от них услышал — и, когда вернулся домой, выписал себе уральскую газету, чтобы следить за тем, что происходит в промышленных городах. Вырезал из газеты заинтересовавшие его заметки и складывал в специально заведенные папки.

Можно понять писателя, сделавшегося газетчиком для сбора материалов к роману. Но труднее понять писателя, никуда не ездившего (Фадеев, между прочим, к своим будущим персонажам ездил и жил в семье рабочего-металлурга) и читавшего газету, прекрасно представляя себе как бывший журналист, насколько в ней приукрашена (или вообще сочинена, почище, чем у романистов) реальность.

Уже можно смеяться, но не так все просто.

Отец называл — не без презрительного снисхождения — иных своих более образованных коллег “гимназистами”, позиционируя себя человеком из народа, знающим про народную жизнь все, что хотел бы знать. Весь вопрос в том, чего он знать не хотел, — вернее, по кодексу условностей, принятому советскими писателями, знать был не должен. А потому должен был не видеть и в упор, а если тем не менее видел, то, уж извините,

ничего не оставалось, как молчать — и ждать другого часа, который вряд ли мог пробить в обозримом будущем.

Поэтому без разницы было, поедет ли романист к своим персонажам, как Фадеев, останется ли, как отец, на даче в Переделкине.

Отец, кстати, в начале пятидесятых и не жил на даче — работал над новым сочинением в Москве. С некоторым опозданием почувствовал себя неловко среди сплошь, как ему казалось, преуспевающих переделкинцев. Слишком затянулась послевоенная пауза для писателя его лет (он разменял пятый десяток), мало проявившего себя как прозаик в сопоставлении с теми соседями, кого зачислили уже в советские классики.

После серьезных неприятностей в кино он сгоряча и быстро сочинил пьесу из совсем уж неведомой ему колхозной жизни.

Ее поставил на сцене филиала Малый театр, затем в театре имени Станиславского ставший через некоторое время очень знаменитым Борис Равенских, но на подмостках пьеса продержалась недолго.

Режиссер Леонид Луков, часто бывавший у нас дома, уговаривал отца сочинить новый сценарий о шахтерах, реабилитировать себя за идеологический провал со второй серией “Большой жизни”.

Но у отца ничего путного (проходимого) не придумалось — сценарий Лукову сочинил наш новый сосед Борис Горбатов (и они за картину “Донецкие шахтеры” стали лауреатами Сталинской премии). А отец пошел на год или полтора служить относительно неплохо оплачиваемым клерком в писательское министерство, возглавляемое Фадеевым, — и зависимое положение отца не способствовало возобновлению их послевоенных отношений.

По существу, весь смысл наказа начальства, кого выбирать писателям в герои, укладывался в слова волжской частушки: “Пассажиры — публика, а грузчики — народ”.

Конечно, если пассажиром оказывался начальник (руководитель, директор завода, например, или председатель колхоза), можно еще было подумать-попробовать.

Как-то к Фадееву на дачу приехал посоветоваться некто Марк Колосов. Отец мой тоже хорошо его знал.

В свое время Колосов служил в журнале “Молодая гвардия”, куда, как сказали бы в издательстве, самотеком попал роман Николая Островского “Как закалялась сталь”.

Роман Колосову, очевидно, понравился, он показал рукопись кому-то повыше — и тому понравилось; решили поручить

редакторам как можно тщательнее поработать над текстом. Автору-инвалиду послали благоприятный ответ.

Но в редакционной суете рукопись пропала.

О том, что происходило дальше, существуют разные версии.

Официально принята версия, что автор прислал второй экземпляр.

Я же слышал, что никакого второго экземпляра у Николая Островского не было, не осталось, кажется, и черновиков — он же писал текст через специальные прорези и сразу набело (сам он прочесть рукопись не мог).

Для спасения ситуации в помощь Марку Колосову привлекли известную тогда писательницу Анну Караваеву (между прочим, когда отец служил клерком в заведении Фадеева, он был заместителем Караваевой).

Караваева и Колосов (он хорошо запомнил первоначальный текст) сочинили все, как утверждают, заново. И к довоенному успеху романа, превосходившему успех даже появившейся почти десять лет спустя “Молодой гвардии” Фадеева, имеют непосредственное отношение.

В дальнейшем Караваева преуспела больше Колосова — она оставалась где-то на подступах к советским классикам (по рейтингу — в третьей или четвертой десятке). Мы жили по соседству с Караваевой на Беговой, ее племянница Мила работала учительницей в моей школе — и педагогическому коллективу известно было, кто тетя их коллеги.

А Колосов, видимо, сильнее выложился в работе над “Как закалялась сталь”, его собственные успехи выглядели поскромнее, чем у Анны Александровны.

Так вот, Марк Колосов рассказал Фадееву на даче, что задумал роман, где главным героем будет писатель, — и Александр Александрович сразу перебил его рассказ о будущем герое замечанием, что писатель — для нашего времени фигура нетипичная.

А для какого, интересно бы узнать у Фадеева, времени писатель — фигура типичная?

Тем не менее герои у Достоевского пишут. У Толстого Анна Каренина в поисках выхода из тупика, куда завели ее отношения с Вронским, пробует сочинять детские книжки; не бросилась бы под поезд — могла сделаться Агнией Барто того времени.

Кстати, об “Анне Карениной”. Принято считать, что в этом романе альтер эго Льва Николаевича Толстого — Константин Левин. И не все замечают персонажа, никак не менее значимого для автора, — Сергея Ивановича Кознышева, сводного брата Левина, знаменитого на всю Россию ученого (Левин еще слегка

комплексует, когда представляют его как брата Сергея Ивановича).

На протяжении больше чем половины толстовского романа Кознышев пишет книгу о судьбах России, рассчитывая ответить на вопросы, наиболее ее волнующие.

О том, что книга Кознышевым завершена, Толстой упоминает как бы между прочим — и дальше, снова как бы между прочим, замечает, что ожидаемого отклика на книгу Сергей Иванович так и не услышал.

Никто из действующих лиц романа — ни Левин, ни Вронский, ни Каренин, ни Стива Облонский, ни тем более занятая своими переживаниями Анна — тоже не удосужился прочесть этой книги.

Не своей ли судьбой измеряет Кознышева Лев Толстой, удостоверившись в тщете усилий даже великой литературой изменить что-либо в природе этого мира?

Марку Колосову пришлось успокоить министра от литературы сообщением, что недавно завершенная им вещь называется “Товарищ генерал”.

2

Наш сосед по дачному поселку драматург Александр Афиногенов — он погиб в первый же год войны, я не мог его запомнить (но как человек Александр Николаевич мне вроде бы не совсем чужой: жена драматурга, американская журналистка Дженни, вызвалась быть моей крестной матерью) — отмечал, что врачи или следователи знают людей, вообще людей, лучше, чем писатели.

Но преимущество писателя перед ними в том, что писатели познают себя с большей страстью.

Как объяснить, что писателю, назначенному быть первым писателем страны, оказалось не о чем писать?

Вот ведь и Бабель, не назначенный никем первым — однако едва ли не первый по искусству владения словом (при владении словом на таком уровне и сюжет не так уж важен, и совсем не важен предмет описания), — рассуждая с Ильей Эренбургом о молодом авторе Сирине (Набокове), соглашаясь с тем, что эмигрант писать умеет, сожалеет, что писать тому не о чем.

А жил бы с нами, подразумевается, нашел бы о чем, как застрелившийся Маяковский.

Что же сам-то Бабель все что-то не находил, хотя искал, вроде

бы одобряя советские новшества?

Замолчавший после ранней славы Олеша был искреннее в своем раздражении: “Я не могу написать, что погода за окном плохая (дождь, допустим, идет). Кто-нибудь обязательно тут же скажет, что для хло́пка она хороша”.

Бабель или Олеша — ладно, они успели стать притчей во критических языцех. Коллеги над их затянувшейся паузой уважительно (все же книги Бабеля и Олеши для самых плодовитых собратьев остаются недостижимым образцом) посмеивались. Да и сами они не боялись публично над собой подшучивать, что преуспели в жанре молчания.

Но Фадеев — министр (первый, во всех смыслах, министр советской литературы), и за отсутствие новых текстов его никто не решится упрекнуть. Кто же не знает, что занят он делами поважнее любой рукописи?

Отчего же тогда Эренбургу показалось, что писатель-министр близок к отчаянию после случившегося с “Черной металлургией”?

А что случилось?

Умер Сталин — и тут же выясняется, что вредители никакие и не вредители, а колоссальный вред промышленности нанесли, наоборот, сукины дети, объявившие вредителями тех, кто реально смотрел на вещи и не поддался авантюристам.

Все это внятно и прекрасно изложено у Александра Бека в романе, пролежавшем под запретом до времен Горбачева (за границей, правда, он был издан раньше). Фадеев в романе Бека увековечен под фамилией Пыжов — очень узнаваемо для тех, кто видел Александра Александровича.

Фадеев не дописывает роман, но ему и не привыкать — за “Молодую гвардию” он ухватился, не закончив второй части “Последнего из удэге”. Теперь у него за десятилетия занятий литературой два законченных романа и два незаконченных — фифти-фифти.

Много пишущий Эренбург положительно не понимает уважаемого им (вместе они борются за мир во всем мире, много ездят вместе по миру в борьбе с поджигателями войны) Александра Александровича: ну ошибся тот с выбором фигур, белые принял за черные, но неужели нельзя сесть теперь, переменив цвет фигур, за шахматную доску романа и разыграть другую, пардон, партию?

Эренбург, скорее всего, не говорит этого вслух, но ясно дает понять, что ничего страшного в осечке Фадеева не видит — все поправимо.

Фадеев же от такого сочувствия приходит в ярость — и

кричит на Эренбурга особенно высоким, когда во гневе, голосом: хорошо вам, Илья Григорьевич, у вас вся проблема, что инженер (или кто он там у вас?) страдает от любви, а в “Черной металлургии” решались государственные проблемы — и вот не решились из-за того, что автора ввели в заблуждение те же самые люди, что в такое же заблуждение ввели и само государство — известно в чьем лице.

Не понять Илье Григорьевичу со своими влюбленными инженерами (или любимой девушкой главного героя — иностранкой), разрешенными ему в порядке исключения тем самым лицом, кому приносил он пользу в политике как публицист и борец за мир и кого решились обмануть негодяи от черной (и название приобрело другое значение после изменившегося контекста) металлургии, не понять сочинившему столько романов Илье Григорьевичу Эренбургу, почему же не использовать теперь Фадееву все случившееся в реальности на благо сюжету — роман при раскрытии характеров мерзких обманщиков станет куда интереснее.

Умный (и ушлый) человек Эренбург, а все равно не понять ему, что действительно (без дураков и притворства) государственный человек Александр Фадеев про мнимость вредителей догадывался изначально (он же не только министром, но и писателем работал). Но все равно силой художественного вымысла (писатель не мог перестать в эту силу верить) рассчитывал принести стране, отождествляемой им как государственным человеком прежде всего с образом ее вождя, не меньшую, а может быть, и большую пользу, чем Эренбург со своей публицистикой.

3

Кого еще в истории литературы, кроме Байрона, Есенина и Блока, так любили женщины, как Фадеева?

Но Байрон с Есениным и Блоком женщин на металлургию (пусть и черную) не променяли бы.

У раннего Фадеева в “Разгроме” описание груди женщины, данное автором в ощущениях жадно жаждущего ее персонажа, отвлекает от истории партизанских действий — или мне так показалось в юности (взрослым я и Александра Александровича не перечитывал, не только Шолохова).

Откуда нам теперь знать — вымышленной (в чем я очень сомневаюсь) или реально увиденной (лишь увиденной?) была женщина, вожделенная партизанами?

Исследователям Байрона, Есенина и Блока известны бывали иногда (а у Есенина и часто) вошедшие в ткань стихов имена возлюбленных.

А как нам быть с Александром Александровичем?

Я не собираюсь — да и не знаю всего списка — приводить здесь исторические, громкие и просто имена дам, любивших Фадеева или (и) любимых им. Тем более что иные из возлюбленных Фадеева предпочли войти в историю литературы в качестве подруг других писателей — Елена Сергеевна так и останется для всех вдовой Михаила Булгакова и Маргаритой.

Я знаком был с некоторыми из женщин, переживших романы с Александром Александровичем.

Про Клаву Стрельченко — вдову поэта — я уже рассказывал. Про Маргариту Алигер (и про ее дочь от Фадеева Машу) много рассказано и без меня.

Но благодаря Ордынке, где протекала у Ардовых в гостях моя долго не кончавшаяся молодость, я имел честь знать и Марию Сергеевну (Марусей звала ее Анна Ахматова) Петровых — замечательного русского поэта, чья широкая известность наконец-то начинается.

Стихов Мандельштама у нас не издавали до середины семидесятых.

Но все на Ордынке знали, и я узнал, что стихотворение, которое я заучил с голоса Миши Ардова раньше, чем прочел глазами: “Мастерица виноватых взоров, маленьких держательница плеч…” — посвящено Марии Сергеевне влюбленным в нее Осипом Эмильевичем.

Сознаюсь, что мне по моим тогдашним представлениям о жизни (хотелось бы понять, многое ли к сегодняшнему дню изменилось?) показалось диким — как можно любить советского Фадеева, когда тебя любит всемирный Мандельштам?

Сегодня мне семьдесят три, а не семнадцать, как тогда, — и не все, конечно, и не слишком многое, но что-то все же в представлениях моих о жизни (и о женщинах, главное) изменилось. Марию Сергеевну мне теперь легче понять.

Но вот о чем я сейчас опять упрямо думаю, захотев понять, почему же Фадееву и большинству современных ему наших писателей, проживших такую жизнь, какая множеству литературных героев и не снилась, вдруг стало не о чем писать?

Всем ли, однако, было — не о чем?

Или только тем, кто, получив признание, не мог за него в последующем не держаться?

Не совсем уж на кофейной гуще гадаю, пытаясь додумать, как

сложилась бы литературная судьба автора “Молодой гвардии” и писательского министра Фадеева, шагни в его прозу женщины (ну хотя бы женщины из писем; том переписки Фадеева стал единственной книгой этого писателя, которую я перечитываю).

Уложенный году в сорок девятом в кремлевскую больницу (или это было уже в санатории “Барвиха”?), Александр Александрович вдруг вспоминает девочку из своей юности, с которой вместе учился, — и ему (фантазия писателя и в малой степени не была исчерпанной) начинает казаться, что сильнее той детской любви у него никогда потом ничего не было — и до сих пор, наверное, нет.

Депутату Верховного Совета СССР ничего не стоит запросить адрес девочки — возможно, он знал ее под девичьей фамилией (тут я опять неожиданным образом возникаю в фадеевском сюжете, поскольку знаком был с взрослым сыном детской любви Фадеева; фамилия сына была Колесников, и разыскиваемая девочка могла быть Колесниковой по мужу), помнил имя, но мог и не знать отчества.

И можно вообразить смятение этой не самой первой молодости школьной учительницы по фамилии Колесникова, когда получает она письмо от знаменитого писателя Александра Фадеева. Способна ли она немедленно связать его в своем сознании с тем мальчиком, от чьего, возможно позабытого, имени пишет ей письмо захворавший министр из кремлевской больницы?

Что может ему ответить она?

Ведь не факт, что она тоже была влюблена в него, тоже считает ту школьную любовь главной в своей жизни?

Она, несомненно, видела в газетах портреты автора “Молодой гвардии”, но узнавала ли на них того самого мальчика?

Судя по более ранним — конца двадцатых — начала тридцатых годов фотографиям, Фадеев красавцем мужчиной становился постепенно, обрел свою ставшую канонической, растиражированную внешность ближе к войне.

Но письма Фадеева по желанию быть в них предельно откровенным превосходят любую “Молодую гвардию”: он хочет быть в них юным, чистым, совсем косвенно имеющим (или не имеющим вообще) отношение к жизни, какую прожил.

Вкратце он рассказывает девочке, ставшей учительницей, и про домашнюю свою жизнь, иронизирует над тем, что жена его, народная артистка, как и всякая жена, может устроить сцену за лишнюю рюмку водки. О том, что количеству лишних рюмок Александр Александрович и обязан тем, что сейчас в кремлевской

больнице (или в санатории “Барвиха”), умалчивает.

Как ему казалось, он все рассказал бывшей девочке про свою нынешнюю жизнь — была у Фадеева такая потребность.

Теперь про взрослого сына девочки.

Летом шестьдесят третьего года я проходил университетскую практику в сталинградской молодежной газете (я против возвращения городу советского названия, но ни газету волгоградской называть не хочу, ни город Волгоградом). И уже на второй или третий день моей жизни в этом городе люди из газеты захотели познакомить меня с писателем, бывшим летчиком Левой Колесниковым, намекая, что он приемный сын Фадеева и мне как сыну московского писателя сам бог велел быть с ним знакомым.

Как сын московского писателя из Переделкина, я точно знал, что у Александра Александровича Фадеева трое детей: приемный сын Шуня, родной Миша и родная дочь Маша от Маргариты Алигер (Маргарита Иосифовна Алигер тоже была моей соседкой по дачному поселку).

Но Лева мне и не вкручивал, что он сын Фадеева, — мы пошли с ним посидеть в ресторан при интуристовской гостинице, и я понял из разговора с писателем-летчиком, чей он на самом деле сын.

Бывалый человек Лева писал, как нередко бывает с бывалыми людьми, о том, что он пережил, по образцам прочитанных на эту же тему книжек — действительная его бывалость в тексте проявлялась маловыразительно.

Но из нашего разговора с Левой я понял, что Фадеев, которого он никогда не видел, имел некоторое касательство к судьбе сына любимой девочки: тоненькая книжка Левы в Приволжском издательстве была все же издана.

Мне стало немного грустно — и тогда, и сейчас, при воспоминании, — от того, чем порыв Александра Александровича обернулся: освоившаяся в переписке мама Левы Колесникова не смогла не обратиться к нему с просьбой о поддержке литературного дебюта своего сына-летчика.

Ничего, конечно, нет в том страшного, редко кто обходится в литературе вовсе без протекции. Только как не подумать о том, что у Фадеева всегда что-нибудь просили — помочь ли с изданием книги, как Леве, с квартирой ли… Всегда надо было просить за кого-то, а просить за себя ему и не у кого было…

Да и о чем просить? Просьбы, будь они у него (кто, впрочем, знает, вдруг и были?), могли бы пройти лишь по номенклатуре невыполнимых.

Когда Александр Александрович застрелился, учитель

физкультуры в школе, где учился мой друг Боря Ардов, спросил его, тоже как сына писателя: “Из-за чего Фадеев застрелился?” Откуда было знать тому ответ — Боря замялся. А учитель физкультуры поинтересовался: “С квартирой у него все нормально было?”

4

Отец неоднократно, и после, и вообще до конца жизни, бросал на полпути (и раньше) вещи, много чего, как мне кажется, обещавшие: и автору, так своих возможностей и не развернувшему, и коллегам, не представлявшим его в ином, чем привыкли считать, качестве, и читателям, может быть (за читателя всего труднее поручиться).

А тут, на опасном для всей страны перегоне, — от самого начала пятидесятых до кончины “хозяина” (отец обычно называл в разговорах со знакомыми товарища Сталина “хозяином”) — он уперся (дальше отступать некуда?) и мурыжил не меньше трех лет роман (впрочем, роман ли это был — не повесть ли или длинный рассказ? — но автору нравилась мысль, что он все-таки пишет роман) и никак не мог им себя по-настоящему увлечь.

В размышлениях, возникавших по ходу развития сюжета предыдущей его, довоенной еще прозы (ставшей основой сценария для первой серии “Большой жизни”), он, молодой тогда человек, пишет, что книга может иметь шумный успех или может вовсе не иметь никакого успеха, но, как бы там ни было, автору всего важнее пережить момент восторга от нахлынувшей хотя бы ненадолго уверенности в том, что пишешь.

Видимо, за три года моментов уверенности не наступало вовсе — и мало сказать, что книга отца “Поездка в Москву” не имела никакого успеха: прошел слух, что наборщики в типографии не хотели ее набирать.

В четырнадцать лет я не понимал, откуда такая нетерпимость — вполне равнодушно, без всякого всплеска отрицательных эмоций встречали книги и такого же уровня, и похуже, на мой взгляд.

Начался следующий перегон истории — с момента смерти Сталина до антисталинской речи Хрущева на XX съезде партии.

Стала уже общим местом фраза о новых временах, наступивших тотчас же вслед за решениями этого съезда.

Я другого мнения.

Очень не хочется в моем возрасте превращаться в “пикейного

жилета”. Но судить о прошедшем, замыкаясь в категорических формулировках, не чувствую себя вправе.

Скажу что думаю.

За три года, протекших после смерти Сталина, эффект необъявленных изменений в нашей жизни был мощнее, чем после знаменитой речи Хрущева, когда тот на съезде декларировал новый курс (всей ли, однако, власти или только одного лидера, понадеявшегося обладать той ее силой, какая была у ниспровергнутого им сию минуту, но, повторяю, целых три года как умершего главнокомандующего?).

Для естественного обновления нашего сознания хватало ведь и намека.

Никаким XX съездом еще и не пахло — то есть там-то, наверху, ломались партийные копья и шла та самая борьба за власть, отчего и было не до нас все три года начальству. Отдельные недомолвки и были наверняка отблесками разведенного на самых высоких этажах политического костра. Никаких крамольных слов о Сталине никто не произносил, но учитель истории Валерий Семенович (поговаривали, что по воскресеньям он для приработка торгует мороженым в зоопарке), проверяя, подготовил ли я свой конферанс как ведущий школьного вечера в честь Дня конституции, какими-то намеками (дорого бы сейчас дал, чтобы припомнить — для истории — буквальный их текст) помог мне понять, что эпитета “сталинской”, без которого и слова-то “конституция” мы не воспринимали, произносить со сцены не следует. Значит, был в каком-нибудь райкоме сделан шкрабам намек, что наше отношение к товарищу Сталину будет отныне чуть менее апологетическим.

Буду, конечно, выглядеть глупее, чем на самом деле, но скажу, минуя джентльменский (и мне, конечно, тоже известный) набор примет обновления в первые три года без Сталина. Сознаюсь сейчас в том, что лично на меня более всего повлияло.

Повлияло в первую очередь совместное обучение с девочками, начавшееся для меня с восьмого класса школы, — оно перевернуло все мое мироощущение.

И совсем неожиданное действие оказал забытый теперь — да и тогда, насколько помню, особого успеха не снискавший — кинофильм “Сын”.

Про перевернутое девочками мироощущение расскажу когда-нибудь отдельно, а то, начни я рассказывать сейчас, ни до каких намеченных себе тем никогда уже не дойду.

А про кино совсем коротенько.

Сейчас-то мне смешно, что фильм, который послужил моему освобождению от прилипших стереотипов в понимании своей жизненной роли (в зависимости, конечно, и от кино и его героев), снял не кто иной, как режиссер Юрий Озеров, поставивший при Брежневе несколько громких картин-шоу на военные темы с миллионами танков и прочим (причем фильм, особо прославлявший Брежнева, так и назывался — “Освобождение”: каждому, выходит, свое).

Сам я в четырнадцать лет любил таких киногероев, каких играли Сергей Столяров или Владимир Дружников, но своевременность появления на экране Леонида Харитонова — в “Сыне” он сыграл главную роль — все же смог оценить.

В полном смысле Леонид героем, конечно, не стал — стал предтечей розовских мальчиков (он и успел сняться в “Добром часе”), а в герои вышел Алексей Баталов (на короткий срок и Николай Рыбников), но прорыв в новое качество начинался с Харитонова.

Я познакомился с ним, когда стал учиться в Школе-студии МХАТ. К тому времени Харитонова вдруг перестали снимать в кино, но что-то обещали в театре, если ставили нечто вроде современного водевиля.

Леня все равно храбрился. Нам устроили общее — студентов и молодых актеров театра — комсомольское собрание. Обсуждали соотношение между мировоззрением и творчеством. Харитонов доложил собранию в своем выступлении, что мечтает и в театре, и в кино сыграть роль современного героя.

Но нам, первокурсникам, он в кулуарах признался, что главная его мечта — иметь всех баб на свете.

Сегодня я все чаще думаю, что непрерывность вроде бы незначительных перемен, начавших обнадеживать нас после марта пятьдесят третьего года, имела бы больше смысла, чем декларация с трибуны партийного съезда, которую все равно пришлось смикшировать ожиданием тех решений, что могли бы многое в менявшейся и без того жизни перелопатить.

Своим докладом на съезде Хрущев позиционировал себя как первое лицо государства, принимающее решения в одиночестве, наступившем для него теперь во власти, — как поступал и человек, которого он с трибуны попытался потеснить в истории.

После доклада, прозвучавшего на весь мир, хотя до соотечественников он доходил в форме закрытого письма, адресованного только членам партии, противники Хрущева притихли, затаившись, — и, воспользовавшись взятой докладчиком паузой для передышки в разоблачениях, начали

копить силы, изучая промахи нового вождя, — и чуть позднее искусно подталкивать его к новым промахам, провоцировать на действия, ослаблявшие ту личную власть, на безграничность которой он рассчитывал, волей-неволей опираясь на выстроенную предшественником структуру.

Культ личности был в первую очередь культом образа.

Знаменитый артист Алексей Дикий, побывавший в заключении, назначен был на роль Сталина в кино (а потом и в театре).

Из всех исполнителей он Сталину больше всего понравился полным отсутствием грузинских черт в облике и акцента в речи.

Сталин поинтересовался — артист кроме Сталинских премий (всего он их получил за карьеру пять) удостоился встречи с вождем тет-а-тет, — почему исполнитель его роли не стремился к сходству с оригиналом.

И Дикий ему якобы ответил, что играл вовсе не товарища Сталина, а представление народа о нем.

Думаю, если разговор этот не апокриф (но, если и апокриф, до чего талантливо придуман), ответ мог понравиться товарищу Сталину не меньше, чем игра Дикого на экране.

Дикий угадал: не живого сходства хотел прототип его персонажа в кино. Он хотел видеть в фильме Сталина — русского императора, а не чудесного, как выразился Ленин, грузина родом из Гори.

Божественное происхождение требовалось вождю народов, а не этническое.

На этот счет существует и еще один апокриф.

Товарищ Сталин отчитывает сына Василия за допускаемые тем сумасбродства.

И спрашивает: “Ты думаешь, ты Сталин?” Василий в ужасе молчит (внук Сталина и сын Василия Александр Бурдонский мне рассказывал, что страх его отца перед своим трудно даже передать словами). Тогда Сталин-старший спрашивает: “Ты думаешь, я Сталин?” И, выдержав паузу, пугавшую больше, чем сама речь, показал на портрет Сталина в форме генералиссимуса: “Вот кто из нас Сталин!”

В форме генералиссимуса (Сталина с портрета) товарищ Сталин появился на людях считаные разы. Гораздо чаще — в придуманном для себя полувоенном костюме, копируемом некоторыми из высокопоставленных подданных.

Но Сталин так носил свой полувоенный китель, что делалось понятным: для такого человека и мундир обладателя высшего

звания вроде домашнего платья, он и в своем кителе без погон выше на голову любого из придуманных людьми званий.

Сталин не нуждался в политтехнологах, его образ становился образом безграничности его власти.

При Хрущеве политтехнологов еще не существовало. И прибегнуть ни к чьим советам у него не было возможности: подозрительностью Сталина он, на горе себе, не обзавелся, но и доверять — при постоянной угрозе (с момента смерти предшественника и до непростительной для политика утраты полномочий) в борьбе за власть — никому не мог.

Примем еще во внимание, что Сталин был властителем до телевизионной эпохи. А Хрущев со своей живостью и многословием пришелся (особенно к завершению своего правления) на самый-самый первый ее расцвет — и сравнение оказалось не в его пользу.

Почему-то полагаю, что, привыкший к виду Сталина, он не очень был доволен своей внешностью.

Нечего ему и думать было примерить парадный мундир из гардероба Сталина.

Однажды в начале шестидесятых мы играли в домино на Арбате, и Эдик Волков сказал Гене Галкину: “Гена, ты сыграл совершенно правильно, но надо было ходить по-другому”.

И вот нечто подобное произошло за несколько (очень важных, как всегда, для страны) лет на самом верху. Только некому было ни ободрить Хрущева, ни дать ему дельный совет.

Хрущев вроде бы сыграл совершенно правильно — как советовал всегда играть великий артист Евгений Евстигнеев: обратным ходом.

На смену таинственному монументу пришел деятель, лишенный позы, с демократическими, я бы сказал, повадками, хотя и не без отпечатка долголетней партийной работы, с языком, каждому понятным и по-своему образным, с той непосредственностью, которая должна бы нас подкупать в государственном человеке, ну и с обликом тоже скорее домашним — не с портрета на демонстрации (пусть и носили годы и годы через Красную площадь портреты Хрущева). Словом, скорее с рабоче-крестьянским, чем бюрократическим обликом.

Вроде бы должен такой человек понравиться массам, или народу, как мы неуместно высокопарно спешим называть эти слитые глухой инерцией массы (притом что чувствовать себя частью народа, видеть в самом себе народ никому не заказано; что-то подобное и Чехов говорил).

Но явление народу Хрущева оказалось преждевременным —

вернее сказать, наоборот, своевременным, однако непривычным.

Каким бы инертным ни казалось привычное, не считаться с ним невозможно.

Продолжая театральные примеры, вспомнил случай с постановкой пьесы Чехова “Иванов” в театре Марка Захарова.

Главную роль получил любимый всеми артист Евгений Леонов.

Это после того, как во МХАТе Иванова сыграл Смоктуновский.

Вообще театралов долго приучали к мысли, что чеховский Иванов — русский Гамлет — должен выглядеть на подмостках примерно так, как традиционно выглядит шекспировский Гамлет.

А Леонов, неподражаемый в комических ролях (правда, всегда почти тяготеющий к драме), и похож был внешне на Хрущева — примерно тот же самый вид внешности (лысина, брюшко).

Мне кажется, что Леонов — и по типу, между прочим, тоже — всего ближе был к сочиненному Чеховым герою — Антон Павлович и фамилию ему выбрал самую что ни на есть распространенную — не случайно же на премьере “Иванова” у театра только и слышалось: “Карету Иванова!” (впечатление складывалось, что зрительный зал заполнили одни Ивановы).

Но даже так талантливо понимавшая театр Фаина Раневская спросила потом у Инны Чуриковой, сыгравшей жену героя: “Инночка, вам не трудно было играть с этим водопроводчиком?”

Возможно, что и воспитанные в себе всей сознательной жизнью чувства Фадеева к Сталину (я не про любовь или преклонение, а про душевную причастность к делу человека, которому служил уж действительно верой и правдой) были оскорблены исполнением Хрущевым роли Сталина.

И ведь Александр Александрович прав был — по-своему, конечно.

Он знал, что советской власти как института не существовало — существовала только власть Сталина.

И под его власть выстроены были все институты внутри несуществующего института советской власти.

И не было к моменту воцарения Хрущева ни роли премьер-министра (которую Хрущев отдал сначала ради консенсуса Маленкову, но скоро отобрал, вызвав огонь на себя тех, кого сам позднее и прозвал антипартийной группой), ни роли первого секретаря ЦК, отвоеванной Хрущевым для себя сразу же.

Не было и не могло быть этих ролей в не переписанной до основания пьесе про советскую власть.

Была одна роль из ставшего для всех последующих начальников классическим репертуара — роль Сталина. И не надо забывать, что пьесу про советскую власть сам Сталин и сочинил — и удалось ему это не слабее, чем Шекспиру (почему, кстати, Сталин и не разрешал театрам ставить “Гамлета”: рефлексия — штука заразительная).

Думаю, что Хрущев был не столько огорчен смертью Фадеева, сколько раздосадован: не украшала такая смерть начало его царствования.

Не вижу и веских причин смещения им Фадеева на Втором съезде писателей с должности генерального секретаря (министра, как привык я здесь говорить). Тем более что равноценной замены и близко не было.

По самой сути придуманной этой должности не могло быть.

Занявший должность Александра Александровича Алексей Александрович Сурков знаменит был песней “Землянка” (“Бьется в тесной печурке огонь…”) и оговоркой на многолюдном собрании, когда сказал: “Мы, писатели, пишем для миллионов рублей” (людей, он хотел сказать).

Никак не думаю, что к Эренбургу Хрущев относился лучше, чем к Фадееву. Но Илья Григорьевич чрезвычайно удачным (что значит талант публициста!) названием “Оттепель”, данным слабенькой повести, оказался на стороне тех, кто пошел за Хрущевым против Сталина на два года раньше, чем Хрущев произнес свою речь на съезде. Правильно говорил Эренбург Фадееву в начале пятидесятых: перемелется, мука будет. Кто же виноват, что у Фадеева не перемололось?

На писательском съезде пятьдесят четвертого года Фадеев раскаялся в своей критике романа Василия Гроссмана “За правое дело”, признав, что на самом деле выдающаяся работа о войне ему понравилась сразу, но, как высказывался он в подобных случаях, это была перестраховка в хорошем смысле слова (знать бы Александру Александровичу, что продолжение романа Гроссмана через семь лет не то что будут ругать-критиковать или даже запретят печатать, а вовсе арестуют, плюнув на оттепель — не только Эренбурга, а вообще).

Между прочим, в назначении Суркова вместо Фадеева ничего антисталинского и не было. После XX съезда, когда вошло в наш обязательный обиход выражение “культ личности” (не “культ образа”), тут же появилась эпиграмма на Суркова: “Нам культ принес немалый вред. Но слава богу [“Бог” тогда писали с маленькой буквы], культа нет. Так почему стоит у пульта поэт Сурков — служитель культа?”

Возможно, на смещение (без равноценной замены) Фадеева и гнев на Симонова повлияло и житейское раздражение Хрущева эффектным внешним видом этих мужчин. Уж очень хорошо они выглядели, слишком выделялись, слишком уверенными в себе казались ему Фадеев и Симонов — надо было сбить с них спесь, прежде чем определить им место в царствовании Никиты Сергеевича.

5

Делегатами Первого съезда писателей были все жители литературного Переделкина, кроме, может быть, Симонова (в тридцать четвертом году ему и двадцати не исполнилось) и моего отца (ему в тридцать четвертом году было двадцать шесть, но прозы он толком не писал, оставался газетчиком).

Через двадцать лет, перед Вторым съездом, Хрущев выразил свое неудовольствие генеральным секретарем Союза писателей Симоновым. Но при всех своих постах и лауреатствах тот не переставал быть и едва ли не самым знаменитым из советских писателей.

Отца делегатом на Второй съезд избрали, но делегатство не улучшало его положения — чувствовать себя комфортно на людях он вряд ли мог.

Вчера еще верноподданнические (теперь за бесконфликтность их обзывали лакировочными) сочинения без проблем удостаивались Сталинских премий (ныне отмененных) — и авторов даже в профессиональной среде ругали без злости — с пониманием, иногда завистливым (умеют же подсуетиться).

А сегодня отец оказался в самом глупом положении. Лауреаты сочинили свои книги и пьесы при Сталине, с них какой спрос? Сейчас, когда все мыслящие люди задумали зажить по-новому, отец проявил себя приверженцем старого: ничего менее удачного, чем его “Поездка в Москву” (и название плохое), и придумать нельзя было в пятьдесят четвертом году.

Годы возраставшего, если позволено будет так выразиться, неинтереса к себе писательской среды, отсутствие читателя, неопределенность дальнейших перспектив отец пережил внешне спокойно, повторяя к случаю и без случая цитату из не читанного им Бальзака о том, что писатель, не способный выдержать критики, напоминает путешественника, вышедшего из дома в расчете только на солнечную погоду.

На эпиграмму с удачно найденной рифмой “Нилина — извилина”, интерпретирующую отца человеком редчайшей (одна

извилина) глупости, в пору ее сочинения Михаилом Лукониным никто не обратил внимания: вышучиваемого персонажа за пределами клуба писателей и Переделкина мало кто знал. Но стоило отцу войти в широкую известность, как эпиграмму заучил каждый — и далекий от писательской среды — человек.

Стоит кому-либо из мемуаристов упомянуть фамилию отца, тут же — с обязательными оговорками о несправедливости фразы про извилину (все же совсем дурак такой книги, как “Жестокость”, не написал бы, и вроде бы некоторые литературные способности налицо) — и приведет текст эпиграммы полностью.

В тот же пятьдесят четвертый год, который отец не любил вспоминать (вспоминать даже сорок шестой, когда разносили вторую серию “Большой жизни” и все висело на волоске, ему было гораздо интереснее), он съездил в командировку от “Правды” к себе на родину — увидеть гигантские стройки — и оттуда писал матери, что чувствует силы сочинить что-то настоящее, увиденное наводит его на сюжет, который сможет увлечь всецело, чего с ним не бывало давно или вообще никогда прежде не бывало.

Но по возвращении он ни за какую эпопею так и не сел, ограничился двумя рассказами, никак не связанными с поездкой.

И только осенью следующего года, оставшись один в пустой даче, он написал очень быстро “Испытательный срок” — опять никакого отношения к современным стройкам не имевшую повесть из времен своей юности в Сибири.

Повесть напечатали в первом же номере толстого журнала за пятьдесят шестой год — и тут же отдельной книжкой. Вскоре Сурков говорил кому-то, кто продавал свою машину: “Вы предложите купить ее Нилину, у него сейчас денег много”.

Фадеев встретил отца на переделкинской аллее — сказал: “Ты пишешь, Павлик…” Александр Александрович шел с дамой, разговор не продолжился. Повесть Фадеев вряд ли прочел, отметил лишь (с удивлением вроде), что “пишешь”.

Обе заметные отцовские публикации пришлись на последний год жизни Фадеева.

Отцу в этот год предложили собрать книжку из новых вещей и старых рассказов.

Он перечел свою повесть в “Новом мире” за сороковой — моего рождения — год. И начал ее переписывать.

Книжку пришлось отложить. Из старой вещи вырастала новая. Она будет опубликована в одиннадцатом и двенадцатом номерах — нет, не “Нового мира”, где вскоре произойдут главные литературные события второй половины века, а в “Знамени”.

Но в моем рассказе пятьдесят шестой год еще не завершился.

Несчастье с Фадеевым случилось в мае.

Смерть Александра Александровича сталинисты восприняли с гордостью (и укором к тем из своего лагеря, кто заколебался): Фадеев не захотел сотрудничать с новой властью Хрущева.

Но адептам перемен хотелось думать, что убил он себя, узнав из хрущевского доклада всю правду о Сталине.

Якобы сказал другу Юрию Либединскому (тоже нашему переделкинскому обитателю), навестившему Фадеева за день до случившегося: “Я думал, что охраняю храм, а на самом деле охранял нужник”.

Таким, однако, наивным я, наслышанный дома о Фадееве, и в свои шестнадцать Александра Александровича не считал.

Не верили в моей семье и в ту версию, что Фадеева замучила совесть, когда стали приходить к нему писатели, возвращавшиеся из заключения. Они, мол, инкриминировали Фадееву, что его подпись стояла под согласием на их репрессии.

Неужели писатели, отбывшие срок, совсем ничего про советскую власть не поняли — и могли считать, что без согласия генерального клерка Фадеева на их арест они остались бы на свободе? О чем же они тогда говорили между собой, в лагеря заключенные?

Я все же думаю, что увела Фадеева из жизни вина перед собой.

Как опять не согласиться с Эренбургом, сказавшим Фадееву, что больше, чем перед всеми остальными писателями, виноват он перед писателем Фадеевым.

Я так понял Илью Григорьевича, что, держись Фадеев настойчивее себя — писателя, поставь не на власть, а на литературу, неизвестно еще, как бы все обернулось.

Будь у Александра Александровича за душой хоть одна законченная вещь из тех, какие сам он собирался написать, а не по заказу…

Или, добавляю от себя нынешнего, наоборот, бросил бы он лучше мысли о литературе вовсе, уйдя в любезную себе власть безоглядно.

Физкультурник из школы Бори Ардова задал не такой уж глупый вопрос насчет квартиры.

Была и большая квартира, и дача двухэтажная, но при прогрессирующей душевной неприкаянности он, что называется, места себе не находил.

В кого стрелял Фадеев?

В себя — министра или в себя — писателя?

Склоняюсь теперь к выводу, что все-таки в себя — писателя, когда ощутил, что не в состоянии жить без власти, которой наделяют министра.

Судьба, вознесшая Фадеева в ущерб писательству (до зарезу ли нужно было ему писательство, если так и не смог отдать ему предпочтение, подпирая литературную работу властью, что для свободного сочинительства гибельно), все равно хранила его, предложив ему выход из ситуации — выход, разрешивший не выйти из образа, сохранить лицо — искаженное, как утверждают очевидцы, болью от выстрела в сердце, — лицо человека, усомнившегося, может быть, во всем, но не в силе своей воли.

Когда я услышал в Москве о самоубийстве Фадеева, сразу же представил седую простреленную голову.

Но Фадеев стрелял в сердце — очень прицельно выстрелил, как потом объясняли специалисты.

Я так и не понял, не удосужился выяснить у отца, видел ли он мертвого Фадеева сразу после случившегося.

Знаю точно от матери, что он сразу же, как разнеслась по Переделкину весть о самоубийстве, отправился на фадеевскую дачу — от нашего дома ходу до улицы Вишневского пять минут.

Но Александра Александровича могли уже с дачи увезти.

Мать рассказывала, что отца не хотели пускать — милиция или КГБ.

Сам же он записал в дневник, что посторонних не пускал Всеволод Иванов.

Попал ли отец тогда в дом — увидел ли мертвого Фадеева? Полной уверенности нет, раз нет подробной записи о том дне. Но помню, как говорил он о своем впечатлении, будто на лице Фадеева была очевидна гримаса боли.

Вместе с тем в записях за последующие годы Фадеев несколько раз возникает — и однажды впроброс отец вспоминает, как увидел откинувшегося на подушки Александра Александровича без рубашки, — не вообразил ли себе это, как нередко с ним бывало? Не сохранилось, к моему глубочайшему сожалению, этой записи, но пятно запекшейся крови у меня перед глазами и до сих пор.

Первым, кто увидел Александра Александровича мертвым, был его одиннадцатилетний сын Миша, вбежавший в комнату звать отца к обеду.

Я дружил с Мишей Фадеевым — не так близко, как со старшим его братом Шуней, но дружил и дружу (что́ это я о нас в прошедшем времени!), просто видимся мы сейчас крайне редко.

И я, наверное, мог расспросить Мишу, как все было на самом деле, но никогда не заводил с ним разговоров на тему о смерти Александра Александровича — мне казалось, не надо касаться этой темы, она представлялась мне закрытой. Я удивился, когда прочел в газете, что Миша через много лет какими-то сведениями поделился с журналистами.

Журналисты занимались своим делом. И все равно не жалею, что не стал Мишу Фадеева ни о чем расспрашивать.

Мой отец никогда и не осуждал Фадеева, и не оправдывал — Фадеев был для него таким, каким был. И когда в мае пятьдесят шестого шли непрерывные разговоры о возможных причинах, побудивших Фадеева поступить так, как поступил, удивился лишь тому, что он не пожалел Мишу — не мог же забыть о жившем с ним на даче сыне?

Теперь я догадываюсь, что работавший над превращением старого рассказа в новую повесть отец прикидывал-примеривал случившееся с Фадеевым на себя, пытался точнее представить себе состояние Фадеева перед тем, как спустить курок.

У отца и в старом рассказе герой стрелялся, но сейчас он как писатель пытался сделать более психологически обоснованным мотив, ведущий к самоубийству.

Когда это случилось на соседней даче, к тому же с хорошо знакомым человеком, это не могло не сказаться на тех уточнениях, которые он вносил в текст.

Герой перестает быть вымышленным, когда писатель всем своим существом входит в его состояние.

Возможно, я уж слишком элементарно трансформирую свою смутную, в общем, догадку.

Вскоре после выхода повести “Жестокость” в журнальной книжке мы сидели в ресторане Дома литераторов за одним столиком с поэтом Павлом Антокольским и его женой, актрисой Зоей Бажановой.

И муж и жена близко дружили с Фадеевым — он жил во время войны у них на квартире (этой квартире также часто гостивший там Константин Симонов посвятил стихотворение “Дом друзей”) — дом друзей, между прочим, был и домом военной любви Александра Александровича и Маргариты Алигер.

Антокольские завели разговор об отцовской повести — и Зоя сказала, что она с первых же строк поняла, что это “про Сашу”.

Отец сказал Зое, что совершенно не имел в виду Фадеева. Он и потом сердился, когда проводили прямую параллель между его героем и Александром Александровичем.

О внешних причинах, приводящих к самоубийству, мы можем толковать до бесконечности.

Внутренних же причин нам никогда не понять.

Их, наверное, до конца не понять было и самому Александру Александровичу, но сил, по-видимому, не осталось дальше ими мучиться.

Алексей Александрович Сурков как новый писательский министр вхож был в те же сферы, куда и Фадеев, — и при случае спросил Хрущева: “Никита Сергеевич! Нам, писателям, хотелось бы все же знать, что пишет Фадеев в письме, адресованном Центральному комитету”. “Центральный комитет отчитывается только перед съездом партии”, — отбрил министра глава государства.

Смири Хрущев разраставшуюся в нем с каждым днем гордыню, смени государственный гнев на милость и своими глазами, не полагаясь на помощников, внимательнейшим образом перечти письмо Фадеева — не каждый день у нас стреляются без видимого повода люди такого уровня, — он мог бы понять, что публикацией письма самоубийцы только набирает себе очки. А Фадеев, которого интрига с непрочитанным письмом вновь поднимала на пьедестал, будет как автор опубликованного письма выглядеть менее убедительно, чем хотелось бы представить его верным почитателям.

Но власть наша — старая и новая, новая и старая — на самокритику (как ни призывал к ней товарищ Сталин) не способна. И никакой критики (в ней товарищ Сталин предлагал подданным видеть движущую силу нашего общества) не выдерживает во всех смыслах.

Сказав в сообщении о самоубийстве Александра Александровича Фадеева, что находился он в состоянии глубокой душевной депрессии (все правильно — и глубокой, и душевной, несомненно), тут же в подлой мстительности добавляли, что страдал он алкоголизмом как болезнью.

Решили дать понять публике, что стрелял в себя писатель по пьяной лавочке?

Так скажите уж определенней — из-за депрессии или по пьянке; каждый пьющий знает, что депрессия наступает потом, а выпил — значит, перемогся временно.

На самом-то деле в предшествующие несчастью дни Александр Александрович вообще ничего не пил — у него подозревали цирроз печени, что, кстати, не подтвердилось.

Предсмертное письмо Александра Фадеева оставалось под

запретом как бы не три десятилетия. И всех, кто ждал в письме откровений, оно разочаровало.

Я бы назвал последнее письмо Фадеева последней литературной его неудачей.

То, что губило в нем писателя, произошло и когда сочинял он последнее письмо: возобладал в Фадееве государственный человек. И пишет он, то ли желая, то ли опасаясь, что обиду прочтут между строк, о плачевном положении в искусстве и литературе из-за невежества высших сановников…

Не получалось письма — ничего не мог он объяснить ни себе, ни давно выбывшим адресатам. Для того письма, какое бы он хотел — и умел когда-то — написать, не находилось точных слов.

Он понял, наверное, с безнадежностью, что, впиши он новые строчки вместо вычеркнутых, разорви вовсе письмо и возьми чистый лист, ничего уже не изменишь — не сможет он сейчас на чистом листе сочинить ничего нового.

И я представил себе совсем отчетливо, как той же рукой, что сердилась на не подчинявшееся ей перо, он спустил курок револьвера.

7

Очевидную депрессию отца в последние годы жизни легко было объяснить осознанием упущенных шансов.

Но и для меня, когда прочел я после смерти отца его дневники, неожиданным оказалось признание, что депрессию он испытал уже в конце пятидесятых, когда времени на перемены в себе оставалось не так уж и мало — больше двух десятилетий.

В дневниках отец не пытался объяснить причин депрессии — и я попробовал сопоставить не особенно заметные приметы ее в отцовских записях с тем, что сам помнил о той поре.

Помнил я ту пору хорошо, но впечатления мои о жизни родителей не могли быть регулярными. Они жили в Переделкине круглый год, а я старался подольше задерживаться в городской квартире для веселых встреч с приятелями.

Разобраться во внутренних причинах всякой, и родственной тоже, депрессии так же маловероятно, как и в случаях самоубийств.

Искать опору в генетическом сходстве своего характера с отцовским — чувствую, что есть оно, — можно и следует, но и особенно обольщаться не стоит. Мы жили с ним все-таки в разных сюжетах — и трудности преодолений бывали разными, и везение одного совсем не обязательно приходилось на везение другого.

Начнем с перепада происхождений: он сын каторжанина, а я только внук (с примесью инородной материнской крови).

Правда, лень, в большой степени наследственная, помешала мне существенно воспользоваться гуманитарными преимуществами сына писателя перед сыном кузнеца: не могу сказать, что так уж сильно продвинулся я в знаниях, чтобы опять же преимущество в знаниях (оно весьма незначительно) принесло пользу. Или вред.

В середине девяностых (отец умер осенью восемьдесят первого) Анатолий Рыбаков, обсуждая с моей женой отца, отозвался о нем совсем неплохо, но выразил сожаление, что Нилин всего боялся.

Более доброжелательно относившиеся к отцу люди, Юрий Трифонов например, склонны были говорить не о страхе — об осторожности. Трифонов к тому же приводил при этом пример поступка, свидетельствующего обратное: отец подписал привезенное ему Юрием Валентиновичем письмо в защиту Твардовского и никаких колебаний не выказал.

Летом шестьдесят четвертого года на том месте прогулочного круга, где, спустившись вниз (спуск этот в моем детстве назывался “бешеной горкой”, но мне всегда слышалась “бешеная гонка”, поскольку разгонялся здесь велосипед), аллея классиков (улица Серафимовича официально) сворачивает на улицу Горького, мы (я шел с отцом) встретили Анатолия Рыбакова со второй его женой Натальей Давыдовой — и Рыбаков сразу после приветствий настоятельно посоветовал отцу прочесть в “Новом мире” свою повесть “Лето в Сосняках”.

Отец “Сосняков” читать не стал, Рыбакова он считал, вероятно, детским писателем — и никогда не читал, как вообще не читал большинства современных ему и взрослых писателей.

А я прочитал Рыбакова (мне он, как и всем, казался интересен после “Кортика”) — и теперь, вспоминая этот эпизод, понимаю, что Рыбакову важно было, чтобы автор “Жестокости”, считавшейся смелой повестью, увидел, что смелость выражается и в иной форме самоубийства героя.

Насколько я знаю, Анатолий Наумович работал уже над “Детьми Арбата” — не только с возвращением к юности, как в повестях отца, но и продолжением этой юности до времен войны — то есть собирался сказать обо всем, что выпало его поколению при Сталине.

Известно, какой грандиозный (на весь мир) успех ждал Рыбакова уже после семидесяти, когда во времена Горбачева

роман удалось напечатать.

На вечере в честь столетия Анатолия Наумовича близко знавший писателя Алексей Кириллович Симонов высказал мысль, что по складу своего характера Рыбаков напоминал Сталина — и отлично распорядился возможностью перевоплощения (слияния автора с натурой); это и предопределило звучание романа.

Мысль Алексея Кирилловича я имел честь слышать и в приватном порядке до того, как прочел дневники Чуковского (при чем тут Чуковский, через мгновение объясню), а потом читал в романе-воспоминании самого Рыбакова, как приезжали к нему из МХАТа (Ефремов загорелся идеей первым поставить инсценировку романа на сцене своего театра) — и восхищены были его показом Сталина и хотели даже пригласить семидесятипятилетнего писателя сыграть роль Сталина.

Но за двадцать приблизительно лет до разговора Рыбакова с Олегом Ефремовым — в конце июля шестьдесят восьмого года — Корней Иванович Чуковский записывает у себя в дневнике буквально следующее: “Встретил Нилина, который дивно, очень талантливо изобразил Сталина — процитировав наизусть страницы романа, который он сейчас пишет”.

Вынужден предположить, что цитирование было всего-навсего импровизацией — я не помню чтения вслух готовых страниц. Возможно, жил я тогда другой жизнью, чем жили родители, и что-то пропустил.

Но ни романа, ни даже повести или рассказа о Сталине так и не случилось.

Что же касается изображения отцом Сталина — это тоже вызывает у меня сомнения.

Отец очень артистично рассказывал, но копирование кого-либо на манер Андроникова было ему несвойственно. Он добивался выразительности средствами рассказа, а не показа. Правда, помню, как, чуть подкрепив слово жестом, изображающим курносый нос жены одного соседа-писателя с угла улицы Тренева, он вызвал восторг дочери Андроникова Мананы. Да и Корней Иванович — поклонник и постоянный зритель-слушатель Ираклия Луарсабовича — вряд ли стал бы в дневнике выдумывать.

Но как бы то ни было, отец про Сталина не написал — изображал сцену из несочиненного романа; а Рыбаков — из уже опубликованного. Разница есть.

И страх ли тому виной, если рассказывал отец, как показалось опытнейшему в литературном деле Чуковскому, готовые страницы?

Отталкиваясь от внешнего (вернее, общеизвестного), я мог бы сразу найти оправдание отцу в истории с “Большой жизнью”, когда вторая серия фильма была запрещена лично Сталиным — и отца вызывали на оргбюро Центрального комитета партии, где он с постановщиком фильма Леонидом Луковым выслушивал замечания от Сталина.

Они пытались утешиться предположением, что не все для них потеряно, раз вызвали сценариста и режиссера в Кремль, — хотя пригласили не всех фигурантов исторического постановления (вместе с “Большой жизнью”, вынесенной в заголовок постановления, ругали также фильмы Пудовкина и Эйзенштейна, но с них в тот раз штаны снимали заочно).

И вроде бы действительно ни Луков, ни отец в тюрьму не сели, а вот Рыбаков за неосторожно сказанное слово в тридцатые годы попал в тюрьму и отбыл в ссылку.

Впрочем, как еще сказать, легко ли отделались Луков с Нилиным.

8

Отцу в нестарые еще годы случалось терять внезапно сознание в общественных местах. Случай обморока дома помню единственный, весной пятьдесят третьего года. Но знаю, что падал он и сразу после войны в Малом театре, и на конференции читательской, посвященной его повестям, в пятьдесят седьмом году, когда хвалили, а он упал вдруг со стула за столом президиума.

Не помню года, когда открывали новое здание Дома литераторов — предположительно, на рубеже шестидесятых; отец, вполне трезвый, по словам матушки, пошел к соседнему столику с кем-то перекинуться словом — и упал. Вызвали “скорую” — несли к выходу на носилках. Рядом с носилками шел совершенно пьяный поэт-песенник Алексей Фатьянов, плакал и приговаривал: “Павел, ты не умрешь, наше правительство не даст тебе умереть”. А пока отец лежал в седьмом корпусе Боткинской, умер Фатьянов — и теперь уже моя матушка плакала, вспоминая, как шел тогда Алеша рядом с носилками…

В новом веке серия “Жизнь замечательных людей” пополнилась книгой о Фатьянове — и в ней я прочел, что осенью сорок шестого года жена Фатьянова очень беспокоилась за мужа, сочинившего текст песен для второй серии “Большой жизни” (в постановлении песни осудили за кабацкий надрыв), — и

беспокоилась не беспочвенно. Она уже знала, что автор сценария Павел Нилин арестован. Так черным по белому и написано — кто у нас сейчас что проверяет.

Я стал думать — напоминало ли что-то в нашем доме о возможном аресте отца? И ничего не смог припомнить.

Наоборот, бодрые разговоры, что раз сам Сталин покритиковал прилюдно, значит, верит Иосиф Виссарионович, что выводы автором сценария будут сделаны правильные. И с этим жили.

Жили бедно — денег же за фильм не заплатили, залетели из-за этого с денежной реформой, долги отдавать надо было новыми деньгами.

Жили бедно, непразднично (почему и полюбил я футбол, никого в семье не интересовавший), но не в страхе, страх от детей удалось скрывать.

Много позднее отец рассказывал мне, что до самого начала заседания в Кремле не верил, что придет товарищ Сталин, — и, только увидев начальника охраны Сталина генерала Власика, понял, что придет "хозяин" непременно.

"Я подумал, — вспоминал отец, — ну, посадят, что буду делать — брошу курить". И настолько свыкся (это к вопросу о силе воображения, рождаемой страхом), что, когда режиссер Чиаурели попросил у него закурить, ответил, к изумлению Чиаурели (Нилин же минуту назад курил сигарету), что не курит.

Вот это уже больше похоже на отца, если рассуждать о природе его страхов.

Но еще позднее он путано — не все я в подробностях понял — рассказал историю.

Был у него друг Юра Иванов, о котором отец не знал, что служит тот на Лубянке. И сказал при нем году в тридцать первом, что Сталин не удержится.

Потом на Лубянке отца лупили (его выражение) и требовали идти к ним работать.

А он написал письмо Ягоде, объяснив причины, почему не сможет.

История казалась мне фантастической.

Но сколько людей, служивших на Лубянке, потом уличали, разоблачали, приводили компрометирующие свидетельства их деятельности, об отце же никаких сведений не поступало, а я уверен, что при его невезучести любое лыко в дни удачи поставили бы ему в строку.

Несмотря на подчеркнутую лояльность, начальство отца не жаловало, а заметная часть прогрессивной публики подозревала в недостаточной симпатии к лицам определенной национальности

(как сам отец говорил, “братскому еврейскому народу”), притом, что женат он был неосторожно и что один из главных партийных идеологов Ильичев считал самого отца евреем — прямо говорил: “Я этому жиду ходу не дам!”

Кто-то сообщил отцу, что у нас в аэропортовском отделении милиции я многих начальников хорошо знаю. Отец на это сказал, что к праздникам министр внутренних дел присылает ему поздравительную телеграмму на правительственном (с красной полосой) бланке, но он вырос в Иркутске на Семинарской улице, где принято было, завидев полицейского, переходить на другую сторону улицы. И он по такому принципу живет до сих пор.

В писательской среде побаивались, но стойко презирали тайных осведомителей-стукачей.

Другое дело — всяческие поощрения, значки, грамоты, премии от силовых, как сейчас их именуют, министерств: официальная причастность к силе со времен Бабеля (репрессированного в итоге) становилась предметом гордости.

Ехал я однажды в машине Сергея Сергеевича Смирнова в Москву — мы с хозяином на заднем сиденье, а впереди, рядом с водителем, наш переделкинский писатель из Львова Владимир Павлович Беляев. И, рисуясь перед шофером, Владимир Павлович громко спрашивал Сергея Сергеевича как о само собою разумеющемся, познакомился ли он уже с новым председателем комитета (Беляев подразумевал Комитет государственной безопасности).

Сергею Сергеевичу неприятен был такой разговор при мне и при водителе. Вряд ли видел он необходимость в немедленности подобного знакомства. Но и неловко было перед Владимиром Павловичем делать вид, что для него, руководителя писательской организации, вопрос этот кажется праздным.

Отец изловчился так и не прийти на Лубянку (вряд ли был он вообще на ней со времени так неожиданно для него обернувшейся дружбы с Юрой Ивановым) на вручение знака почетного чекиста (щит и меч), чем избежал премий от этой конторы, довольно щедро раздаваемых писателям.

Кстати, ничего такого уж зазорного в щите и мече на лацкане писатели не видели: в брежневские времена удостоверениями всяких там консультантов силовых министерств козыряли перед милицией (а потом перед знакомыми — рассказами об этих козыряниях), за милую душу входили в общественные советы.

Общий любимец Оня (Иосиф) Прут, первый советский сценарист, в пиджаке со щитом и мечом разве что не спал — и не скрывал, какие льготы знак чекиста дает на таможне.

А ортодокс Нилин жил по законам воровской Семинарской

улицы.

9

В последнее время я чаще (да и на себя, на свою природу, на свой генетический коктейль делая поправку) пытаюсь абстрагироваться от советской реальности, на которую мы теперь все валим — валим не без серьезной аргументации, — и подумать о предрасположенности (как бывают высокий и низкий болевой порог) к страху, которая нас, кому предрасположенность эта выпала, подчиняет себе.

Это не отдельный страх — высоты, темноты, замкнутого пространства, а страх вообще — страх перед страхом, может быть, страх, пространство которому предоставляет воображение.

Люди с истинным воображением редко бывают безоглядно храбрыми. Безоглядная храбрость всего чаще требуема обществом, состоящим не из храбрецов, но всегда на храбрецов опирающимся в минуты опасности. А опасность редко измеряется минутами, бывает, что и веков мало.

Люди с истинным воображением редко бывают безоглядно храбрыми, но храбрость этих людей, хоть изредка проявленная, — как золото самой высокой пробы.

Еще из рассказов о Первой мировой войне мне запомнился случай, когда два солдата сидят в окопе — и подходит к ним офицер со словами: “Молодец, Петров. Хорошо воюешь — ничего не боишься, на2 тебе в награду рубль”. А второй, обнесенный наградой, говорит офицеру: “Ваше благородие, дайте лучше рубль мне — я боюсь, но воюю”.

У отца моего предрасположенность к страху заложена была в психике, видимо, изначально — шла от каких-то необоримых страхов детства; страхи, как утверждает мой младший брат — психолог, доводили его иногда до галлюцинаций.

И как тут тогда найти грань, отделяющую предрасположенность, себе подчинявшую, от опыта жизни, когда знал он, чего реально боится?

Я лет, кажется, до семи ничего не боялся — даже высоты (страх, меня потом, с отрочества, всю жизнь мучивший).

Мой дядя, старший брат отца (в нем никакой предрасположенности к страху не замечалось, вот вам и общие гены; хотя вряд ли страх происходил от каторжанина-отца, скорее уж от матери, отличавшейся кротостью, — но ведь кротостью, не боязливостью; вся, кстати, иркутская родня отца, его двоюродные братья — люди по-разному отважные), — мой дядя Семен

Филиппович подарил мне, шестилетнему, дорогую игрушечную собаку за смелость. Мы ходили с ним в цирк — и что-то в моем поведении сибиряка-дядю подкупило.

И в более раннем детстве я как-то удивил обеих своих бабушек.

Мне было два года, и на елку в редакцию меня бы по младости не пустили, не работай матушка в ташкентской эвакуации ответственным секретарем.

Сюжет представления на елке в редакции, разумеется, связан был с газетой: зайцы (или там кто-то) вывесили в лесу стенную газету, а волк сорвал ее с елки. Я вскочил со своего места — и закричал, чтобы волк сейчас же повесил газету обратно.

В школе я начал чего-то бояться — и, как следствие, врать; а родители так гордились, что Саша никогда не врет.

10

С Беговой (угол с Хорошевским шоссе) мы переехали в Лаврушинский переулок — в дом, где жили знаменитые писатели.

Как-то утром уходила от меня довольно большая компания — и я предупреждал гуляк, чтобы громко не разговаривали: “А то в нашем доме такой резонанс…” “Да, — подхватил Миша Ардов, — один жилец сочинил «Доктора Живаго» — и резонанс на весь мир”.

На даче я бывал от раза к разу — и в каждый из приездов замечал перемены в сторону процветания: мебель появилась, купили машину. Родители совершили круиз по Средиземному морю, отец съездил в Швецию.

Переделкинский мир, однако, не перевернулся от неожиданного для всех соседей успеха отца.

В Переделкине нельзя проснуться знаменитым, если не был им до вселения сюда.

Если же нет, то изволь просыпаться знаменитым в течение не одного года — и тогда, может быть (может быть!), старожилы, знаменитые задолго до самого проекта дачного поселка для избранных, примут тебя наконец за своего.

До войны, когда никаких успехов, кроме киношного, отец не знал, ко времени моего рождения славные обитатели Переделкина превратились для моих родителей в хороших знакомых.

Неужели так много и тогда значило бытовое благополучие,

машина и так далее?

Пастернак своим летящим в размахе линий почерком благодарил мою матушку запиской за то, что подвезла она на машине сына Леню с няней.

В гостях у родителей за вечерним чаем или выпивкой перебывали все признанные классиками переделкинцы.

Но я никого из них у нас на дачном участке не видел, когда что-то стал понимать, ко второй половине сороковых — началу пятидесятых годов.

Зимой пятьдесят седьмого или пятьдесят восьмого шел я с отцом, и встретили мы Леонида Леонова, тот гулял с поэтом Степаном Щипачевым. По тому, как поздоровался с отцом Леонов, совсем не похоже было, что приходил он к нам до войны (а он приходил). Зато Щипачев просиял при виде отца, радостно сообщив, что только вчера вернулся из Америки, где, в частности, познакомился с издателем, который выпустил книгу Нилина. На лице Леонида Максимовича выразилось чувство, что не ревнует он, конечно (много чести), но ему просто стыдно за американских издателей, которые издают черт-те что.

Однако в дневнике отца за шестьдесят второй год наткнулся на запись, как возвращаются они вместе с Леоновым из ЦК партии, где писатели встречались с каким-то большим начальством, — и ведут вполне дружески-философский разговор о том, что в нашей стране происходит. После вызова в ЦК они уже вроде бы люди одного круга, хотя, если не ошибаюсь, Леонид Максимович беспартийный, а отец во время войны вступил в партию.

Есть основания предполагать, что успех отца нашей семьей преувеличивался — и я, этот разговор сейчас затевающий, выгляжу всего-навсего лицом, заинтересованным в долгой известности своего родителя.

Нас, родственников, можно понять.

Я пробую сейчас представить, как сложилась бы жизнь отца (и всей нашей семьи), откажи ему тогда “Знамя” в публикации.

Оправился бы он после третьей за десятилетие неудачи?

Иногда мне кажется, что психика его бы не выдержала.

Но и предполагаю, что, не будь того успеха (нами, как теперь кажется, преувеличенного), дальнейшая писательская жизнь отца сложилась бы лучше: он больше бы сочинил, не скован бы оказался ожиданиями от него шагов именно в том направлении, какое он своей книгой обозначил.

Книгу отца в ретроспективе заслоняет непременностью упоминаний “Не хлебом единым” Дудинцева.

Я за прошедшие более полувека два или три раза перечитывал “Не хлебом единым”, ничего к первому впечатлению — на четыре с минусом — не добавив, а отца — именно “Жестокость”, эту наиболее известную его вещь, — так никогда и не перечитывал из-за нескольких абзацев, которые отец и тогда, когда отдавал рукопись в журнал, откровенно называл понтами, наведенными для прохождения цензуры.

Преимущества книги Дудинцева можно находить в том, что она подверглась гонениям. Но замечу, что, не напечатай ее терявший при началах Хрущева свое прежнее влияние и тем не менее главный редактор “Нового мира” Константин Симонов, романа бы и не существовало (о самиздате тогда еще не слышали — и не слишком ли просоветской показалась бы она для самиздата?).

Точно так же, не пробей сменивший Симонова в “Новом мире” Александр Твардовский публикацию Солженицына, неизвестно еще, состоялся бы Александр Исаевич в том масштабе, в каком состоялся, — и состоялся бы вообще?

Должно было время пройти, чтобы репутация (репутация, заметьте, а не условия, необходимые писателю для продолжения литературных занятий) стала больше зависеть от самиздата, чем от официальных изданий. И все равно, назовите мне писателя, который не хотел бы официальных изданий (с их тиражами) у себя на родине!

Отец потом спрашивал Вадима Кожевникова (он тоже жил в Переделкине):

— Вадик, а как ты решился меня напечатать?

Вадим изображать смельчака не стал — подмигнул: “Я кое-что уже знал”.

Знал, надо полагать, кое-что о происходившем наверху, ну и правило Охлопкова вряд ли осталось ему неизвестным.

Кожевников не был чужд некоторого редакторского авантюризма — для чего и завязывались связи наверху, связи для расширения трехминутной щели (когда другим журналам нельзя, а твоему вдруг можно, только в благодарность за такие разрешения печаталось много всякого дерьма).

Кожевников попал в начальство примерно в то же время, что и Симонов, блеском и славой Константина Михайловича не располагал, но с пользой для себя съездил по заданию верхов в Китай — и вообще с войны входил в редколлегию “Правды”, а затем и в секретариат Союза писателей, возглавляемый Фадеевым.

Журнал “Знамя” Кожевников получил после Вишневского. Но журнал под эгидой политуправления армии после войны популярность утрачивал, от “Нового мира” отставал.

Потому и схватился Кожевников за “Жизнь и судьбу” Гроссмана, что рассчитывал, своими связями заручившись, вставить фитиль не любившему его со времен войны Твардовскому.

Отец рассказывал мне, как пошли они втроем в гости к знакомому Твардовского, генералу, выпивали там — Твардовский стал читать им не опубликованного еще “Василия Теркина”, главу “Переправа”, и Кожевников был уязвлен какой-то его репликой насчет не очень-то и больших его, Кожевникова, способностей (отцу Александр Трифонович великодушно сказал: “В тебе хоть что-то есть, но Вадик-то вообще никакой…”).

Кожевников помнил, как отрекался Твардовский от Гроссмана при Сталине (тем не менее Гроссмана опубликовав) и как потом им с Фадеевым было неловко, что они согласились с критикой романа, который на самом деле им очень нравился.

Но возможности Гроссмана Кожевников недооценил — и, начав читать новый роман, ужаснулся.

Не только тому ужаснулся, о чем впервые рассказал столь правдиво Василий Семенович, а, главное, тому, что понял, во что обойдется ему и его журналу не намек даже на возможность публикации, а сам факт, что роман оказался у них в редакции.

И сделал единственно возможный спасительный ход: сдал Гроссмана, оправдав себя перед верхами, — роман оказался в ЦК и КГБ.

Прошло не больше года после истории с Гроссманом, как Твардовский в “Новом мире” напечатал Солженицына.

Что же? Ситуация снова изменилась — наступили, как всегда жданно, но негаданно, три минуты послаблений — и редактору Кожевникову волосы на себе надо было бы рвать за свой поступок — не из раскаяния, конечно (начальство не ошибается, даже ошибившись во всех своих делах), а из-за редакторской промашки: “Новый мир” опять был на несколько голов впереди.

Нет, Кожевников мог спокойно спать у себя на даче по улице Лермонтова в Переделкине: на великий роман Гроссмана правило трех минут не распространялось.

Я и такое слышал: “Убери из «Жестокости» выстрел — и ничего примечательного в ней не останется”.

Но выстрел был изначально и в старом рассказе — выстрел

комсомольца в себя из-за любви (он и назывался “О любви” — у Фадеева, кстати, тоже был под таким названием рассказ или, может быть, отрывок из чего-то, опубликованный после смерти автора в “Юности” Катаева).

Никто тогда ни выстрела не запрещал, ни рассказа не запомнил.

В культовой, как теперь говорят, книге “Как закалялась сталь” Павка Корчагин в минуту малодушия, как считает Николай Островский (и вслед за ним все изучающие “Сталь” по школьной программе вынуждены считать), наставляет на себя револьвер.

Но в том-то и фишка, что не стреляет, а произносит монолог, в мое время многими заученный наизусть, о том, что жизнь человеку дается один раз и надо прожить ее так, чтобы не жег позор за какое-то там прошлое. И чтобы, умирая, мог сказать — видите, и я через столько лет почти наизусть помню монолог Корчагина, — что все твои силы отданы борьбе за освобождение человечества (последних слов в точности не помню, пересказываю смысл).

Вместе с тем трудно не заметить, что поводом для отмененного в итоге ухода из жизни Павки стал его личный недуг, грозящая ему, как и Николаю Островскому, неподвижность, а не что-либо другое — и уж ни в коем случае хоть какое-то несогласие с происходящим вокруг.

Позор за происходящее не жег.

А что было делать молодому и здоровому герою отца, которого нестерпимо жег позор — за ложь, с которой начиналась (и ею же бесконечно и продолжалась) борьба за мифическое освобождение?

Жившая переводами, не имевшая никакой надежды опубликовать оригинальные произведения Мария Сергеевна Петровых пишет стихи, посвященные любви своей к Фадееву: “Назначь мне свиданье на этом свете…” (я каждый день повторяю строчку оттуда: “Пусть годы промчатся в круженье обратном”).

Ахматова считала “Назначь мне…” шедевром лирики XX века.

И не получится ли так, что великолепный в подсиненной своей седине и прижизненной славе Александр Александрович Фадеев останется в истории литературы как герой лирики Марии Петровых?

Отцу в последней его квартире на “Аэропорте” (семидесятые завершались) приснился Фадеев.

Как при сновидениях и положено, времена совмещались — то

ли настоящее с прошедшим, то ли (что скорее всего) прошедшее с исчезающим настоящим.

И отец сказал из настоящего: “Саша, ты же умер?”

“А думаешь, ты не умрешь?” — засмеялся своим смехом Фадеев.

II. Лауреаты

Глава первая

1

Впервые — впервые вообще и впервые вблизи — я увидел Константина Симонова зимой скорее сорок пятого, чем сорок шестого.

Он был в сурово-синих офицерских бриджах (или, как мы тогда говорили, галифе). Вряд ли через год после войны Константин Михайлович продолжал носить военную форму.

Итак, будем считать, что стояла зима сорок пятого.

В галифе, голый по пояс, Симонов обтирался снегом возле крыльца своей (арендованной) дачи, где он занял второй этаж; на первом оставалась семья погибшего в сорок втором Евгения Петрова.

По-моему, той зимой я бывал на соседней даче (с ней нас ничего не разделяло, забор-штакетник поставили позднее) чаще, чем сам арендатор. У него, все биографы Симонова слова мои подтвердят, тогда хватало дел, а на следующий год их стало еще больше.

Я приходил обычно по утрам к его пасынку, сыну нашей кинематографической звезды Валентины Серовой и героя-летчика Анатолия Серова, погибшего на испытаниях перед самой войной, Толе Серову. И целыми днями мы (недели две подряд) играли в очень странную игру.

Сюжет игры был следующим.

Шофер задавил маму товарища Сталина — и товарищ Сталин вызывает его для объяснений.

Мы с Толей родились перед войной: он в тридцать девятом, я в сороковом, — и никаких фильмов о вредителях (или, как бы сказали сейчас, террористах) мы увидеть не успели — мы вообще не видели тогда никакого кино; допускаю лишь, что Толю, как сына актрисы и внука актрисы, мать приводила за кулисы. Но и не он придумал пьесу. Правда, в качестве актера-исполнителя обеих ролей (мы играли Сталина и шофера строго поочередно) он бывал инициативнее.

В Толе, сразу скажу, больше было, чем во мне, отчаянности, что ли… Помню, как он украл утенка у Треневых — и сын автора “Любови Яровой” Виталий Константинович гнался за Толей с таким лицом, что при воспоминании мне до сих пор делается страшно. Поняв, что Виталий все равно его догонит, мой партнер

Толя оторвал утенку голову — и швырнул остатки птицы в кусты, чтобы все равно досадить ее хозяину. На это я и сейчас не был бы способен.

А в игре шофер оправдывался перед товарищем Сталиным, доказывая, что предпринял при езде все меры предосторожности.

Сталин же говорил, что нет, не все — можно (да и нужно) было ехать еще осторожнее.

Для товарища Сталина в нашем спектакле самым главным было докопаться до истины.

Но Толиному дедушке спектакль не понравился — и он отсоветовал нам играть его дальше. Теперь я понимаю, что этот старик с военной выправкой, заменивший будущему знаменитому писателю отца, был мужем мамы Константина Михайловича. То есть отчимом отчима. В Толиной родне, возникавшей эпизодически на зимней даче сорок пятого года, мне разобраться было нелегко. Спасибо, что запомнил (иначе какие бы *мемуары соседа!) совсем уж редко бывавших там Валентину Васильевну Серову и Константина Михайловича Симонова.*

Вот сейчас — с незажившей обидой — вспомнил маму Серовой, тоже актрису, и очень известную, в дальнейшем народную артистку СССР Клавдию Половикову (по-моему, она служила у Охлопкова). Толя называл ее “роднулей” — значит, ориентировался в бабушках, понимал, что мама Константина Михайловича ему не родная, хотя Симонова при мне называл папой.

Народная артистка (а Валентина Васильевна так навсегда и осталась заслуженной) приехала на дачу, чтобы провести Толин день рождения — это было уже летом, — и привезла из Москвы детей, достойных быть участниками праздника. Меня — партнера и товарища будней — не пригласили.

На следующий день Толя пришел ко мне как ни в чем не бывало — и посетовал: “Это все роднуля”. Я был на год моложе, не научился еще держать зла и обид и готов был тут же вручить соседу заранее приготовленный подарок — игрушечный грузовичок в коробке. Но тут уж вмешалась моя бабушка, упрекнув меня в отсутствии самолюбия.

Через много-много лет, когда Толи не было на свете (он рано сгорел от вина), я читал приготовленные биографом Симонова Лазарем Лазаревым к публикации “Записки человека моего поколения” о встречах Константина Михайловича со Сталиным — и вспомнил сразу же наш с его пасынком спектакль.

И подумал, что по историческому контексту — не по художественным, разумеется, достоинствам — он пусть и отдаленно, но сопоставим, пожалуй, с тем, в каком возникли

самые знаменитые стихи Константина Михайловича “Жди меня”.

Из переделкинского народа никто тогда, кроме Фадеева, не имел возможности непосредственного общения с товарищем Сталиным, которое в пору наших с Толей драматических опытов выпало Константину Симонову.

Увидел бы одним глазком наш спектакль товарищ Сталин, что бы он подумал? Придворные драматурги — наши дачные соседи Вишневский, Погодин, Николай Вирта — от официоза на подобное расстояние не отступали. Разве что Вирта в “Сталинградской битве” додумался до гэга, когда в самый трудный час войны — немцы под Москвой — к Сталину в Кремль является, словно мимо шел и заглянул на огонек, старый друг — и вождь с ним совершенно откровенен, ему необходимы совет и поддержка друга.

Мы с Толей интуитивно двигались в том же русле.

Но ведь спектакля так и не видели ни отчим, ни мама Толи.

Единственным зрителем стал боевой офицер, полковник еще царской армии Иванишин — герой поэмы Симонова “Отец”. Слава впервые (но далеко не в последний раз) обошла меня.

А Толю — пусть и посмертная — слава еще ждала.

Уже в двадцать первом веке на телевидении, вопреки возражениям родни (фамилии героев пришлось прозрачно заменить на Седову и Семенова), сняли шестисерийный игровой фильм о семье наших послевоенных соседей.

И Толя там — один из эпизодических персонажей.

Да так оно и было — в героической (я не иронизирую, я имею в виду прилюдную, как на подмостках, историю этой пары) жизни актрисы Серовой и поэта Симонова Толя оставался персонажем эпизодическим.

Фильм был выстроен с креном в сторону Валентины Васильевны — не биографически даже, а душевно. Рядом с женским ее миром писательский мир Константина Михайловича выглядит беднее, ординарнее, рациональнее.

Женский мир изобразить в кино легче — есть огромный опыт проб, есть верняковость наработанных приемов, есть необоримый соблазн приводить все поступки к знаменателю мелодрамы.

Мир писательства во внешнем изображении не нуждается, не может и не должен становиться натурой для кинематографа.

Чистая биография — пожалуйста.

Но я сейчас вспоминаю — и не претендую на синопсис очередного сериала.

И мне, как это ни странно самому, мир Константина Симонова интереснее, чем мир Валентины Васильевны, притом что вообще-то женский мир интересует меня всего больше — и при других обстоятельствах безоговорочно отдал бы ему

предпочтение.

Между тем у меня очень мало общего с восторженными почитателями Симонова, с теми, кто поделился с ним воспоминаниями, составившими, по-моему, солидный том.

Восторгов у меня нет, а интерес был и остался.

Вспоминавшие о Константине Михайловиче говорят скорее не о нем (то ли не слишком глубоко поняли, то ли не смогли, то ли не захотели понять, что бывает удобнее и для собственного душевного комфорта, когда зависит он от соблюдения субординации, приравненного к законам природы, — и может быть, правильно приравненного, но не скучно ли при этом нам будет жить?) — говорят, вернее, не о нем, а о произведенном Симоновым на них впечатлении.

Очень похожая (или даже в точности похожая) ситуация произошла и с Александром Фадеевым.

Но у Фадеева мало текстов — и впечатление от него вынужденно превращается в текст, поскольку не осталось ничего равнозначного ему на бумаге.

У Симонова же текста на десять с лишним томов. К тому же стихи его очень легки в запоминании. Я иногда с некоторой досадой обнаруживаю, как много строчек поэта Симонова знаю наизусть.

Досада же возникает из-за того, что в силу особых обстоятельств нашей жизни я узнал стихи Константина Михайловича в детстве, когда память ничем другим не была занята.

А Мандельштама в полном объеме я получил возможность прочесть годам к сорока.

И, понимая умом (или чем там еще надо понимать такие вещи), что для меня жизненно важно, важно для всего дальнейшего моего развития вместить в себя как можно больше звучаний Мандельштама, соединения незаемных слов, войти всем сознанием в его поэтическую речь, я ощущал с угнетающей это сознание печалью, что "переогромленности всем" мне уже не вынести — нет в памяти (а вдруг и в душе?) чистого листа.

Но не Симонова же это вина? И до конца ли моя? Я мог узнать Мандельштама и раньше доступных всем публикаций. Но то ли умственная лень (хотя она меня вообще-то меньше тормозила, чем физическая, биологическая), то ли желание быть как все, а вернее, страх быть не как все, отдалили от меня Мандельштама.

У Симонова текста много, но лучше всего удался ему свой образ — не на страницах книг, а в той жизни, которая все равно теперь кажется приснившейся.

Кому-то она видится страшным сном, кому-то наоборот. Но в

любом случае, прикасаясь к ее реалиям (во многом исчезнувшим, а вместе с нашим исчезновением они исчезнут и совсем), мы вынуждены иметь дело со снами.

Дважды в одну реку войти нельзя.

А в сон — кто пробовал?

Бытовое воспоминание о первых встречах на дачном участке что с Константином Михайловичем, что с Валентиной Васильевой все равно становится образом, оставшимся в сознании. И если с обтиравшимся снегом Симоновым это превращение объяснить проще, то с героиней стихотворения и фильма “Жди меня” несколько сложнее — я, кстати, не читал тогда стихотворения и не видел тогда этого фильма (мой первый фильм с ее участием — “Глинка”, где, к своему удивлению, увидел и “роднулю”; я и не знал, что она артистка, и тем более не знал, что поставил картину мой будущий наставник по Высшим кинематографическим курсам Лео Оскарович Арнштам).

Я стоял у них на участке возле бочки с дождевой водой, чем-то уже перемазанный, и Серова спросила: “Чего же ты такой грязный, как поросенок?”

Я не знал, что ответить, засмотревшись на вырез ее кофточки в горошек — и помню вырез Валентины Васильевны почти семьдесят лет. Симонов, по-моему, про какую-то другую, еще до Валентины Васильевны, даму написал, что “вырез кончался как запретная черта”. Стихи я прочел позднее, тогда же обратил внимание на неуклюжесть формулировки (не может вырез кончаться, как черта, тем более запретная), но тотчас же вспомнил вырез на кофточке Серовой — и не мог не подумать, что и для раннего эротического воображения нет никаких запретных черт. Запреты есть, а черт нет.

Но в остальном линия судьбы — судьбы советской кинозвезды — короче; и понятнее, почему короче, чем та же линия у Симонова.

Судьба казавшейся себе всегда независимой Валентины Серовой оказалась в самой прямой зависимости от одного стихотворения Симонова.

Самим присутствием в жизни Симонова Серова подвигла его на такое стихотворение — на самые знаменитые его строчки, сделавшие Константина Михайловича в ту же минуту (или, может быть, сказать строже, на ту минуту) конкурентоспособным любому из лучших среди живущих одновременно с ним стихотворцев.

Но судьба все равно не стала бы судьбой, не вмешайся в нее

высочайшая воля.

Недоброжелатели Симонова — у отца моего есть запись к будущему сценарию, что должен быть в нем персонаж, "которому бы все завидовали, как сегодня все завидуют Косте Симонову", любили пересказывать слова товарища Сталина о том, что стихи Симонова надо издавать в двух экземплярах: "Один экземпляр ей, другой — ему".

Но взятая Сталиным после этой разошедшейся устно шутки минута на размышление привела его к решению напечатать стихотворение "Жди меня" в "Правде".

Многомиллионный тираж главной газеты в течение все той же минуты решил дело.

Если вынуть это знаменитое стихотворение из контекста войны, ничего не поймешь. Что значит "Жди меня"?

Маршалы — Жуков или Рокоссовский — думают о том, как им, допустим, загородить фланг, сколько народу для этого понадобится — тысяч тридцать хватит или мало?

Люди, которыми закроют фланг, стратегически обречены — и вдруг "Жди меня". Не нас всех, что невозможно (и не было бы в просьбе такой и капли искренности). Но вместе с тем никто не запрещает каждому молить разрешенного на время войны Бога, чтобы ждали, — и человек вопреки реальности вернется. Симонов заменяет Бога женщиной, чем расширяет аудиторию предельно. В Бога не все веруют, а в женщину попробуй не поверь, особенно когда идет такая война.

"Жди меня" — человек не хочет погибнуть, не хочет умереть, а хочет, чтобы его ждали из боя.

Он умрет, но никто не запретит ему надеяться, что его все равно ждут.

Сталин принял неожиданное решение сделать государственной (государственно значимой) эту подлинную лирику (знаменитую женщину, призванную сыграть в кино всех женщин, вместе взятых, иначе звезде и не положено, Симонов убеждает ждать не кого-то вообще, а лично автора).

Сталин, возможно, представил себе Валентину Серову (он же все ее фильмы видел, а выпуск в прокат "Сердец четырех" даже задержал: несвоевременно перед самой войной) — и кивнул мысленно, похвалил себя за сообразительность, затянувшись трубкой.

Но прелестная, грешная, по природе своей обворожительно неверная, живущая переменой увлечений и в искусстве отношений с мужчинами, возможно, более талантливая, чем в искусстве лицедейства, Валентина Серова должна теперь была нести крест верности за всех женщин, ждущих мужей с фронта, стать для

всей страны легендой женской верности, ее символом — отныне она, как в тереме, заперта в знаменитом "Жди меня", заученной солдатами словно "Отче наш".

Опять апокриф — я уже сознавался в том, что в разговоре о Сталине нам без апокрифов не обойтись. Когда верховный главнокомандующий узнал, что у второго по разрешенной им популярности маршала — Константина Рокоссовского — роман с героиней "Жди меня", то спросил: "Константин Константинович, вы не знаете случайно, за кем замужем актриса Серова?" Дважды Герой Советского Союза к тому времени ответил прямо: "За поэтом Симоновым". "Вот и я что-то тоже об этом слышал".

А что Симонов? А Симонов, по мнению своих почитателей, повел себя благородно: привез на фронт и передал Рокоссовскому письмо от Серовой.

Почитателей, вникни они в судьбу Симонова (и судьбу Серовой, конечно), должно бы было огорчить, насторожить даже совсем другое.

В конце концов, измена — такая же составляющая любви, как и верность.

Для Лермонтова неверность возлюбленной вряд ли послужила бы причиной прекращения сочинять стихи.

Симонову было тридцать лет — все наиболее известные свои стихи он сочинил за военные годы. Раннее взросление Симонова (он и впечатление старика стал производить вскоре после пятидесяти, красивого, богатого, знаменитого, но старика, не очень хорошо на одно ухо и слышавшего) склонило его к суровой (он же всегда писал про войну) прозе — и дальше он был в основном романистом (иногда, но уже много реже, чем прежде, драматургом).

И все-таки странно, что ни строчки в стихах не появилось о случившемся в их известной на всю страну семье.

Сочинил же он стихотворение, не столь известное, как любовные стихи, посвященные им Серовой, где после долгого перерыва снова обращается к ней, чтобы сказать Валентине Васильевне, что больше ее не любит и потому вообще стихов больше не пишет.

2

Была у Симонова редкая для писателей особенность.

Ее подметил биограф Константина Михайловича Лазарь Лазарев, раненный на фронте и занявшийся, когда пришел с войны, критикой, литературоведением, в том числе изучением творчества Константина Симонова.

Казалось бы, сам воевавший, Лазарев должен был ревновать свою солдатскую (вернее, офицерскую, но в таком чине, когда от солдатской она неотличима) войну к войне корреспондентской, где немало времени проведено и в штабах, и в ставках командующих, и в дружеских застольях с генералами и маршалами. Симонов никогда и не скрывал, что восхищается людьми власти, имеющими право посылать людей на смерть, — “проволоку молча прогрызая, по снегу ползут его полки”, а сам генерал Батов, чьи полки прогрызают проволоку, позволил себе улучить минуту — и прослушать южную пластинку, вспоминая испанскую девушку, которую любил, когда воевал в Испании; Симонову нравится, что выходит он из блиндажа (“Что ж, пора. Поправив автоматы, встанут все”) продолжать войну вместе с военачальником, наделенным не только властью, но способного на чувства к женщине, такие же, на какие и он, Симонов, способен.

Нет, не ревновал войну к Симонову Лазарь Лазарев — признавал превосходство и первенство Симонова.

И все же подметил очень существенную писательскую особенность Симонова. Лазарев рассказывал, что, когда увидел Симонова впервые, удивился, до чего же тот похож на своих героев. Но когда познакомились они поближе, критик понял, что многое от героев Симонов в себя привносит. Поняв, что понял больше, чем полагалось ему понимать, раз взялся быть присяжным исследователем, Лазарь спохватывается — и добавляет, что привносит он в себя от героев многое для того, чтобы стать еще лучше.

Но русская литература примеров для подражания не пишет, и в этом ее главное отличие от литературы советской, которой обязательно нужен образец, предмет для восхищения — и скажем прямо: литература примера приносила нашим писателям успех, а Симонову еще и славу свидетеля, с натуры писавшего свои портреты генералов. Он не кривил душой, он был в самом искреннем от них восхищении — и сумел это восхищение передать. Другой наш сосед, очеркист и тоже сталинский лауреат Борис Агапов, начинавший как поэт в группе конструктивистов у Ильи Сельвинского, тоже жителя Переделкина, к стихам Константина Михайловича (уже на политические темы) относился строже остальных — и записал в дневник: “Костя читал стихи, и весь зал был в восторге. Я подумал, может, Костя знает то, чего я не знаю. Но потом я подумал: а может быть, Костя не хочет понимать большего, чем понимают все эти люди?”

Знал бы я, что Агапов еще в сороковые годы выскажет мысль, объясняющую причину большинства литературных успехов,

присмотрелся бы к нему внимательнее. А так — только и помню человека с большой лысой головой, не казавшегося мне особенно приветливым. С другой стороны, стал бы он со мною откровенничать? Да и некорректным всегда кажется, рассуждать о причинах успеха знаменитого писателя, если знаешь пути к успеху, но сам по ним далеко не продвинулся. Кто же станет всерьез слушать тебя, а не того же Симонова, не пожелавшего понимать больше, чем способны усвоить читатели.

Гоголь вынимал из себя и Манилова, и Ноздрева, и Собакевича, да и вообще всех, включая Хлестакова. Ну и кто же хочет узнавать в себе Ноздрева? Вообразить себя героями Симонова читателю куда более лестно.

Серова и Симонов на том и разошлись, на чем сошлись.

Валентина Васильевна и любила — неизменно, начиная с Толиного отца, Героя Советского Союза Серова, соперника Чкалова, — всегда успешных, брутальных мужчин (у нее и в театре романы были возможны с артистами на роли героев). И молодой Симонов, все делавший, чтобы стать неотличимым от мужчин подобного победительного типа, некоторое время — и с такими-то стихами — ей соответствовал.

Возможно, не стань ее военным избранником Рокоссовский, ревность бы душила Константина Михайловича — и ей (точнее, им обеим — ревности и Валентине Васильевне) он мог бы быть обязан новым прорывом в поэзии. Отвлекся бы от героической ноты ради возродившейся лирической.

Но при Рокоссовском этого не смогло произойти: Рокоссовский был типичным симоновским героем, и Симонов не сумел почувствовать того, что почувствовал бы к герою другого романа.

Когда Серова и Симонов жили в послевоенном Переделкине, они наверняка бывали на фадеевской даче — и мне кажется очень интересным представить возможную встречу двух жен-артисток.

Жена Фадеева Ангелина Осиповна по типу своему никак не годилась ни на роль девушек с характером, ни на роль чуточку недотепы-математика, возлюбленной американизированного офицера в исполнении героя из героев Евгения Самойлова. В кино артистку Степанову в молодости вообще не снимали — красавиц, социально не заземленных, советскому экрану не требовалось.

Вроде бы все преимущества молодости, славы, восходящей литературной звезды были и на стороне мужа Серовой — Константина Симонова, уже выходившего на партийно-административный ранг Фадеева.

Но на стороне Ангелины Осиповны была профессия.

Я знал и знаю не так уж мало великолепных актрис, пивших и пьющих никак не меньше Валентины Васильевны — и тоже не всегда без неприятных последствий, — однако никто из них почвы профессии под собой не утрачивал. Театр и свое положение в нем оставались всего главнее — и водки, и мужчин (в конечном счете).

Ангелина Осиповна не пила, не курила, всегда оставалась в форме — и на сцену выходила до девяноста лет, все более и более наращивая за годы, когда осталась без Фадеева, свое влияние внутри театра.

И вот что уж совсем было удивительно для привыкших к правильному образу народной артистки СССР, секретаря парткома, привлекаемой и в партийные инстанции повыше, — и в лирической линии она Серовой не так чтобы очень уж уступила: вышла книжка ее любовной переписки.

Симонов и лучшую (и не только по моему мнению) свою прозу написал к тридцати годам — времени, когда увидел я его, обтиравшегося снегом. Я, как и многие, узнал о “Разных днях войны” много позже — и тем не менее думаю, что эти строго документальные записи ближе к поэзии Константина Михайловича его военных лет, чем ставшая затем очень популярной проза: на мой опять же взгляд — это удачная беллетризация записок близко увидевшего войну человека, в минуты регулярных записей еще не знавшего, вернется ли он с этой войны.

Я бы не хотел выглядеть здесь эдаким критиком того, что сделал Симонов после войны, за последующие четверть века жизни в литературе.

Я вообще противник осуждения того, что по своим спортивным ассоциациям (они мне ближе литературоведческих) назвал бы эффектом Бимона.

Уж не помню, на каких из Олимпийских игр (судя по тому, что служил я в агентстве печати “Новости”, произошло это до семидесятых годов, скорее всего, на играх в Мехико шестьдесят восьмого) чернокожий прыгун в длину из Соединенных Штатов Америки Роберт Бимон совершил прыжок, сразу же сделавший усилия всех с ним соревнующихся бессмысленными. Никто, включая самого Бимона, не способен был и сколько-нибудь заметно приблизиться к результату, на долгие годы ставшему недостижимым рекордом мира: восемь метров девяносто сантиметров.

К нам в агентство — рассказать про Олимпиаду — пришел ее участник Леонид Барковский. Он тоже прыгал там в длину — и

до восьми метров наш гость недопрыгивал. Но вместе с ним за Советский Союз выступал и всемирно известный (со своим рекордом восемь, кажется, тридцать пять) Игорь Тер-Ованесян. Позднее Тер-Ованесян сказал надолго запомнившуюся фразу, что “результат (больший, чем удавался прежде) сидел во мне”. Тем не менее, подавленный невероятным прыжком американца, он прыгнул за восемь метров, но недалеко за восемь.

Удрученный неудачным выступлением своих коллег, Барковский бросил неосторожную (сейчас сказали бы, неполиткорректную) фразу, что лучше бы черные соревновались отдельно — и только между собой.

Наш главный редактор Спиридонов не сразу уловил смысл высказывания гостя редакции — и попросил меня как сотрудника к спорту близкого уточнить, что он хотел этим сказать. Я немедленно перевел начальнику, что пожелание физкультурника равносильно тому, чтобы в шахматных турнирах выступали одни евреи.

Главный редактор сразу замкнулся: вслух про евреев принято было у нас говорить только в отделе кадров, и то за притворенными дверями.

Бимон же и после выступал в соревнованиях — и прыгал не дальше других фаворитов. Но какая разница? Рекорд, в отличие от большинства менее ошеломляющих рекордов, оставался в истории — и всю Олимпиаду вывел за скобки прежних представлений о человеческих возможностях.

Мне кажется, что подобные прыжки возможны и в иных областях применения человеческих сил.

Не прыжок ли, например, Бимона первая часть “Тихого Дона”?

Я против того, чтобы мы, обыватели (или менее удачные коллеги рекордсменов), злорадствовали, что за остававшуюся после рекорда жизнь рекордсмен себя больше не проявил или проявил себя менее выразительно.

Для истории (истории литературы или искусства уж точно) все равно, в каком возрасте достигнут оставшийся в ней результат — вундеркинд ли себя проявил или ветеран, от которого никто уже ничего не ждал?

И все равно не избежать интереса — праздного ли, имеющего ли какие-нибудь важные последствия — к судьбе того же писателя, художника, к тому, как распределились в его биографии зоны выговоренности или, напротив, молчания.

Мне вполне хватило бы того, что поэт (и не ушедший еще из поэзии прозаик) Константин Симонов сочинил до своего тридцатилетия, совпавшего с окончанием войны, сделавшей

Симонова тем Симоновым, которого все узнали. То, что Симонова сделала Симоновым война, — такое же общее место в разговоре об этом писателе, как и в разговоре о Погодине как о богаче. Хотя не думаю, что Симонов был беднее Погодина. Но это уже действительно не мое дело — превращаться в кассира для пересчета денег Погодина. И Симонова.

Симонова при Сталине покритиковали ощутимо лишь однажды за “Дым отечества” — и то тут же высунулся с эпиграммой какой-то, не помню кто, недоброжелатель: “Ты был богат, красив и молод, все было, слава, молодечество, но что такое слава? Дым неблагодарного отечества”. Эпиграммист ошибся: Симонову, как и Фадееву, критика славы не убавила, имя критика угадывалось — и критик тут же подсластил свое замечание еще тремя лауреатскими медалями. Константин Михайлович трудностей с деньгами не испытывал.

Мне запомнился разговор в доме (высотном, что было тогда в новинку) на Котельнической набережной у кинорежиссера Леонида Лукова. Меня с младшим братом специально привели — показать квартиру в доме, где из окна видно чуть ли не наше Переделкино; на такую высоту поднимались преуспевавшие тогда люди.

Луков педагогически показал отцу золотые часы, подаренные ему сценаристом фильма “Донецкие шахтеры” Борисом Горбатовым на день рождения, с выгравированной остроумной надписью: “В день Возрождения”.

При нас, детях, велись взрослые разговоры — я услышал от Лукова, что Борис (так называл он Горбатова) выходом фильма исправил свое материальное положение. А то пришлось ему занимать пятьдесят тысяч у Кости (так называл режиссер Симонова, он собирался вместе с ним снимать картину про железнодорожников, но почему-то не осуществился этот смелый замысел) — и Костя, одалживая деньги другу (у Симонова и стихи есть на смерть Горбатова: “Умер друг у меня, вот такая беда”), спросил все-таки: “А если фильм не выйдет?” “Тем хуже для тебя”, — ответил остроумец Горбатов.

Повторив общее место о том, что Симонова Симоновым сделала война, продолжу свою мысль и цитатой из его романа, где пишет он, оценивая события сорок третьего, если не ошибаюсь, года: “Впереди была целая война”.

Впереди у человека, полного сил, вознесенного признанием выше дома на Котельнической, была целая жизнь.

Но, видимо, опыт этой единицам доступной жизни показался ему несопоставимо беднее военной, если ни строкой он его не

коснулся.

Что-то другое, по-моему, лежит за этим.

Ограничусь признанием, что во всем опубликованном Симоновым после тридцатилетия мне как соседу (не по даче уже, а по времени, как говорил Юрий Трифонов, сосед Симонова по дачному поселку) не хватает эгоцентризма.

По моим наблюдениям, писателя писателем делает именно эгоцентризм, в котором простым смертным негоже сознаваться, а писателю даже положено.

За общественные заслуги Симонову в годы борьбы с космополитизмом (в которую он не мог не быть втянут как функционер, как видный литературный чиновник) разрешено было выглядеть (в те времена выглядеть считалось опаснее, чем быть) западником.

Я не видел его на улице Горького в чем-то сверхмодно иностранном, с несоветской стрижкой, что поразило Юрия Нагибина; я не видел его в редакции “Нового мира”, когда вышел он из кабинета без пиджака — брюки держатся на подтяжках, сидевших на главном редакторе так же ловко, как вчера еще — портупея, что молодому тезке Симонова Ваншенкину казалось американским стилем (возможно, фильм по симоновской пьесе “Русский вопрос”, поставленной сразу пятью московскими театрами, уже вышел на экраны и у Ваншенкина сложилось именно такое представление о внешнем виде американских журналистов).

Было еще, наверное, что-то иностранное в деталях одежды, когда приходил он в “Коктейль-холл”, но я не ходил тогда в “Коктейль-холл”. Я располагал лишь наблюдениями дачного соседа — и помню волнение соседей постарше, когда к Симонову приехал английский драматург Джон Пристли.

Дача Петровых — Симонова к нам выходила тылом, а фасад с верандой, как и у нас, впрочем, повернут был к лесу на участке. И потом на фотографии в какой-то книжке я видел Пристли у Симонова возле террасы.

У нас шла пьеса Пристли “Опасный поворот” — и воспринимали его коллеги-дачники как писателя с мировым именем.

Прекрасно помню разговоры, что у Симонова есть винный погреб — и я представлял себе, где он располагается.

Наши гаражи-сторожки стояли возле заборов — и забора от улицы, и забора, разделявшего участки, — спиной к стене. И у сторожек были тамбуры. Вот под тамбуром с той стороны и располагался винный погреб Симонова.

Когда Симонов съехал с дачи, я сейчас же пошел смотреть, что осталось от погреба, — и ничего, кроме битой пустой посуды, не увидел.

Ребенком я мало о чем в подробностях был информирован. Не то было время, чтобы лишним забивать детям голову, — и брякнуть могут, и на ненужные рассуждения раннее знание может навести.

Я не знал до девяностых годов, например, что дачу, куда во время войны вселили Константина Михайловича, занимал — еще до Евгения Петрова — Пастернак.

И поменял место дачного пребывания — переехал ближе к речке Сетунь — Борис Леонидович не случайно: не хотел жить рядом с домом репрессированного приятеля Бориса Пильняка, в чьем коттедже на первом этаже долгие годы жила наша семья.

Когда я узнал, что Симонов стал жить в том же доме, где жил Пастернак, я сначала пытался вообразить, что думал поэт Симонов, очутившись некоторым образом на месте Бориса Леонидовича (легко было догадаться, что возвышение Симонова пришлось на постепенную опалу Пастернака).

Теперь же мне кажется, что ни о каком Пастернаке он тогда вообще не думал — не занимал его вовсе Пастернак. Он думал о правоте дела, которым был занят, — и не отвлекался на мысли ни о чем довоенном (кроме, может быть, мыслей о Валентине Васильевне).

Заместитель Симонова по “Новому миру” Александр Кривицкий говорил про Пастернака: “Ну как же крупный поэт может, чтобы в стихах не было ничего о войне, о народе?”

Значит, не в стихах дело (хотя и в стихах: почти наизусть помню, как герой стихотворения Пастернака, увидев из машины зарево салюта, “шествует” потом “на пункт проверочно-контрольный узнать, какую новость чествуют зарницами первопрестольной”) — не в стихах, так в прозе: не станет же Кривицкий спорить с тем, что “Доктор Живаго” не о народе.

“Доктор Живаго”, между прочим, сочиняемый одновременно с политическим циклом стихов Симонова и началами его прозы, и столкнет Бориса Леонидовича с Константином Михайловичем в “Новом мире”, когда главный редактор исторически отклонит публикацию романа — и никогда от сознания правильности своего решения не откажется.

И в неприятии “Доктора Живаго” Симонов искренен — они с Пастернаком вроде бы в одной стране жили, но ощущали ее совершенно по-разному.

Я не раз по ходу рассказа о Симонове повторял — и повторю

еще, возможно, как много он работал (и это, кстати, тоже стало общим местом мнения о нем).

Но разве мало работал Пастернак?

Только вот замечаю, что, вспоминая Пастернака, мы говорим о стихах (и прозе, кто читал), а не об исключительном его трудолюбии.

3

Я думаю, и эстетически Пастернак Симонову интересен не был. Скорее уж, Владимир Луговской (потом описанный в “Двадцати днях без войны” с превосходством человека, храбро воевавшего, перед тем, кто не смог преодолеть животного страха, но все равно сочувственно, с любовью за прошлое, может быть). А из мировых знаменитостей — Киплинг, конечно.

В довоенном симоновском “Генерале” у венгра-генерала “в кофейнике кофе клокочет” — и это не отзвук ли киплинговского “солдат, учись свой труп носить, учись…” чему-то там еще. “Учись [вот к чему я] свой кофе кипятить…” забыл на чем (про генерала у Симонова помню лучше).

Конечно, ни в стихах, ни в прозе военного времени — никакого кофе от Киплинга. В русской армии кофе не пьют — представьте себе, что Василий Теркин после переправы станет пить кофе, а не попросит у начальника второй рюмки, раз переправлялся “в два конца”.

Симонов съехал с арендованной дачи в свою, купленную у Федора Гладкова на другом конце Переделкина — уже не в городке писателей, а ближе к резиденции патриарха и железной дороге; и расчет произошел (помню разговоры об этом в поселке) прямо перед денежной реформой — и Гладков, не успевавший распорядиться вырученной от продажи суммой, злился на Симонова.

Корней Чуковский огорчался, что писатели в Переделкине мало говорят на серьезные литературные темы, редко читают друг другу свои рукописи — у них в дореволюционной Коуоккале все было по-другому.

А Симонову такого рода общения не требовалось, он хотел обособиться — и не нравилось ему, наверное, жить на арендованной даче.

Вместо Симонова на второй этаж дачи въехал его друг Борис Горбатов — и жизнь этой семьи тоже проходила у меня на глазах. Но, кроме красавицы падчерицы Инги Окуневской (никогда ее

потом не видел), ничего про Горбатова обычно не вспоминаю.

Прозы Горбатова я не читал — только стихи Симонова, ему посвященные, и воспоминания сына Симонова Алексея Кирилловича, очень комплиментарно оценившего нашего соседа, совсем недолго прожившего напротив, — тот, наоборот, переехал ближе к Пастернаку, чуть ли не в дачу Афиногенова. Дома у нас Горбатов не бывал, хотя до войны они с отцом знакомство водили и Горбатов отцу написал вроде стихотворения: “Скажу тебе я наудачу, тебя погубит дача”. Моя матушка считала, что в сказанном довоенным Горбатовым свой резон имелся.

Я не связал с Горбатовыми свое сильнейшее впечатление от равноценной, в общем, Серовой кинозвезды Татьяны Окуневской.

Она мелькнула за штакетником — запомнились зубы необыкновенной белизны и слова нашей домработницы: “Какая интересная женщина!”

За это воспоминание Татьяна Кирилловна (ее чаще называли и люди заметно помоложе Татой) на меня очень сильно рассердилась при началах нашего знакомства: мне уже было за тридцать, а я сказал, что впервые увидел ее ребенком — и зачем напоминать о пугающей разнице лет?! Но я все же расположил ее постепенно к себе рассказом о детском соседстве. К тому же не стал спорить, когда ругала она Горбатова, а заодно и Симонова.

Тату Окуневскую чуть ли не в тот же год, когда увидел я ее, прекрасную, с нашего дачного участка, посадили.

Но на меня, могу теперь сказать, произвело большее впечатление исчезновение с того же участка дамы, ни облика чьего не помню, ни имени — а знал ведь и называл тетей… нет, вылетело из башки имя мамы Пашки Павлова.

Этот Пашка имел примечательное влияние на мое будущее своим враньем про футбол.

Он все лето не уезжал с дачи, но непрерывно рассказывал про футбольные матчи, которые якобы видел прошлым летом (а был он старше меня вряд ли больше чем на год).

В общем, врал не врал, но рассказывал он мне про футбол едва ли не талантливее, чем Синявский по радио. И, когда на дачу Пашку больше не привозили, я сделался достойным его последователем и преемником. Врал так, что кузина Жени и Павлика Катаевых Инна — девочка повзрослее меня, ученица хореографического училища (она и стала потом балериной) — просила: “Поври еще”.

Я запомнил маму Пашки Павлова из-за ее рассказа о том, как устроен сортир в самолете — реактивной авиации еще не было, самолеты летали низко.

И вдруг мне сказали, что тетю… ну убей забыл, как мы, дети, ее называли… посадили.

Тата написала мемуары с массой страшных деталей быта в заключении — и я, когда читал их взрослым, думал про маму Пашки Павлова, чье имя запамятовал.

После покупки Константином Михайловичем новой дачи я увидел Толю Серова в Москве во дворе своей школы.

Первым жильем Симонова как признанной знаменитости стал дом на Ленинградском шоссе — там, где впадала в шоссе наша Беговая улица. Дом в округе называли ажурным — лоджии дома полупрозрачно закрывала витая (вроде дикого винограда) лепнина. Жили за декоративным фасадом не последние в Москве люди — директор стадиона “Динамо” Буров, например.

Толя мог учиться в нашей сто сорок шестой школе (теперь в ней станция переливания крови) — рядом с кружевным домом была только женская. Но не учился — и зачем приходил к нам, не понимаю. Мы разговаривали с ним, как старые, но давно утратившие связь знакомые: в разговоре не чувствовалось заинтересованности.

Я долго не видел Толю, но слышал, что его перевели в Чоботовскую школу — это за станцией Переделкино. Школу, знаменитую мичуринским садом (о нем писала “Пионерская правда”). Мичуринским садом Анатолий Серов-младший не увлекся, продолжал куролесить, и не без озорной выдумки.

Кроме мемориального шалмана над прудом был еще и в рифму ему шалман возле железнодорожной платформы.

Однажды (впрочем, не уверен, что однажды) ученик шестого, кажется, класса Толя забежал перед школой выпить водки с пивком. И, как назло, не успел школьник поудобнее усесться за выпивкой, как вошла учительница — то ли случайно зашла, то ли увидела любимого ученика через окно.

Многие из нас на месте Анатолия растерялись бы. Но у Героев Советского Союза пугливых детей не бывает — и Толя, галантно приподнявшись со стула, пригласил учительницу разделить с ним угощение.

Следующей инстанцией Толиного воспитания стала колония под Нижним Тагилом — не так и далеко от города, носившего имя отца малолетнего нарушителя (Чкалов, кстати, переименован, а Серов — нет, чемпион мира по боксу Костя Цзю оттуда родом).

Возвращенный из колонии, Толя впервые после прерванного соседства пришел к нам на участок. И разговаривал со мною так, как будто мы расстались вчера. Он теперь носил очки (плохо

видел) — и рассказывал мне не про колонию, а про то, что первой его любовью была Наташа, принятая в семью Горбатовых девочка из Ашхабада (там в сорок восьмом году было сильнейшее землетрясение). Наташу эту я, конечно, видел и знал, но никак не мог связать с нею Толю.

Настоящего сына Константина Симонова Алексея я увидел намного позднее, чем Толю Серова, — мне лет тринадцать уже было. На чьей-то даче играли в пинг-понг. В отрочестве я старался подавить внутреннюю неуверенность привычкой язвительно разговаривать и цепляться к людям с замечаниями. Я увидел, что Алексей высовывает при игре язык, — и тотчас же сказал ему об этом. Тот ответил, не прерывая игры: “Ты думаешь, ты первый, кто это заметил?” И ответом своим очень мне понравился, пропала охота задираться.

Позднее, когда Алексей стал уже кинорежиссером, писателем и правозащитником, в своих воспоминаниях он изобразил Толю с меньшей симпатией, чем я сейчас попытался.

У Леши больше причин быть недовольным Толей, чем у меня, и вообще быть обиженным на то, что он у собственного отца бывал в гостях, а Толя находился там постоянно.

Справедливость, однако, восторжествовала: хорошо учившийся в школе Алексей, унаследовавший от папы исключительное трудолюбие, стал всем, как мне кажется, кем хотел стать. А избалованный писательский сынок Толя спился и рано умер.

И все же Толя даже после воспоминаний Алексея, где представлен нахрапистым, но без стержня в характере, вызывает у меня сочувствие.

Он не получил возможности распорядиться генами — с его зрением нечего было и думать про авиацию. А гуманитарий из него не получился — актерский ген мамы аукнулся в нем слабо.

Он женился на девушке из института кинематографии, сыгравшей в кино невесту Ивана Бровкина (был такой комедийный фильм про солдатика из колхоза, сыгранный Леонидом Харитоновым), — девушка потом училась на сценаристку, проявилась и в журналистике. Толя со своим пьянством ей разонравился.

Он дружил с культурными парнями — я о нем слышал от сказочника Сережи Козлова. Сережа рассказывал, как Толя привел его к отчиму на улицу Горького — протежировал Козлова как начинающего поэта. Сказочник вспоминает, что Константин Михайлович был в белой рубашке со множеством оттиснутых на ней черных бомбочек (атомных?) — и, просмотрев Сережины стихи, сказал, что ему нравится строчка: “Небо голубое, стая

голубей…”

Обиды Алексея можно понять, но все равно с детством ему повезло больше.

У Леши была очень умная мама (уважаемый в редакционном деле человек) — мне кажется, она и помогла сыну правильно выстроить отношения с отцом. Насколько я знаю, у повзрослевшего Алексея Кирилловича (он сохранил в отчестве настоящее имя отца, Симонов не выговаривал буквы “р” и стал называть себя Константином) сложились наилучшие отношения с Константином Михайловичем.

…После того пинг-понга у кого-то на даче я увидел Алексея Симонова уже в университете.

В день полета первого космонавта он увлек свой курс (или весь факультет?) института восточных языков за ограду университета.

Шли улицей Горького — я тоже увязался, не хотелось сдавать зачет по научному коммунизму у себя на факультете журналистики.

На площади Маяковского у памятника Маяковскому Леша, вполне вошедший в роль лидера, трижды крикнул “ура”: в честь первого космонавта, в честь первого поэта-космонавта (это определение мне меньше понравилось, но жаль, что ли, крикнуть “ура” за компанию?) и третье “ура” — в честь нас самих, на площади собравшихся.

Дальше Алеша стал декламировать стихотворение Маяковского, на всю площадь произнеся волшебное слово на букву “б”, которое в книжках так же конфузливо обозначали только первой буквой “б”…

Ну и уж в финале Леша на брусчатке Красной площади танцевал вприсядку — и я удивился даже, зачем он учится восточным языкам.

А у Толи родителей, в сущности, и не было никогда.

Конечно, Симонов не стал бы церемониться с Толиным шалопайством, будь это не пасынок, а родной сын. Потому и уклонился от применения жестких мер, тем более что собственный его сын — по контрасту — прекрасно учился и без всякого принуждения.

С Валентиной же Васильевной все понятно: она продолжала жить в мире своих потаенных и явных чувств, теряла помаленьку профессию, теряла Симонова, не смиряясь с мыслью, что ее можно разлюбить — тем более разлюбить тому, с кем она повязана легендой “Жди меня”.

Общим местом — опять общим местом! Такое впечатление

тупиковое у меня иногда создается, что все наши рассуждения (и воспоминания) о советской цивилизации сплошь из общих мест состоят, из упреков или оправданий, оттенки и нюансы некому учесть, — словом, общим местом стал упрек Константину Симонову, что во всех затеянных Сталиным послевоенных кампаниях по выкорчевыванию робких побегов не свободомыслия даже, отнюдь, а здравого смысла принял он самое энергичное участие, бросив еще и под ноги известно кому свою популярность, как Паратов из “Бесприданницы” шубу. Другой разговор, сохранилась бы у него та популярность, что со временем еще и приумножилась, не поступи он с ней так, как поступил.

Кто-то не простил ему ни Зощенко, ни космополитов.

Но все же очень многие продолжали любить писателя Симонова, восхищаться широкими жестами, очень шедшими к тому образу, в каком сумел он оставаться на протяжении всей жизни, — и рады были ухватиться за слова, произнесенные Константином Михайловичем на своем полувековом юбилее, что не все ему в его жизни нравится, не все он делал хорошо, не всегда был на высоте человеческой (слова про высоту гражданскую я намеренно пропустил — уж больно широко это понятие трактуется у нас при полном его отсутствии, и мне кажется опрометчивым говорить в таком случае о нем всерьез).

Полувековой юбилей Фадеева (с его клятвой быть верным Сталину) пришелся на пятьдесят первый год. Симонов был на четырнадцать лет моложе — и отмечал круглую дату в шестьдесят пятом.

Произнести ту фразу, что произнес он, — притом с чувством сохраненного достоинства (и чувством зала, где преобладали почитатели Симонова), а не “по-русски рубаху рванув на груди” — в шестьдесят пятом году не такой уж и подвиг. Хотя, конечно, все-таки лучше, что он ее сказал, чем пропустил бы, не желая ворошить своего прошлого.

Алексей — хороший сын. И сделанное им для сохранения в новых поколениях образа отца — не только с пафосом родственника, но и с попыткой быть объективным, предупредив этим лишние нападки со стороны, — ничего, кроме похвалы, не заслуживает.

Но я смотрю на Константина Михайловича со стороны — и пафос Леши вряд ли смогу разделить. Несогласие мое с некоторыми трактовками отца сыном вызвано не желанием напасть с критикой на бывшего соседа (мы, кстати, и с Алексеем Кирилловичем соседи, жили в одном доме на “Аэропорте”), а только желанием лучше понять человека, с которым жил в одно время.

Алексей, например, рассказал, что почти десятилетие после войны у отца на руках выступала экзема, поскольку эти годы были для него трудные.

И я не спорю, что трудные, но не могу (при всем желании, будь оно у меня) думать, что экзема возникала только из-за того, что Константину Михайловичу, выполняя сталинские указания, приходилось идти против своей совести.

Гораздо ближе к истине, чем слова, сказанные на юбилее, показался мне резкий ответ Симонова на упрек молодых писателей оттепельного созыва, что писатели ранга Симонова продавались: “А вас покупали?”

4

Симонов был выбором Сталина, проведшего в мыслях то, что сейчас называют кастингом.

После войны Сталину не нужны были больше Рокоссовские — от них и опасность могла происходить, отведи от них глаз, напоминавший бы маршалу, отбывавшему перед войной заключение, глаз тюремщика.

Теперь ему нужны были люди партикулярные.

Принято говорить, что Сталин любил Симонова (как принято было говорить про любовь вождя к Фадееву). Любовь вряд ли категория политики (сказал же Иосиф Виссарионович дочери Светлане, когда похвасталась та отцу напечатанным “Правдой” очерком влюбленного в нее Каплера: “А я не знал, что «Правда» существует у нас для любовной переписки”).

Конечно, в сугубой рациональности действий Сталина мог быть промельк иррационального. Но иррациональное в таком случае служило рациональному надежнее, чем само рациональное.

Сталин помнил, что даровал Симонову неслыханную популярность, разрешив печатать “Жди меня” в “Правде” (то есть вопреки принятому сделал легитимной любовную переписку). Но теперь он хотел этой популярностью распорядиться сам, сделав вид, что поручает ею распорядиться самому Симонову.

Симонов вслед за Фадеевым и Эренбургом (как ни отнекивался от этого сам Илья Григорьевич и его верные почитатели) попал на “чертову кухню”, и жить ему отныне предстояло по ее законам.

И, каким бы храбрым ни считал себя прошедший войну Константин Михайлович, страх теперь мучил его куда больше, чем совесть.

Они обманывались (сильный человек в таких ситуациях всегда почему-то слабее слабого, не жаждущего ни силы, ни власти), но до конца обмануться не могли — слишком много они знали по сравнению с обыкновенными людьми и знали, чем за такое их знание платят.

Сталин бывал жесток — и пожалуй, даже чаще бывал жесток — со своими фаворитами.

Разве мало бы ему расстрелять Михаила Кольцова, по его же поручению узнавшего про Испанию больше, чем исполнителю задания следовало знать? Был — кто же спорит? — злодейский резон в расстреле сталинского эмиссара самим же Сталиным. Но пытать Кольцова за что? Только ли ради выуживания из бедняги ложных показаний?

Думаю, хотелось Иосифу Виссарионовичу, чтобы про пытки Кольцова (и его показания) знал и Фадеев, и иже с ним.

Симонов вкусно потом описывал свои командировки за границу, свои встречи с Чарли Чаплином, с Иваном Буниным.

Все знают, что Сталин посылал его за Буниным, полагаясь на писательскую известность Симонова.

Но что подразумевал Сталин за возвращением нобелевского лауреата?

Публичную казнь на лобном месте за “Окаянные дни”? Или же после знаменитого замечания партийному функционеру в литературе Поликарпову, что других писателей у него нет, он захотел вдруг, чтобы другой писатель в пику Фадееву, Симонову и даже Шолохову у товарища Сталина появился наконец?

И Симонов, выполняя ответственное поручение, пилил сук, на котором сидел вместе с другими писательскими вожаками.

И случайно ли не спешил он сам публиковать (опубликованные Лазарем Лазаревым после смерти Симонова) мемуарные записки “Глазами человека моего поколения”?

Чувствовал, что новых мыслей о Сталине у него и спустя столько лет не появилось. Что отречься от страшных времен, в которых был он, однако, не только у всех на виду (он и потом, и дальше оставался на виду), но и прикасался к чему-то, так и не собрался. О чем так и не захотел рассказать, расскажи он об этом, другую бы жизнь в литературе пришлось бы (удалось?) начать.

Возможно, я фантазирую — и на самом деле все гораздо проще, ординарнее, ничего не прибавлялось к единожды не по правде сказанному?

Но дает ли мне такая жизнь, как жизнь Симонова — тайная ли, явная, — повод для фантазий?

И жаль бывает раскаиваться в такой жизни, разбив ее в угоду

чьему-то свободомыслию на несоединимые один с другим периоды. Перестав быть цельным человеком, каким, несомненно, был Симонов.

Возможно, к поступкам, его не красящим, Константин Михайлович отнес тогда на юбилее свою статью в им же редактируемой “Литературной газете” “Священный долг писателя” — разгневавшую Хрущева посмертной преданностью фаворита патрону.

Но этот поступок как раз красит Симонова.

При всем моем отношении к Сталину и бредовой идее его восхваления статья Константина Михайловича вызывает у меня нечто похожее на уважение — это поступок не придворного, а по-своему порядочного человека.

Он, как близко стоящий к власти, догадывался, что новое руководство начнет свои дни с микширования былых восхвалений Сталина — и вообще постепенно сведет их на нет. Но решил прикинуться, что ничего не понимает, — проверить (для необходимого ему в дальнейшей жизни адреналина) степень своего влияния при новой власти, вероятность сохранить положение. И по возможности сохранить лицо.

Разъяренный Хрущев все же не решился немедленно выкинуть Симонова из политики — для него, продолжавшего борьбу за единоличную власть, понятным сделалось, что Сталина Симонов боялся, а его, Хрущева, пока не очень, не спешит брать сторону нового лидера, — и нет ли у него опоры в других претендентах на власть (наверняка же вслед за Сталиным благоволили к нему и Молотов, и Маленков)?

Хрущев терпел Симонова еще пять лет.

Возможно, за три этих года, чувствуя, что не сохранить ему административного влияния, Константин Михайлович и обдумал, что будет делать в литературе дальше.

Менявшаяся к случаю ситуация, как ни покажется неожиданным, была ему на руку.

Выражение “дальше фронта не пошлют” очень подходило к ситуации с писателем Симоновым при Хрущеве. Опала, выражавшаяся в отсылке его корреспондентом все той же “Правды” в Ташкент, для пишущего писателя никакая не опала.

А те послабления, которые помогли выдвинуться новым писателям, разрешали и ему рассказать о войне больше, чем он прежде рассказывал, — “Разные дни войны” оставались главным литературным (и жизненным, пожалуй) капиталом Симонова, валютой, обеспечивающей успех в беллетристике, — он и не послал себя (сам уже) дальше военного романа.

Года три назад ехал я (вернее, мчался, не скажешь же про “Сапсан”, что он едет) скоростным рейсом в Питер.

Прямо под потолком вагона был укреплен телевизор с отключенным звуком.

Транслировали “Живых и мертвых”, двухсерийный фильм по роману Константина Симонова, — и я почти половину дороги смотрел картину в немом варианте (никогда целиком ее не видел, что-то каждый раз мешало либо досмотреть до конца, либо начать смотреть с начала).

Я хорошо помнил роман — отсутствие звука мне не мешало.

Правда, от развития сюжета меня довольно долго отвлекали воспоминания. Почти с каждым из исполнителей ролей, кроме разве Анатолия Папанова (он играл главного генерала), я был знаком или дружен — от знаменитых Высоцкого и Ефремова до моего однокурсника Володи Шибанкова — забытого, или, правильнее сказать, незаслуженно не ставшего известным, артиста.

Не считая Олега Табакова затруднился бы назвать, кто еще из снявшихся в этом фильме жив сегодня. А ведь едва ли не все снимались в начале жизни: тот же Высоцкий, перекрашенный в соломенного блондина, не дольше нескольких секунд играет солдатика в кузове грузовика и больше на экране не появляется.

Вспомнил я и о том, что и меня самого не настойчиво, но звали на роль третьего или четвертого плана в эту картину.

Позвонили из группы “Живых и мертвых” с приглашением приехать на пробу — предполагали на роль фотографа Мишки Вайнштейна (Симонову прототипом для Вайнштейна послужил коллега Виктора Тёмина по работе в центральных газетах по фамилии, кажется, Бронштейн или Бернштейн, известный в своем кругу человек). Я спросил: “А почему на эту роль?” “У нас снимаются ваши приятели, они говорят, что вы очень смешной”.

Я уезжал на практику в Серпухов — и вылетать ради эпизодически-комической роли из университета (не так легко было перевестись мне на факультет журналистики) не входило в мои планы. Рискнул бы, может быть, из-за роли сколько-нибудь главной (я себя все еще видел героем), а так с легким сердцем отказался — и нисколько не сожалел, увидев в роли Вайнштейна известного артиста Зяму Высоковского.

В “Сапсане” вдруг малодушно подумал, что вот и еще один случай остаться в истории я пропустил. Но посмотрел, как проигрывает мой друг Боря Ардов, изображавший работника райкома партии, в эпизоде с Кириллом Лавровым, и решил, что не снялся в “Живых и мертвых” к лучшему: Борис хоть красивым

остается на экране, а я как бы выглядел в комической роли?

Все же фильм втянул меня в себя, когда миновали мы Бологое, — и, видимо, оттого, что смотрел я вариант без единого слова, я понял, как мне кажется, свои не сформулированные прежде претензии к тексту — к тексту, а не к чему другому.

Не касаясь разных масштабов содержания некогда запрещенного романа Василия Гроссмана, с которым десять лет жили мы в квартирах напротив (я все же стараюсь в своем сюжете держаться линии соседства), и премированного, как обычно, романа Симонова, сразу хочется сказать, что первый роман написан большим писателем, а второй продиктован знаменитым автором.

Я знаю, что Константин Михайлович не первый из отечественных писателей, кто прибегал в работе над прозой к помощи стенографистки. И все же равнодушие к слову у человека, писавшего стихи прежде, чем обратиться к прозе, несколько удивляет.

И я заподозрил, что и с прозой Симонова происходит то же, что заметил когда-то Агапов в случае с политической поэзией: массовый читатель следит за сюжетом и безразличен к порядку слов и к самим словам (в их заемности или незаемности). И зачем тогда, по угаданной Агаповым логике, знать большее количество слов, чем привык читатель?

5

Впервые после детства в Переделкине я увидел Константина Михайловича в новом (как острили, сносном — и через какое-то время действительно снесенном) здании театра “Современник” на Маяковке.

Театр Ефремова оставался молодым, многое ждало еще “Современник” впереди, — но теперь уже был самым модным (оставаясь протестным), окруженным самыми знаменитыми и прогрессивными людьми своего времени.

Мне показалось, что на протяжении жизни Константин Михайлович Симонов как-то корректировал свою внешность — и бывал в разные времена разным: то несколько поправлялся, то снова худел, носил когда-то длинные, зачесанные волной волосы, потом стригся короче, так красиво седел, что седина не казалась преждевременной. Я привык воспринимать Симонова всегда солидным — солидным с молодости (я-то был ребенком, когда его видел, но фотографии тех лет подтверждают мое детское впечатление) — и удивился, когда прочел в книге Игоря Кваши,

что называет он начавшего сотрудничать с их театром Симонова Костей (он, мол, посоветовал Евстигнееву занять денег на кооперативную квартиру у Кости Симонова, и Костя, конечно, одолжил Жене денег, а когда тот отдавал долг, забыл, что одалживал).

Но Симонову, в чьей жизни уже столько всякого разного случалось, на момент появления в "Современнике" было всего-то сорок шесть лет — и ему наверняка нравилось, что придирчивая к прошлому молодежь видит в нем не советского мэтра, а своего современника.

И на самом деле никакие антисталинские настроения не мешали артистам молодого театра помнить, как играли они в самодеятельности или "Русский вопрос", или что-нибудь еще из широко шедших после войны пьес Симонова и читали при поступлении в театральные школы "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины", допустим.

Они помнили, что Симонов — фронтовик, они не могли при всей новизне своих нынешних взглядов (приверженности к итальянскому неореализму) перестать любить Серову в фильмах своего детства, они восхищались тем, что боготворимый ими Хемингуэй состоял с Константином Михайловичем в переписке.

А может быть, как в юности случается, им хотелось поскорее выглядеть взрослыми — и дружба с несомненно взрослым Симоновым льстила каждому из них.

И все же более всего взволновала "Современник" тема предложенной Симоновым пьесы. Она была вроде бы, как всегда у Симонова, про войну, но с перенесением действия в наши дни — точнее, действие пьесы "Четвертый" происходило в наши дни, но главным становилось рассекавшее (по идее автора, ставившее все с ног на голову) воспоминание о главном событии в прошлой жизни героя. В этом воспоминании к нему, оставшемуся в живых, приходили погибшие друзья, которым и был обязан продолжением жизни, прожитой затем, как сам понимает, недостойно. То есть, пожертвовав всем своим сегодняшним благосостоянием, он может завершить жизнь достойно, но завершить без какой-либо надежды снова жить припеваючи, продавшись, как полагается приличному журналисту, только один раз, а не два (помните вопрос Симонова: "А вас покупали?").

Принять такое решение в одиночестве он не в состоянии.

Правильного совета от жены (Женщины, которую он не любил, но на которой женился, как обозначена она в списке действующих лиц) он и не ждет, не верит он ее советам. Он (в списке действующих лиц автор называет этого журналиста Он) идет к Женщине, которую любил, но на которой не женился, — и

вот она (не принятая в советских пьесах мистика) сводит его с тремя мертвыми друзьями — теми, кто когда-то решился на побег из концлагеря, его (который “Он”) сохранив для будущего, коим он умно, но недостойно принесших себя в жертву героев, распорядился.

И теперь — в итоге мучительных размышлений — он просит их взять его четвертым.

В моем беглом пересказе это похоже на пародию. Почему четвертым, если сообщить миру о подлости (запущенном самолете с атомной бомбой), готовящейся правительством страны, где Он живет (а живет он, конечно, в Америке — и все действующие лица тоже американцы), журналист должен сам? Погибшие друзья-то тут при чем? Но подразумевалось, вероятно, что, пойди он четвертым тогда, не мучил бы его страх за свою шкуру и сегодня.

В пьесе можно найти и еще ряд несообразностей.

Но можно и понять, что, сочиняя одновременно с большим романом и пьесу, автор лихорадочно искал выход в исповедальный жанр, от которого за годы после “Жди меня” успел (или постарался) отвыкнуть.

В пьесе заметно и подражание западным, раз действуют в ней иностранцы, образцам — при желании кроме Артура Миллера можно вспомнить и переделкинского гостя Пристли. Но, вроде бы уже почувствовав своим главным автором естественного, ни на кого ни похожего питерца Александра Володина, актеры “Современника” и режиссер Ефремов ухватились за пьесу Симонова как за возможность вывести на сцену более привычного для театрального амплуа героя. Артисты есть артисты, каким бы прогрессивным ни был театр. А публика на то и дура, чтобы и в самом прогрессивном театре не пойти ей навстречу, что Симонов с его опытом советского драматурга и знанием публики предположил правильно.

Я бы не сказал, что в пьесе Симонова так уж убедительно выглядел Он.

Но “Современник” видел перед собой не персонажа пьесы, а Константина Симонова с его жизнью и судьбой — с такими, однако, жизнью и судьбой, которые — не без помощи своего образа — Симонов сумел внушить пьесой.

В пьесе автор наговаривал на себя — на свой, вернее, переселенный для маскировки в Америку вариант: на самом деле Симонов не женился, как его герой Он, из выгоды на богатой, но нелюбимой женщине, отказавшись от любимой.

В жизни Константин Михайлович по симпатии женился на Ларисе Жадовой, дочке большого генерала, но сам-то был уже

тогда генералом от литературы (от всего общественного строя) побольше, чем тесть.

От любимой женщины Симонов никогда не отказывался — и это стало главной литературной удачей поэта, чью любовь к знаменитой актрисе обстоятельства (и власть, ими воспользовавшаяся) сделали чуть ли не национальной идеей.

Зачем же он наговаривал на себя в пьесе?

Прибегнем снова к домыслам — что может быть соблазнительнее домыслов?

Я бы объяснил напраслину, возводимую на себя Константином Михайловичем, как форму мужественного кокетства.

Кокетства не вполне безобидного для самого автора пьесы — ему (не впервые ли?) нечего было взять для себя у героя пьесы, а поделиться с ним сокровенным не получилось, Константин Михайлович мог подарить персонажу фабулу своей жизни, но не сюжет (в сюжете сам, наверное, отчаялся разобраться — отчего и стихи постепенно перестал писать совсем, грешил то ли на отсутствие адресата любви, то ли на отсутствие самой любви, иссякшей в размолвках и разрыве с прежним адресатом).

А не могло ли быть иных причин, когда-то стихосложению способствующих, однако теперь мешающих?

Ефремов захотел сыграть главную роль в гриме Симонова, но от грима отвык — и на сцене оставался тем же Ефремовым, по-ефремовски упрямо ломился в открытую дверь, откровенно сердясь, что не придумал (и автора не сумел заставить), как сделать ее закрытой.

Автор присутствовал в спектакле записанным на магнитофон текстом о том, что вчера герою исполнилось сорок два года, а сегодня у него болела голова…

У него…

Ефремов не мог играть “у него”.

Он всегда играл “у меня”.

Не пьеса не удалась Симонову. “Четвертого” поставил в Ленинграде загипнотизированный именем автора Георгий Товстоногов, а верный Александр Столпер снял кино (еще и с Высоцким в главной роли), — но не удалась попытка изменить жизнь, не получилось вырваться из власти своего образа, а каким на самом деле был Он, сказать, как встарь, от первого лица — Симонов не смог. И зря, наверное, пробовал.

Провались спектакль, как чеховская “Чайка” когда-то, не понятая публикой-дурой, это, возможно, встряхнуло бы Константина Михайловича, не знавшего провалов — читатель

любил его и в том, что критика считала неудачей. Но о каком провале, о какой неудаче имею я право говорить, когда относившийся прежде к Симонову с некоторым недоверием Виктор Некрасов отозвался восторженной рецензией?

Михаил Козаков, дублировавший Ефремова, но внешне (тем более в гриме) напоминавший Симонова, играл с меньшим, чем у Ефремова, желанием быть на подмостках Симоновым — и смотрелся бледнее.

Выросший в питерской писательской среде, относившейся скептически к послевоенному Симонову, Миша раньше других охладел и к роли, и к пьесе — и потом в своей "Актерской книге" виновником художественной, как считал он, неудачи (пусть и принятой публикой "Современника" вполне благосклонно) считал автора, "ни единой долькой" от своего проверенного лица в итоге не отказавшегося.

Симонов и после "Четвертого" оставался для "Современника" близким автором и человеком. Из афиши "Пятой колонны" Хемингуэя мы узнавали, что пьеса идет в сценической редакции хемингуэевского друга Константина Симонова. Но Симонов после первых же представлений потребовал строчку о его участии немедленно вычеркнуть — под редакцией оказалась афиша, а не пьеса.

Отец начинавшего тогда работу в "Современнике" Бори Ардова Виктор Ефимович попросил сына устроить ему приглашение (или сам, Ардова-старшего вся театральная Москва знала, пришел без приглашения) на встречу в "Современник" нового, тысяча девятьсот шестьдесят первого года.

Он хотел посмотреть на Солженицына. "Иван Денисович" Виктору Ефимовичу не понравился, "мало полета у автора", но увидеть новую знаменитость своими глазами хотелось (видимо, когда Александр Исаевич приходил к Ахматовой на Ордынку, Ардов был в отъезде).

Ардов увидел на новогоднем балу не только Солженицына, но и Симонова (Симонов на "Ивана Денисовича" написал рецензию в "Известия") и Сартра, приведенного в театр Симоновым.

А в продолжение отношений с театром — спектакль в моих воспоминаниях превратился в тот фильм, который я почти через полвека смотрел в "Сапсане".

Правда, в фильме еще более главную, чем у Папанова из Сатиры, роль играл артист театра Товстоногова Лавров, а наибольшая слава выпала Олегу Ефремову, сыгравшему в эпизоде

танкиста Иванова.

Конечно, фразу о том, что на фамилии Иванов вся Россия держится, сочинил Константин Симонов, но Ефремов для этой фразы рожден — произнеси ее Тихонов или Баталов, впечатление было бы меньшим.

В картине по Симонову “Случай с Полыниным” Олег Ефремов сыграл такого летчика, каким автору хотелось бы, наверное, стать в первую пору любви к Серовой. Любовь к Анастасии Вертинской Полынина-Ефремова делала достоверным случай с придуманным (хотя была же для этого исходная натура на дорогах военного журналиста) Симоновым-летчиком.

Но пьес он больше не сочинял — и не помню, принимал ли участие в инсценировке “Лопатина” для “Современника” или вообще перепоручил все режиссеру Райхельгаузу — от Райхельгауза известно, что он получил за инсценировку неслыханный гонорар (заботами, естественно, автора повести).

Не помню точно всех названий, где действует персонаж — писатель и военный журналист Лопатин, но для меня он — герой “Двадцати дней без войны”, лучшей, на мой взгляд, беллетристики Симонова; чувствуется, что по надиктованному тексту он тщательно прошелся своим неизменным черным фломастером. Конечно, и фильм, поставленный Алексеем Германом, и то, как снялся в нем Юрий Никулин, повлияли на мое впечатление, но и текст не перестал мне нравиться.

Я уже свыкся с тем, что и дальше у Симонова всегда теперь будет не “Жди меня”, а “Жди Лопатина”.

И здесь мне всего понятнее обыкновение Симонова подзарядиться от героя, когда он в “Четвертом” прокололся с альтер эго. Но подробности жизни Симонова вне знакомого всем образа все равно были бы интереснее того, что, очень может быть, гениально сыграл Никулин. Никакой Лопатин не мог иметь биографии Симонова — сам Симонов того не захотел (либо не представлял, как сделать такую биографию фактом литературы).

Мы ехали-мчались до Санкт-Петербурга в “Сапсане” вместе с женой, приглашенной на конференцию, посвященную семидесятилетию Иосифа Бродского, десятого мая — и фильм по роману Симонова крутили по случаю вчерашнего Дня Победы. В честь Дня Победы по телевизору показали и давнее интервью Константина Михайловича с маршалом Жуковым.

Но стихотворение про маршала по радио прочли все же Бродского: “…ветер сюда не доносит мне звуки русских военных плачущих труб…” Что-то меняется, однако, в нашей жизни.

Сочинил это стихотворение не столько нобелевский лауреат, сколько сын советского офицера, прошедшего войну.

Стихи на смерть Жукова Иосиф написал в семьдесят четвертом году — в том самом году, когда Константин Михайлович Симонов смог счесть себя удостоенным всех мыслимых советских наград, включая геройскую звезду, — Брежнев был к нему милостивей, чем Хрущев.

И я подумал о том, что, оставайся Бродский и дальше на родине, не прекратись его мытарства и непечатание, кто знает, обратись те, кого тревожила судьба опального поэта, как не раз бывало, к Симонову за помощью и поддержкой — и новые цацки послужили бы делу литературы больше.

Глава вторая

1

Пастернак жил на улице Павленко.

В пору — тогда казалось, надолго — воцарившегося свободомыслия журналисты, смутно представлявшие себе, кто такой Павленко (знали, что плохой, раз Сталиным привечен), и скорее наслышанные, чем понимавшие, кто такой Пастернак (поскольку при советской власти был гоним, то вполне хороший), любили иронизировать по этому поводу.

Но весь сюжет писательского Переделкина держался на том, что Пастернак и должен был жить на улице Павленко.

Живи Павленко на улице Пастернака, это бы тогда и не Переделкино вовсе было (в своем идеологическом толковании).

Лишним на этой улице — и до и после обретения ею своего названия — был не Петр Андреевич Павленко.

Лишним был Борис Леонидович.

И вот во многом потому, что в задуманном властью Переделкине Пастернак изначально по всей сути своей оказывался лишним, оно и сделалось его Переделкином — “Здесь все тебе принадлежит по праву” (мнение Ахматовой). И ровным счетом ничего не меняется от того, что и музей Пастернака все равно остается на улице Павленко.

Письмо, в котором Борис Леонидович просит имеющего вес функционера Павленко помочь бедствующей (дело происходит до войны) Марине Цветаевой, начинается словами: “Дорогой Петя…”

Думаю, что Петей для Пастернака Павленко оставался и после войны — до начала пятидесятых, когда Петр Андреевич в свои нестарые годы умер. Добрососедским отношениям не мешало — и до поры не в нравах было этой улицы, — что Борис Леонидович все глубже отодвигается в тень опалы, а у Пети уже четыре Сталинские премии и в писательском министерстве он заместитель генерального секретаря Фадеева, чья дача, еще раз напоминаю, граничит с дачей Пастернака.

Но после войны Павленко чаще жил в Ялте, чем в Переделкине, — лечил больные легкие.

Мне кажется, что я видел Павленко лишь однажды. Мы с матерью шли на станцию, а он со станции. Поравнявшись с нами, Петр Андреевич поздоровался с матушкой, коснувшись пальцами примятой внутрь шляпы складки.

Но помню его и в папахе наподобие полковничьей — значит,

видел человека, чье имя носит улица, и зимой.

Чьи-то дачи в Переделкине сделались музеями, а к чьим-то прилипла на годы (не уверен, что стоит говорить “навеки”) фамилия какого-то одного, первого арендатора — и всем, кто жил на освоенной им даче потом, судьба оставаться под этой вывеской, под этим флагом.

Дача Павленко так и оставалась для переделкинцев дачей Павленко, хотя жили в ней позднее Андроников и Солоухин.

Но есть и разночтения.

Как-то зимой, когда жил я в Доме творчества, но куда-то отлучился, тетя Валя, дежурный администратор, сказала, что ко мне приходил “мужик с треневской дачи”.

Я долго ломал голову, кто бы это мог быть. Оказалось — Владимир Солоухин: он читал в библиотечном журнале какой-то детектив, а номер с продолжением застрял у меня.

Я не мог догадаться, какой мужик, но из какой он дачи, сообразил сразу.

С дачи, в которой жил когда-то Павленко. При чем же тогда Тренев?

Ворота дачи Павленко выходят на улицу Тренева.

А коттедж, где жил Константин Тренев, чьего имени улица, — через дорогу.

Павленко был зятем Тренева — женат на его дочери (очень рослой даме, острили: “Павленко жене по коленку”).

Старик Тренев умер в сорок пятом. Сына его Виталия (я о нем рассказывал, когда вспоминал про утенка, украденного Толей Серовым) переселили в дом, где жила сестра Виталия, Наташа Тренева, с мужем Павленко, а дача классика отошла к Дому творчества — каменный корпус появится нескоро. И путевки писателям Литфонд давал в пустующие дачи — были когда-то и такие, не все арендаторы за два (или сколько их там было) сеанса репрессий уцелели.

Виталий был женат на очень красивой польской даме по имени Габриэла Казимировна (все называли ее Дидей).

От первого брака у Диди была дочь Леночка — моя сверстница; когда нам с нею было лет по пять, она считалась моей невестой.

Треневы держали корову, и мой отец всегда спрашивал: “Леночка, а чья будет корова, когда ты переедешь к нам?” “Ваша”.

Младшая дочь Габриэлы Казимировны Вета (Елизавета) моложе нас — и не знала, видимо, этой истории. И когда подросла другая переделкинская девочка, дочь лесничего (Катаев в “Святом колодце” представил ее как возлюбленную своего сына

Павлика, назвав для конспирации “дочерью молочницы”), она вместе с мужем, в Переделкине не жившим, собрала о нашем поселке книжку, соединив свои воспоминания с воспоминаниями расспрошенных ею писательских детей, и среди них Елизаветы Треневой. Вета рассказала, что коров держали многие (Нилин тоже есть в ее списке) — и коров на весь день с утра забирали в стадо. Я понял, что шутка отцовская все-таки материализовалась.

Виталий Тренев со своими глубоко впавшими щеками производил впечатление очень больного человека и умер рано.

А в Переделкине вдруг появился отец Леночки — писатель Орест Мальцев (более известный Мальцев, Елизар, жил тогда на собственной даче ближе к Баковке).

Этот второй Мальцев обратил на себя внимание чуть ли не самого товарища Сталина, сочинив книжку “Югославская трагедия”, где весьма своевременно разоблачал маршала Тито, посмевшего ослушаться нашего вождя и преданного тотчас же анафеме.

Югославию объявили врагом — таким же, в общем, как Америка. Почти в каждом номере “Крокодила” появлялась карикатура на маршала, где красивый мужик маршал (у него с Татьяной Кирилловной Окуневской начиналась любовь, отчего и пришлось нашей кинозвезде пройти огонь и воду) изображался отвратительно толстым и злобным бульдогом (а второе по значению лицо Республики Югославия Ранковича у нас и не называли иначе как “кровавой собакой Ранковичем”). Карикатура сопровождалась сатирическими стихами такого рода: “За кость, что бросил щедрый дядя Сэм [этого дядю Сэма в цилиндре и полосатых штанах рисовали еще чаще, чем Тито], готов в крови он утопить страну, народ не слушает [югославский народ мы от этого мерзавца отделяли] — и пес, как должно псам…” что-то там такое непотребное делает “…и лает на луну”.

Сталинской премии бывшему мужу Диди не пожалели, книжку переиздали все областные издательства, и деньги у Ореста появились.

Он купил в Переделкине дачу.

Дачу эту собственными руками построил писатель Евгений Андреевич Пермяк — он все умел делать руками и книжку сочинил про различные профессии и ремесла; я, и до сих пор совершенно безрукий, зачитывался ею в детстве (позднее Пермяк перешел на сочинение сказок, но сказок я никогда не любил).

Евгений Андреевич был симпатичный человек, но в политике разбирался слабо — мог, допустим, на публике сказать: “А что такое Мао Цзэдун? Да наш секретарь Краснопресненского обкома на него цыкнет — и он сразу руки по швам”.

Предложение Мальцева-два купить дачу было для Пермяка очень кстати, а то не совсем ловко чувствовал он себя собственником перед советскими классиками-арендаторами.

Но и купленной дачи лауреату показалось мало.

Он пришел к моему отцу с просьбой уговорить Дидю вернуться к нему. И обещал в случае удачи подарить свой автомобиль "Победа" (себе он купит новый). Несмотря на тяжелое материальное положение, отец все же отказал Оресту в его просьбе.

Габриэла Казимировна и слышать о Мальцеве не хотела.

И стойкость ее была вознаграждена.

Задолго до того как наш широкий читатель узнал толком о Хемингуэе (начальство и его не жаловало, Хемингуэя у нас называли тогда "вконец потерявшим совесть снобом"), большую популярность в стране приобрел менее известный у себя на родине американец Митчелл Уилсон.

Признаюсь, я тоже зачитывался его романом "Жизнь во мгле" — мне, двоечнику по всем негуманитарным предметам (по гуманитарным у меня были твердые тройки), чрезвычайно нравилось читать про физиков-теоретиков.

Митчеллу Уилсону разрешили даже приехать в Советский Союз, где этот популярный писатель полюбил Габриэлу Казимировну Треневу — и у них закрутился роман.

А для Ореста Мальцева замирение Хрущева с Тито закончилось катастрофой (уже не "Крокодил", а фольклор откликнулся на этот шаг нового государя стихами: "Дорогой товарищ Тито, ты теперь нам друг и брат, оправдал тебя Никита, ты ни в чем не виноват").

Татьяну Кирилловну Окуневскую выпустили на свободу. Но Горбатов за время отсутствия жены переехал поближе к Пастернаку на улицу Павленко с новой женой — он женился опять на актрисе, но в большей степени театральной (служила в Театре сатиры), чем кинематографической (правда, у Бориса Барнета она сыграла главную роль в "Щедром лете" — неудачной попытке талантливейшего Барнета создать такую же сельскохозяйственную клюкву, какая удалась Ивану Пырьеву с "Кубанскими казаками").

Пикантность ситуации с возвращением Татьяны Кирилловны усиливалась тем, что Борис Леонидович Горбатов не только женился и произвел на свет двух малюток, но еще и умер. В квартире на Беговой — Горбатовы жили в доме для работников "Правды", где на первом этаже был известный всей Москве магазин "Ткани", — несостоявшаяся фаворитка маршала Тито (он собирался построить для нее киностудию) застала актрису Театра

сатиры Нину Архипову, и не одну, а с двумя детьми-девочками, с мужем, сменившим покойного Горбатова, знаменитым артистом Жориком (его так называли и когда был он народным артистом СССР) Менглетом и с бывшей свекровью.

Вторую часть “Югославской трагедии”, сочиненной Орестом Мальцевым на купленной у Пермяка даче, забраковали, конечно, а первую изъяли из библиотек (по-моему, и премию ему отменили, не переквалифицировали из Сталинской в Государственную).

От обиды на литературу, столь зависимую от политической конъюнктуры, наш сосед вообще бросил сочинительство и жил на деньги от сдаваемой дачи на улице Горького. У нас в Переделкине улица Горького такого значения, как в Москве, не имела, из писателей на ней кроме незадачливого борца с Тито жил еще только знаменитый некогда — в перечне громких предвоенных имен назывался рядом с Пастернаком — поэт Николай Семенович Тихонов, ставший куда более удачливым, чем Орест, борцом за мир: он возглавлял даже специальный комитет, эту борьбу направлявший, и еще комитет по выдаче переименованных Сталинских премий.

Дачу у Мальцева на все лето, пока строил свою на улице Лермонтова, снимал Николай Павлович Охлопков.

…Словом, Треневы (жена Павленко ведь тоже носила фамилию Тренева) и после смерти автора “Любви Яровой” оставались на виду, и дачу Павленко чаще называли треневской дачей.

Более того, и нашего всеми уважаемого умельца Ивана Ивановича Голубева, жившего в сторожке на участке Треневых, называли Ваней Треневым.

Ваня Тренев-Голубев заодно наблюдал и машину Пастернака — и был о Борисе Леонидовиче высочайшего мнения. После смерти Пастернака он говорил моему отцу: “Таких людей, как Борис Леонидович, еще долго не будет. Не знаю, прав я или нет, но, по-моему, он был очень начитанный”.

Не представляю, когда при большой своей занятости успевал Иван Иванович сам читать, чтобы сложилось у него представление о степени начитанности Бориса Леонидовича.

Я брал у Ивана Ивановича уроки езды на машине — и никто теперь не поверит, что этот строгий человек меня хвалил: “Сашка будет ездить лучше, чем я”.

К сожалению, я надежд и Вани Тренева не оправдал.

Зато, практикуясь в управлении машиной, я едва не лишил Бориса Леонидовича (но об этом чуть позже) славы Герострата, которую предсказывал ему дачный сосед Илья Львович

Сельвинский, сочинивший Пастернаку по случаю Нобелевской премии стихи с такой строчкой: “…за славу Герострата вы родину подставили под свист”.

Поэт Сельвинский для меня ассоциировался тоже прежде всего со своей дачей — дачу, правее погодинской, через дорогу от бывшей нашей, я и до сих пор называю про себя дачей Сельвинского, хотя на моей памяти он уже жил в бывшей даче Веры Инбер — это на той же улице, где дача Чуковского.

2

Не совсем уж в дикой семье я воспитывался. Знал же откуда-то стихи Сельвинского про его учителей — “от Пушкина до Пастернака”.

Меня в отрочестве всегда озадачивало, что нигде официально не упоминаемый Пастернак, проходивший, как сказал бы я сейчас, по другой, чем Фадеев или Симонов, номенклатуре, вдруг возникал в статье Маяковского “Как делать стихи”.

Казалось бы, Маяковский стоит памятником в центре Москвы, а Пастернак пребывает в своей (пусть и таинственной) загородной неопределенности — и вот, пожалуйста, изучаемый в школе Маяковский признается, что не в силах сопротивляться магии стихов Пастернака “В тот день всю тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову, таскал за собою и знал назубок, слонялся по городу и репетировал…”

Я не понимал смысла, но, как Маяковский, мгновенно (и надолго, как видите) почувствовал наваждение вошедших в меня слов “в тот день всю тебя…”.

Со мною и до сих пор так бывает, что смысл слов доходит постепенно, но сразу ощущаю валентность их притяжения (как бы порадовалась сейчас, будь она жива, Мила Павловна, наш классный руководитель, учительница химии, которая вывела двойку за третью четверть в десятом классе мне, старосте класса, — успеваемость никогда не влияла на мой школьный авторитет).

“От Пушкина до Пастернака”. Признанием Сельвинского в своем ученичестве не стоит обольщаться. Евгений Иосифович Габрилович — он, как и Агапов, начинал стихотворцем-конструктивистом — рассказывал, что Сельвинский называл своих ближайших сподвижников именами поэтов пушкинского созвездия, не скрывая, с кем ассоциирует себя.

Я вел машину по спуску к пруду — ехали мы, матушка рядом

со мной, летом пятьдесят пятого года то ли на Баковку, то ли в Москву, — и вдруг она на меня прикрикнула: “Осторожнее, ты чуть не сбил Пастернака” — я краем глаза успел увидеть на обочине Пастернака, шагавшего в том самом прорезиненном милиционерском плаще, что висит сейчас на вешалке в музее.

Шагал он, скорее всего, от Ольги Ивинской — она жила в Измалкове на другом берегу пруда.

Представляя, как, приобретши вместо Пастернака (по Сельвинскому) геростратову славу, отбыл бы я в колонию вроде Толиной Нижнетагильской, я фантазировал дальше. Вот не получил бы Борис Леонидович Нобелевской премии (ее не дают посмертно). И не пришлось бы сочинять Сельвинскому подлого стихотворения. Не пришлось бы никому позориться речами на собрании, посвященном исключению великого поэта из писательского союза. Сергей Сергеевич Смирнов этого собрания не вел бы, а мой отец не ляпнул бы накануне того, что ляпнул.

И как бы выглядел я перед Леней Пастернаком, узнай он после случившегося… тьфу, после того, что, слава богу, не случилось. Потому что случись наезд — и Леня узнал бы, что за руль я сел из подражания ему…

Я на удивление равнодушен к автомобилям.

В совсем старые времена мог, конечно, отличить легковую машину от грузовой, “виллис” от американского “доджа”, “эмку” от “Победы”, “Победу” от самого первого “Москвича”, “Волгу” от “Победы”, но уж начиная с “жигулей” модели для меня неразличимы, “шестерку” от “девятки” и сейчас не отличу.

Я оставался безразличен к иномаркам, когда из-за них начинался самый психоз.

И никто же не верил в мое безразличие, за дурака принимали.

…Приехали мы поздней осенью восемьдесят девятого года в Париж — снимать документальное кино.

Наш режиссер Володя Саруханов до последней минуты ждал, что его высадят из самолета, не полетит он, сидевший в молодости за кражу, ничего и не снявший особенного — так, две очень средненькие игровые картинки — и теперь перешедший на документальные ленты.

Организация поездки стоила ему стольких усилий, что уже и не оставалось энергии на предстоящие в Париже съемки. И выпивать он начал, не успели взлететь, — и пил до обратного рейса. Визит в Париж был самоцелью — не до кино стало.

Размышляя позднее о случившемся с Ельциным, я обычно вспоминал Володю, в самом конце царствования Бориса

Николаевича и умершего.

Но я навсегда благодарен Володе Саруханову за организацию этой поездки, моей первой капиталистической заграницы, непривычному ощущению свободы, какое испытал, когда поселились мы (без каких-либо сопровождающих, заглянули в посольство для порядка, никто нами там не заинтересовался) в дерьмовенькой гостинице — вроде бы и от Пляс Пигаль недалеко, но в восемнадцатом арондисмане (вроде нашей Марьиной Рощи).

В центре задуманного Саруханом фильма (он пригласил меня сценаристом) должен был стать (и стал бы, не запей режиссер) выходец из России, точнее из Самарканда (жил там до двенадцати лет), испанец, архитектор Маноло Нуньес (под Парижем он построил комплекс муниципального жилья “Квартал Пикассо”).

Из аэропорта до гостиницы мы добрались на такси — с нами в Париж прилетели оператор Слава и директор Саша (нет-нет, не из органов, почти такой же, как Володя, разгильдяй, сын известного хоккейного тренера Новоженова) — и у себя на третьем этаже составили режиссеру компанию. Московская водка от полета еще оставалась.

Из окна номера я увидел, как на узкую нашу улочку на маленькой красной машине (позже мне объяснили, что она называется “фольксваген”) въехал герой будущего нашего фильма Маноло — действительно герой, красивый брюнет с подвешенным языком.

Мы должны были ехать к нему на ужин в Латинский квартал. На всякий случай Нуньес нас предупредил, что жена у него немка и с трудом переносит пьяных.

Мы целиком зависели от Нуньеса, но теперь уже перманентно пьяный Володя держался с ним гораздо самостоятельнее, чем в Москве или Ленинграде, где мы начинали съемки.

Начал он с возмущения унизительной для гостей демократичностью автомобиля, на котором вез нас к себе архитектор.

Нуньес пытался объяснить, что машину взял у жены-немки, она на “фольксвагене” ездит на рынок, а сам он на работу добирается велосипедом. Но Саруханов не унимался: “Я-то думал, у тебя машина, а ты на «фольксвагене»…”

И что вы думаете? Маноло повернул в обратную сторону — и мы доехали до его мастерской (это рядом с нашим посольством). Он взял свой “мерседес” — и на “мерседесе” мы поехали через Париж.

Маноло я чем-то не понравился — и в Москве, и в Ленинграде раздражал его, видимо, мой слишком авторитетный

тон: знаменитые люди не любят, когда в таком тоне разговаривают с ними люди, им неизвестные.

Но в Париже, удрученный упрямым пьянством Саруханова, он неожиданно расположился ко мне и предложил вместе писать книгу (мысли, надо понимать, его, а литературная запись — моя). И мы все чаще разговаривали с ним вдвоем, что вызывало зависть у директора и оператора (Саруханов обычно спал днем в гостинице и на съемки не ездил — сбылась моя детская мечта стать режиссером).

В какой-то день Слава и Саша решили поехать на такси (или машину устроил им Маноло) поснимать парижские улицы, а меня завезли к Нуньесу — он ждал меня возле машины.

Я заметил на лобовом стекле трещинку — и сказал, изображая знатока буржуазной жизни, что у нас в Москве с “мерседесами” обращаются бережнее. “Тем более что это «БМВ»”, — заметил архитектор, и моя причастность к миру преуспевающих людей стала вызвать у него сомнение.

Все писательские дети в Переделкине превосходно водили и водят (кто жив) машину.

Все, кроме меня, получается.

Кроме безразличия к технике была, по-моему, уважительная причина.

Все дети с детства учились управлять машиной.

А мое детство (и тем более детство младшего на пять лет брата) пришлось на время, когда после проданного летом сорок седьмого года “Москвича” до лета пятьдесят пятого, когда купили темно-зеленую “Победу”, машины в нашей семье не было.

Шли как-то от пруда по улице Тренева с Леней Пастернаком мимо нашей дачи.

“Это ваша машина?” — спросил Леня с упором на “это”: у машины, светло-песочного цвета “Волги”, был брезентовый верх. Я от прямого ответа уклонился — эта “Волга” с брезентовым верхом была не нашей, а Алексея Владимировича Спешнева, сценариста и режиссера, жившего у нас тем летом, — своей дачи у него (он жил потом на даче Вишневского) в Переделкине еще не было, но машину вот купил.

С чего вдруг зашел разговор о Борисе Леонидовиче в нашем доме, не помню; не помню в точности и самой фразы, помню только мысль, тоже, впрочем, не вполне ясную мне тогда (я проясняю ее для себя сейчас, через столько лет): отец скорее в ответ каким-то своим мыслям стал говорить что-то о неизвестности, в какую загнал себя Пастернак, и нищете. Слова о

нищете резанули меня испугом. Мы сами жили — по меркам окружающего Переделкина — бедно. Но под нищетой я понимал что-то иное — нищих в Москве после войны было больше, чем сейчас (сейчас, правда, уверяют, что это бизнес — и многие не подают нищим, считая их богаче себя). Нищие заходили на дачные участки, и мы им обязательно что-то подавали.

И Леня не производил впечатления сына нищего.

Однажды он вышел ко мне, ожидавшему его возле гаража, после семейного обеда, довольный тем, что незаметно успел кинуть Мишке под стол куриную лапу (он сказал — лапу, а не ногу). Дворнягу Мишку в поселке звали Мишка Пастернак, чтобы отличать от катаевского Мишки.

Все писательские дети превосходно водили машину, но Леня за рулем выглядел с недетской элегантностью — по времени он должен был водить “Победу”, а я почему-то вижу его непременно за рулем “Волги” (может быть, это более позднее впечатление, но манжеты, когда вел он родительскую машину, вез семью в город или из города, были и тогда).

Он ездил в белых полотняных брюках на красном чехословацком мотоцикле “Ява” — через много лет в опубликованной переписке Бориса Леонидовича я прочел, как на гонорар за какой-то перевод куплена эта “Ява”. Словно в старой кинохронике увидел себя: я обычно стоял во дворе вместе с Леней у его мотоцикла, а папа мотоциклиста шел мимо и, кроме “здравствуйте” (легко изображаемого голосом всеми, кто Пастернака видел), никогда ничего больше мне не говорил — это вам не Корней Иванович Чуковский, обязательно игравший с увиденным ребенком целый спектакль.

Внук Корнея Ивановича Женя (чаще именуемый Чукером) всем своим видом составлял для Лени выгодный контраст. Сам, однако, Чукер к этому и стремился — важна была не аккуратность, не опрятность, а вызов, эпатаж. Мне, ни в коей мере не автомобилисту, трудно сказать, кто из них ездил лучше, кто лучше разбирался в моторах. Но Чукер всем видом — грязными руками, промасленными ситцевыми штанами, непрерывными рассказами про автомобильные приключения — давал понять свою причастность к шоферскому делу. А Леня на своей поглощенности машиной или мотоциклом (у Чукера тоже был мотоцикл, но не “Ява”, конечно) не настаивал. И, на тогдашний мой взгляд, все преимущества были на его стороне.

Он и внешне производил очень приятное впечатление. Тогда как Женя все неприятные черты своего облика и поведения — из гордости, я думаю — выставлял напоказ, иногда утомляя собой и вполне расположенных к нему людей.

По развитию, по приобретенным в семье больше, чем в школе или где-либо, знаниям Женя превосходил сверстников, а уж меня, на три года младше, и подавно, — и его тянуло, естественно, поговорить серьезно, если не на равных, со взрослыми. Но разговору со старшими препятствовала невоспитанность, нарочно им (ради оригинальности) культивируемая. Он ухитрялся ссориться и с дядей, и с тетей — и причины ссор находил в их к нему отношении, во что я и тогда не верил: понимал, что и Николай Корнеевич, и Лидия Корнеевна из любви к погибшему на фронте младшему брату Бобе (Борису Корнеевичу, отцу Жени) никогда не обидят племянника.

А для Лени — при его-то органичной воспитанности — общение со взрослыми никакой трудности не составляло.

Помню, как Женя с оживленной своей картавостью рассказывал утром деду, как собирались они с Леней вчера вечером куда-то ехать на мотоциклах, но Лене пришлось составить компанию взрослым: к Пастернакам пришли Сельвинские, и началась игра в карты, семья на семью. “Что? — громким и высоким театральным голосом спросил Корней Иванович, хотя рассказывал Женя не на улице, а в большой комнате, где обычно принимали гостей за обеденным столом (на котором через много-много лет стоял гроб с Лидией Корнеевной). — Что? И сам поэт тоже играл?” Видимо, мадам Сельвинская приходила к Пастернакам с дочерьми, без мужа — и Корней исключительно про Бориса Леонидовича спросил: садился ли за карты и он? Нет, единственным мужчиной в дамском обществе бывал при карточной игре Леня.

Сейчас я затруднился бы сказать, кто из них двоих (Леня или Чукер) был умнее, кто талантливее, кто оригинальнее. Леня мне нравился отсутствием чудачеств, которые раздражали меня в Жене Чуковском и проявления которых так боялся я в себе.

Каждый выбрал потом свою стезю. Леня стал физиком; не имею представления о его научных успехах, но знаю, что он сердился на родителей — почему с детства не учили его музыке (единоутробный брат Лени Станислав Нейгауз был пианистом). Женя фотографировал — комната, в которой жил он на даче и где провел я массу времени, с помощью маскировочных штор превращалась в лабораторию; я любил смотреть, как он проявляет, печатает, увеличивает снимки — и не очень удивился, когда он захотел поступить во ВГИК на операторский факультет (брат нашего товарища детства Ильюши Петрова, Петя, этот факультет окончил).

Помню, как ездил с Женей в институт кинематографии сдавать в приемную комиссию снимки на творческий конкурс, и

дама, принимавшая снимки, поморщившись, высказала сомнение, что он пройдет с такими работами.

Бабушка Жени, Марья Борисовна, и дед уверены были, что внук будет литератором, видели в нем способности. (Внук станет сочинять, когда ни бабиньки, как он называл Марью Борисовну, ни Корнея Ивановича уже не будет на свете. И про тоненькую книжку, изданную, если ничего не путаю, свояком Жени Максимом Шостаковичем в Америке, Женин кузен Дмитрий Николаевич Чуковский, сын Николая Корнеевича, выпускник Школы-студии МХАТ, режиссер телевидения, а в новых временах бизнесмен, скажет: “Женька дико талантливый, но лентяй”.)

Но после десятого класса Чукер уперся: во ВГИК и больше никуда. Поступление и потом учеба на первом курсе (поступить он все-таки поступил) осложнялись еще и тем, что, взрывая на закрытой веранде первого этажа дачи осиное гнездо (случай, подробно описанный Корнеем Ивановичем в дневнике, но и я при взрыве присутствовал, помню почти оторванную, окровавленную руку), едва не лишился руки — и после операций не очень уверенно ею владел.

Корней Иванович откуда-то знал, что отец мой хорош с Анатолием Дмитриевичем Головней (великим оператором, снявшим все ставшие классикой фильмы Пудовкина; во ВГИКе он возглавлял операторский факультет), и просил позвонить ему, узнать мнение мэтра о возможностях Жени.

Головня сказал, что, на его взгляд, у внука Корнея Ивановича незаурядные технические способности, но педагоги (учился Чукер в мастерской у знаменитого оператора Леонида Косматова) не совсем уверены, что съемки кино — наиболее удачное им применение.

“Но, — сказал Анатолий Дмитриевич, угадывая, что за вопросом стоит и просьба о содействии, — все, что от меня зависит, я сделаю, а зависит от меня многое…”

3

Летом пятьдесят шестого года после публикации повести “Испытательный срок” отца ввели в редколлегию журнала “Знамя”. Это ему не очень подходило — читать чью-либо рукопись ему всегда бывало затруднительно. Он сам говорил, что читает по складам, медленно, не всегда хватает терпения дочитать до конца даже понравившуюся ему книгу. По складам не по складам, однако понимать, который час, по ручным часам так и не научился. В редколлегии он не задержался. Когда сдавали в

КГБ роман Гроссмана, его в “Знамени” давно не было.

Но первую присланную ему верстку журнала отец воспринял как развлечение — и зачитывал домашним свои комментарии к прочтенной все-таки (в первый и последний раз) верстке.

Особенно рассмешила его то ли проза, то ли стихи Веры Инбер, где приписывала она другой, чем на самом деле, цвет, кажется, синице, мотивируя тем, что птица была очень большая. Отец крупным своим почерком написал, что не может быть синица (синица?) такого цвета, даже если она очень большая. “Я такой синицы не видел”. И для пущего юмора вставил: “И моя жена тоже такой синицы не видела, Вера Михайловна”, — обратился он в заключение по-соседски — мы и в Москве после жили рядом — к самой Инбер.

Потом он прочел нам вслух стихотворение Пастернака “Быть знаменитым некрасиво” — шла, вы будете смеяться, зная, чем кончилась оттепель для Пастернака, подборка его стихов в “Знамени” Вадима Кожевникова — и сразу сказал: “Это про Левушку Ошанина”.

Сейчас эту реплику надо расшифровывать. Пастернака и по-прежнему не все читали, но знают. Помнит еще, может быть, кое-кто слова из песен Ошанина вроде “течет река Волга” (голосом Зыкиной), но фамилию автора вряд ли. А кто и помнит Льва Ивановича Ошанина, сравнительно недавно умершего, пережившего Пастернака лет на сорок, не будет ни под каким видом сопоставлять ни громкой советской его известности, ни удач на песенном поприще с тем, что представляет в литературе Борис Леонидович. Как не будет никто сейчас в здравом уме сопоставлять с любимым — или нелюбимым, или до сих пор не понятым — Пастернаком никого из тех поэтов, что жили в одно с ним время в Переделкине (даже Сельвинского и Тихонова, я думаю, при их былых вначале достоинствах).

Но жили они, советские знаменитости, в одном с Борисом Леонидовичем коммунальном поселке, никак не соседствуя с ним в своем (оно было их!) времени и не посягая на то, чтобы претендовать вместе с ним на вечность, в которую искренне не верили (и правильно делали, исходя из своих возможностей).

В сорок седьмом году Василий Лебедев-Кумач, в официальной песенной иерархии стоявший выше Ошанина и остальных коллег (что не означает, однако, что был он всех талантливее), носивший и по будням на широком лацкане пиджака орден Ленина вкупе с депутатским значком (лежавшего с ним в Кремлевке Шостаковича смешила рифма на медицинской пробирке “утренняя моча Лебедева-Кумача”), выступал перед студентами Московского университета. И задан ему был вопрос,

что он думает о Борисе Пастернаке. Лебедев-Кумач сказал, что считает его великим поэтом. И с грустью добавил: “А он меня, наверное, поэтом не считает”.

Автор слов “Я другой такой страны не знаю, где так гордо дышит человек” навсегда вырос после этого ответа в моих глазах.

Правда, Василию Ивановичу Лебедеву-Кумачу, может быть, и легче было смотреть правде в глаза: он выбрал для дачного поселения другое, более привилегированное место (Николину Гору или Барвиху) и не мог столкнуться на прогулочной аллее с живым Пастернаком.

Наверное, судьбе не следовало селить Пастернака в одном поселке с остальными знаменитостями.

Но и ему, и остальным хорошо было в Переделкине — нравилось им жить на даче в Переделкине, и, судя по стихам с местными пейзажами, Борису Леонидовичу жилось лучше всех.

По-моему, это тоже был пятьдесят пятый год, нет, все-таки, по некоторым признакам, скорее пятьдесят четвертый — для пятьдесят пятого я уж слишком глупо выгляжу (все же я в ту пору год от года что-то и прибавлял).

Думаю, что в пятьдесят пятом году Марик уже не произвел бы на меня такого впечатления, как в пятьдесят четвертом. В пятьдесят четвертом я же еще не читал глазами Пастернака, видел лишь шаржи на него с эпиграммами насчет оторванности поэта от нашего века, со злыми словами, что надел он на космос коромысло, “чтобы никто не отличил бессмыслицу от смысла”. Глазами не читал, но слышал одно или два стихотворения, прочитанных вслух отцом.

Да и судя по тому, что Пастернак Марика не принял, сославшись на спешную работу для театра, Марик этот появился у нас в поселке летом пятьдесят четвертого.

Удивительно, что он сразу набрел на меня, одиноко, что нечасто бывало, шедшего нашим знаменитым кругом — от кого-то я, видимо, возвращался к себе на дачу.

Откуда этот симпатичный чернявый молодой человек (чей облик отчасти слился для меня с будущим “ахматовским сиротой” Толей Найманом, которого узна2ю в шестидесятые годы, — Марик, кстати, тоже был из Ленинграда) мог знать или даже догадываться о моем приятельстве с Леней? Но почему тогда обратился он ко мне?

Вообще-то он сначала спросил, как пройти на дачу Пастернака — и я ему показал, не вдаваясь ни в какие расспросы и комментарии. Он сам стал рассказывать мне о цели своего визита.

Желанием посетить Пастернака (и показать ему свои стихи, переписанные разборчивым почерком на хорошей бумаге) он вызывал сочувствие, но у меня и мысли не мелькнуло о протекции. Что-то я понимал в укладе жизни семьи Пастернаков, если и не попытался вызвать с дачи Леню и представить ему Марика.

Я не помню всех подробностей проведенного с Мариком времени. Я и весь вечер с ним пробыл — повел зачем-то на танцы, о чем он меня вовсе не просил, потом решил устроить его на ночлег (не к себе же вести, у моей семьи тоже был свой уклад) к знакомым, ходившим на танцы (сам я не танцевал). Он мне уже порядком надоел, этот Марик (он себя сам называл исключительно Мариком и только представленный боксеру Ваське Арбузу из Мичуринца назвался полным именем Марк), — и, устроив его ночевать, я посчитал свою миссию законченной. Но почему-то он мне и утром встретился, когда возвращался со станции, где брился и завтракал (взявшим его к себе ночевать моим знакомым он так, вероятно, не понравился, что они его и не покормили, а я себя почувствовал виноватым перед этим нелепым почитателем Пастернака).

Не могу сейчас вспомнить, в первый или второй день он сунулся к Пастернаку. Возможно, в первый день ему сказали, что Борис Леонидович в Москве (мог и вправду быть в Москве, если делал работу для театра), а во второй — объяснили причину отказа от встречи…

В конце концов, ни тогда ни сейчас не должен я вникать в подробности визита, каких у Пастернака — удачных для визитеров или неудачных — бывало, может быть, на дню не на дню, но на неделе десяток.

Но этот Марик удивил меня фразой, после которой сам я уже не мог потом не думать про Пастернака — не жителя Переделкина, не отца Лени, а поэта Пастернака.

Он сказал про Бориса Леонидовича: “Это мой бог”. (Я не знал еще строфы: “Голоса приближаются: Скрябин. О, куда мне бежать от шагов моего божества!” — и не понял сначала Марика.)

Я не понял его сначала и потому еще, наверное, что великий человек, на которого молятся, должен был быть знаменит безусловно — я не понимал славы (почему и думаю теперь, что приезжал Марик в пятьдесят четвертом, а не в пятьдесят пятом), не подкрепленной лауреатскими значками, фотографиями в “Огоньке” и всей прочей суетой.

К пятьдесят пятому году я уже увлекся театром — и любимым актером у меня был Борис Ливанов из МХАТа.

От Лени я знал, что Ливанов у них в доме свой человек, часто у них гостит, но не делал никаких намеков Лене, что хотел бы я взглянуть на живого Ливанова, — до того как поступить в школу-студию при Художественном театре, Бориса Николаевича я видел только по телевизору.

И любимой ролью у меня был доктор Астров в его исполнении.

Откуда я мог знать, что приглашенный другом на премьеру Борис Леонидович рассказал Лидии Корнеевне Чуковской о своем впечатлении о спектакле, показавшемся ему поставленным не главным режиссером МХАТа Михаилом Кедровым, а персонажем из чеховской пьесы профессором Серебряковым (в Художественном театре Серебрякова играл Анатолий Кторов — Паратов из немой “Бесприданницы”).

Пастернак смотрел премьеру, когда дядю Ваню играл не Василий Орлов, а Борис Добронравов — любимый артист поколения Олега Ефремова и Анатолия Эфроса.

Ефремов и слушать не хотел о моем отроческом восхищении Ливановым. Ефремов ценил Кедрова, а к Ливанову относился спокойнее. Во всяком случае, Добронравова ставил неизмеримо выше.

И Ливанов, и Добронравов, как считали старые мхатовцы, не приложили, вольно или невольно, никаких усилий, чтобы Ефремова после школы-студии пригласили в Художественный театр.

Ливанов спутал его с Алексеем Покровским, когда оба они — в очередь — играли ремесленника в сочиненной “литературным негром” “Зеленой улице” Сурова, и Покровского взяли во МХАТ, а Ефремова нет.

А Добронравов был председателем государственной экзаменационной комиссии, когда Ефремов выпускался из студии. И вот так случилось, что Ефремов, который даже Эфросу напоминал всю последующую жизнь Добронравова, Добронравову не приглянулся.

Но каким, значит, и в действительности, а не в мифе был Борис Георгиевич Добронравов, если Олег Ефремов не держал на него обиды!

И нарочно, чтобы окончательно убедить (Ефремов умел убеждать) меня в моих насчет Ливанова заблуждениях, он в лицах, сознательно принижая исполнителя роли Астрова, стал показывать сцену с Еленой Андреевной (Алла Тарасова), когда дядя Ваня (Добронравов) входит с цветами, а ее целует доктор.

Ефремов уверял, что в этом обычно играемом на публику как комический эпизоде всем при виде Добронравова делалось

страшно и за Тарасову, и за Ливанова — такого мужика являл собою, повторяю, любимый артист Ефремова.

Но Пастернак говорил Лидии Корнеевне, что спектакль показался ему поставленным бездарным профессором Серебряковым.

Интересно, что говорил он в день премьеры Ливанову?

В театре и в школе-студии, куда главные артисты МХАТа приходили запросто, а некоторые из них были нашими профессорами, я несколько раз видел Ливанова вблизи, но знаком с ним не был. Он у нас не преподавал. Привел как-то англичан, они пошли на экзамен по сценическому фехтованию, а Борис Николаевич отказался: “Я и так каждый день фехтую рапирами с отравленным наконечником”.

В начале семидесятых во МХАТе уже заправлял Олег Николаевич Ефремов. Борис Николаевич в знак протеста больше не приходил на Камергерский. До меня доходили слухи, что он пишет на Ефремова письма в ЦК — и в борьбе с ним не останавливается ни перед чем, огорчая министра Фурцеву, любившую и Ливанова, и Ефремова. Но Ефремов был моложе, и Ливанову надо бы сдаться, как принято в таких случаях на театре, а он не сдавался.

Первое, что Ливанов сказал мне, когда я переступил порог его квартиры на улице Горького (он жил в одном доме с Корнеем Чуковским, куда и Женю после поступления во ВГИК вселили к Лидии Корнеевне): “Ефремов — человек серый, как штаны пожарного”.

К Ливанову я пришел по делу: надо было сочинить для болгарского журнала “Театр” статью про поставленную им еще до прихода в МХАТ Ефремова чеховскую “Чайку”. Мне хотелось посмотреть на Бориса Николаевича вблизи — не до конца же распропагандировал меня Олег Николаевич.

По Ливанову видно было, что он болен, я не знал тогда чем. Он говорил, что до инфаркта довел его Ефремов, а так врачи находят сердце артиста сердцем сорокалетнего человека. И умер Ливанов действительно не из-за сердца, а от рака предстательной железы.

Ливанов соскучился по новым собеседникам — и, слушая, как он говорит, я радовался, что не поддался Ефремову: огромностью таланта Борис Николаевич мог заставить забыть про “Современник”. “Современнику” при массе несомненных его достоинств Шекспира было не сыграть, а Ливанов сыграл бы, не запрети Сталин постановку “Гамлета”. Считалось, что и МХАТу (“Современник” же родом из МХАТа) Шекспира тоже не сыграть, но Ливанов опять-таки сыграл бы.

В нашем с Ливановым разговоре о “Чайке” во МХАТе (рассуждения постановщика были менее интересны, чем сам спектакль), о Ефремове (я сочувствовал Ливанову в обиде на Ефремова, но Ефремов не был серым, иные были у него недостатки) как-то неожиданно мы вышли на Пастернака.

Ливанов почему-то заговорил о несправедливости упреков (чьих упреков, я не понял) в антисемитизме.

“Да у меня друг номер один был Борис Пастернак”, — воскликнул он, и я ожидал продолжения, связанного с Пастернаком. Но про Бориса Леонидовича Борис Николаевич больше не вспомнил — его потянуло на обобщения.

“Почему, — вопрошал он темпераментно, — почему принято говорить о русском хамстве, но никогда никто не скажет вслух о еврейском нахальстве”.

Я подумал, что, наверное, где-то он эту оригинальную мысль высказал вслух, не учитывая национальности собеседника или целой аудитории, — и вот теперь считает несправедливыми упреки… Но ничего вслух говорить не стал — у него в квартире я себя чувствовал зрителем.

И по-видимому, показался ему зрителем благодарным — он захотел подарить мне цветной буклет о себе. Спросил, как моя фамилия. “Нилин? — переспросил тоном Ноздрева (знаменитая роль Ливанова в булгаковской инсценировке). — Почти Горький…” Он надписал мне буклет на обложке (так актеры когда-то надписывали свои фотографии — не на обороте, а прямо по изображению). Огорчился, что нет у меня портфеля: “Сомнешь…” (в конце беседы Ливанов уже дружески говорил “ты”, но мне и было тогда тридцать с небольшим и приятно, что любимый по-прежнему артист говорит мне “ты”).

И все-таки мне осталось непонятным, что сближало их с Пастернаком.

Может быть, Борис Леонидович вообще любил артистов? “Вы всего себя стерли для грима…” Мейерхольда уничтожили — Пастернак полюбил артистов противоположного по направлению театра.

Что общего с Ливановым? А что общего с Анастасией Платоновной Зуевой, которой посвящена знаменитая фраза про талант как про единственную новость?

Ефремов и Зуеву не любил — и не только за статьи, подписанные ею в ретроградских журналах против него как главного режиссера Художественного театра. Нам, студентам, он рассказывал, что Анастасия Платоновна лет с восемнадцати не прочла ни одной книжки, чтобы не потерять ценимую в ней

Станиславским непосредственность.

Помню, как на банкете, устроенном для ведущих артистов МХАТа Ириной Мирошниченко после ее творческого вечера в Доме актера, тамада Владлен Давыдов схлестнулся неожиданно с одним из первачей нового поколения Леонидом Губановым — в разговоре о прошлых и нынешних ценностях МХАТа: “Для тебя, Леня, МХАТ — это Анастасия Платоновна Зубова с ее тремя орденами Ленина, как у знатной свинарки?”

Интересно, читала ли Анастасия Платоновна что-нибудь у Пастернака, кроме стихотворения к ее юбилею?

Под стихотворением стоит дата — 22 февраля 1957 года.

Но мне всегда представляется, что сочинялось оно поздней осенью в Переделкине, когда рано темнеет. Леня в институте, отвезти Пастернака в город некому. Ехать поездом и заночевать в Москве? Пропадает для работы завтрашнее утро.

Счастливая идея написать поздравление на бумаге.

Он и начинает, как будто пишет в прозе: “Прошу простить. Я сожалею. Я не смогу. Я не приду. Но мысленно — на юбилее, в оставленном седьмом ряду”. Дальше вежливые формальности, похоже на тост, благо банкет он, оставшись дома, может пропустить.

Что-то происходит с Пастернаком, и он въезжает в третье четверостишие уже в своей силе — силе поэта, а не поздравителя.

Главная мысль обгоняет разбег — и разбег превращается в четвертую строфу, уже, пожалуй, и ненужную, хотя тоже отличную.

Смотрите, как бы здорово получилось, стань четвертая строфа третьей, а третья, согласно моей читательско-потребительской логике, четвертой:

“Меняются репертуары, / Стареет жизни ералаш. / Нельзя привыкнуть только к дару, / Когда он так велик, как ваш”.

И затем бы: “Смягчается времен суровость, / Теряют новизну слова. / Талант — единственная новость [когда декламируют, всегда давят на “новость”, а ключевое, по-моему, слово “талант”], / Которая всегда нова”.

Но хозяин, как всегда, барин — и у Пастернака сначала “смягчаются времена”, а затем только “меняются репертуары”.

Прежде чем смириться с обвинениями в нахальстве (предлагать свою логику Пастернаку!), за что критиковал Ливанов лиц еврейской национальности, замечу, что сам Борис Леонидович не придал стихотворному поздравлению большого значения, не включив в сборник ради слогана (*талант — единственная новость), за который Евтушенко половину не половину, но некоторую бы часть жизни отдал бы.*

За прошедшие со дня знакомства (в Коктебеле) более чем полвека я разговаривал с Евтушенко еще раз десять или двенадцать — последние лет тридцать живет он, когда не за границей, тоже в Переделкине.

Но из всех коротких (и случайных) встреч-бесед с ним, где он, как показалось мне, старался на ходу придумать тот же слоган (и почти всегда ему это удавалось, но хуже, чем в стихах), мне всего более запомнился самый первый разговор.

Евгений Александрович вспоминал, как был он в Переделкине у Пастернака (сам Евтушенко в Переделкине еще не жил) — и Пастернак прочел ему стихи, из которых ему, Евтушенко, показалось гениальным четверостишие "Сколько надо отваги, / Чтоб играть на века, / Как играют овраги, / Как играет река", о чем он тут же сказал Борису Леонидовичу, с ним, однако, не согласившемуся: "Нет, Женя, здесь все гениально".

Так ли оно было на самом деле? Или, как бывает при встречах с великими людьми, талантливые их собеседники что-либо талантливо домысливают, интерпретируют по-своему?

Но мне понравилась эта история в редакции Евгения Александровича Евтушенко — и я потом сам ее часто пересказывал, стараясь акцентировать ответ Пастернака, которым, казалось мне, он отбрил пытавшегося стать ему ровней знаменитого молодого поэта, спешащего со своими оценками.

Я довольно долго не знал, что четверостишие (которое я, конечно, сразу же запомнил) — из стихотворения "Вакханалия". Но, прежде чем сам прочел его целиком, уже знал, что Ахматова отозвалась о нем критически, не выделяя и четверостишия, заученного мною с подачи Евтушенко.

Ахматову раздражали "горы икры" и прочее, в чем читалась ею буржуазность жизни, которую зря (по ее мнению) вел сам Борис Леонидович. "Кого он видит, кроме Ливанова", — сердилась она, когда обсуждала с Лидией Корнеевной Чуковской неудачу (по ее мнению) Пастернака с "Вакханалией".

За Ливанова, который и намеком не возникает в этих стихах, я и зацепился, поняв вдруг рассмешившую меня самого связь неудачного визита Марика (чьей фамилии не запомнил и в чьи стихи не стал вчитываться) и "Вакханалии".

Конечно, работой для театра, помешавшей несчастному питерцу пробиться к своему божеству, была "Мария Стюарт" Шиллера.

Шиллер для МХАТа еще труднее, чем Шекспир, — всему учению Станиславского противопоказан Шиллер.

И обращение к “Марии Стюарт”, когда оставалась еще надежда превратить Художественный театр из ухи в аквариум (использую остроту знаменитого режиссера Николая Акимова — левака, презиравшего МХАТ, но во время войны оформившего там спектакль как художник), было попыткой прорыва.

На одной и той же театральной территории вчерашние студенты школы-студии репетировали пьесу Розова — искали возвращения к забытому МХАТом естественному тону, живой жизни на подмостках, — а знаменитые старики рвались из бытового тона к Шиллеру, переведенному великим поэтом в паузе между двумя опалами. Ставил “Марию Стюарт” Виктор Станицын — Стива Облонский из “Анны Карениной”.

Помню, как увидел их на лестнице школы-студии — вальяжного, уютно, элегантно полного, в отлично сшитом темном костюме Виктора Яковлевича и на складной деревянный сантиметр для столярных работ похожего Ефремова в светло-сером костюме, прижавшего к поджарому боку желто-коричневую папочку.

“Поверьте моему опыту”, — говорит Станицын (на “вы” — Ефремов тоже как-никак педагог и вдобавок свое дело заварил).

Не поверил его опыту Ефремов — и в итоге оказался прав. Не справился МХАТ с Шиллером, а “Современник” с Виктором Розовым разобрался.

4

Леонид Губанов, оставленный мною на предыдущих страницах — доспорить с Владленом Давыдовым о традициях театра и Анастасии Платоновне Зубовой с орденами Ленина, — во МХАТ был принят сразу после школы-студии. И карьера Губанова складывалась неплохо: перед гастролями в Англию его ввели на Астрова вместо Ливанова.

Сентиментально-декламационная манера не помешала Леониду Губанову быть среди тех, кто начинал “Современник”, — и репетировал он в розовских “Вечных живых” ту же самую роль героя, что и Ефремов.

Но Станицын пригласил его в “Марию Стюарт” на Мортимера, и он компанию Ефремова бросил.

Губанов сыграл еще много главных ролей в Художественном театре, стал народным артистом СССР, переехал вквартиру Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, поработал (уже на отшибе) с пришедшим во МХАТ Ефремовым — и при затеянном тем разделе труппы оказался на женской половине у Татьяны Дорониной.

В новейшей театральной истории Губанов под натиском артистов “Современника” отступает.

Но в историю литературы он бы мог неожиданно попасть, обрати на него тогда внимание переводчик шиллеровской пьесы Борис Пастернак.

Я смотрел “Марию Стюарт” в сезоне пятьдесят седьмого. Это был уже обветшавший спектакль. Ко всему прочему обрушилась декорация дворца — и, пока ее устанавливали, я с верхнего яруса рассмотрел в проломе совершенно безучастных к случившемуся артистов МХАТа в костюмах героев Шиллера. Вспоминал рассказы на занятиях Ефремова о сытом безразличии ко всему многих выдающихся стариков — он приводил пример с Владимиром Ершовым, который, рассердившись на пошедший в обратную сторону поворотный круг, велел дать занавес.

Мы занимались в аудитории, окнами упиравшейся в покатую крышу Художественного театра. Как-то весной подтаявшая шапка снега сползла по коньку крыши и рухнула с эхом в проход для проезда правительственных машин. Ефремов оглянулся на шум со своего преподавательского кресла. “А-а, — сказал, — я-то думал, МХАТ рухнул…”

Я смотрел спектакль, только-только начав учиться, и о судьбе Леонида Губанова ничего не знал. И за Мортимером на сцене следил не очень внимательно — меня другое занимало. Из журнала “Театр” я знал, что первым номером в “Марии Стюарт” с премьеры проходит Ангелина Степанова в роли королевы Елизаветы. Алле Тарасовой роль Марии Стюарт не удалась.

К началу работы со Станицыным над Шиллером Алла Константиновна заметно поправилась. Когда Художественный театр был в середине пятидесятых на гастролях в Париже — ответ на визит в Москву “Комеди Франсез”, — один из иностранных продюсеров, посмотрев на нее, сказал, что ему очень жаль эту красивую, но излишне полную даму: “Вероятно, у нее не будет ангажемента на будущий сезон…” Его успокоили, сообщив, что дама эта — директор МХАТа и ангажемент ей обеспечен.

В пятьдесят седьмом году она уже оставила директорский пост, но все роли, включая Марию Стюарт, сохранила за собой. И некоторые критики заговорили о том, что играть Тарасова стала лучше, чем на премьере, и Степановой-Елизавете теперь не уступает. Неужели и критики прочли “Вакханалию”? Она же не была сразу по написании опубликованной — Ахматова читала ее в списке.

Пастернак смотрел “Марию Стюарт” на премьере и никого, кроме Тарасовой-Марии, даже дачную соседку Ангелину Осиповну, не заметил. Его не смутила ее полнота — Борис

Леонидович всю жизнь любил женщин с формами.

И тем не менее “Стрекозою такою / Родила ее мать” — это тоже про Марию, сыгранную Аллой Константиновной.

Он увидел то, что захотел увидеть, но ведь значение для истории приобрело не то, что появилось на сцене МХАТа из самых благих побуждений и намерений и забыто напрочь, а то, что перевел на язык принадлежавшей ему, как это ни пытались оспорить (или запретить), вечности поэт Борис Пастернак.

Спектакль ли Станицына на самом деле его вдохновил?

“В платье пепельно-сизом / Села с краю за стол. / Рампа яркая снизу / Льет ей свет на подол”. (Это же буквальный пересказ мхатовской мизансцены!)

Увидел ли он что хотел — и только один мог — увидеть?

Сочинил ли эффект преломления роли в судьбе самой актрисы (или — наоборот)? “Словно буйство премьерши / Через столько веков / Помогает умершей / Убежать от оков”.

Мечтал ли о необходимости такого преломления, ассоциировав с ним и свою судьбу переводчика, отстояв ее от буквального Шиллера?

Но все же пришлось ему выступить под маркой Шиллера, чтобы денег заработать: ему нужно было много денег — он многим помогал, зарабатывая переводами, собственных стихов подолгу не издавали.

Тем не менее.

“Сколько надо отваги, / Чтоб играть на века”.

5

Став студентом, я реже бывал в Переделкине — и Леню не видел года два или три, по тогдашней поре жизни — немало: самое было время меняться, мне, как младшему, особенно.

А Чукер был своим человеком у Ардовых на Ордынке, где несколько неожиданно и для Жени, и для его свояка Максима Шостаковича я не только появился, но и превратился из вчерашнего незнакомца в друга младшего брата Бориса и все больше общего находил со старшим братом Михаилом. Чукеру, специально привозившему меня на Ордынку знакомить с братьями Ардовыми, ничего не оставалось, как тоже держаться со мною по-дружески.

Тесть Жени композитор Шостакович переехал с Можайского шоссе на улицу Неждановой, и дочери Гале с зятем осталась половина квартиры.

Позднее, после рождения первого ребенка, Галя с Женей

стали чаще жить на даче в Жуковке — и Чукер оставлял нам с Борей дубликат ключей от квартиры на Можайке (теперь Кутузовском проспекте).

С Леней я встретился на этой квартире, когда Женя с Галей еще в Жуковку не перебрались: Женя заканчивал институт кинематографии, Галя, биолог по образованию, служила в каком-то научном институте, откуда можно было приносить домой спирт. Женя разводил спирт до крепости водки, жарил мясо — и приглашал Ардовых, меня и кого-нибудь из общих наших приятелей.

И вот на такой праздник молодой жизни зван был и Леня, и мы впервые после переделкинской юности с ним встретились.

Я был очень ему рад. Рад и тому, что гуляли здесь на равных, теперь уже оба как взрослые. Приятно было видеть, что и Леня любит выпить — из нашей веселой компании не выбивается. За время, что мы не виделись, и произошла история с Борисом Леонидовичем. Точно помню, что собрались мы у Чукера после шестидесятого, когда умер Пастернак в разгар настигнувшей его мировой славы. При встрече с Леней я немедленно продемонстрировал свое солидарное с сыном нобелиата свободомыслие и прочел во вполне еще трезвом виде: “Здесь прошелся загадки таинственный ноготь. / — Поздно, высплюсь, чем свет перечту и пойму…”

Ужас, но иногда и спасение от мук совести в том, что подмеченное в нетрезвом виде — алкоголь на время обостряет восприятие — не всегда потом можешь изложить протокольно.

Я привык, что все мне нравится в Лене Пастернаке, — и по ходу вечеринки у Чукера никаких претензий к нему не возникало; меня удивляло, правда, поначалу, что слишком уж свободно чувствую теперь себя с ним на равных, не чувствую больше его былого превосходства (неужели я так вырос, так прибавил интеллектуально за годы невстреч?).

Но что теперь скрывать? На обратном пути — отвозил гостей, вероятно, Женя (ему тогда быть выпившим за рулем случалось) — подобрали мы по пути каких-то молодых иностранцев, что и в начале шестидесятых у нас совсем не приветствовалось, и Леня, настойчиво (и очень непохоже на себя развязно) знакомился с ними, называя свою фамилию с ударением на первом слоге; нескромно это выглядело и глуповато, по-моему, — мы же не знали, чем занимаются иностранцы (или Чукер и Леня, владевшие английским, все-таки узнали у них, кто они?).

Зачем-то все мы заехали на Ордынку к Ардовым.

Я всегда вышучиваю рассказы побывавших у Ардовых, что присутствие в них Ахматовой обязательно.

Ахматова, бывало, гостила на Ордынке подолгу, но ее обычно оберегали от встреч со случайными (тем более пьяными) людьми — угощали ею как наградой.

Но на этот раз получилось нарочно не придумаешь — кроме Ахматовой за столом в центральной комнате ардовской квартиры сидел еще и Бродский. Иосифу почему-то сразу неприятен сделался Леня, о чем я не сразу догадался, считая по пьяной лавочке, что Лени для комплекта только и не хватало: Ахматова, Иосиф Бродский и вот еще вдобавок сын Пастернака — сцена из исторической пьесы.

Леонида окончательно развезло — и он встал перед Ахматовой на колени, целовал ей руки. Развезти от такого количества разбавленного пополам с водой спирта может каждого — выпей бы столько Бродский, — и обобщать увиденное вряд ли следует. Но Иосиф не удержался — и что-то пробормотал про отдыхающую на детях природу. Я, корпоративно задетый, сказал Бродскому, что великому поэту следует быть менее элементарным в скоропалительных суждениях. Иосиф тут же ответил уже забытой мною остроумной фразой о пользе элементарности. Что вроде бы элементарного никогда не надо бояться, оно может быть всего ближе к истинному положению вещей… Возможно, я слишком упрощенно интерпретирую высказанную мысль, но и меня спустя немыслимое число лет интересует истинное положение вещей, а не точность цитаты — мне в мемуарах и стихи удобнее приводить такими, какими они запомнились мне, а не такими, как на самом деле; правильно процитировать, сверяясь с текстом, сможет каждый — не каждому, однако, повезло долго жить и войти с памятью в неизбежный конфликт, где правых нет при давно исчезнувших свидетелях.

У последнего, кто остался, должны же быть какие-то права, а не только обязанности все помнить.

Я тогда жил уже на Лаврушинском, в одном с Леней доме — он в старом крыле, а я в новом.

Мы шли от Ардовых вместе — и он предложил мне остаться у него до утра. Возможно, рассчитывал отыскать какую-то еще выпивку дома или просто не хотел расставаться, за всем весельем не обо всем успели переговорить.

Я подумал, что лучше действительно остаться у Лени и не огорчать своим видом родителей — утром я надеялся выглядеть лучше.

Нас встретила на пороге квартиры разгневанная женщина — наверное, жена, — я не спросил дорогою у Лени, женат ли он; большинство из нас еще не были женаты.

Разгневанная женщина тем не менее не прогнала меня в ночь — поместила в какую-то пустовавшую маленькую комнату.

Рано утром я поспешил уйти — чувствовал себя крайне неловко.

Что ни делается, к лучшему — для отметки о твоем эпизодическом участии в истории хотя бы.

Внутри дачи Пастернаков я так и не был — всегда оставался во дворе. А в городской квартире вот даже ночевал.

Леню я больше не видел — и ничего о нем не знал до того, как он лет в сорок с небольшим умер, не знаю отчего (сердце, наверное); видел по телевизору жену его, она заведовали музеем Пастернака, дочь опубликовала недавно воспоминания о деде, которого никогда не видела. Почему-то эти люди не показались мне близкими — и даже память о Лене, таком важном для детства моего человеке, не подтолкнула меня к знакомству с ними.

Тем не менее путь мой к Борису Леонидовичу имел неожиданное продолжение: осенью девяносто пятого года я стал мужем Натальи Борисовны Ивановой, автора монографии о Пастернаке.

III. Аллея классиков

Глава первая

1

В самом начале шестидесятых театр “Современник” поставил спектакль “По московскому времени”, пьеса Леонида Зорина.

Сам автор подозрительно легко согласился с критикой пьесы, тем более что находился он в лучшей поре — и пьесы, поставленные самыми знаменитыми театрами, у него получались одна лучше другой. Самый, правда, нашумевший спектакль (“Римская комедия” у Товстоногова) запретили, вернее, режиссер из стратегических соображений не стал за него бороться с ленинградским обкомом, но репутации Зорина как самого репертуарного автора это не повредило — удар колуном по тонкой психике сочинителя он перенес со стойкостью закаленного в общении с театрами драматурга.

Тогда я не понимал, зачем Леониду Генриховичу — с его-то возможностями — вообще нужна была такая надуманная по конфликту, на один день скроенная пьеса.

Теперь легко догадываюсь, каким важным казалось в ту минуту Зорину и Ефремову, как руководителю театра, лукаво внушить начальству, что мир искусства видит в нем просвещенного союзника — и не врага, а друга интеллигенции; надеялись предостеречь Хрущева от ошибки, которой он все равно не избежал, взяв в споре мыслящих людей с командным быдлом все же сторону быдла.

В целиком сочиненном (не может быть ничего и близко тому подобного на самом партийном деле) первом секретаре обкома “Современник” и Зорин хотели показать власти, какой мечтают они ее видеть, — хитрость наивных людей.

Второй секретарь обкома — фигура всем знакомая, ретроград и сталинист.

Зато первый секретарь обкома — не только умница, но и рафинированный интеллигент.

Великая загадка лицедейства в том, что об исчезнувшем навсегда образе русского интеллигента потомки смогут судить с обещающей точностью по исполнению Евгением Евстигнеевым роли профессора Преображенского в экранизации булгаковского “Собачьего сердца”.

Но первой пробой для Евстигнеева стал зоринский секретарь обкома.

Леонид Генрихович Зорин, создавая образ секретаря обкома-

культуртрегера, все же не перебарщивал — и цитировал образованный партиец не Монтескье, а Серафимовича.

Дискутируя со вторым секретарем, начетчиком, но совершенно неначитанным, когда заходит речь о художественной литературе, Евстигнеев-первый с большой экспрессией обращается к нему: “Помните, у Суруфимовича?..”

Ефремов со своего режиссерского места сразу обратил внимание на ошибку артиста — и остановил его монолог: “Батя…” Тут надо пояснить, что до того Евгений Александрович сыграл в спектакле “Продолжение легенды” простого строителя (но старого коммуниста), которого по ходу действия более молодые люди называют Батей.

Батей после этой постановки стали звать в театре и самого Женю (имен-отчеств в “Современнике” на пятый их сезон еще не было). Поэтому прозвучало “Батя” — обращение к артисту, да еще неприличное словцо-междометие — и дальше Ефремов втолковывал Евстигнееву, что говорить следует не “Суруфимович”, а “Серафимович”. Евстигнеев сначала оскорбился самим предположением, что он не знает правильного звучания этой непривычной фамилии. Тем не менее в спектакле фамилия не прозвучала вообще: так и не смог ее правильно произнести Евстигнеев. Я к тому, что не на слуху она была.

В Москве дом 2 на улице Серафимовича — Дом правительства, но называют его не иначе как домом на набережной.

В Переделкине у Серафимовича была своя, не по типовому проекту построенная дача, но никакого следа жизни автора романа “Железный поток” (насаждаемого сверху, но к сознанию читателей не прививщегося) не осталось — и название улицы, дублирующее московское, существует только на табличке, но не в поселковом обиходе.

Улицу называют аллеей классиков — и с любым из громких имен поселенных на ней дачников готовы связать это название, но не с тем, кто сочинил “Железный поток”.

А начинает улицу-аллею, как и всегда и начинала, дача, а теперь музей Чуковского (дача Тренева идет под № 1, но выходит она на две улицы — и потому не в счет).

Вроде бы и сам зачин рассказа об этой улице должен содержать признание Корнея Ивановича Чуковского тем самым классиком, который открывает своей дачей (наиболее нелепой на всей аллее, а то и во всем поселке архитектуры) строй классиковых дач.

А если рассказ не об этом?

Если рассказ мой носит очень узкий характер и держится на желании разобраться только в собственном отношении к Чуковскому — вернее, в своем отношении к своему (а не вообще) Чуковскому. К тому, которого видел (имел честь видеть), знал (обнаружил в себе незаемное знание) и по-прежнему стараюсь понять (и понять опять же для себя, а не затем, чтобы с чьей-либо иной точкой зрения спорить, навязывать кому-нибудь свое мнение, но и скрывать его не вижу напоследок необходимости).

В рассказе-воспоминании стараюсь исходить из того, что Корней Чуковский, как бывает у нас не так уж редко, фигура одновременно и переоцененная, и недооцененная.

Что, однако, ни в том ни в другом случае не делает ее менее значительной, чем она есть на самом деле.

Сразу должен предупредить, что на соображения, которые кому-то, может быть, покажутся излишне самонадеянными и субъективными, навели меня прежде всего дневники Корнея Ивановича — на протяжении последних лет моя любимая книга.

2

Я не очень любил Корнея Ивановича при жизни.

Вернее, не любил его так, как следовало любить любимого всеми детьми (и многими взрослыми) человека.

В раннем детстве он как-то меня смущал, сковывал громкостью своего артистизма — желанием (и еще каким умением!) превратить любой бытовой разговор в увлекательную игру.

А я стеснялся ему подыгрывать. Превращался в бóльшего буку, чем на самом деле.

Едем мы, допустим, дождливым днем в Москву на машине Корнея Ивановича; он сидит на переднем сиденье и рассказывает, как увлекательно накануне играли они в слова, когда требовалось угадать пропущенную букву — и с нею потом все слова.

Он и мне предлагает тотчас же вступить в эту игру — пишет пальцем на запотевшем лобовом стекле “м-ма”. Спрашивает, какой буквы не хватает, чтобы получилось знакомое слово. Мне лет шесть, наверное. Я самостоятельно прочел “Трех мушкетеров” Дюма. Задача, поставленная передо мною дедушкой Чуковским, оскорбительно элементарна для меня. Но я тупо молчу — и выгляжу вглухую недогадливым идиотом.

Я провожу в детстве-отрочестве довольно много времени у Чуковских на даче как товарищ в развлечениях внука Корнея Ивановича Жени — и знаю, как может быть строг к проделкам

внука и его приятелей домашний Корней Иванович, и стараюсь лишний раз не попадаться ему на глаза.

Или вот мне уже минуло семнадцать, я только что стал студентом театральной школы. Иду по аллее классиков — и вижу Корнея Ивановича, окруженного писателями из Дома творчества (Чуковского на улице в одиночестве я видел лишь однажды за все время, что жил в Переделкине). Я вроде бы собираюсь быть артистом, но скованность при общении с Корнем Ивановичем все еще не преодолена. И я опять выгляжу глупо. Чуковский громко обращается к окружающим: “Вот ведь странный человек. До сих пор никак не придет ко мне, чтобы прочесть монолог «Быть или не быть»”.

Монолог Гамлета я вообще-то наизусть знаю. Но не очень понимаю, зачем мне читать его Корнею Ивановичу. Год или два назад молодой артист Миша Козаков жил в Переделкине, репетируя с Охлопковым роль Гамлета. Миша к тому времени закончил Школу-студию МХАТ — и его действительно позвали играть Гамлета на театре. Миша был знаком, разумеется, с Корнеем Ивановичем, но читал ли ему “Быть или не быть”?

Словом, в том, что называю нелюбовью к Чуковскому, виноват я, а уже никак не Корней Иванович. И чувство тайной вины перед ним — и живым, и давно ушедшим — у меня оставалось вплоть до того времени, как дневники Чуковского были изданы Люшей (старшей внучкой Корнея Ивановича Еленой Цезаревной, которую знаю с первых послевоенных лет) и я смог их впервые прочесть; по-моему, случилось это в начале девяностых.

Вновь оскорбляя чьи-то чувства, скажу — всего глупее была бы сейчас неоткровенность, — что чтение дневников (а я прочитал их целиком дважды, но записи за время от сорок второго года по шестьдесят девятый — раз десять не менее) убавило для меня отчасти впечатление, производимое Корнеем Ивановичем при жизни.

Или я бы сказал сейчас так: убавило впечатление от Чуковского (и веры, наверное, во всемогущество литературного его вкуса, окончательности экспертной оценки), но прибавило ощущения близости к этому человеку, сочувствия к тому, как он жил каждый свой день, отраженный в дневниковых записях.

Я увидел, что понимать о литературе всего невозможно — и нужно ли? Не поощрение мэтров, вольно или невольно приближающих к себе вольных или невольных подражателей, помогает начинающим кем-то стать, а лишь риск самостоятельности, в свое время и сделавших мэтров мэтрами.

Но всегда ли ощущает и мэтр себя последней инстанцией? Не

допуская и тени неуверенности на людях, Корней Иванович разрешает себе в дневниках чаще, чем можно это представить, сомнение в уровне своих способностей (как и положено пишущему, он бывает недоволен самим качеством своих записей в дневнике — и нередко видит, что опыт не в помощь, что опыт — препятствие).

Он не признает Марину Цветаеву, не понимает Бродского, но предпочитает длить непонимание, чем поддаться чужому мнению, пусть даже дочери Лидии Корнеевны, с которой у отца так много общего во вкусах.

Одиночество — доминанта всех трех (первое издание было двухтомным) томов дневника.

Одинок молодой человек, избравший профессию литературного критика, сразу обратившего на себя внимание.

Одинок мужчина, смолоду женившийся на любимой женщине, проживший с нею долгую жизнь.

Одинок отец удачных, замечательных детей.

Одинок автор знаменитого “Мойдодыра”.

Одинок вообще знаменитый в разных жанрах литератор.

Одинок ленинградец.

Одинок москвич.

Одинок старейший — и всеми обитателями поселка чтимый — житель Переделкина.

Одинок писатель, подвергаемый нападкам властей.

Одинок лауреат Ленинской премии.

Одинок дед, прадед и прапрадед.

Одинок проживший долгую жизнь, узнавший славу, трудившийся до последних минут жизни с юношеским азартом восьмидесятилетней старик, в равной степени, всем казалось, любивший и публичность, и рабочее уединение.

И еще я понял, что не мудрецом был Корней Иванович Чуковский, а большим артистом, сыгравшим мудреца, — и не в том ли была его главная мудрость?

Великой ролью стала для него и старость, сыгранная им по Мейерхольду на людях (Чуковский, кстати, хорошо Мейерхольда знал, состоял с ним в переписке) — и по Станиславскому в дневниковых записях.

Есть фотография — свидетельство моего очень раннего (с двух лет) знакомства с Корнем Ивановичем. И этой фотографией-свидетельством — мы с Корнеем Ивановичем в Ташкенте, сорок второй год, стоим, разделенные щелью арыка, — мне часто

случалось хвастаться.

Сейчас между тем при взгляде на этот снимок более чем семидесятилетней давности меня занимает другое.

Мне два года, Корнею Ивановичу шестьдесят — в стихотворении, приблизительно тогда же и сочиненном, он пишет: “Я не знал, что так радостно быть стариком…”

Старость Чуковского длилась двадцать семь лет на моих переделкинских, подчеркнул бы я, глазах — в Москве я почему-то никогда с Корнеем Ивановичем не встречался. Но в московской квартире Чуковского однажды побывал. В сорок пятом году меня привозили туда, чтобы посмотрел ребенок из окна двухкомнатной квартиры на улице Горького, как пойдут в сторону Красной площади, где будет парад Победы, который сейчас репетируют, танки (правда, танки, пока я смотрел из окна, ждали своей очереди — и танкистам роздали завтрак, они намазывали масло из упаковок на ломти хлеба).

И за все двадцать семь лет мне лишь однажды бросилось в глаза, как на самом деле стар Корней Иванович.

Я шел со станции Переделкино в сильный мороз — воздух казался пронизанным блестящими иголками — и увидел Чуковского, как показалось мне, сгорбленного (таким никто Корнея Ивановича не видел), упрямо-тяжело ступавшего валенками. Он сворачивал с улицы Тренева на свою аллею, один, без спутников, зрителей не было — и дал себе послабление ненадолго побыть стариком.

Ему тогда только-только приближалось к восьмидесяти — и еще столько всякого предстояло. Каждый год добавлял ему успеха, известности, удивления, что старость у него проходит так, а не иначе, добавлял публикаций и денег: детские книжки Чуковского переиздавались непрерывно.

Единственное, чего не смогла у Корнея Ивановича Чуковского отнять советская власть, — это его старость.

Притом что в самом ее начале — между шестьюдесятью и семьюдесятью — власть еще как придиралась к нему.

Вместе с тем не сказал бы, что победил он одним долголетием — он побеждал всей протяженностью жизни. Просто в глубокой старости сделалось вполне ясным, что он победил.

Недавно мой младший брат обратил внимание на то, что главный конкурент Чуковского в цехе детской литературы Самуил Маршак (они, между прочим, почти одновременно переехали из Питера в Москву, опасаясь серьезных неприятностей) бывал к власти куда лояльнее (если не сказать уж

прямо, куда искательнее — три Сталинские премии просто так на лацканы талантливых писателей не вешают).

А какой из Корнея лауреат, когда в стране, где большая часть населения распихана по коммуналкам, а в каждую комнату по пять-шесть человек вколочено, дети спят в полушаге от койки родителей, выходит не сочтешь какое по счету издание "Мойдодыра" — и там Мойдодыр выбегает *из маминой из спальни (а у папы тоже, что ли, есть отдельная спальня, это зачем?). Ну, допустим, сочинил эту ахинею Чуковский до революции, когда коммунальных квартир еще не было, не доросли. Но для советских детей из коммуналок трудно вам, Корней Иванович, вычеркнуть совершенно лишнюю спальню?*

Молодые коллеги Чуковского были пособразительнее (они ли у Маршака учились, Маршак ли у них) — один в итоге сумел текст государственного гимна переписать трижды. Гимн, по-вашему, Корней Иванович, менее важен, чем ваш дурацкий "Мойдодыр"?

У меня долго-долго хранилась расписка Чуковского, что первый экземпляр книжки "Бибигон" автор обязуется подарить мне. В авторском исполнении я "Бибигона" уже слышал — и ни одна из вещей Чуковского (а в ту зиму сорок пятого года вообще ни одна) не волновала меня так, как история этого Бибигона — маленького человечка, прилетевшего к своей Арабелле (тогда же вроде бы переименованной в Цинцинелу, но имя Арабелла нравилось мне больше).

В "Бибигоне" действие (или часть действия, "Бибигона" я с тех пор не освежал в памяти) происходило на досконально известном мне участке перед дачей Чуковских. Индюка Брундуляка я, врать не буду, не видел. Но с тех пор заинтересовало меня преобразование жизни в литературу. Или, может быть, превращение литературы в главную (для меня) реалию жизни?

Первого экземпляра "Бибигона" я не дождался. "Бибигона" запретили — Корнею Ивановичу не привыкать было к тому, его и за какую-то военную басню (где мартышка становилась пулеметчиком) секли в газетах.

Вроде бы и не понять сегодня, что не устраивало власть в "Бибигоне".

Я уверен, что критика всех новых басен, сочиненных Чуковским в советское время, — месть за не исправленного им "Мойдодыра", настолько зачитанного детьми, что запрещать его тоже показалось бы не совсем политически верным.

Детская литература нужна была советской власти как никакой другой. Власть видела необходимость в конструировании нового человека — и когда же, как не с детства,

полагали наверху, надо и начинать, не откладывая, социальное конструирование. Много позднее, в иные, как некоторым показалось времена, книжка о детском писателе Льве Кассиле (тоже нашем, из Переделкина) так и называлась: “Главный конструктор”.

Очень нужны были детские писатели — и таких упрямых, как Чуковский, рациональнее было перевоспитать, исправить, выжать из него все, на что старик способен, но не отказываться вовсе от его услуг.

Жизнь Корнея Ивановича складывалась из того, что “Мойдодыр”, оставаясь укором за мамину спальню, не переставал быть и кормильцем, и защитником.

У советских детей должна быть своя классика — пусть пока воспитываются на ней (гигиена в государственном масштабе никем не отменена), а про мамину спальню все равно не поймут.

Кстати, случай с маминой спальней показывает, что не писатель идет за читателем, а читатель каким-то образом приноравливается к странностям и капризам автора (вроде ни в какие советские ворота — тем более квартиры — повторяю, не лезущая мамина спальня).

Власти пришлось смириться с популярностью этого старика и даже найти в ней прямую пользу — утверждать именем Чуковского авторитет необходимой ей, как рычаг воздействия на завтрашнюю публику, детской литературы.

Власть дала ему понять, что Маршаком, Михалковым и Барто она довольна больше, — и то, что старикан суетиться перед клиентом не захотел, вызывало и некоторое уважение. К тому же многократным сталинским лауреатам в хрущевские времена тоже пора было дать понять, что свет на них не сошелся.

Помощник Хрущева Владимир Лебедев (помогавший Твардовскому с публикацией Солженицына) много сделал и для того, чтобы входившую в моду медаль с изображением не менее популярного, чем Корней, дедушки надеть на неприлично пустующий лацкан Корнея.

За детскую литературу премировать Чуковского было бы не совсем педагогично — те, кто надо, помнили, что вдова изображенного на медали дедушки много крови попортила в свое время сочинителю “Мойдодыра” (под “Мойдодыром” я объединяю все знаменитые работы Корнея Ивановича для детей).

И выход был найден. Премию Чуковский получил за книгу о Некрасове.

Думаю, что такой вариант Корнея Ивановича и больше устраивал.

Он не показывал виду, но репутация советских лет —

исключительно как автора для детей — его тяготила. “Я очутился в узком промежутке, / Ведь я мог дать / Не то, что дал, / Что мне давалось ради шутки”.

Это не из “Одолеем Бармалея” — это никогда не сочинявший для детей Сергей Есенин, которого Чуковский, не сомневаюсь, хорошо знал.

3

Сюжет для себя в бескрайней биографии Корнея Ивановича открыла мне запись от 26 ноября 1939 года (я даже и не зачат): “Тут еще Женя, мой внук, изнервленный, болезненный ребенок, свалившийся на мою старую голову неизвестно для чего и почему”.

Но дальше начинается война, гибнет на фронте сын Чуковского Борис (Боба) — отец пятилетнего Жени (мама Жени к тридцать девятому году была с Бобой в разводе, он женат был на другой, ребенок никому оказался не нужен) — и когда, за это время родившийся и доживший почти до пяти лет, я узнаю поближе Чуковских зимой сорок пятого, то пойму, что семья Корнея Ивановича состоит из трех человек: он, Марья Борисовна и внук Женя. Они уже неразделимы. Женя делается бабушке и дедушке ближе, чем взрослые Лида и Коля со своими семьями. Женя для них — и память о погибшем Бобе.

В пятьдесят четвертом году умирает Марья Борисовна.

Дед и Женя остаются вдвоем.

Но Жене исполняется семнадцать — он, оставаясь с дедом под одной дачной крышей, отдаляется от него. Лидия Корнеевна с Люшей живут на московской квартире, и опыт подселения к ним студента-первокурсника Жени не кажется никому удачным.

Я все годы до поступления Жени в институт остаюсь с ним приятелем.

В книге воспоминаний о Чуковском есть фотография, запечатлевшая трех его внуков. Взявшись за руки, они идут мимо открытой, повернутой к даче Катаевых веранды в сторону калитки (не той, что при воротах, а той отдельной, таинственной, тропинкой наискосок связанной с песчаным островком перед входом на веранду).

Самый высокий и старший Николай (по-домашнему на всю жизнь Гулька) ведет родного брата Митю и двоюродного Женю.

Фото датировано сорок седьмым годом — Гульке четырнадцать лет, Жене — десять, Мите — четыре. Это время,

когда я — мне семь лет — не первый год знаю Женю и Гульку (а на маленького Митю пока не обращаю внимания).

Когда смотрю на фотографию, удивляюсь, как невысок (ненамного выше Мити) Женя.

Он не в породу Чуковских, где все рослые, крупные, красивые — в какого, например, красавца вырос Митя (он и на папу Николая Корнеевича очень похож, и на маму Марину Николаевну, интересную, по общему мнению, женщину).

Женя еще и ленив и несобран, что для Чуковских нетипично (правда, у меня есть подозрения, что и Гулька не так уж далеко ушел от Евгения Борисовича в отсутствии фамильных качеств).

Но Женя необычайно энергичен, изобретателен — в некотором смысле и предприимчив. Помню, как предлагает он деду выгодно продать радиоприемник из автомобиля, на что Корней Иванович отвечает, что как-то привык зарабатывать “перышком” и все иные пути обогащения его мало интересуют.

Не могу сказать, что у меня было счастливое детство, — я вообще-то не люблю его и вспоминать (сейчас я веселее, проще, выгляжу иногда, к огорчению жены, “хуже, чем ребенок”, а тогда погружен был чаще во взрослые, грустные мысли, возраст унижал меня, скорее хотелось сделаться старше — и не оттого ли сегодня я веселее, что нет больше желания становиться старше) — но до сих благодарен Чукеру, приобщавшему меня постоянно к своим затеям, сделавшим мое детство интересным, несмотря на внутренний дискомфорт.

В городе — в школе и во дворе — я сразу становился элементарнее и точно так же тяготился элементарностью, как и странностью, более терпимой в Переделкине, чем в Москве.

Но ведь и Женя Чуковский был по-своему странным, однако странностью своей гордился. Он казался мне естественнее других детей — в нем все, чего остальные стеснялись, было напоказ.

В компании нашей были дети покрепче, поздоровее Жени (я на три года был младше, но гораздо сильнее Чукера). Но со своей оригинальностью он не то чтобы верховодил, но ни перед кем не тушевался.

Весу (или загадочности) в детском обществе ему придавало и отсутствие родителей. Отца, скажем, не было и у Толи Серова, но был отчим Симонов. Погиб на фронте отец у Ильюши Петрова (Катаева), но была мама Валентина Леонтьевна — всем мамам мама.

Если с дедом — у Корнея Ивановича в дневнике немало записей, где он выражает недовольство Женей, справедливое, как могу я и сейчас подтвердить, — Чукер какие-то элементы

непослушания себе и позволял, о чем и записи в дневнике, то сопротивляться наставлениям бабиньки Марьи Борисовны он, в общем, не решался.

У меня сложилось впечатление (и дневник тому в подтверждение), что в семье Чуковских Марья Борисовна была самой главной.

Коля и Лида жили отдельно — и ее главенство распространялось целиком на Корнея Ивановича (меня тронуло, что в очень давнем, времен их молодости, письме она называет его Колей; образ Корнея Ивановича сложился окончательно не только задолго до моего рождения, но и до рождения моего отца, все знали Чуковского таким, каким и хотел он всем представляться, но вот Колей для кого-то он так и не переставал быть).

Марья Борисовна была из тех писательских жен, которые сами ничего не пишут, но мужья доверяют их литературному вкусу, охотно подчиняются влиянию, какое такие жены оказывают на них ежечасно.

Марья Борисовна говорила (после инсульта тихо и с запинками): “Женя хороший мальчик. Но очень нервный”.

Марья Борисовна почему-то очень хорошо относилась ко мне (чем я гордился: слышал с малолетства, что в нее влюблен был Маяковский, которого Корней Иванович чуть ли не с лестницы спустил).

На том месте, где сейчас библиотека Чуковского, стоял когда-то сарай с очень вместительным погребом — и в этом погребе мы (Павлик Катаев, его двоюродный брат Ильюша Петров, Чукер, я и еще кто-нибудь на менее постоянной основе, Дима Кассиль, например) бессмысленно с точки зрения старших проводили время.

Корнею Ивановичу не составило труда предположить, что в погребе имело место курение, ненормативная лексика и прочее.

Он собрал нас однажды в лесу на поваленном дереве (не помню, елке или сосне) — и рассказал, что был такой хороший писатель Аркадий Гайдар (знакомый Корнея Ивановича), сочинивший книжку про Тимура и его команду — умных и трудолюбивых детей, помогавших старым, больным и сиротам.

Корней Иванович предложил нам назваться в честь погибшего Гайдара гайдаровцами и тоже делать добрые дела.

Мне было лет восемь, остальным побольше — чего в таком возрасте не пообещаешь?

И мы обещали покончить с курением и матом.

Чуковский сказал, что в течение дня обязательно надо

посвящать час труду. Дерево, на котором сидим мы сейчас, надо распилить — и потом расколоть на дрова.

Вот с этой частью программы мы справились — пилить дрова мы все любили, приучены были после войны.

С матом и курением получилось сложнее.

Не сам даже мат (или курение) разрушил наше гайдаровское сообщество, а склонность некоторых из нас к ябедничеству.

Ничего бы не случилось страшного, оброни нечаянно кто-нибудь из нас по привычке нехорошее словцо, но ябеда сейчас же грозил донести о проступке Корнею Ивановичу.

И мы поняли, что не доросли нравственно до персонажей Гайдара (разве что до хулигана Квакина) — и собрания в погребе с курением и, естественно, матерщиной продолжились в прежнем составе.

Позднее Корней Иванович своими знаменитыми библиотекой и кострами для детей взял реванш за поражение с гайдаровцами.

Я не разделял ни увлечения Чукера техникой, ни интереса к машинам. И я ни в чем никогда ему не подражал, как, бывает (даже невольно), подражаешь старшим.

Но проводил же я с ним целые дни, иногда и месяцы, вместе с ним и остальной компанией, бывало, и целое лето проводил, пока не укрепились у меня знакомства на другом конце поселка, поближе к футбольному полю в лесу.

Саша Авдеенко, на чьей даче я года с пятидесятого стал проводить почти столько же времени, сколько раньше у Чуковских, был ровесником Жени, но вот он для меня изначально был старшим; я, ему вроде бы ни в чем прямо не подражая, мечтал, чтобы поскорее мне исполнилось, как Авдеенко, четырнадцать лет, когда было мне одиннадцать.

А с Чукером мне мой возраст не мешал.

И я думаю, что происходило это из-за той откровенности разговоров, которые вели мы лет с шести (моих) и девяти (его) до четырнадцати (когда-то же и мне исполнилось четырнадцать) — дальше он сделался студентом, а мне ничего не оставалось, как врать, что перешел я в десятый класс, а на самом деле только в девятый.

Много еще лет прошло, прежде чем я догадался, поняв, что главные мои университеты — это разговоры. В настоящих бы университетах скорее делал вид, что учусь, а университеты разговоров были моими. В них я мог оставаться бесконечно — это я, который за первые сорок пять минут лекции уставал, как на заводе.

Затрудняюсь сказать, красноречив ли был Чукер. Но Женя

повторял в разговорах то, что говорили при нем взрослые — дедушка, бабушка, их знакомые (из того же ушедшего для масс мира, в каком продолжали жить Марья Борисовна и Корней Иванович).

Я был ребенком — и не самым сметливым, не самым прилежным ребенком — и всерьез заговорить ни с бабинькой, ни с дедом Жени Чуковского не мог. Но я сообщался с ними через их внука — другой звук, другой тон, другой слог доходили до меня как с другой планеты.

С внуком и Марья Борисовна, и Корней Иванович говорили внутри дома, в кругу семьи языком, обществом уже утраченным, — и в разговорах вне стен дома они становились понятными собеседнику, совершая как бы синхронный перевод.

Чукер старался говорить на языке школы и улицы, но и в его громкой речи проскакивало что-то тихое и точное, притаившееся в словах, вышедших из употребления вместе с былыми носителями этих слов.

Иду сегодня мимо дачи, вижу пожарную лестницу на чердак, вспоминаю вроде ничего не значащие разговоры на чердаке. И понимаю теперь, что посредством разговоров с Женей что-то из дома Чуковских (только этому дому принадлежащее) я все-таки вынес — и с этим жил дальше и, надеюсь, живу.

Марья Борисовна отцу моему симпатизировала, чем, возможно, определились отношений нашей семьи с Чуковскими (притом что к матушке нашей Марья Борисовна была равнодушна, а Корней Иванович, как и сама матушка считала, ее недолюбливает).

О том, из чего и как складывались отношения с Чуковскими, я задумался много позднее, когда давно уже не было на свете ни Марьи Борисовны с Корнеем Ивановичем, ни отца с матерью.

А в детстве мне казалось само собой разумеющимся, что Чуковские всегда рядом — и когда заборов не было, а я до их дачи добирался вившейся между деревьев тропкой, и когда огибал заборы, но путь все равно занимал минут пять.

Я приходил к Жене, отец бывал не реже раза в неделю у Корнея Ивановича, Корней Иванович раз в месяц, а Женя куда чаще бывал у нас. Матушка без крайней необходимости к Чуковским не ходила и Марью Борисовну чего-то не помню у нас, но Марья Борисовна часто болела и мало где бывала.

А что вообще отца моего, к неравным дружбам никак не склонного, могло связывать с Чуковским? Чем мог быть интересен Корнею Ивановичу ничем пока особо не проявивший себя молодой писатель — восьмого года рождения, когда Чуковский не просто уже печатался, но и водил знакомство со

всеми литературными знаменитостями России? Откуда, кстати, и отец, познакомившийся с Чуковским уже в Переделкине перед войной, мог знать, что Корней Иванович был когда-то известнейшим критиком, а не просто тем детским писателем, каким в первую очередь числился он в советскую пору?

Не слава же автора “Мойдодыра” потянула отца к Чуковскому. Чуковский представлял для него недостижимую культуру исчезнувшего мира, как бы ни полагал отец себя самородком.

В переписке Корнея Ивановича с дочерью Лидой фамилия Нилин возникает в сорок первом году. Чуковский не просто рассказывает дочери о неприятностях, постигших нового соседа, но и выражает ему сочувствие. “Человек он, конечно, темноватый, — замечает он, — но, ей-богу, не хуже других”. Дальше говорит о талантливости темноватого соседа — и чувствуется, что вывод этот делает не по прочтении какого-либо текста Нилина, а из увлеченности его устным рассказом.

Лидию Корнеевну похвала Корнея Ивановича не убедила; она и десять лет спустя упрекает батюшку за непонятную ей близость отношений — не помню уж, про кого она говорит из живших тогда в переделкинском Доме творчества друзей-писателей, что “лучше бы он к тебе ходил, чем Павел Нилин”.

Но Лидия Корнеевна бывает на даче нерегулярно — и повлиять на отношения Деда (как называет она Корнея Ивановича) к не нравящемуся ей соседу не удается.

После смерти Марьи Борисовны отношения еще укрепляются.

Не помню уж характер (и контекст) послания Чуковского отцу, но помню фразу, что он (отец) завещан ему Марьей Борисовной.

Лидия Корнеевна тем не менее упорствует в своем отношении. Это видно по ее письму Алексею Ивановичу Пантелееву — близкому другу Лиды (в моей семье Лидия Корнеевна всегда называлась без отчества — Лида Чуковская). Пантелеев сообщает, что едет за границу вместе с Нилиным. Лида пишет: “…предполагаемый спутник Ваш (наш сосед) — человек престранный. Писатель отличный, человек же — решительно не разбери-бери”.

Для Лидии Корнеевны оценка “отличный” весьма редкая, но даже такое признание не повернуло ее в сторону отца.

Возможно, говорила в ней и какая-то обида, отец мог задеть и своим отношением без особого почтения. Через много лет он напишет у себя в дневнике, что никто, кроме этой старой больной женщины, не проявляет сегодня настоящей смелости. Тогда же он мог быть с нею и небрежен, мог видеть в ней только дочь

Чуковского — и не знать личных качеств и заслуг Лиды.

Корнею Ивановичу и отцу случалось и обижать друг друга, и друг на друга обижаться. Но как-то мирились — до серьезных ссор никогда не доходило.

Помню, как отец ушел со дня рождения Корнея Ивановича. А на следующий день Корней Иванович пришел к нам — и жаловался матушке на “невозможный характер отца”.

Читал я как-то в газете записанный журналисткой рассказ академика Вячеслава Всеволодовича Иванова (по-нашему, по-переделкински, Комы — я не знаком с академиком лично, но тоже с детства в разговорах именую Вячеслава Всеволодовича Комой), где, рассуждая о своеобразии характера Корнея Ивановича, он приводит пример, как возмущался на дачных аллеях Нилин, когда узнал, что похваленному Корнеем Ивановичем роману в разговоре с другими обитателями поселка тот же Корней Иванович дает совершенно противоположную оценку.

Может быть, отец и возмущался — упаси меня бог спорить с таким авторитетом, как Кома, намного ближе, чем я, с Чуковским знакомого.

Но когда я прочел про этот случай в газете, мне сразу вспомнился эпизод в Коктебеле пятьдесят восьмого года. Мы сидим в столовой за столиком с красивой молодой дамой. Она тоже из Переделкина — и, когда разговор заходит о наших знаменитостях (и о Корнее Ивановиче, в частности), отец вспоминает, развлекая даму, как любит Чуковский высказать тебе что-нибудь одобрительное — и тут же, выйдя за калитку дачи, где был с визитом, первому же встречному сказать, что вот ведь мальчик думает, что он писатель, а на самом-то деле… и дальше не стесняется в язвительных выражениях.

Красивой дамой, от души посмеявшейся над коварством Корнея Ивановича, была первая жена Вячеслава Всеволодовича — Таня.

Странные бывают совпадения.

Что-то похожее, однако, вполне могло быть. Свой провалившийся роман “Поездка в Москву” отец давал читать Корнею Ивановичу чуть ли не в рукописи. Никаких похвал автору Чуковский не высказывал. А вот перенесшая инсульт Марья Борисовна хвалила (хотела, наверное, приободрить отца после стольких лет неудач). Но это Марья Борисовна хвалила — не Корней Иванович.

Записи об отношениях с отцом в дневнике Корнея Ивановича, с одной стороны, навели меня на параллельные и встречные воспоминания, а с другой — обострили мой интерес к

подробностям отношений внутри литературной среды вообще.

Корней Иванович был единственным, кто прошел через тридцатилетнюю жизнь моего отца в Переделкине.

И если у Чуковского таких близких знакомых, как Нилин, набиралось в нашем поселке десятка полтора-два, то у отца столь долгого соседского общения ни с кем больше не было.

Из дневников Корнея Ивановича я узнавал много нового, неизвестного мне или толком тогда не понятого. Я имел и редчайшую возможность сопоставить мною увиденное с его записью.

Что-то из не привлекшего внимания Чуковского, но мне казавшегося интересным, когда перечитывал в очередной раз дневники, я мысленно помещал среди его записей за то же самое время.

Сорок седьмой, судя по всему, год. Корней Иванович пришел к нам вместе с Женей. Женя лихо съехал — лицом вперед — по перилам лестницы, ведущей на террасу. Я же съехать так, как Чукер, не решаюсь. Но, когда никто на меня не смотрит, съезжаю по тем же перилам на животе. Тем не менее Чуковский, вроде бы увлеченный разговором со взрослыми, мой маневр заметил — и громко меня похвалил.

Тот же год, та же терраса, Корней Иванович без Жени.

К отцу приехал режиссер из Малого театра Вениамин Цыганков — постановщик отцовской пьесы. Пьесу долго репетировали — видимо, не очень хотели ставить. Отца недавно поругали за фильм. Малый театр — театр правительственный. Большой охоты работать с автором-штрафником у театра, видимо, нет.

Актерам пьеса вряд ли нравится — она про колхоз; за современные пьесы театры поощряют — но в Малом справедливо больше любят классику, Островского (не того, который “Как закалялась сталь”, а с памятника перед фасадом). Сначала пьесу ставит старый режиссер Лев Прозоровский. Потом постановку перепоручают более молодому и успешному Цыганкову.

И вот Цыганков сидит на ступеньках той лестницы, на чьих перилах пытался я повторить трюк Чукера. Режиссера знакомят с Корнеем Ивановичем. Корней Иванович шумно приветствует режиссера — говорит, как все мы (все они) тут (в Переделкине то есть) устали от медлительности Прозоровского. И рады, что теперь дело в надежных руках — и все мы (все Переделкино, можно подумать) с нетерпением ждем премьеры.

Цыганков на глазах приободряется. Автора пьесы он знает в основном по идеологическому постановлению о фильме “Большая

жизнь", но Чуковского-то, как все граждане, — с детства. И вот сам Корней Иванович Чуковский, автор "Мойдодыра", проявляет такую заинтересованность к работе над малоудачной пьесой.

Та же терраса лет через двенадцать, год, скорее всего, пятьдесят восьмой, но отец с Корнеем не на лестнице, а в плетеных креслах — отец читает свой путевой дневник, он был в круизе, побывал в разных странах, а Чуковский при советской власти еще ни разу не выезжал за рубеж.

Корнея Ивановича не столько заграница интересует, сколько, как всегда, текст — он энергично (лет ему ненамного больше, чем мне сейчас, но меня тогда удивила его подвижность) встает со своего кресла и заглядывает отцу через плечо — удивляется: "Это что? Вот так прямо пишете, без поправок и зачеркивания?"

Я догадываюсь, что Кома Иванов счел бы это воспоминание сыновьим желанием выгоднее преподнести отца, — и предположил бы, что Чуковский восхищается иронически.

Поэтому дальше, размышляя о характере отношений отца с Чуковским, буду придерживаться дневника Корнея Ивановича. Тем более что там не так и много прямых похвал спутнику в прогулках по переделкинским тропам (я почти дословно цитирую надпись, сделанную Люшей после смерти деда моему отцу; она, правда, к "переделкинским тропам" добавила "и жизненным").

Например (запись за 7 декабря 1957 года): "Как отвратительны наши писательские встречи. Никто не говорит о своем — о самом дорогом и заветном. При встречах очень много смеются — пир во время чумы, — рассказывают анекдоты, уклоняются от сколько-нибудь серьезных бесед. Вчера были у меня: Алигер, Берестов и Нилин, Нилин рассказал два анекдота (дальше на полстраницы пересказ анекдотов. — *А.Н.*). *Вот таких рассказов у писателей множество. А о чем-нибудь путном ни звука".*

Или (запись от 7 марта 1963 года): "Был вчера у Нилина. Он читал мне прелестные рассказы (вариа)…"

Или (запись от 19 июня 1964 года): "Вечером гулял с Нилиным. Он на словах страшно левый. Бранит Хрущева за то, что тот сказал в Дании заносчивую речь. «Ему бы поучиться у датчан сельскому хозяйству. Ведь как-никак маленькая страна, 5 миллионов жителей, а кормят молочными продуктами половину земного шара, зачем такое зазнайство». Нилин пишет сейчас о Бурденко и рассказывает случаи гражданской доблести Бурденко (т. е. его мнимых выпадов против советской власти)".

Или (запись от 10 декабря 1964 года): "Вечером встретил трех партийцев: Елизара Мальцева, Павла Нилина… (имя третьего партийца Люша не разобрала). Они гораздо левее беспартийных, их

отзывы о происходящих реформах — ироничны".

Или (запись от 25 мая 1968 года): "Гулял с Нилиным. Он говорит, что вчера, бродя по улице Калинина, он понял: кончилось старое, начинается новая эпоха, новые люди".

Или (продолжение записи от 23 июля 1968 года, где Корней рассказывает, как талантливо изображает Сталина отец): "… С Нилиным это часто бывает. Он пишет с упоением большую вещь, рассказывает оттуда целые страницы наизусть, а потом рукопись прячется в стол, и он пишет новое".

Но чаще в записях без пересказа разговоров — просто гуляли или Корней Иванович пригласил отца на обед после очередного костра для детей по случаю какого-нибудь домашнего торжества.

4

Хоронили Чуковского в ограде с Марьей Борисовной и совсем недалеко от могилы Пастернака. Выступление отца на похоронах Корнея Ивановича имело такой либеральный эффект, что, подумал я (на похоронах не бывший), выступай он на общественном поле почаще, новых литературных успехов (с ожидаемой от него смелостью) могло и не потребоваться.

Речь над могилой Чукер каким-то образом записал на магнитофон, а позднее я читал ее в изложении Мити и Юлиана Оксмана, заодно изобразивших (причем Митя не хуже знаменитого Оксмана) обстановку, в какой происходило выступление отца, и вообще ситуацию, неожиданно сложившуюся вокруг похорон Корнея Ивановича.

Мне показалось, что людей либерального толка не так удивили сами слова отца о тоненьком слое, именующемся интеллигенцией, и не только его обращение к покойному, словно остались они наедине, а то, что он вышел выступать вопреки желанию руководителей похорон.

Заканчивался шестьдесят девятый год — очередной позыв начальства к строгости спроецировался вдруг на похороны старика Чуковского.

И выразить персонально эту строгость выпало Сергею Михалкову. Держаться строгим на разных представительных писательских собраниях было не привыкать — и он эту строгость осуществлял с видимым удовольствием, не отказывая себе и в юмористических выпадах, что иногда получалось у баснописца и непроизвольно.

В середине шестидесятых годов на собрании московских писателей выбирали руководящие писателями органы —

правление, кажется, или президиум. И Евгений Евтушенко в знак протеста, что не включили в список избираемых кого-то из молодых, давно получивших читательское призвание (кажется, Василия Аксенова), предложил тогда и Шолохова из этого списка вывести — он же не москвич, зачем его выбирать в московское правление.

Сергей Владимирович заволновался — и заикание от волнения усилилось; “Пи-пи-пи-пи”, — долго кричал он, обращаясь к нарушителю спокойствия Евтушенко. Наконец фраза у Михалкова сложилась: “Пи-пи-пиперестаньте корчить из себя политического клоуна”.

Шестьдесят девятый год был вам не шестьдесят пятый. И государственный человек Михалков понимал, что и у гроба Чуковского какие-нибудь бессовестные вольнодумцы могут позволить себе протестные или по крайней мере несанкционированные телодвижения.

И все же на похоронах Чуковского привычной уверенности в себе у Михалкова слегка поубавилось. Чуковский для него не мог до конца перестать быть Чуковским — и было Сергею Владимировичу не по себе.

Когда-то Женя Чуковский читал мне его талантливые стихи, где Михалков хотел представить собственные похороны: “Понесут по улицам длинный-длинный гроб. Люди роста среднего скажут: он усоп…” И были там слова: “Не ходить к Чуковскому, автору поэм, с дочкой Кончаловского, нравящейся всем…”

Желание отца сказать какие-то слова на кладбищенском холме застали его врасплох. Никто никому не собирался грубить. Отец сказал: “Отойди, Сережа” — и взобрался со своей хромой ногой поближе к гробу. По словам Мити Чуковского, растерянный Сергей Владимирович только твердил: “П-паша, П-паша…” Но не отталкивать же?

После речи на похоронах сдалась и Лидия Корнеевна.

Теперь на годовщины отец приглашался с той же регулярностью, как было при жизни Корнея Ивановича. И у той публики, что собирала Лида, он проходил неплохо. Толя Найман, во всяком случае, пересказывал мне потом реплики, бросаемые отцом за столом, оценивая их как остроумные.

Но в какой-то из разов, когда приглашенный Лидией Корнеевной отец подходил уже к воротам дачи Чуковских, он обратил внимание на большее, чем обычно, количество машин с дипломатическими номерами — и всегдашняя его осторожность взяла верх: на приемы к Лидии Корнеевне он ходить перестал, вскоре вновь утратив к себе интерес либеральной общественности.

Чукер учился в киноинституте, виделись мы теперь редко — и я к нему на дачу не заглядывал в то лето: сам готовился в институт и никому об этом не трезвонил.

О том, что я поступил-таки в Школу-студию МХАТ, Чукер откуда-то узнал — и тут же появился у нас с незнакомым мне Максимом Шостаковичем, о котором я кое-что, правда, слышал.

Где и когда они — Женя с Максимом — познакомились, я так и не собрался спросить. Но думаю, что сблизились они на почве машин, техники.

С техникой в ладах было несколько моих друзей и приятелей.

Но Максим, по-моему, превосходил всех еще и легкостью отношения к чему бы то ни было, включая автомобиль.

Летом шестьдесят третьего года мы с Мишей Ардовым и Максимом на иностранной машине Максима “пежо” поехали в Коктебель.

Мы допоздна сидели на Ордынке у Ардовых и на рассвете выехали. Водитель наш свой “пежо” никак к дальней дороге не готовил — и сложности наши начались в Туле, где попали мы в какую-то яму (подробностей я, сонный, не запомнил). Но это могло произойти и по неосторожности — Максим водил машину замечательно и мог просто заснуть за рулем после посиделок на Ордынке.

Самое интересное было дальше. И весьма сожалею, что отсутствие какого-либо представления об устройстве машины и полное незнание специальных терминов лишат мой рассказ необходимых подробностей, наверняка бы заинтересовавших автомобилистов.

Когда мы въехали в Курск, Максим сообщил нам с Мишей (который понимал не больше моего) о серьезной неполадке. Что-то, если не путаю, со свечой. Дальше уж точно путаю. Но помню, что Максим сказал, что другой свечи в запасе у него нет. Но есть план, как переделать эту свечу… Не могу воспроизвести его слов… Что-то можно было — и глагола не помню (поскольку не понимал)… перекроить, перетачать, переточить, может быть, с двенадцати (за цифру тоже не ручаюсь) на четырнадцать или с четырнадцати на двенадцать…

Ну ладно, мы с Мишей ничего не поняли, но я своими глазами видел, с какими лицами слушали Максима автомеханики, когда мы добрались до мастерской или станции (так она, кажется, называется). Они переспрашивали его, проникаясь все большим и большим к нему уважением — на грани восторга.

Максим отвинтил мотор и велел мне нести его внутрь

мастерской.

Я отнес мотор и вернулся к Мише, гордясь своими грязными руками, — все же видели мою причастность к ремонту.

Вновь прибывшие клиенты обращались теперь с вопросами ко мне — и я важно кивал им на дверь, ведущую в мастерскую.

Все же мы с Михаилом, заскучав, не удержались и тоже вошли в мастерскую. Мы тщеславно чувствовали, что часть восхищения Максимом сможет распространиться и на нас, спутников технического гения.

Конечно, мы гордились Максимом. Таких людей, как Максим (золотые очки, иностранная рубашка с коротким рукавом — незадолго перед тем он побывал на фестивале в Эдинбурге), на автостанции не видели никогда.

И теперь мне кажется, что и провожали нас, как после концерта, аплодисментами (чего, конечно, на самом деле не было), и деньги взяли смехотворные.

Само собой, ни об этом таланте Максима, ни о прочих его дарованиях (за ловкость он прозван был Макакой, мог съехать на заднице с поднятой крышки рояля, великолепно копировал любого человека, из него мог выйти прекрасный артист) я, когда Чукер впервые привел его ко мне, еще не знал. И все же по тем репликам полного взаимного понимания, какими перебрасывались Чукер с Максимом возле машины (приехали они на “Победе” Корнея Ивановича), догадался, что их свело.

Женя Чуковский, между прочим, обладал и абсолютным слухом. Но людей со слухом Максиму и в музыкальной школе хватало.

Оба они тут же решили, что меня надо немедленно познакомить с Ардовыми, — и Чукер пообещал в ближайшие дни (чуть ли не завтра) отвезти меня на Ордынку. Но по каким-то причинам не успел, а до начала учебного года оставалась неделя — и мы с Борей Ардовым познакомились сами в первый день занятий.

Корней Иванович писал в дневнике о внуке строже, чем я мог предположить. Мне-то казалось, что к Жениным проделкам дед относится с юмором и пониманием.

А вот что писал Чуковский-старший 9 сентября 1958 года: “С Женей неясно. Не то он поступил в ГИК, не то нет. Не то он женится на Гале Шостакович, не то нет. Не то он хорош, не то он плох. Чаще всего кажется, что плох”.

Мне кажется, что до конца с Женей так и не прояснилось (но с таким же успехом это и про меня, наверное, можно сказать, и про Борю Ардова, пока был он жив).

Плох он, на мой взгляд, не был ни тогда, ни до, ни после.

Но в проницательности этих тревожных строк Корнею Ивановичу не откажешь.

В ГИК Чукер поступил, но стоило ли так упорствовать, чтобы потом всю жизнь заниматься именно тем, к чему он имел меньше способностей?

Первой девушкой, которая полюбила Женю (со всеми его фокусами, а вдруг она и полюбила его за странности?), была дочка Шостаковича — и это предопределило всю дальнейшую жизнь.

На Гале он женился.

Они прожили с Галей долго, вырастили двоих детей. И потом он вдруг ушел от Гали к другой женщине, которая тоже его полюбила (не за те же ли самые странности?).

Одна наша общая знакомая сказала мне: “Он ушел от Гали — и оставил ей всё”.

Можно смеяться над этим “всё”. А можно и задуматься — не в одних же деньгах, как опять же ни смешно это сегодня прозвучит, дело.

И деньги — не всё.

И вообще “всё” — не всё.

В доме Шостаковичей я был на двух свадьбах — они прошли с небольшим интервалом (то ли в пятьдесят восьмом, то ли в пятьдесят девятом, но не позднее пятьдесят девятого).

Обе свадьбы играли в самой большой комнате, в кабинете Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, где стояли два рояля и над роялями два портрета — Бетховен и Блантер.

О таком неожиданном соседстве я задолго до знакомства с Максимом и Галей слышал от нашей знакомой журналистки, приходившей к Шостаковичу брать интервью.

Блантера я знал с детства, как бы и не раньше, чем Шостаковича, — он же сочинил футбольный марш, который даже я с моим слухом мог воспроизвести.

Конечно, в детстве я не знал, что Матвей (Мотя, как называл его Дмитрий Дмитриевич) Блантер — автор еще и песни, смысл которой крайне характерен для всего советского искусства, — вернее, заказа, обращенного к нему властью. Смысл, правда, не в музыке заключен, а в том, к чему композитор непричастен, — в словах.

Кто сочинил слова песни, любопытно бы узнать, но я все как-то не удосужился. Интересно вообразить себе человека, присобачившего к словам царя Соломона “все проходит” бодряческое продолжение “подругу друг находит”.

Все, однако, говорят, что Блантер был хорошим человеком — пришел на помощь к Шостаковичу в чрезвычайно трудную для великого композитора минуту. Кроме того, и Шостакович, и Блантер были футбольными болельщиками.

На первой свадьбе (Гали с Женей) я сам сплоховал и всей свадьбы не опишу — только ее неожиданное завершение.

“Но если отбросить этот, согласен, существенный недостаток, то, можно сказать, я умею пить”, — говорит в “Трех мушкетерах” Атос д’Артаньяну.

О недостатке Атоса рассказывает Дюма. А про мой недостаток позвольте рассказать мне самому.

Студентом первого курса я обнаружил в себе способность хорошо переносить спиртное, не пьянеть, когда вокруг почти все пьяные. Отчего было мне не решить, что пить я умею? Это уже много позднее, когда жизнь прожита, начинаешь догадываться, что и умение может обернуться неумением (и в самый причем неподходящий момент). Но тогда-то откуда было знать, что лучше: осторожность от сомнения, умеешь ли, или обольщение, что якобы умеешь?..

Составленные буквой Г столы протянулись из кабинета композитора в соседнюю комнату (кроме кабинета у Шостаковичей было еще три или четыре комнаты) — и сидел я почему-то отдельно от своих друзей Ардовых, с людьми мне незнакомыми, которых своим умением пить я зачем-то решил поразить, не считаясь с очередностью произносимых тостов.

В какой-то момент сообразил, что неплохо бы мне взять мхатовскую (я еще был студентом театрального вуза) паузу минут на двадцать-тридцать. Расположение комнат я знал (бывал у Шостаковичей и до свадьбы), незаметно вылез из-за стола, прокрался коридором в комнату Максима и лег на его тахту.

Освеженный недолгим, как показалось мне, сном, я пошел обратно за стол, полный сил продолжать свое участие в свадьбе.

Но по дороге к столу увидел, что к входной двери ведут нашего приятеля Мишу Н. — он идет с глупой улыбкой на пьяном лице (у него и у трезвого внешность была несколько комической), а левое плечо парадного костюма испачкано белым.

С Мишей Н. я познакомился в детстве. Он неделю или полторы жил у нас на даче. Миша был сыном известного критика Н. — и мне даже жаль, что по соображениям, которые вы сейчас поймете, не могу назвать папу (и сына тем более) настоящей фамилией. Впрочем, театралы старшего поколения смогут узнать в моем рассказе самого авторитетного из писавших в советское

время о театре. Скажу только, что на писательском доме в Лаврушинском есть одна-единственная мемориальная доска — и установлена она не Пастернаку, не Катаеву, не кому другому из героев моего повествования, а критику Н. к его столетию (время летит).

Как и большинство талантливых людей определенной национальности, критик Н. в пору гонения на космополитов (групповой псевдоним для людей с нежелательным пятым пунктом в паспорте) был подвергнут строжайшему сниманию штанов, но в тюрьму все же не сел.

Более того, он имел возможность зализать раны в переделкинском Доме творчества, представлявшем тогда собрание пустующих после репрессий и войны дач. А сына Мишу мои родители взяли к себе. Критик Н. ни в коей мере приятелем моего отца не был — и не помню, чтобы они когда-нибудь после того тревожного для отца Миши лета встречались, даже когда стали жить в одном доме в Лаврушинском. Но вот почему-то Миша некоторое время жил на нашей даче.

Миша жил у нас со своим велосипедом — и, когда вернулся в Москву, велосипед на некоторое время остался в Переделкине. Я на нем катался — и сломал педаль, ее пришлось приваривать. Отец рассердился, что я ломаю чужие вещи. Но своего велосипеда у меня еще долго не было, и Мишин велосипед запомнился на всю жизнь.

И вот лет через десять я снова встретился с Мишей Н. у Ардовых.

Ардовы всегда — в той или иной форме, в той или иной степени — над всеми посмеивались. И Миша чаще других, пожалуй, становился объектом шуток.

Миша унаследовал от папы гипертрофированное тщеславие.

Любая история этого, повторяю, наиболее уважаемого в театральном мире человека строилась по одной и той же схеме.

Приезжает в Москву, допустим, знаменитый грузинский трагик Хорава или польский лидер Гомулка (Н. всегда очень талантливо писал о польском театре и о Польше вообще) — неважно, кто конкретно, но всегда человек общественно значимый, — и в связи с его приездом непременно возникает какая-то паника(никто не может ни в чем толком разобраться) — тогда звонят Н. с вопросом: “Иосиф Ильич, как быть?” А он отвечает: так-то, так-то и так-то.

Н. долгое время нигде не печатали, но вот наконец запреты были сняты — и театральная общественность с нетерпением ждала очередного выступления любимого критика в печати.

Помню, как прочел я статью, где Н. рассказывал про

довоенный еще звонок знаменитого мхатовского артиста Николая Хмелева, который в ту пору репетировал роль Каренина в инсценировке “Анны Карениной”.

Пока шла работа над ролью, Хмелев (сталинский, между прочим, любимец) прибегал к советам очень им ценимого Н. (о чем товарищ Сталин то ли не знал, то ли забыл, когда казнил космополитов).

И вот в статье Н. их разговор — дело было до войны — выглядел следующим образом. Запутавшийся в оттенках выписанного великим автором характера актер спрашивал критика, как ему быть. И Н. отвечал: так-то, мол, и так-то.

Нам на Ордынке эта заметка показалось точной копией обычных рассказов Н., куда вкрапление реплик Хмелева было минимальным. Ардов-старший хорошо знал ответственного секретаря журнала, где напечатана была статья, Холодова — тоже фигуранта космополитической компании (его еще секли за скрытие под псевдонимом своей настоящей фамилии — Меерович; у Н., на его везение, хотя бы псевдонима не было), — и со смехом стал говорить, как мало удалось высказаться Хмелеву. И Холодов объяснил, что в рассказе Н. Хмелев вообще ничего не произнес, и редакции с большим трудом удалось уговорить Н. перебросить несколько умных реплик артисту.

Кстати, уже после войны, когда “Анна Каренина” оставалась в мхатовском репертуаре с несменяемой года до пятьдесят седьмого Аллой Константиновной, но с другим Карениным (Михаилом Николаевичем Кедровым), на один из спектаклей привели малолетнего Мишу — и он, захваченный сюжетом (действие приближалось к моменту, когда Анне пора бросаться под поезд), озадачил сопровождающих его взрослых вопросом: “Когда же наконец ворвутся наши?”

Про другой знаменитый спектакль Н. рассказывал: “Художественный театр показывает мне «Плоды просвещения». Их бьет лихорадка” (мне в этом рассказе наиболее пикантным кажется то, что именно МХАТ, обиженный на Н. за критику “Зеленой улицы”, подставил, можно сказать, критика под удар властей).

Но мой любимый рассказ Н. связан все-таки с Мишей.

Предполагался детский праздник. Мишу к нему специально готовили: он выучил стихотворение и песню, разучил танец.

Начался праздник. Детям предложили прочесть стишок. Миша застеснялся — и не прочел. Прочел с наибольшим успехом сын хозяев. Точно такая же история с песней — хозяйский мальчик спел, а Михаил отмолчался. Участия в танцах от сына критика уже никто и не ждал, а сын хозяев выскочил на круг в

матросском танце. И вдруг танцор пукнул — и наложил полные штаны. Критик Н. говорил потом, что такого удовольствия, как после промашки Мишиного конкурента, он никогда ни на каком спектакле не испытывал.

Мне кажется, что приглашение на свадьбу восемнадцатилетнего Миши Н. лоббировали Ардовы. Миша Ардов сочинял с ним вместе очерк для журнала “Театр” — один Миша (Н.) фотографировал, а будущий отец Михаил (Ардов) делал развернутые подписи к снимкам.

Мне, кстати, Миша Н. всегда казался малым не без способностей.

Что же произошло на свадьбе за время моего отсутствия за столом?

Мне-то казалось, что вздремнул я ненадолго. Но за это время в застолье сделали перерыв до подачи сладкого — и гостям захотелось размяться (кубатура квартиры позволяла).

На свадьбе, естественно, присутствовали подруги невесты — и одна приглянулась Мише Н.

Теперь можно открыть тайну, что в свои восемнадцать сын критика еще ни разу не вступал ни с кем в интимную близость. И свадьба, видимо, показалось выпившему Мише самым удачным моментом для вступления в настоящую жизнь.

Ему удалось выманить подругу невесты на балкон, повисший над Можайкой, — когда я теперь проезжаю Кутузовским проспектом (бывшей Можайкой), ищу глазами этот балкон на четвертом этаже — там под шум холодного осеннего дождя и завязалась борьба.

Потом всё валили на Мишу Н.: из-за него прервалась свадьба, некоторые (и я, сделавший паузу, в особенности) недогуляли.

Но я обращаю внимание на то, что папа невесты Дмитрий Дмитриевич оказался глубоко сидевшим в кресле совсем рядом с дверью на балкон.

Уединился ли он потому, что на этой свадьбе его что-то огорчало, в чем Дмитрий Дмитриевич, обожающий дочь, никому не хотел признаваться, — и просто тихо загрустил?

Не знаю, был ли у подруги невесты достаточный эротический опыт. Сомневаюсь: если она пошла за пьяным гостем на балкон — о распорядке возможных действий Миши не фокус было догадаться. Менее вероятно, что Миша не понравился ей в самый последний момент. Скорее, она вспомнила, что чужая свадьба не лучшее место для сексуальных контактов приглашенных (тем более со стороны невесты).

Мне трудно почти шестьдесят лет спустя поставить себя на

место как Миши, так и подруги невесты. И я почти механически рассказываю, как развивались события.

Дмитрий Дмитриевич, услышав возню и сдавленный женский крик на балконе, решил сначала, что кто-нибудь по пьяной лавочке сверзился с балкона. Но, когда распахнул неплотно прикрытую стеклянную дверь, увидел гостей, бессмысленно бившихся в узкой клетке. Человек исключительной деликатности, Дмитрий Дмитриевич предложил несостоявшимся любовникам вернуться в комнату: “Вы можете простудиться”.

Но дальше нервы у папы невесты сдали — с гениальным музыкантом сделалась истерика и дальнейшее присутствие гостей показалось ему излишним.

Тем не менее брак еще утром был зарегистрирован. И я потом слышал, как Корней Иванович на аллее громким голосом вопрошал: “А кем мне приходится теперь Дмитрий Дмитриевич Шостакович?..” А действительно, кем — отец жены дедушки мужа?

Я не сделался другом семьи товарища детства. Галя Шостакович откровенно не любила меня — не буду преувеличивать хорошего отношения ко мне женщин вообще, но с такой неприязнью, какую испытывала ко мне жена Чукера, я за семьдесят три года с лишним больше не сталкивался.

Когда Женя после больших возлияний просыпался, по ее мнению, опухшим, она говорила: “Фи… Ты прямо как Нилин”.

И Чукер, смеясь, рассказывал об этом на Ордынке. Там тоже смеялись.

Такое отношение Гали вынуждает меня быть предельно объективным.

Она была хорошей — и может быть, слишком — женой.

Что понимаю я под “слишком”?

Полюбив Чукера, Галя открыла в нем то, что другие женщины не заметили, — это, по-моему, важно (не подвиг оценить мужчину, привлеченного множеством женщин). Я, правда, подозреваю почему-то в Жене Чуковском значительную сексуальную мощь. Но не в первую же секунду знакомства это смогло проявиться — опыта у Гали, как мне кажется, было тогда не больше, чем у Жени.

И жили они долгое время счастливо, что позволило Чукеру культивировать свои странности, настаивать на них, прививая к детским странностям и благоприобретенные потом.

И в итоге, я смотрю, только странности в памяти моей и остаются.

Мише Н. его опрометчивый поступок на свадьбе аукнулся

очень серьезно: братья Ардовы отказали ему в продолжении дружбы. Он прислал им письмо (отчаянное, по-видимому, поскольку имело приписку на конверте “вскрыть после моей смерти”). Смерти Мишиной никто дожидаться не стал — тезка порвал его письмо, о чем я жалел: интересно было, чем свадебный гость на трезвую голову мотивировал свой неуместный эротический порыв. По телефону он сказал Мише Ардову, что все было наоборот, — Миша, конечно, сострил: “Что наоборот? Ты застал на балконе Шостаковича — и сказал ему: «Что вы делаете, Дмитрий Дмитриевич, вы же лауреат Ленинской премии?»”

Мне тогда не понравилась нетерпимость братьев Ардовых. Я подумал: а были бы они так нетерпимы, случись это не в доме Шостаковича?

Отлученный от Ордынки, Миша Н. вскоре поступил на режиссерский факультет института кинематографии — и со временем сделался довольно известным режиссером фильмов для детей, экранизацией сказок, где снимались хорошие актеры вроде Олега Табакова.

Сколько раз повторяю я в своем повествовании: “Кто бы предположил?”

И снова скажу: кто бы предположил, что режиссером станет Миша Н., а не Боря Ардов, поражавший своей талантливостью педагогов на Высших кинематографических курсах. Что Миша Н. будет снимать игровые фильмы, а Чукер убьет лучшие годы на студию фильмов научно-популярных, а потом перейдет на телевидение — снимать сюжеты для “Вестей”.

Женитьбе Максима предшествовали события, в которых при большом желании тоже можно отыскать драматургическое зерно.

Максим очень нравился девушкам, но связей опасался — опасался того, что Дмитрий Дмитриевич не допустит, чтобы сын его совершил бесчестный поступок по отношению к женщине, и откровенно боялся, что какая-нибудь из девушек пожалуется на него отцу, отец возьмет ее сторону — и сыну придется на ней жениться.

Опасения Максима были несколько наивными, но и не совсем беспочвенными. Девушки, которым он так нравился, вряд ли совсем уж не думали о шансах стать невесткой Дмитрия Шостаковича.

Словом, в то время, когда все вокруг стремились к скорейшим сексуальным контактам, Максим вынужден был держать оборону.

Девушка, с которой у Максима что-то стало намечаться, жила в том же ведомственном доме Министерства иностранных дел,

где и семья Шостаковичей, — то ли этажом выше, то ли этажом ниже.

Лена Афанасьева (как звали соседку) была симпатичной, ухоженной, домашней девочкой в леопардовой шубке.

Я строю сейчас лишь предположения, что Лене поначалу больше понравился ближайший друг Максима Андрей Кучаев, тоже один из завсегдатаев Ордынки. Андрей и жил неподалеку от Ардовых на Большой Полянке, а затем переехал к отцу (отец с матерью Кучаева были в разводе) на Гоголевский бульвар, где у него было больше свободы. Окна нового жилья Андрея соседствовали с окнами шахматного клуба, но их разделяло окно соседей Кучаева.

Первого января шестидесятого года я шел к Андрею — и, увидев, что свет у него не горит, решил заглянуть в открытую форточку: может быть, заснул, утомленный встречей Нового года? Свет внезапно зажегся — и я увидел направленную на меня охотничью двустволку. Я ошибся окном — сунулся к соседу. А что уж померещилось соседу — тот тоже встречал Новый год, — не знаю. Но жизнь моя могла завершиться раньше, чем дотянул я до двадцатилетия. Часто думал потом: интересно, как вспоминали бы меня (и вспоминали бы?) приятели через годы, оборвись моя жизнь так рано.

Эпизод на Гоголевском я вспомнил только сейчас, заговорив про Андрея в связи с женитьбой Максима.

Не знаю, чувствовал ли Максим в Андрее соперника — скорее всего, судя по стилю отношения Максима к жизни, нет (тем более что Андрей — и не только из дружеской солидарности, эгоистами они были оба — не проявил заметного интереса к Лене), и появление Лены на их дружбе никак не отразилось.

Лет через пять после начала семейной жизни Максим, когда ехали мы с ним и Мишей Ардовым на юг, рассказал, что, узнав о намерениях сына жениться, Дмитрий Дмитриевич, ежась от смущения за свою вынужденную неделикатность, спросил своей знаменитой скороговоркой: “Извини, Максим, за мой вопрос, но я, наверное, имею право спросить, кто твоя девушка, из какой она семьи?” Максим просиял, радуясь легкости вопроса: “Семья прекрасная, живут в нашем доме. Отец — чрезвычайный и полномочный посол в Лаосе”. Дмитрий Дмитриевич непроизвольно вздрогнул при слове “посол”. Но взял себя в руки — спросил: “Но ты знаешь, что послы, — он напряг голос, впиваясь ногтями в ладони, — лучшие из лучших наших товарищей?”

Искренний Максим с легкой усмешкой сознался, что понял

смысл отцовского вопроса о “лучших из лучших” года через три после свадьбы с Леной Афанасьевой.

Жалко, что я не пишу стихи и зря пропадает рифма “вопросы — Лаосе”. Но и в прозе “Лаос” звучит выразительно, когда представляешь себе нашего там посла Сергея Афанасьева. Беседуя с двумя знаменитыми гастролерами из СССР Эмилем Гилельсом и Яковым Флиером, он задал им дипломатический вопрос: всех ли музыкантов в Москве они знают.

Мне как человеку от музыки далекому почему-то кажется, что о Якове Флиере читатель знает меньше, чем о Гилельсе, — и захотелось привести смешной эпизод из жизни Флиера (есть у меня, однако, риск, что случай этот приводил в своих мемуарах отец Михаил Ардов и все теперь о нем знают).

В трудные для нашего выдающегося эстрадника Николая Павловича Смирнова-Сокольского годы его лишили возможности читать со сцены фельетоны собственного сочинения, разрешали только конферировать. К новому амплуа Николай Павлович относился тяп-ляп — и не во все подробности конферируемых программ вникал.

Объявить выступление Якова Флиера он все же захотел в своем шутливом, разговорном стиле и предупредил слушателей: “Дорогие друзья, сейчас Яков Флиер сыграет нам на своей замечательной скрипке”. Возвращаясь со сцены за кулисы, он увидел там совершенно белого от гнева Флиера, зашептавшего ему: “Что вы сказали? Вы что, не знаете, что я не скрипач, а пианист?” “Ничего, не волнуйтесь, — успокоил пианиста Смирнов-Сокольский, — я сейчас все исправлю”. Он вышел к публике — и сказал: “Дорогие друзья, оказывается, Яков Флиер забыл дома свою замечательную скрипку — и сыграет вам сейчас на рояле. Что труднее”. После подобной поправки лишь большой талант Флиера мог спасти положение.

Вот такой закалки пианист рядом с еще более знаменитым Гилельсом стоял перед чрезвычайным послом. “Конечно, мы всех знаем, — засмеялся рыжий Эмиль, — на то мы и сами в какой-то степени музыканты”, — пошутил он.

“И Шостаковича знаете?” — с типично кагэбэшной нейтральностью (не педалируя на фамилии) спросил Афанасьев. Флиер слегка насторожился. Но веселый Гилельс ответил за двоих: “Уж кого-кого, а Дмитрий Дмитрича…” “И сына знаете Шостаковича?” — с некоторым вроде бы сомнением в информированности знатных собеседников поинтересовался дипломат. Флиер понял, что инициативу в разговоре надо брать ему. “Прекрасный мальчик, занимается у меня в классе”, — твердо сказал он, не оценив непосредственности коллеги. “Ты

что, Яша, — изумился Гилельс, — да этого оболтуса вся Москва знает. Недавно дочку какого-то посла на машине разбил…”

Так чрезвычайный и полномочный посол, минуя дипломатическую почту, узнал о московских событиях с участием своей старшей дочери (у него их было три).

Да, действительно, великолепно водивший машину Максим врезался, когда катал Лену, в какое-то препятствие.

Не буду утверждать, что это происшествие приблизило свадьбу.

Ну где бы еще мог я познакомиться с послом в Лаосе (а позже в Бельгии)!

На пороге квартиры Шостаковичей приглашенных на свадьбу встречал папа невесты — и каждому гостю протягивал руку, называясь: “Афанасьев”, — и как-то глупо было называть в ответ свою ничего не говорящую послу фамилию.

Мы: незамужние дочери посла, сын композитора Хачатуряна, Андрей Кучаев, Миша Ардов, Боря Ардов и я — сидели за отдельным “детским” столом, откуда могли все видеть и слышать.

Шостакович сидел со своей новой родней, но роль модератора сразу на себя взял посол. Несколько раз прозвучало “я, моя жена и Дмитрий Дмитриевич”, а также что-то про “новую ячейку советского общества”. Шостакович ничего не говорил, но его вроде как от коллег-музыкантов прикрывал Арам Хачатурян.

Наш стол не к добру веселился. Миша Ардов с Андреем начали комментировать происходящее, заговорив между собой по-английски, не думая, что дочки посла знают английский как-нибудь не хуже.

Но Кучаев и по-русски успел сказать глупость. Заговорил Хачатурян — он держался старым другом семьи Шостаковичей и вспоминал, как получал от Дмитрия Дмитриевича телеграммы о рождении детей: “Родилась дочь Галя. Назвали Галей”, “Родился сын Максим, назвали Максим” (я цитирую телеграммы в редакции Арама Ильича). И тут Андрей заявил, что не будет пить с человеком, который написал “Танец с саблями”. Затем смягчился: “А вообще-то пристойная вещь”.

Наступила очередь отличиться Мише Ардову. Повод предоставил ему один из дипломатов: тот в горячке тостов забыл имя папы жениха — и назвал Максима Максимом Максимовичем, предложив за него выпить.

На это предложение немедленно откликнулся Миша: “А я в таком случае предлагаю выпить за Печорина”.

Дипломаты занервничали: с чьей стороны (не от музыкантов ли? своих они по фамилиям знали) может быть человек по

фамилии Печорин — и человек, видимо, известный, раз молодой человек громогласно предлагает за него выпить.

Свадьба катилась дальше. И вскоре неподалеку от нашего стола возникла стройная дама с высокой прической. Она по-концертному заломила руки — и громко запела. Я показал себя ценителем, заметив, что поет как в Большом театре. Кто-то, кажется средняя дочь посла Наташа, пояснил мне, что это Галина Вишневская.

Со мною в университете учился молодой человек по фамилии Меленевский. Мы дружили с ним весь университет, но дальше как-то дружба не продолжилась. Его мама была журналистской-начальницей. И он лучше меня был сориентирован в газетной жизни, отчего и перестал мне нравиться. О дальнейшей жизни Ильи (так звали Меленевского) я больше знаю от моего младшего брата, который сотрудничал с ним в “Труде” — Илья заведовал там наукой. Но по-настоящему развернулся он во времена, когда предприимчивость сделалась самым главным из человеческих достоинств. Меленевский стал ездить на белом “мерседесе”, жена его занимала какой-то важный (надо бы у брата уточнить какой) пост.

Главным коммерческим успехом Ильи (откуда и выехал белый “мерседес”) стало издание мемуаров Галины Вишневской “Галина”.

Из мемуаров Вишневской я узнал и про ее впечатление от свадьбы Максима. Мне оно показались менее развернутым, чем мое. Но Галину Павловну интересовал один Шостакович, до прочих ей не было дела.

К свадьбе Максима я, проделавший работу над ошибками (допущенными на предыдущей свадьбе в этом доме), подготовился лучше — и готов был к сидению за столом хоть двое суток, если понадобится. Вышел из-за стола просто ноги слегка размять и перекинуться словом с тем же Чукером — он не за “детским” столом сидел, а поближе к Афанасьеву и другим самым важным гостям.

Но Чукера куда-то в сторону повело, я по инерции вышел в переднюю — и увидел перед зеркалом Дмитрия Дмитриевича в пальто и шляпе.

Никогда до этого я с Шостаковичем ни в какие разговоры не вступал — когда я приходил к ним и Дмитрий Дмитриевич был дома (я вообще-то норовил бывать в его отсутствие, без него себя чувствовал лучше, спокойнее), он протягивал мне руку, которую я всегда пожимал несколько суетливо, не сразу угадывая, мне ли он

ее протягивает или кому-то, кто рядом со мной.

Но тут что-то было не так — я это сразу почувствовал, увидев его перед зеркалом в пальто и шляпе.

Не помню сейчас, спросил ли я, куда он, или он, увидев в зеркале, с каким беспокойным лицом подхожу к нему, поспешил сказать, что уезжает на дачу.

На какую дачу, если он не водит машину? Поедет в Жуковку на такси? Я осмелел, как всегда со мною бывает в экстремальных ситуациях, и сказал, чтобы время выиграть, что позову сейчас Женю и он Дмитрия Дмитриевича отвезет. Я видел, что Чукер пьяный — и никого никуда отвезти не может (и нужно ли везти), но я же Максима не могу для такого случая оторвать от важных гостей, раз пьяный отец собрался на дачу (иначе как я мог объяснить состояние Шостаковича?).

Когда я вышел с Максимом, всех мгновенно бросившим, Дмитрия Дмитриевича в передней уже не было. Мы выскочили на лестничную площадку — и увидели, что он сидит на верхней ступеньке лестницы, ведущей вниз.

Это было пострашнее, чем когда, пьяный, бледный, стоял он с мучительной гримасой перед зеркалом, — сидящий на лестнице в пальто и шляпе Шостакович.

Максиму показалось, что у отца прихватило сердце. Мне и прибежавшему из глубины свадьбы Боре Ардову он, рыдая, сказал, чтобы мы несли Дмитрия Дмитриевича обратно в квартиру.

Дмитрий Дмитриевич не сопротивлялся, мы с Борей взяли его на руки — и понесли, заставив расступиться столпившихся перед входной дверью гостей.

Свадьба снова закончилась досрочно.

Приехала “скорая” — выяснилось, что Дмитрий Дмитриевич сломал ногу.

Я обмолвился, что Вишневскую интересовал только Шостакович, а сейчас подумал, что и меня ведь тоже; не только, может быть, но — главным образом.

Я смотрел на него вроде бы со стороны, как смотрят из зрительного зала кинофильм — кинофильм, однако, стереоскопический, когда ощутимо ты втянут в самую воронку изображения.

Не помню, был ли я уже знаком с Максимом и вхож в их дом, когда увидел Шостаковича в пальто с тяжелым воротником у стеклянной витрины меж дубовыми дверями во МХАТе, где выставлены фотографии со сценами из спектаклей. Он, приблизившись почти вплотную к стеклу, рассматривал снимки.

Мне хотелось понять, что́ на этих снимках заинтересовало композитора. Я стоял поодоль — и смотрел все же не на снимки, а на его спину.

Гараж у Шостаковичей был на исчезнувшей теперь Собачьей площадке. Туда мы — Женя, Галя, Максим и я — приехали отдать Дмитрию Дмитриевичу машину (его возил шофер) — не помню уж, почему он ждал машину возле гаража. Мы должны были ехать на чей-то день рождения в “Арагви”. Он дождался, когда мы сели в такси, — и на прощание быстрым своим говором сказал: “Только не напивайтесь, не нажирайтесь. Галюша, я верю в твое благоразумие”.

За столом на домашних праздниках с узким составом с ним было трудно: он предлагал обычно помянуть покойную жену, благодарил следующим тостом домработницу за ее заботу (домработница в слезах убегала), а дальше могло наступить тягостное молчание. Однажды, когда такое молчание очень уж затянулось, Максим обратился к Мише Ардову: “Мишка, расскажи какой-нибудь анекдот, ты их все знаешь!” Миша и вправду знает все анекдоты и охотно рассказывает их часами. Но тут он никакого энтузиазма не проявил: в глазах великого композитора ему не хотелось выглядеть анекдотчиком.

Как-то Максим позвал меня на день рождения не заранее, а неожиданным вечерним звонком, когда не располагал я настроением выходить из дому: отлеживался после долгих праздников. Но Максим сказал, что никого посторонних нет — все по-домашнему просто, без незнакомых мне гостей, — и неудобно стало кочевряжиться. Тем более что жили Шостаковичи теперь поближе, на улице Неждановой.

В дверях я все же спросил, кто гости. “Да все свои, — сказал Максим, — Кучаев, папа, Женя Евтушенко…”

Год был, видимо, шестьдесят второй (надо бы проверить, но я хочу вести повествование по памяти, важна же не дата, а ощущение времени, сознанием хранимое) — Шостакович сочинил симфонию на стихи Евтушенко.

Гостей действительно было мало — стол недлинный. На одном торце Дмитрий Дмитриевич, на противоположном — Евтушенко, с ним рядом знаменитая московская девушка Лена Окаемова, приятельница Максима (я к ней тоже успел привыкнуть по гостям у Шостаковичей).

Присутствие Евтушенко ничего не меняло в манере Дмитрия Дмитриевича вести застолье. Два первых тоста — как обычно. И вскоре папа из-за стола исчез, предоставив Максиму занимать гостей, — и всем, включая Евтушенко, стало легче.

Максим сказал тост за Евтушенко: “Ты, Женя, и отец подошли друг к другу, как иголка и нитка, как пушка и ядро”. Евтушенко со своей обычной многозначительностью (естественным я так никогда его и не видел) ответил, что надо еще подумать, кто — кто: кто нитка, а кто иголка, кто пушка, а кто ружье?

С Леной и Максимом я, пожалуй, виделся чуть больше, чем с Галей и Женей, — с Леной у нас никакого антагонизма не было, она вызывала у меня больше симпатии, чем у остальных. Может, и не было оснований, но Лену я жалел: какая-то надуманность, казалось мне, есть в их браке. Но подробностей жизни Максима с Леной не знаю. Когда они расходились и Максим потом уехал в Америку, я с ними совсем уже не виделся.

Встретил Лену лет, наверное, через десять, когда стала она возлюбленной моего друга Авдеенко, но видел я ее в новом качестве раза два, как-то так получилось.

А в двухтысячном году сидел в ресторане гостиницы “Советская” на шестидесятилетии еще одного моего друга Вити Агеева — и соседом моим по столику был господин, с которым мы сразу разговорились, не будучи друг другу представленными. Когда господину дали слово для поздравления юбиляра, я понял, что это скульптор Сергей Клыков, за которого вышла замуж Лена Шостакович, когда Авдеенко женился не на ней, а на ее ближайшей подруге.

Пока Клыков произносил слова поздравления, я вспомнил, как в начале семейной жизни Максима с Леной Лена расцарапала мужу физиономию из-за его повышенного внимания к одной молодой актрисе.

А Максим еще на фестивале в Эдинбурге, где был вместе с Дмитрием Дмитриевичем, пообещал знаменитому дирижеру Игорю Маркевичу, что, когда тот начнет вести семинар в Москве, обязательно будет этот семинар посещать.

И вот первый день занятий у Маркевича, у Максима на лице царапины, но не прийти неудобно.

У Максима легкое воображение — и, опережая вопрос Маркевича, он рассказал, что дома у него большая собака, она очень любит хозяина, но неосторожно задела его когтями, когда хотела положить лапы ему на плечи.

“Вы женаты? — спросил Маркевич Максима и, не дожидаясь ответа, сообщил: — Я тоже женат…”

Я не стал рассказывать этой истории скульптору Клыкову.

И он, и Авдеенко, и я женаты не по первому разу — и с каждым разом браки становились все удачнее.

Максим тоже перед отъездом в Америку женился снова — и, насколько я знаю, жена у него до сих пор все та же, и, насколько

верю я хорошим слухам, дирижирует он почти с таким же успехом, как когда-то Маркевич.

Из Горького (из ссылки, кто забыл) вернули академика Сахарова.

Перескакиваю через четверть века вперед после свадеб в доме Шостаковичей. Я живу совсем другой жизнью, чем жил в шестидесятые. То есть я-то живу, как и жил в шестидесятые (чем и жил в шестидесятые, точнее), а все вокруг живут уже по-другому. Они по-другому, а я по-прежнему (а в изменившемся времени это и означает по-другому).

Дела, какое бы надо (давно пора), не делаю. Но и от дела не бегаю — и хоть в чем-то перемены второй половины восьмидесятых коснулись каждого. Мы с одним малым сочиняем в Переделкине (отец умер, но мы пока живем в литфондовской даче) сценарий по его роману.

Соавтор мой съездил в Москву — и вернулся с новой идеей. Он в хороших отношениях с известным режиссером Владимиром Наумовым — и тот не против сделать у себя в объединении на Мосфильме картину про академика Сахарова.

Мы встречаемся с Наумовым и редактором объединения, известным киноведом Верой Шитовой. Наумов фантазирует возможный сценарий — фильм он предполагает игровой, но с моментами вкрапления живого Сахарова. Я, как всегда, удивляюсь элементарности мышления известных людей. Но ничего не говорю — лишнего я наговорил на несколько жизней вперед. И потом, сама идея фильма про опального академика мне нравится.

Загвоздка в том, говорят Шитова с Наумовым, что познакомиться с академиком непросто — немногих он принимает.

Я изображаю человека того круга, где не может быть подобного рода проблем: говорю, что позвоню Лидии Корнеевне Чуковской, и она уж как-нибудь с академиком сведет. Имя Лидии Корнеевны производит на присутствующих впечатление — и мои акции возрастают, соавтор мною гордится.

Но дома я спохватываюсь, что самостоятельного знакомства у меня с Лидой нет. Правда, книгу свою “Записки об Анне Ахматовой”, выпущенную за границей, она моей матушке с дарственной надписью прислала, что было актом доверия: изданные за границей книжки приравнивались к самиздату.

Все же я подумал, что лучше все же обратиться за протекцией к братьям Ардовым — они для Лидии Корнеевны люди из дома, где останавливалась Ахматова.

Боря Ардов звонит Лидессе (как из подражания Ахматовой зовут на Ордынке Лидию Корнеевну), та говорит, что, конечно же, Сашу Нилина примет.

Приезжаю в квартиру на улицу Горького, из окна которой летом сорок пятого смотрел на танки, занятые в параде Победы.

Лидии Корнеевне восемьдесят. Но выглядит она как выглядят люди, достигшие наконец успеха: есть в ней внутреннее свечение, седина кажется нарядной.

Лидия Корнеевна говорит, что Андрею Дмитриевичу, если мне нужно, позвонит. Правда, Елена Георгиевна (Боннэр) держится не так, как во времена, когда они с Люшей посылали в Горький клюкву (или какую-то другую ягоду, не расслышал). Но какая разница — это их дело, как держаться со старыми друзьями по возвращении в Москву.

Но зачем — она говорит мне “ты”, что придает нашей исторической встрече домашность, — зачем тебе Сахаров, если ты хочешь делать кино? Ей, Лидии Корнеевне, недавно делал операцию на глазах офтальмолог Федоров — вот, по ее мнению, персонаж для фильма. Я догадываюсь, что из-за плохого зрения Лида смотрела кино лет сорок назад — и предложение мне кажется трогательным. Я говорю, что про Федорова снимут фильм и без меня. И возвращаю ее к Сахарову.

Лида мою просьбу выполняет — предупреждает Сахарова о предстоящем звонке. Звоню. Трубку берет Боннэр — я ссылаюсь на Лидию Корнеевну, и она тут же передает трубку Сахарову.

Я излагаю академику замысел фильма о нем. Он с удивившим меня смешком говорит, что не очень верит в санкцию верхов на такой фильм: “Награды мне еще не возвращены”. Договариваемся созвониться вновь — теперь я знаком с академиком Сахаровым. Фраза про награды меня сначала чуть коробит — зачем ему награды. Но я уже настраиваюсь на фильм — и внушаю себе, что награды не самому Сахарову нужны, а всему диссидентскому движению — как аргумент в полемике с властями.

И я бы позвонил наверняка Сахарову еще раз, если бы не встретил во дворе Лешу Симонова. Он рассказал, что ему звонила Люся (он так называет Боннэр) и спрашивала про меня, из какой я семьи. И Леша дал мне (и моей семье) наилучшую аттестацию.

Мне вдруг расхотелось делать картину про Сахарова. И ни Сахарову, ни Наумову я больше не позвонил.

Солженицына я — второй раз в жизни — увидел на похоронах Лидии Корнеевны.

А первый — на Ордынке, когда он пришел к Ахматовой в

провинциально, по-учительски сидевшей на нем фетровой шляпе.

В морозный февральский день похорон Александр Исаевич был в барской дубленке — и уж как-то очень монументален, когда стоял у ворот дачи Чуковских.

Я вспомнил фотографию, где снят он был перед окном комнаты Жени — не в ней ли он жил, когда сначала Корней Иванович, а затем Лидия Корнеевна давали ему здесь приют.

У нас в Переделкине сейчас уже три музея (или даже четыре, если считать галерею Евтушенко, он, правда, жив, дай ему Бог здоровья).

Рядом с домом, где я временно живу (а разве все мы не живем временно?), — музей Окуджавы на даче № 11.

В самой даче, когда она еще не была музеем и Окуджава в ней еще не жил, я бывал у переехавших сюда моих соседей по улице Тренева — Петровых. Петровых, кроме Евгения Петровича, в литературе, со “Стульями” и “Теленком”, больше нет — братья выступали под своей настоящей фамилией, Катаевы. Но для меня они пожизненно Петровы, а дом их остался на нашей бывшей улице.

С Окуджавой я знаком не был.

Помню, как жили мы с ним одновременно в зимних Дубултах, в девятом корпусе.

Юрий Любимов любил вспоминать, как гастролировала Таганка, в Набережных Челнах, кажется, — и записи песен Высоцкого крутились в каждом окне улицы, по которой шел сам Высоцкий, как победивший гладиатор.

Окуджава в Дубултах не был похож на гладиатора. Его записи, не сомневаюсь, звучали по вечерам во многих номерах корпуса, но бард напоминал человека, в ту минуту отрешившегося от своих песен, желавшего перенестись в иные замыслы — я слышал от друзей Окуджавы, что пишет он сейчас прозу.

И еще был вечер на пятом этаже Дома актера в гостиной, где камин. Мне показалось, что Окуджаве интереснее, чем петь, поговорить о чем-нибудь. Может быть, куски из нового романа прочесть.

Но Олег Ефремов, в белой водолазке и черном кожаном пиджаке (униформа художественной интеллигенции, на Окуджаве был точно такой же и на некоторых слушателях тоже), сел рядом с Булатом Шалвовичем, чуточку оттеснив его в сторону, чтобы круглый стол не мешал играть на гитаре, — стал главным слушателем, легко подчинив себе автора любимых песен, и автору ничего не оставалось, как исполнять свои песни к удовольствию собравшихся.

В музей Пастернака я так, кажется, и не зашел — откуда-то знал, что́ находится внутри дома, что́ в какой из комнат происходило. У меня в памяти оставался участок с длинными — от дома до забора — картофельными грядками. Они оставались такими же, какими были при жизни Бориса Леонидовича. Почему бы не считать их самым выразительным экспонатом?

А в музее Чуковского я даже на экскурсии был — приводил французов. Девочка-экскурсовод, никогда Корнея Ивановича не видевшая, не разрешила мне отклониться от маршрута — и заглянуть в комнату Марьи Борисовны на втором этаже или выйти на балкон-“кукушку”, названную так Чуковскими за сходство с бойницей на часах-ходиках, откуда в положенный час высовывалась с кукованием кукушка.

Но зачем мне приходить в музей — все комнаты я и без экскурсий помню, с каждой, пожалуй, связано что-то из детства-отрочества.

Понадобилась схема нашего поселка с номерами дач — сказали, что есть она в музее Чуковского. Я прошел через кухню в комнату-офис — и вспомнил, как обнимал в комнате за кухней Марусю.

Это уж не из детства-отрочества, а скорее из юности.

Мне — пятнадцать, Марусе — восемнадцать или девятнадцать, но выглядит она взрослее, роскошное созревание уже состоялось.

Сначала все женщины были старше. Потом — и по сегодняшний день — все (сегодня, правда, уже не все, единственная) моложе.

Маруся служила у Чуковских сторожихой, и ей полагалась комната в том же строении, где гараж, — ближе к воротам. Но в тот месяц, который вспомнился мне в музейном офисе, она подменяла отпускную домработницу и жила в даче, в комнате за кухней.

У нас с Чукером было развлечение — ежевечерние поездки на автомобиле в Москву. Но сначала внук читал что-нибудь страдавшему всю жизнь бессонницей деду.

Потом мы на руках выкатывали машину из гаража, заводили ее только на аллее.

Женя в положенный час шел наверх к деду, а мне оставлял не закрытым на шпингалет окно ванной. Я бесшумно влезал в него, на цыпочках проходил коридор, сворачивал на кухню, а у комнаты за кухней двери не было.

Мы с Марусей молчали. Но Корней Иванович все равно

каким-то образом узнал о моих вечерних визитах. К женской красоте он не был равнодушен — и Женя сфотографировал деда с Марусей. Кто-то из присутствующих при съемке предположил, что Маруся теперь пошлет карточку жениху. Корней Иванович с легким раздражением сказал: “Ну почему жениху? Она пошлет фотографию отцу”.

Мне Корней Иванович ничего говорить не стал. А Женю спросил: как же получается, что Саша проникает в дом, если дверь заперта?

Александра Исаевича Солженицына тоже сфотографировали — рядом с окном в Женину комнату: он в белой рубашке с расстегнутым воротом, в брюках на ремешке. Бородка (кто только не называл ее шкиперской) солидности не придавала.

Сейчас, на похоронах Лидии Корнеевны, он сама солидность. Литературные генералы, что жили тогда в конце аллеи классиков, и при полном параде, со всеми флажками своими депутатскими и звездами геройскими, даже рядом с заматеревшим Солженицыным не встали бы.

Хорошо ли быть генералом (литературным), я уже никогда не узнаю. Но в то, что война (и литература, добавлю) слишком серьезное, как полагал Наполеон, дело, чтобы поручать ее одним генералам, я почему-то верю.

Женя в ушанке с иностранным клапаном (он еще женат был на Гале) держался на похоронах представителем клана Чуковских, словно позабыв, как ссорились они постоянно с Лидой.

Он мне позвонил незадолго до того, пьяный, — и ругал за мою заметку про Шуню Фадеева тоном литературного критика (“не получился у тебя «Гамбринус»”).

К Жене я специально подошел, держась подчеркнуто дружески, — чего держать обиду на товарища детства, тем более на похоронах родной его тети? Он сунул мне нехотя руку, глядя мимо меня.

И во мне сыграло злопамятство: сразу же вспомнил, как точно так же вел он себя на похоронах Шостаковича. Когда катафалк отъезжал от консерватории, Женя с горделивой водительской лихостью пристроился к нему сзади вплотную. А сейчас вот в ушанке с клапаном ведет себя как распорядитель.

Но он родственник этим знаменитым людям — чего я к нему придираюсь? Сам не знаю. Мы виделись последний раз. На похороны к нему я не пошел.

Корней Иванович первый заговорил о том, что жизнь в

Переделкине — роман. И предсказывал, что кто-нибудь из полысевших внуков примется за такой роман в начале восьмидесятых годов.

Но мне кажется, что теперь, когда опубликованы дневники Чуковского, литературные услуги как полысевших, так и сохранивших волосы внуков вряд ли требуются.

Меня вполне устраивает мысленно вынутый мною из дневников роман, очерченный временем моего знакомства с Чуковским.

И, как ревностный читатель этого превратившегося в роман дневника, я увидел в нем и для себя посильный жанр — несколько пометок на полях, касавшихся моей жизни уже после смерти Корнея Ивановича.

Для того мы и общаемся со стариками, сами незаметно превратившись в стариков, — чтобы удлинить своей век погружением в глубь прошедшего.

Вместе с тем меня даже в нынешнем моем возрасте не увлекает фраза, что в России надо жить долго. Чаще впечатляют короткие жизни (Лермонтова, например).

Любопытнее показалось мне высказывание Корнея Ивановича — им ли самим сформулированное, услышанное ли от кого-то, ему-то было с кем на такие темы поговорить — о том, что в литературу трудно попасть, еще труднее в ней задержаться и почти невозможно остаться.

Жизнь в Переделкине подтверждает эту мысль метафорически. Особенность нашего поселка в том, что информация становится здесь метафорой. А метафора — информацией.

Глава вторая

1

Они жили на разных улицах нашего поселка, но встретились, словно это нейтральная полоса, на будущей Тренева напротив наших ворот — и остановились.

Старик Тренев еще жив (он умрет в мае, а сейчас март, снег мягкий, из него так легко лепятся снежки), и улица его именем пока не названа.

Все улицы в нашем поселке еще безымянны — все живы, кроме, разумеется, Гоголя и Лермонтова, но и улиц для них еще не прорублено через лес. Для Горького есть часть круга, но при всем авторитете Горького не затевать же ради него одного наименования улиц писательскими фамилиями.

Все живы и — по нынешнему представлению моему — молоды (Фадееву сорок четыре, а Катаеву на три года больше). Но я смотрю на них глазами пятилетнего ребенка — и не думаю об их возрасте, живу в своем.

Откуда мне, как и всем прочим, знать, что один из них через десять лет с небольшим пустит в себя пулю, ничего не добавив к своей писательской репутации, упрочив, однако, мужскую — и без того безупречную (чего не скажешь про общественную); другой проживет куда дольше, упрочит положение прижизненного классика — и, что бывает крайне редко или вовсе не бывает, превзойдет на девятом десятке себя молодого, но предвзятого отношения к себе не преодолеет?

Изображение немое — я не слышу (не помню, не понимаю), о чем говорят Фадеев с Катаевым. Не могу вспомнить, один ли, без взрослых, вышел я за ворота — вполне мог быть и один: на сломанных лыжах привык уже в одиночестве доходить по нетронутому снегу до края той территории, что отошла потом целиком к Дому творчества.

Не всё могу вспомнить про беседующих писателей, но прекрасно помню, как дочь Валентина Петровича Катаева Женя — она чуточку старше меня, но и тогда уже насквозь женщина — кокетничает с Фадеевым и не дядей Сашей зовет его, а по имени-отчеству, Александром Александровичем. Она уговаривает Александра Александровича пойти за нею к ним на участок — взглянуть, что́ вылепила она из мягкого снега.

Не помню, увлекла ли она в итоге Александра Александровича — или он сослался на неотложные дела. Но то,

что старшие (кто же еще был тогда, кроме Фадеева с Катаевым, из взрослых? может быть, ее мама, Эстер Давыдовна?) просили Женю не надоедать Александру Александровичу, помню до сих пор.

2

За два или за три года до кончины Валентина Петровича я лежал в писательской клинике, и между больными (и родней писателей, тоже там лечившейся) прошел слух, что умер Катаев. Молва нередко хоронит знаменитых людей прежде, чем они на самом деле умирают.

Я не то чтобы поверил, но мгновенно представил себе пустую, с темными окнами дачу в ночи — и не счищенный с крыши снег, огромный, на больничную подушку похожий сугроб. Я не мог и подумать, что Валентин Петрович Катаев может умереть не в Переделкине — он для меня от нашей дачной местности неотделим.

Переделкино принадлежало Пастернаку, но Катаев принадлежал Переделкину — в нем он, по-моему, перестал быть южанином. В стихотворении уже послевоенном, сочиненном, конечно же, у нас в поселке — не говорю “на даче”, поскольку кажется мне, что на бугре, возвышавшемся над железнодорожной насыпью, оно и сложилось, — Валентин Петрович пишет, что выходит регулярно из дому взглянуть на поезд Одесса — Москва. Вместе с тем помню, как мои знакомые киношники родом из Одессы, собравшись в начале восьмидесятых снимать документальный фильм про Одессу, хотели обязательно снять в нем знаменитого одессита Катаева — он отказался: “Я не живу уже в Одессе больше полувека — живу в Москве”.

Но в Переделкине, даже если отнять зимы, проведенные им в доме на Лаврушинском, он провел рабочего (подчеркнул бы я) времени больше, чем в Одессе и Москве вместе взятых.

Мне всегда казалось, что любой пейзаж в прозе Катаева пропущен через тот переделкинский пейзаж, что видел он каждый день из окна своего кабинета. И случайно ли “Алмазный мой венец”, где вся жизнь писателя, вся молодость, не в Переделкине проведенная, завершается видом острых силуэтов черных елок на берегу Самаринского пруда, если ничего не путаю (а если и путаю, то все равно, как упорствовал Пастернак, “с ошибкой не расстанусь”).

Я думаю, что и прожил бы он дольше, не начнись у него на даче ремонт — и Катаев был вынут из привычного пейзажа.

В этом пейзаже ничего не могло стать помехой для его работы — все происходившее вокруг него оказывалось, как теперь сказали бы, в теме.

Внуковский аэродром с нами рядом — самолеты пролетают низко, — и время от времени начинается общее писательское ворчание, что шум моторов мешает литературной работе. Сейчас авторитетных для властей писателей в нашем поселке нет (и есть ли они в других дачных местностях?). Но недавно еще какой-нибудь доброхот ходил по дачам писателей с именами и собирал подписи под петицией — запретить полеты лайнеров над крышами наших коттеджей.

Дело доходило до смешного.

Ельцин, еще не ставший тем Ельциным, которого все узнали, но уже лидер московских коммунистов, приехал к нам в Переделкино, точнее в Дом творчества писателей, — поговорить с писателями про их нужды.

И один из проживавших в ДТ (привычное у нас сокращение названия Дома творчества, звучащее куда менее нелепо, чем полное имя заведения, полезного, но претенциозно декларированного), некто Тверской (возлюбленный барменши) по прозвищу Мсье Талон (он ничего после инфаркта не писал, но замечателен был тем, что распределял между писателями продовольственные талоны в лучшие столичные гастрономы: за деньги на тот момент ничего купить было нельзя), — так вот, Тверской никогда наверх, где размещался кинозал, не поднимался, но для встречи с главным коммунистом поднялся и попросил Бориса Николаевича своей властью устранить помехи литературному творчеству, пугающий гул от бреющего полета лайнеров.

Борис Николаевич пообещал разобраться — и в ту зиму самолеты больше не летали.

Через какое-то время полеты, однако, возобновились — и мы поспешили объяснить этот казус ослаблением власти Ельцина, ставшего президентом.

Обитавший в нашем поселке знаменитый летчик-испытатель Марк Галлай (ему эти низкие полеты напоминали лучшие годы жизни) высмеял наши предположения, объяснив, что самолеты взлетают по ветру и на посадку идут, с ветром же согласуясь, а когда не летают вовсе, значит, не хватает горючего (авиация на моей памяти и такой момент пережила).

И я тогда пушкинскую метафору вспомнил — независимость ветра от власти (или, наоборот, ее зависимость от ветра).

А у Катаева “Вертер” заканчивается тем, что автор всплывает

на поверхность сознания из самых потаенных глубин сна, вобравшего в себя все предшествующее повествование, — и видит “нормальное, солнечное переделкинское утро, вертикально проникающее в комнату сквозь синие полосы занавесок”.

“И рейсовый самолет с грохотом проехал как бы по самой крыше” — и влетел в текст, вывел на коду (как любил говорить мой приятель сказочник Сергей Козлов).

Но, прежде чем обратить наше внимание на самолет, Валентин Петрович уточняет, что “изголовье кровати было придвинуто к самому подоконнику”. И он “протянул руку, отвел занавеску и увидел жаркое солнце и хвою”.

И я тут же увидел утреннюю катаевскую дачу: окно, соседнее с окном, уже упомянутым Катаевым, но утро более раннее, до начала жары, нагревшей хвою.

Это было на четверть (если не больше) века раньше — “Вертер” еще не написан, но наверняка живет в сознании автора.

Ребята и девочки постарше взяли за обыкновение совершать ночные прогулки по нашему кругу. Меня и моего сверстника Диму Кассиля родители не хотели выпускать из дому ночью. Потом все же согласились; мы вышли, бродили до рассвета, но никого из старших не встретили — им прогулки надоели.

Я расстался с Димой у ворот их дачи (Кассили и Катаевы жили на соседних участках) и уже двинулся к своему дому мимо дачи Катаевых, когда в окне обнаженные женские руки энергично распахнули “синие полосы занавесок” — и я увидел жену Валентина Петровича, прекрасную Эстер, как показалось мне в первую секунду, ню, но на самом деле только топлес.

Валентин Петрович пережил к середине восьмидесятых соседа Чуковского — и мне, перестающему постепенно верить в чудеса, понятным делалось, что время поджимает.

Но все равно казалось мне, что умрет Катаев каким-то непостижимым до сих пор образом — в тексте.

Умер же Корней Иванович в дневнике: на последней его странице — на самом верху тетрадного листка — всего одна, из последних сил собранная шаткими буквами строчка “24 сентября. Ужасная ночь”.

Катаев не вел дневников. Содержание последних его книг освобождало от тренинга регулярных записей сверх того, что в работе.

Дневник — великий жанр, жанр будущего.

Но запись от первого лица — не формальное “я”, а объемное ощущение всем своим организмом сию минуту записываемого. И у Катаева в тексте это было — и я думал, что он и уйдет в тексте.

Я очень мало читал еще одного знаменитого писателя с аллеи классиков — Леонида Максимовича Леонова: всего две пьесы и когда-то очень давно — роман “Русский лес”, не дочитанный до конца. И то, что Леонов настоящий писатель — настоящий, может быть, сумасшедший, чего требует это занятие, — понял из телевизионной передачи, когда он, девяностопятилетний, рассказывал, что пишет роман, который при жизни, скорее всего, не закончит (не вообще не закончит, а не закончит при жизни).

Но я от Катаева ждал не мистики продолжения — ждал текста. Ждал, что будет найдена фраза прощания, фраза расставания.

Катаев притом никогда не был моим самым любимым писателем.

Вместе с тем, оглядываясь мысленно на полки с прочитанными книгами, вижу, что читателем Катаева я был всегда. Когда-то, когда жили мы с Павликом, сыном Валентина Петровича, в одном кооперативном доме у метро “Аэропорт”, он великодушно подарил мне десятитомное собрание сочинений отца. Я очень обрадовался этому подарку — возможности перечесть (или прочесть впервые, не все же читал) вещи, наиболее мне нравившиеся.

Нравились мне не все произведения Катаева — далеко, я бы сказал, не все, но “Растратчики”, “Алмазный мой венец”, “Уже написан Вертер” перечитаны мною неоднократно, и перечтение еще последует, если буду жив.

Не все мне нравилось, но представление о Катаеве — не как дачном соседе, а об авторе — у меня есть (чего не скажу больше ни о ком из жителей писательского поселка).

3

Катаев поселился в Переделкине в ранге знаменитого писателя, но стал единственным, кроме Бориса Пастернака, разумеется, кто сочинил здесь вещи значительнее тех, что сделали его знаменитым.

Не может в моем возрасте не интересовать человек, который в пору подведения итогов опубликовал произведения, заставившие говорить о новом Катаеве, — и после семидесятилетия он работал еще лучше, чем прежде: наиболее сильная проза (в отношении художественном и прочем, хотя прочее сейчас меня мало занимает) написана на восемьдесят

третьем году жизни.

В талантливости — и очень большой талантливости — Валентину Петровичу Катаеву никто никогда не отказывал.

Но и предвзятость в отношении к нему тоже всегда была.

Говорить, что Катаев циничен, поминать разные человеческие его несовершенства, мешающие и прозе его, отвращая иногда от содержания (но не от стиля, надеюсь), становилось так же принято, как говорить о богатстве Погодина, трудоголизме Константина Симонова или широте в помощи нуждающимся Корнея Ивановича Чуковского.

И я когда-то в разговоре о Катаеве повторял услышанные о нем на протяжении жизни критические замечания.

Каким человеком был Валентин Петрович Катаев — хорошим или плохим?

Как и все: для тех, кому сделал что-то хорошее, — хорошим, для тех, кого обидел, — плохим.

Боюсь, что то же самое можно сказать о любом — и не только писателе.

Дано ли нам знать со всей очевидностью, кто из хороших (или тем более плохих) писателей хороший человек в быту или плохой? Что меняется для нас, когда мы читаем их книги?

И так ли хороша безгрешность? Говорил же Чехов про всеми уважаемого Короленко, что тому необходимо хотя бы разок изменить жене.

Известный артист Валерий Баринов сказал в интервью, что снялся в ста тридцати ролях — не помнит уж, какой он на самом деле.

Мне высказывание артиста понравилось больше, чем заданный когда-то Андреем Тарковским вопрос: “Люди ли вообще артисты?” Конечно, люди, если судить по Баринову, понимающие, что не всегда удается, да и нет необходимости быть им обыкновенными людьми, имеющими возможность всегда помнить, какие же они на самом деле.

Артистам, как сороконожкам, противопоказана излишняя аналитика — не сообразишь, с какой ноги идти.

Перевоплощение писателя в персонажей опаснее: у них нет опор в технике лицедейства, и совсем без аналитики им обходиться труднее, чем артистам.

Новый Катаев предпочитал писать от первого лица, не настаивая, по-моему, что в точности помнит, какой он человек (плохой, хороший, разный).

Я уже цитировал слова Пастернака про Мейерхольда: “Вы всего себя стерли для грима”.

Про Катаева тянет сказать, что он всего себя стер для слов.

Пожалуй, в сочинениях от первого лица Катаев скорее артистичен, чем исповедален. Но уж какой он есть.

Помню, пришли к отцу в гости Алесь Адамович и Даниил Гранин. И Гранин с места в карьер стал ругать недавно опубликованный “Алмазный мой венец”. Моя матушка не умела брать инициативу в разговорах в свои руки — тем более при таких знаменитых и прогрессивных, нарасхват, людях (Адамович с Граниным после гостей шли прямиком на премьеру к Любимову на Таганку). Но из мешавшего ей всегда чувства справедливости сказала все-таки: “Но написано очень хорошо”. “А разве это главное?” — очень строго сказал ей Гранин.

А что главнее, Даниил Александрович, если вы работаете писателем?

О том, какие вокруг него были люди, если подходить к ним с той же предвзятостью, как подходили (и подходят некоторые) к Валентину Петровичу, рассказывать можно бесконечно. Но я приведу (в откровенной запальчивости) только один, всех наверняка шокирующий пример.

Не хотелось мне этой истории рассказывать — все равно не так поймут, — но решился из-за того, что сам к ней отношусь по-иному, чем тогда, тысячу лет назад, в начале пятидесятых, в середине минувшего века.

И я бы все равно ее не рассказал (и переменив к ней первоначальное отношение), не разболтай о случившемся тогда непосредственный участник казни, известный график Павел Бунин — в ту пору, кстати, совсем не известный, ходивший босиком, круги под глазами, привеченный Корнеем Ивановичем, но, по-моему, не слишком уважаемый им: помню его смех, когда художник сказал, что не такой уж он все же дурак, — чуткого к слову Чуковского рассмешило, что “не такой уж”, притом что “все же”.

Конечно, всего бы интереснее мне было узнать, как интерпретировал этот случай в дневнике сам Корней Иванович. Мне почему-то кажется, что была такая запись. Но Люша (Елена Цезаревна) эту запись купировала. Для всей родни Корней Иванович был вне критики. Хорошо помню, что Женя не меньше меня поражен был случайно увиденным. Но ничего осуждающего деда он ни в ту минуту, ни позднее не произнес.

А вот график Бунин, думается, досочинил, рассказывая, что́ сказал, взглянув на мокрого мертвого кота, Корней Иванович, — в смысле, что вот и сам, может, будешь лежать скоро.

Я видел, как шофер Геннадий Матвеевич закапывал труп возле бочки, вытряхнул кота прямо из одеяла, завернутым в

которое они его топили…

Мы с Чукером шли к ним на дачу, вдрызг рассорившись, и я шел забирать какую-то свою вещь, у него оставленную.

И оторопели — или что там еще с нами было, — когда увидели возле бочки под водосточной трубой троих: Корнея Ивановича, шофера и художника. Кот был, повторяю, завернут — и кота мы не видели, но почему-то сразу сообразили, что происходит. Мы ничего друг другу не сказали, но перемирие состоялось тут же (слов не потребовалось) — и никогда к этому случаю в разговорах не возвращались.

Меня не столько поразила жестокость хорошо знакомых мне людей, сколько обида за кота. Душила, мучила, жгла: зачем через прошедшие десятилетия искать подходящие глаголы?

Готов искать объяснение в простонародных генах. Такая ли уж новость для деревни — казнь домашних животных за какую-либо провинность (сожрал же что-то у Корнея Ивановича кот, вызвав у владельца сожранного охотничий задор — изловить злоумышленника; я же не видел, кто из них ловил кота одеялом, не знаю, кто руководил действиями остальных).

Чехов, над книгой о котором Чуковский работал всю жизнь, Чехов, который служил для Корнея Ивановича моральным ориентиром (выражаясь высокопарно), Чехов — человек, в котором иностранные биографы, на чьи-то же свидетельства опираясь, обнаруживали черты, ускользнувшие (по незнанию или сознательно) от исследования нашего старейшего соседа, в шутку писал Ольге Леонардовне из Ялты, что отстреляет всех кошек. Корней Иванович мог одолжить у внука мелкокалиберку — дед, кстати, сердился на Женю, перестрелявшего в охотничьем азарте всех птиц на участке, — и пальнуть из нее в нашкодившего кота. Но он пошел другим путем. Возможно, Бармалей, которого собирался одолеть Чуковский на страницах в пух и прах раскритикованной сказки, не из пальца им высосан.

Легко ведь можно было и забыть за десятилетие этот эпизод или никому о нем не рассказывать и помнить только то, что стоит помнить.

Помнить сделанное Корнеем Ивановичем, помимо литературных трудов его на радость миллионов детей, строительство (за свои средства) библиотеки, приглашение жить к себе Зощенко (так в Переделкино и не приехавшего), хлопоты за Бродского, чьи стихи, между прочим, не так ему и нравились, приют, данный им Солженицыну в трудные для него времена, денежная помощь массе людей.

И я это помню — прежде всего.

А шокирующий пример привел исключительно в полемике с теми, кто решает, какой человек тот или иной писатель в зависимости от того, мил он тебе (по личным соображениям) или нет. Тебе ли, между прочим, решать, тот он или иной?

4

Допускаю, судя по записям Елены Сергеевны Булгаковой, что Валентин Петрович в нетрезвом виде бывал неприятен — мало кто (знаю по себе) в таком виде особенно приятен в кругу трезвых или тех, кто лучше переносит алкоголь.

В нетрезвом виде я видел Катаева лишь однажды, не очень еще хорошо тогда понимая про пьяных (мне было лет пять). Он сказал моему отцу (они, вероятно, выпивали у нас на даче): “Ты бы меня лучше… назвал, чем беллетристом”. Я не знал, что такое… (Помнил только на улице услышанную стихотворную строчку: “Из ресторана вышла…, глаза ее посоловели…”. Я и дальше помню, но раз идет у нас борьба против непечатных выражений, то зачем их нарочно втискивать в печать). Я не знал и что такое беллетрист. У меня нет музыкального слуха, но слух на слова есть — все услышанные мною за жизнь слова помню.

Мне кажется, что придирки к Валентину Петровичу связаны со своеобразием его участия в общественной жизни, далеко не всех щепетильных людей устраивающего.

Что считать цинизмом (наиболее частый упрек Катаеву)?

Наверное, едва ли не все поведение его в общественном плане.

Во всех отвратительных кампаниях — кого бы из лучших писателей ни травили (Зощенко, Пастернака, Солженицына) — он проявил себя, как прямо сказал про Катаева один поэт, “негодяем”.

Но этот же поэт говорит, что ему жаль Валентина Катаева (вкупе с Алексеем Толстым), — и этим, очевидно, хочет сказать, что, совершая неблаговидные поступки, Валентин Петрович вредил своему дару.

Мне бы очень хотелось согласиться с поэтом безупречной репутации, но вряд ли наделенным такого же богатства даром, как осужденный им прозаик (хотя Катаев и в стихосложении не слаб). Но, к огорчению всех благородных и порядочных людей, рискну сказать, что дару Катаева ничего не вредило.

Конформизм Валентина Петровича, к сожалению, не во вред дару. Более того, своим конформизмом Катаев защитил тот образ жизни, в каком этот редкий дар развивался.

Конформизм его был обеспечен безразличием: Катаев, множество раз присягавший революции, вслух сказавший (и не в годы такой уж реакции, а во времена послаблений), что революция спасла его, Валентина Петровича, от участи Ремарка и Хемингуэя, вполне бы и без революции обошелся. Но, раз она случилась и победила, он служил ей, как служил бы всякому победителю, не вырывавшему из его рук перо, которое он надеялся превратить в золотое, как у Бунина (из одноименного катаевского рассказа). И ему это в известном смысле удалось. С той лишь разницей, что Иван Алексеевич ни с кем никаких условий не заключал, а по договору, подписанному Катаевым, он до конца дней должен был оставаться советским писателем, отклонявшимся все же иногда от согласованного курса на расстояние таланта.

Он прав: революция (и вслед за революцией пришедшая советская власть, исказившая и те достаточно спорные в историческом плане лозунги, предложенные переворотом доверчивому миру, испугавшемуся, впрочем, грубой силы) спасла нашего дачного соседа от участи Бабеля, Булгакова, Олеши, лишив, правда, Валентина Петровича как писателя, преуспевающего при любых обстоятельствах, какой-либо легенды или даже загадки (хотя загадка Катаева, конечно, есть, только никого не интересует).

Да, Катаев — не в этом ли его никого сейчас не занимающая загадка? — преуспевал бы при любом господствующем социальном строе.

И не “Вертер” ли тому лучшее подтверждение? Злейший враг революции вряд ли обладал бы столь жестокой наблюдательностью, какая бывала всегда у беспринципного Катаева. Он просто направлял ее, как зенитчик — прожектор (военная специальность Валентина Петровича, между прочим, — артиллерист).

Цинизм Катаева — цинизм ребенка, у которого для строгих родителей есть запасной, помимо того, что предъявляют в школе, дневник.

Советская власть с какого-то момента ничем ему и не мешала — у него с ней установились рыночные отношения. В немолодые уже годы он торговал (“А я товаром редкостным торгую”, — пишет Ахматова) Лениным: он ей “Маленькую железную дверь в стене”, а она ему ежегодные посещения Парижа (и Валентину Петровичу, и сыну его Павлу); отец любил Париж с первого приезда туда в шестнадцатом году, а Павлик полюбил уже в шестидесятые, кажется, годы, тем более что мама его, Эстер Давыдовна, родом из Парижа, с улицы Риволи.

Советская власть не могла помешать ему писать, как не могла — впрочем, советская власть все могла, что я дурака валяю, — помешать любовнику любить любовницу в том смысле, что не могла эта власть вконец убить основной инстинкт, а у Катаева вторым основным инстинктом была любовь к самому процессу письма, что при таком природном даре очень от многого защищало его, и без того защищенного социальным безразличием.

Ну и везением (везение тоже будем считать судьбой). Не был обделен Катаев везением — не все же он мог вычислить, как физик-теоретик из анекдота.

Вскоре после того, как увезли Бабеля с переделкинской дачи на “черном вороне” — и он исчез навсегда, — в Кремле вручали награды. Ордена Ленина получили оба брата — Валентин Катаев и Евгений Петров.

Про Евгения Петрова все говорили, какой он чудесный человек. Но смешно, что в “Белеет парус” Катаев изобразил себя в непосредственном, рефлексирующим Пете, а младшего брата — в практичном Павлике, который еще ребенком, совершая круиз по Средиземному морю с папой и старшим братом, принят был в компанию пароходной прислуги, все путешествие резался (к ужасу узнавшего об этом отца) в карты — и даже выигрывал у иностранцев какие-то деньги.

Евгений Петров погиб, и книги, сочиненные им вместе с Ильей Ильфом, после войны не переиздавались. Но, как запрещенные, заучивались студентами наизусть.

Вроде бы у Катаева и нет вещей такой же популярности, как “Двенадцать стульев” или “Золотой теленок”, и ушли Петров с Ильфом рано, что всегда дает повод предполагать, какие бы книги они написали, проживи дольше. Но Катаев жизнь прожил долгую и написал много — при всей известности двух повестей и “Одноэтажной Америки” Ильфа и младшего брата место брата старшего, работавшего в одиночестве, все равно, на мой взгляд, прочнее. Слава, выпавшая книгам Ильфа и Петрова, — это слава книг, а совокупность достижений Катаева все равно ставит его выше.

5

Все любили Олешу больше, чем Катаева, — и я, пожалуй, люблю его больше.

У Катаева нет “Зависти”: он не завидовал, как ранимый

индивидуалист Олеша, победителям, сразу же примкнул к ним “Временем вперед” — в каком-то большом, но опять же в ту минуту мало кого интересующем смысле изменил Ивану Алексеевичу Бунину с Маяковским. Избавился от зависимости — и так можно и сто́ит, по-моему, сказать. Но в суматохе советских буден он все же держал в уме, что был одобрен, и как еще одобрен, будущим нобелевским лауреатом — это добавляло знаменитому советскому писателю невидимое, но им самим-то ощутимое измерение. От своего изобразительного блеска он и во “Времени вперед” не отказался: ни один из требуемых властями романов на современную производственную тему не был написан с таким литературным щегольством, с удовольствием, несмотря на заданность.

С удовольствием Катаев писал всегда.

В самом неудачном из-за той же давящей на писательский организм заданности романе — с удручающе банально, по-советски звучащим названием “За власть Советов” — сквозь множество через силу сочиненных страниц проявляется и написанная по-настоящему.

В романе про войну у Катаева среди партизан в одесских катакомбах есть и московский мальчик Петя (сын ставшего взрослым Пети из “Паруса”, альтер эго Катаева не в одном из его сочинений), и местная девочка Валентина (случайно ли имя девочки у Валентина Петровича — не выстраиваются ли имена им в некую лирическую систему?).

Девочка чуть постарше мальчика и за год в катакомбах расцветает. И к мальчику, с которым вчера еще цапалась из-за всяческой ерунды, относится уже отчасти по-матерински. Петя видит, как у Валентины начинается любовь со взрослым молодым человеком, и сам еще не догадывается, что любит ее, — за него догадывается автор, замечая, что любовь Пети к ставшей другой у него на глазах девочке была любовью ко всему еще и безответной, без чего, наверное, самая первая любовь невозможна (как, наверное, и последующие — горький смысл, может быть, и возникает от того, что за самой первой любовью последуют новые и тоже не будут последними).

“Валентина ни разу не приснилась Пете, но все, что снилось ему теперь, было ею”.

В мемуарном романе Василия Аксенова я прочел очень похожую фразу — и понял, что в Аксенова, который при чтении “Власти Советов” был заметно (на восемь лет) постарше меня, она тоже запала: среди строго повествовательного текста будто набрана была курсивом (но весь-то ведь и фокус, что не курсивом, а тем же самым шрифтом, что и остальные фразы).

Олеша записал, что Катаев проехал мимо него по улице Горького на такой огромной машине, будто едет он в комнате.

Но мания величия была не у имевшего машину Катаева, а у безлошадного Олеши.

Олеша почувствовал эманацию изящества, исходящую от рукописи (не машинописи) “Зависти”, — и заставил себя думать, что на все происходящее смотрит теперь из вечности.

Катаев такой роскоши позволить себе не мог: он не собирался быть нищим и морить семью голодом.

Но я не намереваюсь лень (пусть и вынужденную) сидящего целыми днями (и обычно без денег) в кафе “Националь” Олеши противопоставить подневольному труду конформиста Катаева. Я хочу лишь напомнить еще об одном выгодно отличающем Валентина Петровича от многих и многих даре Катаева.

Он не только литературу (как многие и многие) любил — он любил литературную работу, ту работу, что многим и многим казалась рутинной (и им приходилось к ней себя принуждать).

Бедствующий Олеша, автор “Зависти” и “Трех толстяков”, не мог заставить себя заняться малыми формами — тем, чем они вместе с Катаевым кормились в молодости.

А Катаев и в большой славе не гнушался юморесками и фельетонами — не гнушался и не стеснялся этой работы, доставлявшей ему такое же удовольствие, как и прочие литературные занятия. Ему бы ни при каких гонениях не грозила нищета. Другое дело, что выстраивал он стратегию жизни так, чтобы не стать объектом гонений, опасных для всех писателей.

Но и он — при советской власти это и невозможно (на то и щука в литературном море) — не избежал неприятностей.

Прославленный забытой ныне “Белой березой” Михаил Бубеннов — тоже мой сосед, но не по Переделкину, а по Беговой и по Лаврушке — не раз выступал критиком-щукой. И на Катаева напал еще раньше, чем на Гроссмана.

Мы тогда жили на Беговой. По телефону звонить приходилось через коммутатор — и подвал, где располагалась служба коммутатора, был прямо перед моими окнами.

И вот все в наших выстроенных пленными немцами домиках узнали, что Бубеннову позвонил Сталин: хвалил его за правильное направление критики (не помню только, за погром Гроссмана или за Катаева он хвалил Михаила Семеновича, крупного, мрачного, пьющего мужчину).

Помню, как смотрел я на заложенные кирпичом окна коммутатора — и старался себе представить, как телефонистки при ярком электрическом свете соединяют товарища Сталина с

Бубенновым.

Катаев сказал Бубеннову при встрече: “Ты у меня из кармана вынул миллион”. И сел исправлять уже опубликованный роман — мне кажется, что миллион Валентин Петрович себе вернул. Прав был Алексей Александрович Сурков: одни пишут для миллионов рублей, а другие артистически христарадничают в “Национале” — каждому свое, как было написано на воротах одного учреждения.

Дачный участок Катаева — между участками двух детских писателей.

Правда, Корней Иванович после войны обращался к детской аудитории старыми (и похоже, бессмертными) сочинениями вроде “Мойдодыра”.

А Кассиль и хотел бы вернуться к взрослой прозе, но теперь уже все получалось для детей (для того юношества, которому давно надо было перейти на серьезное чтение, но умственная лень мешала).

Что мог сделать Лев Абрамович, если по-катаевски лихо изображенный им в “Швамбрании” младший брат Оська, когда стал взрослым, был расстрелян?

6

В довоенном журнале “Пионер” была опубликована подборка детских сочинений. Авторы подписывались с непременным указанием возраста: Володя, допустим, Скворцов, 12 лет. И на той же полосе — стихотворение Валентина Петровича, подписанное: “Валя Катаев, 37 лет”.

Жонглируя по-газетному словами и понятиями, можно смело сказать, что детство для Катаева оставалось неиссякаемым святым колодцем.

В “Святом колодце”, с которого начинается новый Катаев, в самом начале есть сцена, метафорически объяснившая мне замысел романа (ну не повести же — по вложенному в эту вещь сливочному маслу).

Катаев обращает наше внимание, что у старика, моющего бутылки возле святого колодца на берегу Сетуни — речушки шириной в ручей, но для фантазеров-писателей своего былого судоходного значения не утратившей, — количество бутылок в мешке не уменьшается.

И смысл колодца в том, чтобы хватило святой воды — смыть со стенок каждой бутылки винный и водочный осадок.

Смыть прежние грехи.

Прежний Катаев подхватил бы за Маяковским, что чистит он себя для более дальнего заплыва в давшуюся им с Владимиром Владимировичем революцию.

Но Катаев новый говорит жене (нет сомнений, что списанной с Эстер Давыдовны) о вечности.

Валентину Петровичу приблизительно столько же лет, сколько мне сейчас, когда о вечности — перед тем как в ней раствориться — думать всего соблазнительнее.

И все же, если верить Катаеву, для всей своей прозы сохранившему детство как место действия (из какого бы возраста ни вспоминал о нем), сподручнее (хотя руки здесь ни при чем) думать о вечности именно тогда. С этим Валентин Петрович и прожил жизнь. Я бы добавил, что жизнь в литературе, — но для него иной и не было.

От памяти о море, о воздухе и вообще обо всех вещах, среди которых он жил в детстве, он никогда не хотел и вряд ли мог отрешиться.

Вещей этих становилось все меньше, они исчезали вовсе. С хищностью, подстегнутой утратами, он осваивал (усваивал) новые, обретал вкус к их названиям и вкус обретенный умел передать. Ему нравилось находить место новым предметам в привычном звучании фразы, как для новой мебели. Красную мебель, фигурально выражаясь, он не выбрасывал, но приживлял к ней у себя в квартире мебель новых поколений, чуть иронизируя и над тем, и над другим, и над своею способностью не быть старомодным, находить уют (и комфорт) во всем новом. Стиль его жизни и прозы бывал вместителен, ему нравилось находить простые и вместе с тем неожиданные сравнения — телевизор сравнивать с человеческим мозгом, а “боинг” над океаном, что особенно подкупало молодых, — с мухой над кипящим молоком.

Мне кажется, что Катаев для своей периодической таблицы оставлял в похожем на телевизор мозгу клеточки для новых вещей, понятий и явлений (например, росчерком молний завизированную грозу) — сюда он азартно впишет найденные им названия или сравнения.

В детстве я брал бутсы для футбола у сына Валентина Петровича Павлика — и в них играл.

Как-то раз пришел я за бутсами и возле грядок с клубникой наткнулся на отца владельца бутс. Он, вроде бы не зная, зачем я пришел, спросил, играю ли я в настоящих бутсах — и есть ли у меня бутсы.

Я ответил, что сегодня мне как раз должны привезти их из Москвы. Соврал не задумываясь — никаких бутс никто не должен мне был привезти, моим родителям в то лето было не до бутс, о чем, я думаю, Валентин Петрович догадывался. Но ему как писателю, пишущему и для детей, интересна была моя реакция на свой вопрос: сознаюсь ли я, что нет у меня своих бутс, или изображу сына родителей, которым купить ребенку бутсы ничего не составляет?

Мне показалось, что Катаеву понравился мой ответ — он исходил из предполагаемого им во мне характера и кивнул вроде бы как удовлетворенно.

А я и до сих пор испытываю неловкость. Мог бы и сказать, как на самом деле обстояло с футбольными бутсами.

7

За “Юность” — журнал того же характера своевременности, как театр “Современник” (они почти ровесники), — Катаеву многое простится, а еще больше поставлено будет в заслугу.

Журнал для начинавшейся литературы — это же какое везение для молодых писателей: не стучаться в старые двери.

Сверстники Катаева сердились на пригретых им молодых коллег, что откровенно подражали иностранцам, вчера еще у нас не публикуемым, да и в самую оттепельную страду публикуемым выборочно.

Кого-то мы так и не узнали или узнали с опозданием на целую жизнь, к моменту опоздания прожитую.

В предвзятом отношении к современным зарубежным авторам (своего отца, например, вспоминаю) сказывалась воспитанная всей литературной и всей окружающей жизнью косность наших битых-перебитых или погубленных собственной осторожностью советских стариков (и в пятьдесят лет все равно стариков).

Никто не хотел думать о том, что иностранцы взяли от русских классиков, скажем от Достоевского, многое из того, что советским соотечественникам возбранялось.

Старикам невдомек было — или стало? — что идет процесс, напоминающий шунтирование (неизвестное тогда медицине), когда кровь к закупоренному сердцу направляется обходным путем.

Российская классика в Россию же и возвращалась, тщательно изученная за кордоном, где происходила нормальная литературная жизнь, не связанная державными предписаниями и

поощрениями.

Тех, кто прорезался в “Юности” при Катаеве, влекла, конечно, и тогдашняя запрещенность примет иностранной жизни.

Кто-то и малым довольствовался.

Юлиана Семенова, когда он работал в “Комсомольской правде”, осенило, в чем он признался Юре Зерчанинову, ушедшему из газеты в “Юность”: сочинив репортаж из милиции в хемингуэевской манере, взорвешь газетный стереотип.

Кое-кто из писателей (Василий Аксенов, например), вдохновившись Сэлинджером, претендовал на то, чтобы не газетные взрывать стереотипы, а стереотипы той жизни, какой жили, в надежде отвоевать для себя необходимое пространство у ослабившей на мгновение узду власти.

Бродский попросил работавшего на “Свободе” Сергея Довлатова ксерокопировать для него годовые содержания журнала “Юность” лет за десять или двенадцать. Но, изучив ксерокс, сказал, что ничего для себя интересного не нашел.

Я далеко не так строг, как Бродский, — и примерно в то же самое время пытался перечесть десятка два номеров “Юности” за катаевские годы, — но ничто уже не увлекло меня так, как увлекало в пятнадцать-шестнадцать лет. Все показалось наивным и элементарным.

И все же я пожалел, что ничего не сочинял еще в пору, когда “Юностью” руководил Валентин Петрович Катаев.

Что же до подражания, то упрек в нем писателя писателю слышать странно.

Прямо с натуры никто не сочиняет. Разве что неизвестные мне графоманы. Но графоманов за самобытность никто никогда не хвалит — даже если она и существует (у гипотетических графоманов), никто из критиков не доберется до нее, не имея ориентиров в уже прочитанных ими книгах.

Кто, скажите, литературнее деревенщиков, чье почвенное могущество у критиков и литературоведов никогда не вызывает сомнения? Тем более что иностранцев учителями они, деревенщики, вслух никогда не признают.

Вообще-то мне, читающему мало, очень бы хотелось поверить, что возможна самобытность, возникшая из незнания образцов. Но нет у меня пока подтверждений такого рода самобытности.

Валентин Петрович знал по личному опыту, что индивидуальность в искушениях подражания крепнет, а тех, кто в подражателях останется, жалеть не стоит.

Он сам, и рано, выбрался из-под Бунина. Две-три бунинские

фразы из “Растратчиков” (моим отцом придирчиво подчеркнутые красно-синим карандашом) не в счет.

Пьяный Олеша уверял в “Национале” преданных слушателей, что это он, Олеша, редактировал катаевских “Растратчиков”. Сомневаюсь — в “Растратчиках” если и есть следы, то это следы освобождения от прежних влияний.

Неожиданные нарекания у части публики вызвал “Алмазный мой венец” — талантливый перевертыш привычных представлений о том, какими должны быть мемуары, в каком тоне следует говорить о фигурах общеизвестных (хотя в начале восьмидесятых не так-то и много мы знали о Мандельштаме, например).

Я бы назвал катаевский текст игрой в мемуары.

Повод для необычного романа, где сам стиль документа опровергнут — и взамен ему предложен стиль, всего более подходящий для пересказа на три четверти забытого сна, но сна, не переставшего мучить желанием вернуться в него таким, каков ты сегодня. А все остальные останутся такими же, какими были тогда. И уж по ходу повествования автор будет — на то игра — меняться с ними местами (и временами). Так я понял “Венец”, который привлек меня авторской раскованностью. Притом что к играм в литературе я равнодушен — возможно, не дорос до них эстетически.

Главной претензией к автору “Венца” было: “Чего это он себя с ними равняет?”

А если и так? Это дело автора, когда он выходит на соревновательное поле. Зачем заниматься литературой, если на соревнование с лучшими в твоей профессии ты не претендуешь?

В чем угодно можно Катаева обвинить, но в тексте у него ни перед кем нет страха, что проиграет он в сравнении. Автор, может, и проигрывает, но именно отсутствие страха парадоксально не оставляет его в проигрыше.

8

Приходилось мне и слышать, что он завидует мировой славе Солженицына.

Славе, может быть, и завидует, но не Солженицыну: по тем задачам, которые поставил перед собой автор “Архипелага”, он крайне далек от Катаева, ни при каких обстоятельствах не считавшего для себя возможным быть хоть в чем-то не сообща с правопорядком.

Мне вообще почему-то кажется (могу, конечно, ошибаться),

что Катаев не до такой уж степени и честолюбив. Не представляю, ради чего мог бы он пожертвовать комфортом, необходимым ему для свободного вождения пером по бумаге (здесь при всем своем конформизме он каким-то чудом всегда оказывался свободен) — пером, а не крамольными мыслями: от них он тоже счастливо для себя бывал свободен.

Запрещенной у нас славе Александра Исаевича завидовать он не мог — благорасположение начальства было для него важнее.

А мировой славе Солженицына (к нам, кстати, тоже доходившей поверх запретов) мог, наверное, завидовать. Но и одного дня Александра Исаевича не согласился бы прожить ради любой славы.

Ему вполне хватало того, что соседи дачные — Леонов или Федин — оставались в прошлом, а он был единственным действующим классиком на аллее классиков.

И вдруг талант неожиданным образом выводит его на тему почти такой же (или просто такой же), как у Солженицына, запретности: изначальная бесчеловечность советской власти, и в центре ее жестокости — ЧК.

Все наработанное послушание Катаева, все полученные им ранее награды играют — по-своему неожиданно, по-своему и закономерно — на то, что новая вещь без большого скрипа проходит в наиболее раздражающем цензуру журнале — в “Новом мире”.

Время другое (семьдесят девятый год), Твардовского давно нет, Солженицын под глухим запретом, а многолетний член редколлегии (и при Симонове, и при Твардовском) публикует крайне острую (как тогда говорили) повесть — да еще озаглавленную строчкой из Пастернака “Уже написан Вертер” (вряд ли цензор уточнил, что ей предшествовало и что за нею последовало: “Я не держу. / Иди, благотвори. / Ступай к другим. / Уже написан Вертер, / А в наши дни / И воздух пахнет смертью: / Открыть окно, / Что жилы отворить”). “Уже написан Вертер” — это вам не “За власть Советов”, притом что “власть Советов” в катаевском “Вертере” очень даже при чем.

Много лет назад режиссер Алексей Симонов (ныне известный правозащитник), работавший тогда в телевизионном объединении “Экран”, снял документальный фильм про Леонида Утесова. При обсуждении руководители объединения, высказывая замечания, мялись, мялись, но в основном напирали на то, что в фильме слишком уж много Одессы (Утесов, кто не знает, одессит).

Алексей Кириллович попросил слово для справки и сказал: “Столица Еврейской автономной области — город Биробиджан, а

не Одесса. Одесса — наш крупнейший портовый город”.

Леша легко угадал, что именно не устраивало руководство, — и нажал слегка демагогически (про то, что Одесса — портовый город, руководство тоже знало, но кое-что знало и о жителях города, придавших Одессе знаменитый колорит).

При других обстоятельствах вещь Валентина Катаева импонировала бы наиболее продвинутой части общества. Но в обстоятельствах, какие тогда (и не только тогда) сложились, ни высочайшие литературные достоинства “Вертера” (кроме того, что это лучшая вещь Катаева, она и во всей нашей прозе советского времени одна из самых лучших), ни его слава руководителя “Юности” не помогли.

Чем же провинился злодей (тут ему уже все прошлое готовы были припомнить) Катаев?

Он даже и не особенно подчеркивал — впрочем, и подчеркивал, конечно, описанием специфической внешности персонажей, — что в одесской ЧК служили люди определенной национальности.

И вот на Катаева с его евреями-чекистами (в дальнейшем тоже расстрелянными) ополчились умные и в тысячу раз более прогрессивные люди, увидевшие в “Вертере” гонения по национальному признаку (уже разрешен был выезд евреев из страны, но государственный антисемитизм отменен не был — и сейчас, когда он упразднен, трудно представить тогда не жившим, сколько судеб он поломал).

Но ведь Катаев не из головы выдумал и героев, и ситуацию. Что же ему оставалось — ждать времени, когда упразднят антисемитизм? Хоть один человек верил тогда в подобный поворот?

Конечно, репутация конформиста, утвердившаяся за Валентином Петровичем, вынуждала наиболее уязвленных подозревать автора в служении темным силам, которые хотели бы убедить нас, что все беды революции произошли из-за евреев.

Однако подобная точка зрения никак не могла диктоваться властями, когда сложилась уже традиция считать, что все жестокости революции оправданны.

Правда, в редакционной врезке, предваряющей публикацию “Вертера”, все ошибки — которых на самом деле не было, но если разговор касался неугодных власти людей, то они вдруг возникали, — словом, все чудовищные ошибки приписывались Троцкому.

Но тогда, учитывая национальность Льва Давыдовича, ситуация еще более усугублялась, — и никто Катаева за художественные достоинства прощать не собирался.

При желании и я могу найти резон в упреках Катаеву.

Хотя, если запреты в литературе будут исходить с противоположных сторон, писателю, кроме как повеситься, ничего не останется, а Валентин Петрович не из тех, кто уходит из жизни добровольно, — и у меня не достанет предвзятости стать на сторону противников даже не столько Катаева, сколько “Вертера”.

Кто-то, ругая мне Катаева, припомнил антисемитского толка стихи, напечатанные им еще в тысяча девятьсот двенадцатом году.

Я стихов этих не читал — и любые строки из сочиненных им тогда готов списать на ошибки молодости.

И я уверен, что у Катаева времен “Вертера” не было намерения спонсировать из личных средств холокост — он не же не враг своим детям: у жены Валентина Петровича, прекрасной Эстер, такое же отчество, что и у Троцкого.

У еврейского народа есть такое завидно-великолепное качество, как самоирония. Но того качества, которое требовал товарищ Сталин от всего советского народа — самокритики, — требовать и от людей любой национальности наивно, а в случае с евреями, жившими в Советском Союзе, было преждевременно. Пуганая ворона дует на молоко — или боится чего-то еще, а на молоко никто и не дует, дуют на воду, обжегшись, очевидно, горячим молоком.

Великий Эйнштейн назвал антисемитизм тенью еврейского народа. И одессит Валентин Катаев, до конца дней говоривший с одесским акцентом (не будем отождествлять этот акцент с еврейским), вряд ли способен был повлиять на ситуацию — в ту или в другую сторону.

Я догадываюсь, что многим свободомыслящим и достойным людям претит сама мысль, что конформист Катаев в своей прозе оказывается более протестным автором, — талант всегда смелее.

Это такой же печальный факт, как и ревностная служба евреев в одесской ЧК сразу после революции.

9

Между прочим, конформизм Катаева был слишком уж очевиден для настоящего конформизма — просто власти удобнее было принять эту игру за чистую монету и поощрить писателя, всегда и всему предпочитавшего комфорт.

Вспомнил вдруг свое первое впечатление, первое ощущение от комфорта катаевской дачи.

До канализации в дачах нашего поселения оставалось еще лет восемь-девять, но сортиры были не на улице, архитекторы, строившие городок писателей, предусмотрели отсек для клозета в самой даче.

В клозет Катаевых я попал зимой сорок пятого — и меня поразило, что зеленоватой клеенкой оклеен не только постамент для очка, но и предусмотренная к нему крышка с удобной рукояткой.

Уже в новом веке о нашем поселке сняли для телевидения фильм, на несколько вечеров рассчитанный, — и среди прочих старожилов Переделкина вспоминала прошлое и Евгения Валентиновна Катаева.

Женя сказала: “Нилины наши друзья”. При моем отношении к семейству Катаевых мне это слышать было приятно. Но к тому времени я приучил себя, что никакое преувеличение (и в самую лучшую для тебя сторону), никакая (даже малейшая) неточность, хоть сколько-нибудь искажающая реальную действительность, не должны оставаться незамеченными в личном анализе происшедшего с нами в Переделкине.

Женя не сочла нужным, правильно истолковав отношения между семьями (нашей и Катаевых), обратить внимание посторонних нам телезрителей на не самые добрососедские отношения между главами семейств.

Эстер Давыдовна сказала как-то моему отцу (отец к Эстер относился очень хорошо, предпочитал одновременно с нею смотреть кино в ДТ, вспоминая, как она громко смеется по ходу сеанса) со всей своей очаровательной непосредственностью: “Как вас любит наш Павлик! Он буквально не дает Валентину Петровичу и полслова плохого сказать о вас”. Из чего нетрудно было сделать вывод, что в кругу семьи Катаев своего критического отношения к Нилину не скрывал.

Что-то похожее происходило и у нас. Отец, правда, не говорил о Валентине Петровиче плохо, но всегда с долей насмешки — и далеко не всегда по делу (хотя и давал понять, что в книгах Катаева видит лишь первоклассную беллетристику и ничего более). Потомок крестьян, он, например, смеялся над тем, что сын преподавателя реального училища Катаев косит у себя на участке траву (под Льва Толстого). Если матушка наша говорила, что Валентин Петрович всегда очень приветлив с детьми, отец обязательно добавлял, что и с молодыми женщинами — тоже (можно было подумать, что сам он меньше любит молодых женщин).

Мы с матерью, как почитатели прозы Катаева, всегда старались брать его сторону — что же плохого в том, что он косит

траву и неравнодушен к молодым женщинам?

Я не собираюсь сейчас вникать в психологические (возможно) мотивы этого встречного неодобрения (я не так уж коротко знал Катаева и не во всех случаях понимаю отца). Меня, однако, несколько удивляло, что не продлились хорошие отношения довоенных и послевоенных дачных лет.

Но у нашего отца они и ни с кем не продлились.

С Павликом Катаевым мы никаких отношений сейчас не поддерживаем — и никогда, наверное, больше не увидимся.

Когда умерла мама Саши Авдеенко — а Катаевы с Авдеенками дружили, и дети и взрослые, — Павлик выразил по телефону соболезнование, но сказал, что на похоронах быть не сможет (была сестра Женя, мы с нею вместе ехали в ритуальном автобусе), и добавил, что надо бы повидаться, “а то сами скоро помрем”. “Зачем же тогда и видаться?” — заметил я, когда Авдеенко пересказал мне свой разговор с Павликом.

Мое замечание показалось Авдеенко остроумной шуткой — и он несколько раз пересказывал ее знакомым, Володе Кирсанову в частности, — но тот шутки не принял: “У нас, технарей [он был доктором физико-математических наук], другое к этому отношение”.

Вскоре Володя умер. Авдеенко успел написать о нем воспоминания в какой-то сборник. Теперь уже два года, как нет Авдеенко.

А мы с Павликом живы.

Как-то он позвонил на дачу, где я сейчас временно живу, — искал хозяйку, которая несколько лет жила в Израиле. Я назвался — Павлик сказал из вежливости, что рад меня слышать, но продолжать разговора не стал.

Во втором, кажется, классе мне в школе задали сочинение о друзьях — и я задумался, кого же назвать друзьями. Одноклассников — как-то глупо, мы же только начали учиться. Ребят со двора? Но на Беговую мы совсем недавно переехали, и я их знал не так еще близко, как детей из Переделкина. Спросил отца, как быть. Он посоветовал написать: мои друзья Павел Катаев, Евгений Чуковский…

Но меня что-то остановило — и я назвал тех ребят со двора, которых в моем втором “А” никто не знал.

Тогда мне казалось, что Павлика и Чукера не назвал я из-за громких фамилий, известных всем в школе, — и мне не хотелось выглядеть нескромным.

А теперь думаю, что интуитивно не уверен был, что они друзья, хотя и после детства хорошие отношения у нас

сохранялись.

Чукер утверждал, что Павлик дошел своим умом до многих научных открытий прошлого века (прошлым веком тогда был девятнадцатый).

Я с детства отставал от сверстников в науках (а Павлик с Чукером были еще и постарше меня) и проверить глубину знаний Павлика не мог. Но помню, как пришел он к нам — и объяснял моей матушке, что хочет организовать библиотеку для ребят, вот, ходит по дачам, спрашивает у всех взрослых, есть ли у них книги-дубликаты. А я и понятия не имел, что такое дубликаты. Правда, затея с библиотекой не удалась, как и большинство затей нашего детства. Но не результат же важен, а само детство, если длится оно в памяти, выдержав на себе груз всех последующих воспоминаний.

10

Шла зима то ли сорок четвертого, то ли сорок пятого года — поскольку я июльский ребенок, зимой сорок четвертого мне не было четырех, а зимой сорок пятого — пяти.

Мы играли на участке у Катаевых. Втыкали в сугробы сосновые ветки — якобы мы сажаем фруктовые деревья. В реальность игры сильнее всех поверил кузен Павлика и Жени Лева — сын сестры Эстер Давыдовны (они с Инной, дочерью тети Павлика и Жени, у Катаевых жили обычно все лето — и были для нас, переделкинцев, своими; а тут Лева гостил и зимой). Лева забеспокоился, что Саба — дворняжка, бродившая вокруг нас, — может съесть все яблоки, которые скоро вырастут.

Когда все яблони были посажены, мы перешли играть в пустой гараж — машин во время войны ни у кого не было, а корову Катаевы еще не купили. Мы спустились по доске в открытую яму для ремонта автомобилей.

Делать в яме оказалось, в общем, нечего. И Павлик с Левой ловко вылезли опять же по доске наружу. А мне их ловкости (или силы) не хватило — и я остался внизу.

Лева и Павлик сначала подбадривали меня, потом исчезли. Не помню, думал ли я о том, что пошли они за подмогой, — и ждал подмоги. Но если ждал, то ждать мне пришлось очень долго. Зимой рано темнеет, а играть мы начали в полдень, не раньше.

За мною, слишком уж долго отсутствующим, приходили уже из дому, но садовники соврали, что я давно ушел. Они боялись сказать правду — ответственность легла бы на них как на старших, — и они сказали, что я давно ушел, а сами сели обедать.

Не помню своего состояния в погребе, но помню, что каждая попытка вылезти по доске придавала мне уверенности. И в сумерках я пришел наконец домой. Красный американский (из подарков советским людям в конце войны) свитер стал черным от грязи, но я себя и сегодня чувствую победителем, вспоминая, как долез до конца доски и ступил на бетонный пол гаража.

Это было зимой. Но у меня есть и летние воспоминания о даче Катаевых.

Между цветочными клумбами и забором с Кассилями оставалась узкая лужайка, где мы играли в футбол.

Я играл в команде с девочками — кузинами Инной и Женей. Не так уж здорово играл, но посильнее, чем девочки, меня, впрочем, вдохновлявшие. Я впервые тогда почувствовал себя лидером и тогда же понял, что в этом качестве всегда проявлю себя лучше, чем ведомый кем-то (и зря в последовавшей жизни слишком часто соглашался я отказываться от лидерских притязаний). Я играл босиком и на всю жизнь запомнил, как собираюсь бить пенальти — и будущая балерина Инна предлагает мне надеть на бьющую ногу свою туфельку (не из балетных пуантов, обыкновенную).

Не буду врать, что забил гол. Возможно, и промахнулся. Но, когда вспоминаю этот эпизод с туфелькой, не сомневаюсь, что до того, как дадут занавес, я свой гол еще забью.

И снова летняя картинка. Я живу уже больше в Москве, чем в Переделкине, но приезжаю иногда и не на даче живу, а в ДТ — дачу родительскую у меня отобрали; да я на нее и не претендовал. С их смертью для меня та дача и закончилась.

Но прогулки, когда приезжаю, совершаю по тому же кругу — иду, никаких не испытывая чувств: к потерям привыкаешь с определенного времени легче, чем к приобретениям, когда знаешь наверняка, что их тоже предстоит потерять. Иду мимо бывшей нашей дачи — и навстречу мне Эстер Давыдовна. Она идет, выбрасывая руки поочередно далеко вперед, — такую оздоровительную походку наши женщины переняли, побывав за границей, но мама Жени и Павлика и сама оттуда родом.

Я говорю: “Вы, Эстер Давыдовна, идете прямо как Уланова”. Она смеется: “Ты хочешь сказать, что мне столько же лет, сколько Улановой?”

Но я, конечно, не про возраст Галины Сергеевны думал, а вспоминал кинохронику, где показывает она поддержку — в свои-то годы! — от этой мысли не уйдешь — взлетая с пола над молодым учеником.

Валентина Петровича к моменту той нашей встречи на улице

Тренева уже нет. Я видел, как после панихиды, когда вынесли гроб из двери Дома литераторов, Эстер Давыдовна затопала на пороге изящно обутыми ножками (будь Катаев жив, он бы обязательно написал, что ножки были обуты изящно), приговаривая: “Не хочу, не хочу, не хочу…”

Жена была моложе мужа — и долго еще выглядела прекрасно.

Потом я встречал ее уже с тетенькой-провожатой — и Эстер Давыдовна не узнавала меня.

Не знаю, старше ли была она ко дню кончины, чем Валентин Петрович. Но я попросил Сашу Авдеенко, когда уезжал тот на похороны, чтобы сказал он за поминальным столом, что со смертью Эстер Давыдовы кончилось наше общее детство. А ведь мы уже перемахнули в следующее тысячелетие.

Я бы и поехал с Авдеенко на похороны, но не уверен был, что не покажусь посторонним в ближнем кругу.

С Валентином Петровичем прощались в большом зале Дома литераторов — мне следовало, поднявшись на сцену, положить у гроба белые розы (я на похороны всегда с белыми розами прихожу) и, сделав издали общий поклон родне в черном, спуститься обратно в партер.

Я уже столько раз бывал на похоронах, что и свои бы с удовольствием пропустил, траурных впечатлений мне и без них хватило. Но первая из бывших моих жен работала тогда в Доме литераторов — и подсказала мне (оказалось, некстати), чтобы, поднявшись на сцену, присел я хоть на минутку на свободный стул рядом с Павликом.

Я так и сделал. Но сразу почувствовал себя рядом с Павликом посторонним: он ко мне и не повернулся, сидел профилем. И я счел бы это глубокой скорбью, не обрати потом внимания на те объятия и поцелуи, какими встречал он пришедших на панихиду после меня бывших детей Переделкина — и Чукера в первую очередь.

С Павликом мы дважды жили в одном доме — на Лаврушинском и в районе метро “Аэропорт”.

Павлик с детства давал понять, что хочет стать писателем. Ему лет одиннадцать было, когда впервые опубликовался он в “Пионерской правде”. И литературным курсом двигался дальше. Помню, как приехал я в Переделкино к родителям встречать новый пятьдесят девятый год — и утром на перекрестке мы с отцом встретили Павлика: в начищенных иностранных мокасинах спешил он на станцию, сказал, что в газете “Труд” сегодня напечатан его рассказ.

Когда оказалось, что большинство переделкинских детей так или иначе оказались причастными к литературной работе, я шутил, что Павлик у нас старейший писатель, как Ольга Форш.

Ольгу Форш привезли однажды на моей памяти из Питера — открывать писательский съезд (то ли в Кремле, то ли в Колонном зале), — она уже от старости не могла идти, ее поддерживали под руки несколько человек. И, когда переводили ее через фойе, один из национальных писателей спросил у остроумца Эммануила Казакевича, кто это. “Фадеев, — ответил он им, — уже напился”. И нацмены между собой громко зашептали: “Фадээв, Фадээв, Фадээв”.

Казакевич относился к Фадееву с большим пиететом — у него в незавершенном романе про Марину Цветаеву есть эпизод, где Фадеев с Пастернаком встречаются и беседуют на границе их дачных участков. Но не пошутить было выше сил Эммануила Генриховича.

Павлик печатался и в “Юности”. Помню название его рассказа — “Жадная Катя”. Самого рассказа я не читал, но был свидетелем, как он тратил гонорар за него.

Я гостил на зимних каникулах у товарища из школы-студии в Ленинграде, и как-то получилось, что почти всю ночь, выпивая с ним на кухне, для успокоения нервов чистил картошку — и начистил ее чуть ли не ведро. А утром к нам заявились Павлик и Саша Авдеенко, оба тогда — студенты факультета журналистики. Павлик на полученные за рассказ деньги устроил вояж в Питер. Мы покормили студентов картошкой — и отправили жить в Комарово, на дачу к Максиму Шостаковичу: здесь их поселить мы не могли, у товарища не я один из москвичей гостил.

Названия второго рассказа я не помню, но опять помню, как расходовали гонорар — пропивал его Павлик с моим другом Геной Галкиным. Автор рассказа с ним вовсе не дружил, но был наслышан о том, что Галкин может выпить невероятное количество водки, — и ему, как писателю, наверное, хотелось проверить слухи, а заодно и собственные алкогольные возможности.

Загул Павлика с Галкиным пришелся на пору, когда мы все служили в агентстве печати “Новости”.

Павлик пришел в АПН раньше, чем я, но из иностранной редакции пришел в союзную информацию (единственную редакцию на русском языке) на мое освободившееся место — редактора отдела искусства и культуры, которым заведовал наш переделкинский друг Александр Авдеенко-младший. С этого места он и ушел на вольные хлеба, в писатели. Мне рассказывали, что Валентину Петровичу понравилась заметка сына про Ильфа и

Петрова, где упоминался мальчик, игравший на глазах у Евгения Петрова возле дачи: “Этим мальчиком был я”. И папа отсоветовал сыну терять время на журналистику.

Я без интереса относился к писательству Павлика, пока он сочинял детские книжки под названиями вроде “Девочка и белочка”. Но, когда мы снова стали жить по соседству на “Аэропорте”, он дал мне прочесть взрослую прозу про выпавшего за борт матроса, оказавшегося в открытом море. Проза напоминала прозу Валентина Петровича. И я не мог для себя сразу решить, достоинство это или недостаток. Всего проще сказать о подражании, но я же не критик — я же и сам пишу (и когда пишу, невольно взвешиваю свои возможности, смогу я так или не смогу).

Я был однажды на обсуждении прозы Павлика, где все присутствующие хвалили тексты Катаева-младшего — и возмущались критикой, неспособной оценить такого великолепного писателя. Как, значит, богата наша литература, если бросается такими талантами.

Но ничего за похвалами не последовало.

Прозу Павлика похвалил и такой строгий ценитель, как Семен Липкин, тоже посетовавший на то, что Павел Катаев по-настоящему не замечен. Но и с мнением Липкина не посчитались.

Вместе с тем Павлик смолоду жил писательской жизнью, по-взрослому общался с Лидией Корнеевной Чуковской, дружил с тем же Липкиным, комплексом непризнания не страдал.

Когда жили мы в одном с Павликом кооперативном доме, я иногда заглядывал к нему. Продолжения детского приятельства не возникало, но старый товарищ бывал неизменно гостеприимен, и в трудные минуты я его гостеприимством пользовался.

11

В одно из тяжелых для меня воскресений я сидел не помню уже на каком этаже в его однокомнатной квартире. И, хватив джину (или виски), разглагольствовал о литературе, делая вид, что серьезное чтение принадлежавших Павлику книжек — такое же увлекательное занятие, как и то, от продолжения которого я только что из деликатности отказался.

И тут звонок в дверь.

Входят Валентин Петрович — светлый костюм, звезда Героя Социалистического Труда (как цветок в петлице) — и ослепительная Эстер Давыдовна (я не Катаев, названия деталей

женской одежды не знаю, мне достаточно общего впечатления). Эстер Давыдовна объяснила Валентину Петровичу, кто я, — он показал ладонью в пигментации, какого от пола роста он меня помнит (мне при нашей оказавшейся последней встрече было за сорок).

Сразу же выяснилось, зачем на летнем пиджаке геройская звезда, — с утра они ездили доставать дочери Жене железнодорожный билет на курорт: в разгар лета герою иного труда, кроме социалистического, и не уехать из Москвы; удивительно, что многие из не отмеченных звездой все равно уезжают.

Валентин Петрович не скрыл от сына радости, что подписал накануне договор (видимо, на “Алмазный мой венец”), — и меня его радость более всего растрогала. Знаменитый писатель за больше чем полвека участия (и какого участия!) в литературе радуется подписанию договора так, словно могли в тысячном на его веку договоре классику отказать.

Сына он приободрил, сообщив, что в издательстве, где он заключал договор, Павлика считают своим автором, — и опять меня тронула радость Катаева от обыденных подробностей литературного быта.

Но я не мог не обратить внимания на то, что по ходу разговора об издателях Валентин Петрович с машинальным любопытством изучал (и привычными зарубками, не сомневался я, фиксировал) опять же подробности (ну как без подробностей) в обстановке квартиры Павлика, куда пришел он впервые (я потом проверил у Павлика, что впервые): его интересовали и обои, и шпингалеты на окнах, и вообще все, чего я, скорее всего, и не заметил.

А может быть, Катаев все-таки и умер в тексте, не успев только записать его на бумаге? Откуда мне знать?

Глава третья

1

“Быть знаменитым некрасиво…”

Ему быть знаменитым шло как никому другому — и он естественно, почти не вызывая раздражения окружающих, занял свое место в писательском поселке.

Критерий ли “красиво — некрасиво” в данном случае?

Быть знаменитым всегда хорошо для тех, кто прославился. И — плохо для тех, кому пути к славе заказаны и надо в таком случае набраться терпения, чтобы жить “без самозванства”.

Жалею, что в первых же строках невольно — пока невольно — столкнул новосела Переделкина, автора документального повествования-исследования “Брестская крепость”, с одним из первых обитателей нашего поселка — Борисом Леонидовичем Пастернаком.

Менее всего я склонен колоть Сергею Сергеевичу глаза судьбой великого Пастернака.

В том, что случилось с ними, причем с обоими, есть своя (для каждого, впрочем, своя) логика.

Я уже говорил о том, что “проснуться знаменитым” — не для Переделкина, куда принято было приезжать кем-то.

У Смирнова, однако, все очень удачно совпало.

В конце сороковых он работал у Твардовского заместителем в “Новом мире”, и авторы журнала (видные писатели) успели к нему привыкнуть. Он выдвинулся в функционеры писательского министерства и произвел на этом посту хорошее впечатление. Сергей Сергеевич вообще был человеком очень приятным, фактурным, как выражаются артисты, никому не причинившим зла в своей руководящей должности.

И вот ко всему у него, человека для среды писателей не нового, но прежде не выходившего на первые роли, вдруг громкий успех. И успех, что важно для понимания дальнейшего, на территории скорее уж журналистики, чем литературы, — успех на соседнем поле, что могло и не вызвать немедленной ревности в писательском Переделкине.

2

Четверть века тому назад (теперь я все свободнее оперирую такими временны2ми расстояниями, как полвека, четверть века) лежал я в писательской больнице, в общем боксе на две отдельные палаты, с очеркистом Семеном Глуховским (имя это вряд ли кому-нибудь что-то скажет, но человек он был симпатичный, всеми уважаемый, примерно моих сегодняшних лет). В пространной беседе всплыло имя Сергея Сергеевича — и не совсем уж неожиданно: Глуховский откуда-то знал, что мы, Нилины, со Смирновыми дружим семьями.

Семен Давыдович тогда и рассказал мне, какую роль удалось ему сыграть в судьбе Сергея Сергеевича.

Глуховский служил в армейской газете “Мужество” — и в одной из частей познакомился с командиром взвода, у которого, как узнал корреспондент, было литературное образование (Сергей Сергеевич окончил перед самой войной Литературный институт и с группой выпускников ушел добровольцем на фронт). Журналист знал, что взводного точно убьют — ну сколько в боевых условиях может проходить в живых командир зенитного взвода? И он сделал все, чтобы вытащить выпускника Литинститута к себе в газету.

Следующий день до обеда я провел на процедурах в другом корпусе, а когда вернулся, Семен Давыдович встретил меня словами: “Вам привет. У меня была Виргиния Генриховна…” Я, конечно, пожалел, что разминулся с Виргинией Генриховной, вдовой Сергея Сергеевича (он умер весной семьдесят шестого), — я привязан был к ней, многолетней соседке, никак не меньше, чем к Сергею Сергеевичу и сыновьям их Андрею и Константину.

Мне очень нравилось в ней утраченное другими писательскими женами простодушие, расположенность к новым знакомствам при трогательной верности старым — допеределкинским, захотелось мне сказать — друзьям. Но простодушие Виргинии Генриховны, столь приятное в ней, не было прекраснодушием вообще. Как жена знаменитого писателя, она была на приеме в Кремле, где получила возможность увидеть вблизи высшее начальство, — и потом, делясь впечатлениями, говорила, что им, на ее взгляд, не хватает культуры. Времена были менее строгими, чем предыдущие, но вслух комментировать уровень культуры начальства — пусть и только в своем кругу — не очень рекомендовалось, тем более когда муж не просто писатель, а и функционер.

Откровенна Виргиния Генриховна была и с Глуховским. Он потом сказал мне, что она не очень довольна Котей (домашнее имя младшего сына Смирновых). “Оказывается, — огорчался старый друг семьи, — он любит этих самых… шлюшек”. “Все мы

их, к сожалению, любим”, — заметил я, желая и выглядеть объективным, и Котю выгородить.

Коте я в семье Смирновых особенно симпатизировал — чувствовал в нем нечто родственное.

С Андреем, старшим братом Коти, мы познакомились в пятьдесят восьмом году на вокзале, когда оба встречали отцов, вернувшихся из Венгрии. Андрюша был на год моложе меня и только что с отличием окончил французскую школу, а я, студент, — первый курс.

Отцы наши за границей, видимо, подружились — и, когда Смирновы переехали в Переделкино, их встречи стали регулярными.

Но впервые я увидел Сергея Сергеевича не на вокзале, а у нас дома на Лаврушинском шестнадцатого января того же года — отцу моему исполнилось в тот день пятьдесят лет, и Смирнов с другими функционерами писательского министерства приехал к нам с поздравительным адресом.

За столом Сергей Сергеевич коснулся беглым воспоминанием истории с “Поездкой в Москву”, о которой отцу вряд ли хотелось говорить в день юбилея. Эту злополучную “Поездку”, которую отказывались набирать типографщики, он предлагал сначала “Новому миру” — и я потом читал мемуары первого (Смирнов был не первым) заместителя Твардовского Алексея Кондратовича, где главный редактор говорит ему про отцовскую рукопись, что “Пашка хочет оправдаться за «Большую жизнь»” — он в своих рабочих тетрадях называет отца Пашкой. Отец, в свою очередь, говорил всегда “Сашка Твардовский”. Но некоторая напряженность отношений вражды не означала. Помню, что вскоре после смерти Александра Трифоновича его вдова Мария Илларионовна прислала письмо с просьбой к отцу что-нибудь написать о Твардовском в книгу воспоминаний “несмотря на ваши, Павел Филиппович, непростые с ним отношения”.

Отец, конечно, так и не собрался ничего вспомнить для этого сборника — к тому времени он уже отвык что-либо делать к поставленному сроку. И мне жаль было, что неизвестным остался эпизод с подаренной ему Твардовским в тридцать восьмом году книжкой, когда жили то ли в Малеевке, то ли в Голицыне, где тоже были дома творчества наподобие переделкинского. Надпись на книжке была предельно короткой: “Тов. Нилину” — без всяких там “сердечно”, “с пожеланием…”. Я поэтому и спросил — зачем тогда вообще подписывать книжку? Отец объяснил, что за такой надписью — время. Если бы замели кого-то из них одного, второй бы особенных неприятностей не имел — ни к чему не обязывала

сухая запись ни дарителя, ни принявшего подарок. Отец и любил у Твардовского одно стихотворение: “Что ж ты, брат? Как ты, брат? Где ты, брат? На каком Беломорском канале?” Я эти строчки впервые дома и услышал. И еще всегда в доме моих родителей часто вспоминался Твардовский в связи с его советом: немедленно, если клонит ко сну, лечь — и на пять минут заснуть.

Я и в своей нынешней семье каждый день говорю: “Прилягу по методу Твардовского” — и действительно, всегда помогает: если только лечь немедленно, встаешь бодрым.

Сергей Сергеевич, впрочем, вспомнил про отвергнутую рукопись, чтобы сказать: зато новые вещи он прочел “с белой завистью”. И появился повод опять выпить за юбиляра.

В общем, когда Андрюша, уже ставший студентом института кинематографии, пригласил меня к ним в гости на московскую квартиру (не ту роскошную, пятикомнатную, на проспекте Мира, где я, кстати, никогда и не был, а весьма скромную, двухкомнатную, кажется), я уже был сыном друзей семьи. И со мною все разговаривали как со своим человеком.

Мы пили чай — Виргиния Генриховна, Андрей, Котя и я, — когда вернулся со службы Сергей Сергеевич.

Мне бы тогда и в страшном сне не приснилось, что не пройдет и трех лет, как окажусь я на факультете журналистики — и буду проходить практику в разных газетах, а в двух московских короткое время и поработаю.

Писателем я тогда тем более быть не собирался. Писателем мне, выросшему в Переделкине, никогда не хотелось быть — не мог себя представить пишущим часами за столом. До сих пор представить себе не могу, чтобы водить пером часами. Я никогда и не сидел за письменным столом над чистым листом — сидел (и то долго не выдерживал) за пишущей машинкой, а сейчас (несколько дольше) за компьютером, с которым мы начинаем постепенно понимать друг друга.

Я не хотел быть ни писателем, ни журналистом, но искренне считал, что писатель все-таки важнее журналиста. И, когда в пятидесятом году попал поздней осенью на футбол с отцом и его приятелем, главным редактором “Комсомольской правды” Дмитрием Горюновым (Димкой Горюновым, как называл его отец), не сразу разобрался, что “Димка” в общественной иерархии стоит выше моего родителя. Мне бы обратить внимание, что билеты на финал Кубка СССР достал (иначе тогда про билеты на такого значения матч и не говорили) Горюнов — и не два, не три, а четыре (с нами на стадион “Динамо” пришел и свояк “Димки” — полковник авиации). Тогда я подумал, что отец просто не

интересовался футболом, а то бы и сам достал билеты. Однако дальше Горюнов стал рассказывать, пока пробирались мы на свои места, на какой верхотуре сидел он в прошлом году на семидесятилетии товарища Сталина — и отец какую-то шутку на этот счет хотел сказать, но шутка, я сразу почувствовал, остроумной не получилась.

После футбола старшие товарищи выпивали в до сих пор сохранившемся здании, окнами на стадион Юных Пионеров, — заведение называлось фабрикой-кухней.

Потом проводили Горюнова — он жил в том же "правдинском" доме, что и Борис Горбатов, — и двинулись к себе на Беговую (угол с Хорошевским шоссе), — и отец, чем-то уязвленный, твердил всю дорогу, что дела его (и наши, всей семьи, соответственно) скоро поправятся — и все тогда поймут…

Подобные слова я позднее сам часто говорил в пьяном виде, но если отцовские дела и на самом деле, пусть лет через шесть-семь, поправились, то мне, видимо, еще предстоит подождать.

Отца таким пьяным больше не припомню.

И с Горюновым никогда больше не встречался.

Однако услышал о нем опять в связи с футболом.

Рассказывал будущему писателю, а тогда сотруднику Телеграфного агентства Советского Союза Жоре Вайнеру о своей поездке в Ленинград со знаменитым Валерием Ворониным и о том, как остолбенел при виде футболиста номер один игрок, недавно переведенный в "Зенит" из низшей лиги (впоследствии, между прочим, тренер сборной СССР). И добавил для выразительности: "Ну представь, Жора, что к тебе домой пришел неожиданно Лев Толстой!" Но Жора сказал, что ему заманчивее кажется представить визит к себе их (ТАССа) генерального директора Горюнова.

3

Мы слегка посмеивались над слабостью нашего друга Александра Авдеенко — приносить в пивную на Серпуховке завтрашний номер своей газеты (после университета он работал в еженедельнике "Литература и жизнь").

Мне почему-то не нравилась такая игра — что завтрашний номер мы прочтем уже сегодня; мне это казалось чем-то вроде сегодняшней видеозаписи, выдаваемой за прямой эфир.

Но, когда с завтрашним номером "Литературной газеты" пришел к себе домой ее главный редактор Сергей Сергеевич Смирнов — и, еще пальто не сняв, со своей открывшей ему очень

скоро двери телевидения улыбкой голливудского героя протянул домашним газетные полосы, казалось, что вернулся после удачной охоты охотник, гордый добычей редкого зверя.

Разумеется, я знал в тот момент, что редактор этой газеты — примечательная в кругу коллег фигура.

Кроме того, мог ли я, живший в Переделкине, не знать, что прежний редактор (и он тоже жил в нашем поселке) Всеволод Кочетов — ретроград, а с назначением Сергея Сергеевича связывают самые смелые либеральные надежды.

Либеральные надежды новый редактор оправдал, но в должности больше года не удержался.

А пока он показывал Андрею на внутренней полосе какую-то шпильку, подпущенную Сергею Михалкову. Сын Михалкова Андрон Кончаловский учился с Андрюшей вместе во ВГИКе — “самый талантливый человек на нашем курсе”, говорил про него Андрей и шутливо выговаривал отцу за излишнюю строгость к папе однокурсника.

Котя — ученик первого или второго класса — сидел с безмятежным видом за столом. Но мне как своему человеку весело рассказывали, что сегодня учительница приветствовала Котин приход на урок словами: “Вот явился наш неряха”. Чувствовалось, что Константин все равно любим всей семьей. Я тогда и проникся к нему симпатией — из чистой солидарности: французская школа Андрюши вряд ли была бы мне по плечу, а замечаний от учителей обыкновенной школы я наслушался не меньше Котиного.

Затянувшаяся на всю жизнь симпатия к младшему сыну Виргинии Генриховны и Сергея Сергеевича долго мешала мне назвать вещи своими именами, когда смотрел я его программу — и вдруг понял, что наш милый, добродушный и радостно-легкомысленный Котя (Константин Сергеевич) передачей “Большие родители” вольно-невольно приводит в движение мельницу, дующую в обратную сторону.

Получалось, что старший брат со своею наследственной импульсивностью, в чем-то даже противореча смыслу самой знаменитой своей работы “Белорусский вокзал”, использует каждый случай обрушиться на фальшь советских ценностей. А младший тем временем возрождает советское обыкновение — считать, что большими людьми могут быть только большие начальники (на самом-то деле, как правило, люди ничтожные), и дети этих начальников с трогательной нежностью, уместной скорее для домашнего пользования, говорят на миллионную аудиторию о занимавших большие посты родителях — и обеляют

их с помощью нашего Константина Сергеевича.

Конечно, Котя приглашал на передачи и детей вполне приличных родителей (и наших, кстати, переделкинцев — Володю Кассиля, Павлика Катаева), но тренд оставался тем же: лучшие из родителей те, кто взыскан советской властью.

И все же одна из передач мне понравилась. Котя позвал своего старшего брата — и оба они вспоминали Сергея Сергеевича, причем Андрюша сказал очень остроумную в своей точности фразу: что сын больших родителей только младший брат, а он, Андрей, — сын обыкновенных совслужей.

…“Все мы их любим”, — сказал я Семену Давыдовичу про “шлюшек”, покривив ради красного словца душой (не люблю я шлюшек; никогда не осуждаю — моралист из меня никакой, но любить не люблю). “Да, — мужским тоном откликнулся Глуховский, — но Котя же всегда собирается жениться”.

“В отличие от нас с вами, Семен Давыдович, — сказал я нравоучительно, — Котя прежде всего порядочный человек. И он считает, что каждый сексуальный контакт должен быть зарегистрирован в загсе. Нам с вами, Семен Давыдович, не понять нынешнюю молодежь. Она лучше нас”.

Вечером Семен Давыдович пришел ко мне в палату удрученный: “Вы меня неправильно поняли, Саша. Я не осуждаю Котю — я его люблю, как и всех Смирновых. Но я за него беспокоюсь”.

Я подумал, что шутил я со стариком зря. Котя со своей эротической разболтанностью обязан Глуховскому некоторым образом жизнью: не вытащи Семен Давыдович Сергея Сергеевича в газету, сиротой бы рос Андрей, а Коти (с “Большими родителями”) вообще не было бы.

Мне нравилась поначалу фраза, произнесенная Сергеем Сергеевичем за кадром документального фильма по его сценарию: “Для нас война не история, она — часть нашей биографии”. Потом разонравилась, показалась громкой.

Я тогда громкость в своих заметках для агентства печати “Новости” стал приглушать.

Работа моя в АПН только начиналась, одни хвалили меня, другие ругали — и я для себя уже четко разграничил, что те, кто хвалит, — умные и талантливые люди, а те, кто ругает, — дураки и бездарности.

Мне так легче было жить: к двадцати пяти годам я успел устать от неудач (знать бы мне, сколько их еще предстоит впереди) — и первые похвалы, казалось тогда, направляют меня в нужную сторону.

Но на третий или четвертый месяц работы у меня возобновилось знакомство с парнем по имени Игорь Ицков — до АПН мы знали друг друга по ресторану Дома актера. Позже в различных мемуарах Игоря вспоминают в первую очередь как осведомителя Лубянки — и он сам не отрицал, что там служит. Но среди всех моих тогдашних знакомых он отличался более тонким (и независимым, я сказал бы) вкусом.

Мне Игорь симпатизировал — и я решил, что заметками моими в нашем общем учреждении (то есть на площади Пушкина, конечно, а не на Лубянке) он восторгается, — и бывал с ним откровенен, когда рассказывал ему о своих генеральских планах (как позднее назвал их мой наставник на Высших сценарных курсах известный режиссер Лео Арнштам, не преминув заметить, что при моей лени эти планы при его, Лео Оскаровича, жизни осуществлены не будут). И вот Ицков, когда ждал я от него подтверждения, что пишу лучше всех в редакции, сказал мне: “Ты пишешь громко. Писать громко — не значит писать хорошо”.

Я обиделся, но тут же что-то подсказало мне внутри, что Игорь прав.

Я стал избегать громких фраз. И естественно, что громкость сердила меня теперь в чужих текстах, даже если на прежний слух нравилась.

Когда в разговоре с Глуховским дошло до меня, насколько зависела от войны та же семья Смирновых, которых узнал я в мирное и к тому же лучшее для них время, фраза Сергея Сергеевича показалась мне точной — и не такой уж громкой.

Нарочно избегать громкости так же, в общем, глупо, как и всё, что делается нарочно.

К дочери Андрюши Авдотье — или, как называет ее телевизионная страна, Дуне — я априорно хорошо отношусь, хотя вне экрана никогда не видел, даже ребенком в Переделкине, где она как-то очень быстро выросла; помню каталог выставки с фотографиями художников — и на одного из них (красивого молодого человека) Виргиния Генриховна показала, заметив, что имеет он отношение к ее внучке (я так понял, что к Дуне).

Но когда я слушаю Дуню, стараясь привыкнуть к обязательной категоричности ее суждений (фамильная импульсивность у дочки Андрея и внучки Сергея Сергеевича приняла черты не присущей папе и дедушке жесткости), отвлекаюсь всегда на воспоминания о том, как идем мы с ее отцом обочиной улицы-подъема от Самаринского пруда и он рассказывает про девочку-красавицу из самодеятельности Дворца культуры завода Лихачева — которая, как я догадываюсь теперь,

стала потом мамой Дуни. На воспоминание о том разговоре накладывается фильм “Осень”, где разворачивается коллизия из жизни мамы и папы, когда мама по каким-то причинам, об этом в фильме достаточно подробно говорится, не сразу сделалась папиной женой. В финале “Осени” героиня (ее играет мама) ждет на лестнице героя (а тот задержался у друзей); их играли — и хорошо играли, лучшая, на мой взгляд, сцена — Людмила Максакова и молодой тогда Джигарханян.

Героя играл не папа (он тогда еще в кино не снимался, разве что студентом в эпизоде из “Девяти дней” у Михаила Ромма, своего учителя по киноинституту) — играл, если не путаю, Леонид Кулагин.

Маму Дуни я тоже никогда не видел вне экрана.

Зато я хорошо знал первую жену Андрюши Элю Суханову — я был на их свадьбе. Перед началом свадьбы юный Котя волновался, предвкушая знакомство со знаменитым футболистом Игорем Нетто — Нетто был женат на Элиной однокурснице по Вахтанговскому училищу.

Однокурсницу никто из гостей на свадьбе, кроме невесты, не знал. Но я, при всей своей увлеченности футболом, на нее в тот вечер обратил больше внимания, чем на футболиста из “Спартака”.

Жену Нетто звали Ольга Яковлева — и то, что я обратил на нее главное внимание, делает честь моему чутью: она стала одной из лучших актрис нашей страны.

Третью жену Андрея я увидел на репетиции в театре на Малой Бронной. Приходил ко Льву Дурову, когда ставил он какую-то пьесу, и спросил его, что за актриса подходила сейчас к рампе выслушать замечания режиссера.

Лев как-то сразу сообразил, что вопрос мой ни с театральной критикой, ни с театроведением не соотносится, и ответил с понимающе-хитрой улыбкой, что это жена Андрея Смирнова.

Потом уж я увидел ее в фильме “Два капитана”.

И всегда потом мысленно называл Катей, хотя помню, что в жизни зовут ее Леной.

4

Чувствую, что злоупотребляю ремаркой “Прошло много лет”, которую так любил в старых фильмах — и не обязательно немых (я все же рос на звуковом кино). Но, когда титр о том, что прошло много лет, возникал вдруг — что-то внутри тебя екало, за мгновение, поглощенное темнотой зала, совершался гигантский

прыжок, переносящий тебя через прошедшее снова в настоящее, — ничего нет на свете интереснее отношений наших со временем (далеко пространству до времени по силе самоощущения, которое бывает дано нам пережить).

Прошло-то ведь и на самом деле много лет — столько в оставшемся мне времени уже не выпадет.

И все равно радуюсь свободе, с какой могу пока сказать: прошло много лет.

Прошло много лет с того дня пятьдесят восьмого года, когда на собрании писателей терзали (выражение моего отца) Бориса Пастернака.

Прошло много лет — и по телевизору в фильме, возможно, целиком посвященному Сергею Сергеевичу в связи с какой-то его датой, показали Виргинию Генриховну.

Ей было за девяносто, а выглядела она великолепно — мне даже показалось, что и не изменилась она, — мы много лет (со смерти моей матушки) не виделись, но все, как в романсе, былое…

И она сказала, трогательно назвав мужа Сережей, что зря так часто говорят об истории с Пастернаком — напоминают о сделанной Сергеем Сергеевичем ошибке, как будто ничего хорошего он не сделал, а только эту ошибку совершил.

Андрея, естественно, как знаменитого режиссера чаще приглашают на телевидение, чем маму, — и нередко интервьюеры навязывают ему разговор о том, как Сергей Сергеевич вел собрание, осудившее Бориса Леонидовича за то, что тот допустил издание романа “Доктор Живаго” за рубежом и удостоен был (не только за роман, а и по совокупности литературных заслуг, но соотечественники-то ополчались на роман) Нобелевской премии.

В интерпретации Андрея получалось, что и Сергей Сергеевич считал свое участие в этой акции ошибочной. И вроде бы сказал он сыну на его упреки: “А ты не совершал ошибок?”

Мне не кажется, что в случае с Пастернаком Сергей Сергеевич ошибся — и раскаивался в содеянном; раскаяние было бы ему совсем не к обретенному во власти лицу — он, напротив бы, потерял лицо (и не знал бы, как ему дальше жить).

Сергей Сергеевич был (что не раз подтверждалось и до, и после истории с Пастернаком) очень хорошим человеком. Но того простодушия, что так нравилось мне у Виргинии Генриховны, у него не было и не могло быть. Он был искренен, но не простодушен.

Случайно в номенклатуру — а заместитель главного

редактора журнала утверждается на партийном верху — не попадают. То есть сам человек может и не рваться делать такую карьеру, но кем-то из большого руководства его номенклатурные качества оценены, данные (и внешние тоже) взвешены — и выбран он на роль в давно сочиненной властью пьесе. И попробуй на нее не согласись, удержись от соблазна: не сам же ты себя назначаешь, может, увидел в этом назначении судьбу.

Все порядочные люди (а пример Смирнова показывает, что и на них падает выбор, и вообще, бывают моменты, когда для пользы неправого дела они-то больше всего и нужны) начинают свою деятельность с простительного (сильные в таком контексте не сильнее слабых) самообмана, что они, заняв завидный пост, сохранят себя такими, какими были до назначения.

В уже упомянутой мною передаче про Сергея Сергеевича с участием Андрея Котя напомнит старшему брату о спорах того с отцом (от которых, заметит склонный к гиперболам Константин Сергеевич, будет раскачиваться дачный дом, специально построенный для руководителя московских писателей между дачами Катаева и Кассиля).

Я не мог присутствовать при этих спорах, но из пересказа их сути братьями Смирновыми догадываюсь, что был бы наверняка на стороне Андрея.

А вот когда прошло много лет, согласился бы с отцом, исходя не из своей или Андрюши логики, а из логики жизни Сергея Сергеевича.

5

Обольщался ли Сергей Сергеевич тем, что видел, — всем тем, что видел он ежедневно вокруг себя, — многим ли готов был проникнуться до явного сомнения или неизбежного конфликта с направляющей его силой? Во все психологические нюансы войти мне вряд ли дано.

Сужу скорее по тому впечатлению, какое производил он внешне.

Мне казалось, что разлад с окружающей средой не был ему свойствен. И с момента признанного успеха хорошее настроение не покидало Смирнова — вне зависимости от того, всё или не всё нравилось ему вокруг.

На власть Сергею Сергеевичу не за что было обижаться.

Она дала ему возможность получить образование — то, какое он хотел.

Он не был убит на фронте, по-настоящему воюя, от пуль не прячась.

После войны Смирнову предоставили как фронтовику должности, которые дали ему возможность кормить семью, пока не было писательских заработков.

Смирнова выдвинули в руководители московской писательской организации. Выдвижение на должность совпало с шумным успехом его книги “Брестская крепость” — и никаких комплексов администратора перед художественными натурами он не испытывал.

У Смирнова, повторяю, не находилось оснований не любить столько всего давшую ему власть.

Он искренне огорчался тем, что старшему сыну, в школе — секретарю комсомольской организации, во ВГИКе сразу же стали интересны люди, рассуждавшие о недостатках (возможно, даже злодеяниях) власти, которой отец служит — не без страха, может быть (страх и в самых бесстрашных советских людей был глубоко и намеренно заложен), но на совесть — у Сергея Сергеевича не могло быть сомнений, что служит он на совесть.

Возможно, ему и жаль было Андрея в его заблуждениях, и без сомнения, он тревожился за него: с тем, чего сын понабрался во ВГИКе (“вашем паршивом ВГИКе”, как сказал однажды в сердцах Смирнов-старший), в избранной профессии далеко не уйдешь — не пустят.

Тем не менее он спорил с Андреем, пытался переубедить его, а не гнал из дому, не давил на него теми способами, что есть у преуспевающих отцов.

Начальство выдвинуло Сергея Сергеевича, рассчитывая (но и не подозревая), до какой степени он власти пригодится.

Со времен Фадеева — Симонова (Симонова Хрущев отодвинул, он свою миссию в противодействии “Доктору Живаго” как тогдашний главред “Нового мира” уже выполнил) не было столь подходящей фигуры для намеченной акции.

Проштрафившегося Пастернака били картой репутации Сергея Сергеевича.

Один (Сергей Сергеевич) совершил благородный поступок: разыскал неизвестных героев, вернул им все ими утраченное, а другой — гражданин (кому из коллег он теперь товарищ) Пастернак — мало что написал черт-те что, так еще и публикует эту гадкую глупость (используя аттестацию Львом Толстым балета) за рубежом, и мировая слава придет не к тем, кто служил власти, а к тому, кто жил как ему заблагорассудится, сочинял непонятные трудовому народу стихи, да и вообще, овладев еще

до революции языком Шекспира, не бедствовал и вот с переводческого жиру бесится: взялся за прозу, ни на чью из лауреатов Сталинской премии не похожую.

Сказать, что Сергея Сергеевича — председателя собрания — осуждали многие из писателей, было бы искажением реальной картины.

Большинству нравилось, что ведет собрание красивый человек, новая знаменитость, хороший мужик, по общему мнению.

Говорят (и по стенограмме судя), вел Смирнов собрание с большой уверенностью.

И уверенность его была незаемной и ненаигранной.

Он вышел на собрание с тем куражом, какой не покидал его с момента, когда книга возвела своего автора на пьедестал славы.

Он, казалось ему, имел право строго судить Пастернака, строго говорить с тем, кто, может быть, и владел давным-давно эстетскими умами, но понятным стать и не пытался — и гордо жил непонятый тем читателем, который сегодня читает честную книгу Сергея Сергеевич Смирнова, а Бориса Леонидовича так и не прочтет.

Пастернак и не был поэтом Смирнова.

Поручи ему власть осудить сейчас Александра Твардовского, той уверенности в себе, того, как я уже сказал, куража Смирнов бы не почувствовал.

Твардовский был *его поэтом — любимым, чтимым, близким и понятным.*

Конечно, кто-нибудь из посвященных может напомнить мне, что, когда меняли в “Новом мире” образца пятьдесят четвертого года Твардовского на Константина Симонова, Александр Трифонович был обижен на своего заместителя за недостаточную храбрость при разносе редакции начальством.

Твардовскому в ранге не только главного редактора, но и главного национального поэта, одного из влиятельнейших людей в писательском министерстве, неоднократного лауреата и человека с деньгами за постоянные переиздания “Теркина” и сборников стихотворений, сам черт был не брат.

А Сергею Сергеевичу надо было семью кормить на свое жалование клерка — попробуй изобрази он независимость художника, не видать бы его “Брестской крепости” Воениздата. И по миру идти, что ли?

Насчет обид. Рассматривая издали жизнь Александра Трифоновича Твардовского, замечаю одну странную (и все же чисто советскую) особенность, воспитанную писательским министерством.

Твардовский мог презирать человека (писателя), как, например, Вадима Кожевникова, мог (чуть ревниво) недолюбливать, как Симонова, но генеральство в литературных генералах всегда уважал — и с генералами неизменно соблюдал ритуал генеральского общения.

При всей обиде на Сергея Сергеевича Смирнова, своего заместителя, он не держал зла на Смирнова Сергея Сергеевича, когда тот стал ездить на длинной (эпитет Твардовского) машине и превратился тоже в генерала — руководителя Московской организации писателей. И не только не держал, но и делал вид, что не понимает, каким шажочком к этому генеральству стало поведение Сережи Смирнова при разгоне редакции.

Став председателем собрания, Смирнов свои руководящие позиции в одночасье укрепил — и на продолжительный срок. Редактором "Литературки", где, как мы знаем, он вызвал восторг либерально настроенных писателей (заменив ретрограда Кочетова), Сергей Сергеевич стал очень скоро после исключения Пастернака. И наказанный — еще через год — отстранением за свободомыслие от должности главного редактора доверия власти не утратил: пост руководителя московского отделения Союза писателей остался за ним.

А вот рискни и откажись Смирнов возглавить распятие Пастернака, тогда бы и Коте сыном большого родителя не бывать, и жизнь на арендованной даче стала бы менее благополучной: не говорил бы Константин, приехав на побывку из армии на отцовский день рождения, что Сергей Сергеевич непременно закажет "шашлычок в «Арагви»"), и не исключаю, что Андрею не вольные разговоры в институте повредили бы, а не сыгранная папой главная роль в пьесе "Осуждение Пастернака".

6

У меня в истории с Пастернаком больше претензий к собственному отцу.

Выступления на собрании, кроме мерзавцев, писателей уважаемых (вроде Слуцкого, Мартынова или Веры Пановой), отвлекло от фразы (хотя Сергей Сергеевич ее процитировал), сказанной отцом, когда их собрали накануне на расширенное заседание президиума. Отец тогда ни в какие правления и прочее еще не избирался — и приглашен был, подобно Смирнову, за хорошую репутацию и все более широкую известность.

При отцовской осторожности в отношениях с начальством — никогда (почти) не против, но никогда (почти) и не заодно — ему

бы, по устоявшемуся обыкновению, вообще б никуда не ходить.

Но и осуждать писателя, поздно узнавшего настоящую известность, за легкую форму эйфории не могу.

Отец записал как-то у себя в дневнике, что не любил Пастернака за детскость (которая казалась отцу нарочитой), но всегда понимал масштаб этой фигуры.

Был ли Пастернак его поэтом?

В полной мере, наверное, и нет, но и никого из современных Пастернаку стихотворцев (включая даже Твардовского) он бы никогда ему не противопоставил.

По-моему, у отца и вообще не было любимого поэта или прозаика — не так много он читал. Но как раз стихи Пастернака он знал наизусть.

Что сказал на том президиуме отец (и в стенограмму собрания это навсегда вошло)?

Он сказал, что надо помнить: у баррикады есть только две стороны.

Я не отмазываю отца (я же говорил, что легко прощаемое Сергею Сергеевичу ему не хочу прощать), но не сказал же он, что Пастернак был по чужую сторону баррикад, — он предположил, что Пастернак забыл о том, что сторон всего две.

Отец не раскаивался в своих словах — он видел в том следование дисциплине, принятой для члена Союза писателей.

Порог храбрости у него был ниже (или выше), чем у людей помоложе, называемых в дальнейшем шестидесятниками. Правда, старик Габрилович считал храбрость шестидесятников преувеличенной — говорил, что хрущевское “нельзя” со сталинским “нельзя” несопоставимо.

Я и не требую от своего отца в тех обстоятельствах бунта (это выглядело бы неблагодарностью — ел им заработанный хлеб), но, промолчи он на президиуме, мне было бы приятнее.

Котя вспоминает, что мама его называла Андрониковых “высшим светом”, когда кричала через весь двор бабушке, что отправляются они в гости к Ираклию Луарсабовичу и Вивиане Абелевне (Андрониковы жили на той же улице, где Пастернак).

А пройдет время — и у Смирновых, когда будут отмечать новоселье на проспекте Мира, уже Андроников выскажет предположение, что когда-нибудь про всех здесь собравшихся будут говорить: “Они жили в эпоху Сергея Сергеевича Смирнова”.

Можно сделать поправку на дежурную (ритуальную) восточную лесть, но важнее другое: Смирновы (и причем всей семьей) выглядели в Переделкине так, словно жили здесь изначально, словно дача между Катаевым и Кассилем стояла на

этом месте всегда. Дом их безошибочно попал в ритм следования строений по улице Серафимовича — аллее классиков, принявших в среду свою и Сергея Сергеевича (вместе, как я уже сказал, со всей семьей).

Примерно в то же самое время на эту улицу перебрался с улицы Вишневского новый писательский министр Георгий Мокеевич Марков, а несколько позже — и новый редактор “Литературной газеты” Александр Борисович Чаковский.

Но ни им среда, ни они, мне кажется, среде писательской нужны не были. Начальники жили отдельной жизнью, а Смирнов с коренными переделкинцами — сообща.

Скорее всего, Георгий Мокеевич Марков принес нашей литературе советских времен меньше вреда, чем самый знаменитый ее министр Александр Александрович Фадеев.

Но Маркова никогда не будут так любить — и жизнь его на посту министра не превратится в миф.

В дальнейшем ни книг Маркова, ни книг Фадеева читать не будут, но и нечитаемые, книги Александра Александровича останутся частью легенды о минувших временах, одной из подробностей идеологического (и культурного) быта. И, хотя у Маркова книг намного больше, предпочтение, отдаваемое Фадееву, еще долго будет видеться справедливым.

В жизнь функционера — грешную (и сильно грешную) временами жизнь — Фадеев внес надрыв, тоску по книгам, которые по-настоящему и не пробовал сочинить, масштабность самообмана, что занят он каким-то более главным, чем литература, делом (во имя все той же литературы, как считал он то наивно, то более чем расчетливо).

Может быть, я необъективен по отношению к Георгию Мокеевичу?

Но в моей необъективности (или, точнее, в пристрастии к Фадееву) — вектор отношения моего к жизни (и литературе, наверное).

Я никогда не сталкивался с Георгием Мокеевичем как министром — и не читал его книг, хотя на одну из серий фильма по его роману, снятого небесталанным питерским режиссером Владимиром Венгеровым (прозванным когда-то добрыми коллегами в противовес режиссеру Де Сике — мы увлекались фильмами итальянского неореализма — де Какой), сочинил рецензию для газеты “Культура”, за что удостоился похвалы (“умный парень”) от оргсекретаря Союза писателя Юрия Верченко. Не во всех случаях был и я лопухом.

Я не читал Маркова, но мы жили в одном подъезде в

Лаврушинском. Мне симпатичны были девочки — дочери Георгия Мокеевича, мы всегда любезно раскланивались с его супругой Агнией Кузнецовой, но с министром в подъезде так ни разу и не столкнулись.

И все же я видел Маркова в домашней обстановке. Он не был тогда начальником и вообще в Москве еще не жил. А к моему отцу — мы жили еще на углу Беговой и Хорошевского шоссе — он пришел как земляк (как сибиряк к сибиряку).

Возможно, хорошие отношения и продлились бы, когда Георгий Мокеевич, став начальником, переехал в Москву — и стал летом жить на даче в нашем поселке.

Я при этом не присутствовал, и отец ничего мне не рассказывал. Сведения черпаю из воспоминаний других писателей. В вариантах воспоминаний — что-то много набирается свидетелей (и не в том ли причина непродолжения земляческих отношений?) — разговор отца с Георгием Мокеевичем передается (интерпретируется) по-разному. Но фраза Маркова о том, что когда-то он смотрел на Павла Филипповича чуть ли не снизу вверх, повторяется каждым из рассказчиков. А вот смысл ответа на признание вдруг размягчившегося министра толкуют двояко — то ли пошутил отец, то ли изобразил удивление: а что же с тех пор так уж изменилось?

И у меня не сложилось впечатления, что все рассказчики считали правым моего отца: начальники, мол, к нему по-хорошему, а он со своей фанаберией…

Осторожность, замечаемая коллегами в отце, сочеталась у него со слишком уж свободным тоном в общении с начальством (на что начальство просто не могло не обратить внимания) — и я затрудняюсь сказать, что больше отцу вредило, первое или второе.

7

Справедливость требует признать, что из своих природных возможностей (внешности, литературных способностей) Александр Чаковский выжал максимум, выказав редкую настойчивость — и вынудив власть во времена, когда национальность Александра Борисовича на карьерном поле совсем не приветствовалась, забыть про уязвимую строчку в его паспорте.

И не будем забывать, что, пока Фадеев убивал золотое время, заливая вином свое огорчение от того, что еще один прекрасный

день проведен за министерским, а не за писательским столом, Александр Борисович (как, надеюсь, и Георгий Мокеевич) выкраивал время помучиться над рукописью. Можно, правда, позлословить, что редакторов эти муки от еще больших мучений не освобождали, что угодить читателю и лучшие редакторы не смогли.

При чем тут вообще читатель? Не о нем речь.

Да, у Александра Борисовича не было ни фадеевской внешности (смеха Фадеева, взгляда Фадеева, песен Фадеева в застолье), но, вы думаете, Чаковского не любили женщины? Любили — он и на эротическом поле преуспел. Не так любили, как Фадеева? И не таких достоинств женщины? Ну так он и не был Фадеевым — и не во времена Фадеева по-настоящему развернулся.

Сергей Сергеевич как литературный персонаж Юрия Трифонова, когда вспоминает Юрий Валентинович “Новый мир” Твардовского, представлен не в самом выгодном свете: Трифонову Смирнов показался каким-то скачущим, несолидным.

Выходит, что Смирнову больше шло быть первым лицом — в новых ролях он был энергичен, значителен, эффектен: хорошего роста, сильного сложения (про голливудские черты лица я уже говорил).

Мне он казался всегда оживленным, всегда в приподнятом настроении.

Я не могу назвать в Переделкине писателя (кроме Юрия Давыдова, жившего на даче Сергея Сергеевича после его смерти), с которым было так же легко разговаривать, как со Смирновым. Притом что самостоятельных отношений у меня с ним не возникало (Андрей с моим отцом общался запросто, а я с его — все же нет). Но это надо списывать на мою дикость.

8

Начав работать в АПН, я с моим начальником (и другом детства) Авдеенко (и еще с группой близких приятелей и сослуживцев) ходил в Дом журналиста, в бар и ресторан, достаточно часто. Я любил ресторан Дома актера, но в нашем профессиональном клубе мы больше чувствовали себя своими, что и открывало нам кредит. Без кредита нам, жившим на зарплату и относительно неплохие гонорары, не удавалось обойтись — организм иногда требовал большего, чем позволяли финансы, особенно накануне выплаты жалованья.

В тот вечер, израсходовав имевшиеся у нас средства, мы

взяли паузу: вышли из бара и стояли в центре вестибюля, размышляя о том, как (и у кого) быстрее занять денег для продолжения вечера.

И как в страшном (для меня, разумеется) сне увидел я у стеклянных дверей входа своего отца (он оглядывался по сторонам, миллион лет в Доме журналиста не был, но пока нас не заметил) и Сергея Сергеевича Смирнова (его, как новоиспеченного лауреата Ленинской премии по журналистике, окружили, почтительно приветствуя, администраторы).

Авдеенко потянул меня за рукав в сторону, чтобы гости-родственники нас и дальше не замечали, — и рассказал о возникшем у него при виде Сергея Сергеевича плане.

В багажнике машины Авдеенко лежало штук двадцать или двадцать пять журналов АПН, выходивших на разные страны, с моей статьей про Сергея Сергеевича.

Статью о Сергее Сергеевиче по случаю премии ему за “Брестскую крепость” я считал себя просто обязанным сочинить.

Шел шестьдесят пятый год; раз премию уже вручили, значит, весна, май — вручение премий приурочивали ко дню рождения Ленина (кто забыл), двадцать второму апреля.

А летом предыдущего года началась моя служба в АПН — и Авдеенко исходя из переделкинских реалий поручил мне что-то такое придумать, связанное со Смирновым, — и в ближайший уик-энд (тогда выходным днем считалось только воскресенье) я зашел к Сергею Сергеевичу на дачу.

Первое, что он сделал, — взял лист бумаги и написал мне доверенность на получение за него гонорара. Дальше вручил мне книгу — и сказал, что могу взять из нее любой удобный для меня фрагмент и превратить его в статью.

Жанр будущей публикации я сейчас могу и спутать — может быть, требовалось и от меня несколько строчек предпослать тексту автора.

Я про другое: кто бы еще из переделкинских писателей дал возможность заработать деньги молодому журналисту, пришедшему по редакционному заданию (за это ему и платят жалованье, какой же может быть еще гонорар?).

Но Сергей Сергеевич долго протрубил журналистом и знал, что такое жить на жалованье без гонорара; я уверен: приди к нему не сын приятеля-соседа, а человек со стороны, он поступил бы точно так же.

По доверенности я получил 60 (шестьдесят) рублей, а жалованья мне тогда платили 130 (сто тридцать) и с вычетами.

…Авдеенко сказал: пусть они сядут за стол, закажут. А мы подойдем с кипой журналов — все равно собирались отдать их

Сергею Сергеевичу (не весь же век в багажнике все двадцать или двадцать пять номеров таскать).

Сергея Сергеевича провели в малый зал для особо почетных гостей. И мэтр Зина насторожилась, когда вошли мы с журналами. Она прекрасно нас знала, но не могла сообразить, что может нас связывать с такими приличными господами.

Отец мой сразу все понял. И в другом бы случае не стал скрывать своего огорчения тем, что я таким вот образом зарекомендовал себя в ресторане. Но сегодня подобная ситуация его забавляла.

Днем он был в Доме литераторов — Василий Аксенов пригласил его участвовать в обеде вместе с французским министром культуры. И к концу обеда Василий шепнул отцу, что денег на оплату может не хватить.

Отец потом говорил, что и забыл уже, когда в последний раз вообще занимал деньги. Но, как единственный за столом член Коммунистической партии, он поднялся в партком — и ему безо всяких выдали из партийной кассы в долг приличную сумму — хватило бы заплатить за три таких, как организовал Аксенов, обеда.

А уж потом, ближе к вечеру, он встретил Сергея Сергеевича, тот позвал ужинать, и отец пришел в Дом журналиста с партийными деньгами в бумажнике.

А Зина подошла — и осторожно спросила, не мешаем ли мы ужинать почетным гостям (не приведет же лауреат Ленинской премии в ресторан абы кого).

В чем-то похожий случай произошел через несколько лет. Сидим мы в Доме журналиста с Шуней Фадеевым — и видим, как за столик в другом конце зала садятся Авдеенко, главный балетмейстер Большого театра Юрий Григорович и какой-то неизвестный нам с Шуней заметно пьяный мужчина.

С того столика нас немедленно заметили — и потребовали, чтобы мы перебрались к ним.

Очевидным стало, что пьян не один неизвестный нам мужчина.

Великий Григорович кормил этого мужчину шпротами — брал руками каждую рыбку и подносил ее ему прямо ко рту.

Мужчина оказался очень известным режиссером документального кино Юрием Альдохиным, обычно снимающим фильмы о балете.

Мэтр Зина смотрела на происходящее со стороны, а наш официант не удержался от замечания Саше Авдеенко: “Вечно ты, Авдей, приводишь всякую пьянь”.

Григорович, вмиг протрезвев, положил последнюю не съеденную кинорежиссером шпроту на тарелку — и сказал официанту с почти ласковым доверием: “Вы знаете, вчера я в Нью-Йорке ужинал с Юроком — вы, конечно, знаете импресарио Сола Юрока? — и официант подходил к нам, только когда его звали. И никаких замечаний себе не позволял…”.

Всей нашей компании стало скучно в ресторане; мы прихватили еще вина — и поехали к Шуне на Верхнюю улицу (это около Бегов).

У Шуни мы смотрели старую комедию “Первая перчатка”. Потом Авдеенко за рулем своего автомобиля повез гостей по домам.

Сначала решили доставить домой Альдохина — как самого пьяного. Затем отвезли Григоровича и во дворе встретили маму балетмейстера — она прогуливала собаку. “Я очень рада, Сашенька, — сказала мама водителю, — что Юра напился с вами, а не с какой-нибудь другой сволочью”.

Отец, пообедав с французским министром, был в отличном настроении — и ситуация продолжала забавлять его. Он стал объяснять Зине, что “эти молодые люди журналисты — они написали статью про Сергея Сергеевича”.

Настроение у меня все равно было испорчено присутствием отца.

Но Сергей Сергеевич не дал никому скучать — он тут же налил хорошей водки в принесенные официантом (не тем, кому Григорович рассказывал про Сола Юрока) дополнительные стопки. Затем, постучав по краю своей рюмки ножом, объявил: “В армии есть такая команда: «Делай как я!»” Он разрезал повдоль свежий огурец и густо намазал его черной икрой.

Настроение у меня улучшилось — конфликт отцов и детей временно отложился.

В конце ужина Сергей Сергеевич хотел заплатить по счету, на что отец возразил: “А куда тогда деть партийные деньги?” И платил по счету он.

Авдеенко растрогался: “Как вы хорошо живете, отцы. А у нас так не бывает, чтобы деньги были сразу у всех, — всегда у кого-то одного”.

Сергей Сергеевич на проспекте Мира еще не жил; Авдеенко отвез его к черту на кулички, и только потом мы втроем поехали в Переделкино.

Кто видел передачу по телевизору по случаю семидесятилетия отца, мог заметить, что у юбиляра в кабинетике на московской квартире над письменным столом висит большая фотография: Сергей Сергеевич Смирнов (к тому времени уже умерший) с попугаем Арой на плече.

Отец был старше Смирнова, но пережил его на пять лет.

Сергей Сергеевич умер рано — он говорил одной родственнице, что никогда ничего не жалел: ни годов (кажется, годов), ни рублей (насчет рублей точно — в размахе щедрости Смирнов мало кому мог уступить), но досадно “отбрасывать тапочки” (его прямой текст) в шестьдесят лет.

Получается, что после совместной поездки в Будапешт весной пятьдесят восьмого года отец и Сергей Сергеевич тесно общались без малого двадцать лет.

Помню, застал я на московской квартире разговор отца с Виргинией Генриховной по телефону вскоре после похорон мужа, когда отец в ответ на фразу вдовы (я не мог ее слышать, но легко вообразить, что сказала она: “Вы были его другом…”) ответил: “Я им и остался”.

Вместе с тем, когда я сейчас захотел найти слова, чтобы рассказать (обнаружив нюансы) про особенность отношений отца со Смирновым, мне пришла в голову неуклюжая фраза. Засомневался, стоит ли фразу записывать, но раз пришла, случайность ли это?

Дружить и быть друзьями — не одно и то же.

Дружили отец и Сергей Сергеевич — несомненно.

Но со всей очевидностью назвать их друзьями поостерегся бы — в том повествовании, на какое я все-таки решился, мне бы менее всего хотелось быть неточным ради поддержания в себе (и в читателе, если он случится) благодушия. И так есть вероятность, что к неточностям ведет ослабление памяти; но в самих рассуждениях к точности, по-моему, следует стремиться, даже когда портишь себе постфактум настроение и на клавиши компьютера нажимаешь с менее чувственным удовольствием.

Взаимный интерес за два десятилетия не может не ослабнуть.

Тем более жизнь в известности и славе ежедневно расширяла круг знакомств Сергея Сергеевича с примечательными людьми. И то, что хорошее отношение у Смирнова к отцу оставалось (а оно, на мой взгляд, оставалось, при всех основаниях ухудшиться), — целиком заслуга Сергея Сергеевича.

Известность пришла к ним примерно в одно и то же время — к Смирнову, пожалуй, чуть-чуть раньше. О героях Брестской крепости он рассказывал по радио — и книга начала расти, непрерывно расширяться от притока новых подробностей,

приходивших от слушателей. Тема (вслед за журналистом — расследователем — исследователем и биографом обнаруженных героев) увлекла множество людей.

Пришедшая известность разрешала Сергею Сергеевичу начать жить сначала — ему к пятьдесят восьмому году минуло всего-то сорок три года, — и он ее начал.

Отец готов был начать новую жизнь каждый раз, вернувшись из санатория, — пробовал жить, соблюдая здоровый образ жизни.

Но ни от чего из прошлого, так или иначе относившегося к литературной работе, он отказываться и не думал — примером тому “Жестокость”, возникшая из давнего рассказа. Он вернулся к нему, почувствовав себя более раскованным, — о каких-то главных для себя вещах думал очень давно и гнал некоторые мысли, замыкаясь в раковине осторожности. Но и возвращался к ним. Ему казалось, что непрерывностью записей он сделает более совершенным свой писательский инструментарий, — теперь можно сказать, что инструментарий его зависел от настроения. От запаса покоя, так и не пришедшего к нему.

Известность, вероятно, будоражила его, но и вселяла тревогу (уж такой он психикой был наделен, передав ее мне по наследству).

Пережив после запрета “Большой жизни” тяжелые времена, когда денег надолго не стало вовсе, он уже не был уверен, что всегда сможет их заработать.

Никогда не брал авансов. И его удивляла смелость Сергея Сергеевича. На первых порах известности денег у отца было никак не меньше. Но на такую широту жизни он решиться не мог. И более того, по-дружески, как старший, боялся за Смирнова: не справится с такими расходами. И сам на следующий день смеялся над тем, что вчера в гостях у Смирновых забеспокоился об их материальном будущем.

10

Отец был тяжелым человеком, а Сергей Сергеевич — легким. Подобным противоположностям вроде бы легче всего и сойтись — одному искать равновесие в другом.

Но если Сергей Сергеевич слегка (и с пониманием) посмеивался над странностями отца, то отца легкость, как ему казалось, отношения к жизни начала раздражать — и его насмешки над Смирновым не всегда были такими безобидными, как подшучивание над ним, склонным к депрессиям, не унывающего с первых же дней успеха Смирнова.

Они пили у отца на даче коньяк — и коньяк, которым угощал Нилин Смирнова, Смирнову уже не нравился. “Нет, Павел Филиппович, — говорил он, — это не тот коньяк. Уж в чем в чем, а в коньяке я разбираюсь… Давайте — договорились? — следующей весной поедем в Париж — и там я…”

Отец был старше на семь лет.

Он вроде бы тоже мог быть назван таким же советским человеком, как Сергей Сергеевич. И на словах всегда вроде и был. Но власти не доверял и в дни послаблений.

Он понимал, что за ту легкость, с какой говорил про Париж Сергей Сергеевич, надо будет платить — и отцу, по его характеру, лучше было вообще никуда из дому не выходить, чем быть обязанным этой власти за поездку в Париж.

То, что сказал отцу на его пятидесятилетии Сергей Сергеевич про белую зависть, пустыми словами не было.

И его комплименты потом, когда стали они соседями в Переделкине, — не восточно-ритуальная речь.

На конверте пластинки с чтением отцом своего рассказа — коротенькое предисловие Сергея Сергеевича Смирнова, и в тексте этом я не нашел ни одной банальности — ни из тех, что брала на вооружения критика (об отце на рубеже пятидесятых — шестидесятых годов довольно много чего писали, но все сводилось к тому, что авторство принадлежит XX Съезду партии, а о самом тексте ни полслова), ни из тех даже милых трюизмов, какие он мог позволить в застолье.

Смирнов очень тщательно продумал, что хочет сказать про тексты отца, нашел для этого слова — и пожалуй, кроме предисловия Сергея Сергеевича на пластинке, не осталось ничего больше сказанного об отце всерьез.

Он на удивление помнил все, что говорил отец ему о своих планах. И однажды, когда отец начал рассказывать ему о пришедшем только что новом замысле, засмеялся: “Вы, Павел Филиппович, как антенна — улавливаете из воздуха. Но это ведь плохо. Вам сейчас надо думать, не отвлекаясь, о главных своих вещах”.

Отец, однако, тянул с началом того, что анонсировал в доверительных разговорах Смирнову.

И Сергей Сергеевич, все более увлеченный общественной деятельностью, общением с наиболее успешными из пишущих, дарившими его своим вниманием, поездками по миру (он привозил из каждого путешествия очерки, становившиеся книжками), начал, может быть, и для отца, и для себя самого незаметно, тяготиться разговорами о вещах, которые в обещанные

произведения не превращаются.

Отец должен был чувствовать перемену, ни в чем пока не выраженную. И все же не мог отказаться от взятого им в разговорах со Смирновым тона старшего с младшим (на “ты” они несколько раз в застольях пытались перейти, но так и не получилось).

Мне неожиданно вспомнилась совсем уж смешная ситуация.

Жил у нас в Переделкине — сначала на аллее классиков, потом несколько в отдалении — писатель Николай Евгеньевич Вирта. На ставшем теперь (после смерти Пастернака) мемориальном сельском кладбище — смерть как неизбежность вступила в мою детскую жизнь, когда выходил я за калитку, услышав издали неуклонно приближавшиеся звуки траурного марша (к погосту двигалась, загородив всю улицу, процессия за открытым кузовом грузовика с покойником), — Вирта похоронен поодаль от знаменитых могил, надгробный обелиск его между тропинкой и сеткой ограды — и некоторые из проходивших мимо граждан удивлялись, что четырежды лауреат Сталинской премии погребен так скромно.

Не знаю уж, что связывало перед войной и некоторое время после войны отца моего с Николаем Евгеньевичем, в те годы особенно известным писателем, но гостили друг у друга часто, и в мемуарах дочери Вирты Татьяны есть фотография: она держит на руках меня — младенца.

Потом Вирта со скандалом ушел из семьи, полюбив известную московскую красавицу, — и жил бы с нею счастливо у себя на родине под Тамбовом, не прищучь его фельетоном у себя в газете зять Хрущева Аджубей — и на все хрущевские времена Николай Евгеньевич выбыл из оборота. Но пришел во власть Брежнев, и Вирта воспрянул, сочинил пьесы, вернулся в Переделкино, правда, на другую дачу (ту, что поодаль от известной всем аллеи), и снова женился — на молодой даме, работавшей в парткоме Союза писателей.

Вот о новой женитьбе, новой пассии Николая Евгеньевича и беседовали Сергей Сергеевич с отцом.

Более романтичный Сергей Сергеевич воскликнул: “Она в него влюблена!” “Бросьте, Сергей Сергеевич, — сказал отец, — влюбиться можно в такого человека, как я. В крайнем случае, как вы. Но не в Вирту же?”

В этом заблуждении тоже весь отец.

А почему не в Николая Евгеньевича, если тот все три раза женат был на красивых женщинах?

Почему в него, а не в Сергея Сергеевича?

Сергей Сергеевич наверняка больше нравился женщинам — он был им понятнее. Правда, Сергей Сергеевич не Вирта, в громких связях замечен не был. Но приятельница моей матушки, детская писательница и мама известной балерины Большого театра, ставшей балетмейстером, — красивая, статная дама, — всю жизнь была влюблена в Сергея Сергеевича.

Сергей Сергеевич был, повторяю, легкий человек. И семье, если не принимать во внимание споры со старшим сыном о политике (а если и принимать, мало что меняется), бывало с ним легко.

Как-то Сергей Сергеевич со смехом рассказывал, что вернулся он ночью на дачу — и выяснилось, что спать ему лечь негде: везде, во всех комнатах (на двух этажах), на кроватях и на полу спят однокашники Андрея по институту.

У меня тоже, случалось, гостили приятели, иногда кто-то и жил некоторое время, но представить, что моего отца рассмешила бы картина, развеселившая Сергея Сергеевича, не могу: отец наверняка почувствовал бы себя уязвленным и униженным, как хозяин дома.

В записи, которую сделал отец, вернувшись со дня рождения Сергея Сергеевича, он осуждает Котю, явившегося из армии на “шашлычки” из “Арагви” мало что при бакенбардах, но и располневшего так, словно дослужился за год до подполковника.

Отцу показалось бестактным, что Константин в присутствии партийного папы и отцовских приятелей, состоявших в Коммунистической партии, во всеуслышанье сказал, что он, Котя, “ненавидит коммунистов”.

А Сергей Сергеевич выходке сына не придал никакого значения.

И что? Котя сделался диссидентом, пошел по тюрьмам? Нет — и более того, прекрасно вел передачу, вроде бы ненароком возвращавшую к советским ценностям, — ни барственная полнота не помешала, ни количество съеденных шашлыков, ни совершенно иная позиция, занимаемая старшим братом.

У меня есть сильное подозрение, что отец не прочел ни одной из книг Сергея Сергеевича — ну, может быть, перелистал несколько первых страниц — о чем книга, он знал, все вокруг о ней тогда говорили.

Хотя отец и считал Катаева беллетристом, самым важным полагал хорошее письмо (он бы никогда не усомнился, как Гранин, в первостепенной важности того, *как написано. На свой, разумеется, вкус).*

Текст Сергея Сергеевича казался ему газетным — и самого

Сергея Сергеевича он считал журналистом. Советовал мне — в присутствии того же Смирнова — учиться у него писать очерки (я даже запомнил наставление Сергея Сергеевича: “Для очерка прежде всего нужен хороший треп”.

Я сам не очень внимательно читал книги Смирнова с точки зрения литературы. Но соглашаться с отцом не тороплюсь, поскольку писавшие о книгах Сергея Сергеевича — не глупее нас, — отмечая несомненные достоинства его документальной прозы, предполагали, что автор сам отказывался от метафорического слога для достижения большей достоверности.

Отец не признавал литературы без вымысла. В не самые счастливые годы, когда не доводил он до завершения десятки начатых рукописей, я давал ему советы опубликовать что-нибудь из множества дневниковых его тетрадей или дорожных записей. Отец неизменно отвечал словами Пушкина: “Над вымыслом слезами обольюсь”.

Сергей Сергеевич с любопытством расспрашивал об авторе “Молодой гвардии”. И, когда отец пытался слегка умерить его априорные восторги, горячо заявил, что Фадеев самая для него интересная фигура — была и будет.

Возможно, занимая не один год уже руководящий пост, Сергей Сергеевич видел в Александре Александровиче образец генерала от литературы.

Отцу приближалось к семидесяти, а публикации бывали совсем нечасто — за два десятилетия три-четыре небольших вещи, — некоторые из не самых тактичных собеседников спрашивали, пишет ли он? Или возраст и болезни мешают? Он отвечал неизменно: “Пишу. Все надеюсь прославиться”. И ответ всегда воспринимался шуткой.

Когда же успех Сергея Сергеевича взошел на самый пик и Смирнов непрерывно находился у всех на виду, отца, не исключаю, брала досада, что слава — та, какой ему, наверное, хотелось, — его обошла.

И он не всегда бывал деликатен, замечая, что Сергей Сергеевич доедает курицу своей славы.

Не сходясь по-соседски близко ни с кем из писателей, кроме Корнея Ивановича и Сергея Сергеевича, отец неожиданно обрел приятеля в лице Ивана Васильевича Комзина, жившего на той же улице, что и классики, но в собственной трехэтажной даче.

Комзин был видным гидростроителем, Героем Социалистического Труда, строившим и Асуанскую плотину, и на

Волге Куйбышевскую (теперь Самарскую) ГЭС.

Человек большого роста и силы, с длинными руками, из-за которых, как он рассказывал, ему в институте запрещали заниматься боксом, зато женщины — опять же в рассказах героя — очень любили бывать в этих самых руках.

Вспоминая о каком-то случае за границей, он упомянул, что какой-то иностранный строитель обратился к нему — господин профессор. "Или он сказал мне — «господин генерал», не помню". Но Комзин и был генералом и профессором.

Рассказчиком он был великолепным.

После одного из вечеров у нас на даче отец записывает, что договорились гости за столом до того, что Иван Васильевич начал пересказывать своими словами передачу, которую накануне вел по телевизору Сергей Сергеевич. Правда, — не смог удержаться от комментария отец — делал это намного талантливее, чем Сергей Сергеевич.

И здесь без элемента ревности не обошлось.

Как устный рассказчик отец не уступал ни Сергею Сергеевичу, ни Ивану Васильевичу, но не представляю, сумел бы он вести передачу по телевизору или прочесть лекцию в институте.

Обстоятельства могли сложиться и так, что мы дружили бы с Андреем — и дружили бы всю жизнь! Я смотрю, и он до сих пор с теми, с кем был смолоду, и я с теми же (из тех, кто жив).

Обстоятельства сложились, однако, по-другому.

У него, как у человека успеха, становилось все больше и больше знакомств и дружб, хотя киношным связям Андрей, как мне казалось издали, оставался наиболее верен.

Назвав Андрея человеком успеха, вовсе не хочу сказать, что жизнь его сложилась легче, чем моя. Я лишь предположил, что успешность предполагает населенность жизни большим количеством людей. Но мне трудно судить, хорошо это или плохо.

Мы вместе с Элей и Андреем проводили часть лета в Гагре. Мне исполнилось двадцать пять, Андрею — двадцать четыре. Я отслужил первый сезон в АПН — и журналистика (в том ее развлекательном апээновском варианте) не успела мне еще наскучить. Андрей уже был режиссером — он стал студентом на год позже, чем я, но высшее образование получил раньше. Я же учился в двух учебных заведениях, у меня года полтора потеряно.

В Гагре мы играли в футбол на площадке перед эстрадой летнего кинотеатра, вечера проводили в компании приятных людей. И казалось, как на курортах обычно и кажется, что все на море начавшееся продолжится зимой в Москве.

У Эли с Андреем я однажды был — и прекрасно провел вечер. В

гости я приехал не вполне трезвым — и возможно, произвел на хозяев впечатление хуже, чем в Гагре. Правда, Виргиния Генриховна, когда навещала мою матушку, похвалила меня за то, что за ее невесткой, как ей доложили, я весь вечер ухаживал. Виргиния Генриховна любила Элю, и успех невестки у мужчин свекровь только радовал.

11

Осенью шестьдесят восьмого года в Красной Пахре проводили семинар для молодых дарований — артистов, режиссеров, художников. И меня туда командировали от АПН (я все еще оставался в АПН, уходил на год, но вернулся обратно) — но почувствовал я себя там очень сиротливо.

В последний вечер, когда неожиданно выяснилось, что буфет закрыт, я вызвался вместе с комсомольскими работниками (семинар проводил комсомол) съездить к буфетчице домой на машине — нам удалось привезти буфетчицу обратно, и она продала семинаристам два ящика водки.

Но, когда начались в разных комнатах Дома отдыха прощальные возлияния, мне некуда было себя деть — меня не позвали ни в одну компанию. Хорошо, встретился мне в коридоре Володя Панченко, мой приятель из комсомола (он стал потом генеральным директором Госконцерта), и я провел вечер в комсомольской компании, куда бы меня тоже не позвали, не встреть я случайно Володю.

Я и через годы любил рассказывать про встречу семинаристов с киношным начальником Баскаковым.

Кроме почти круглосуточной выпивки под даровую закуску молодежи еще и показывали иностранные картины, в советском прокате запрещенные, а переводчикам не возбранялось синхронно переводить матерные выражения. Помню возмущенное недоумение Ирины Поволоцкой после картины Годара, где героя спрашивают, кого бы он предпочел чтобы его имел — Сталин или Мао; Ирина говорила, что ей все же ближе русская классическая литература. Смысл сказанного Баскаковым сводился к тому, что если молодые режиссеры хотят и дальше развлекаться на подобных семинарах, если хотят получать за свои фильмы постановочные (и собственно сами постановки получать, а не быть в простое) и носить дубленки, то нечего изображать из себя свободных художников, а нужно внимательнее прислушиваться к тому, чего требует от них руководство киношного министерства и киностудии.

Молодой режиссер Юлик Файт (я с ним года за два до того познакомился в гостях у Геннадия Шпаликова) задал Баскакову вопрос, почему не выпускают на экран фильм “Похождения зубного врача”. Замечу, что постановщик фильма Элем Климов сидел в первом ряду — шаг отделял его от Баскакова, — но никаких вопросов насчет своего “Зубного врача” не задавал.

И Баскаков обрушился на Файта с такой строгостью, словно это неосторожный Юлик (чей папа — известный артист, непревзойденно изображавший во многих фильмах фашистов) сам снял неугодный власти фильм.

Баскаков дал понять, что дальнейшая судьба Файта предрешена, Файт потерял доверие руководства.

В антракте молодые режиссеры окружили начальника и просили Юлика простить: он высказался не подумавши и больше задавать глупых вопросов никогда не будет. Но Баскаков был непреклонен: “Надоело нам с ним нянчиться…”

Воспользовавшись паузой, Андрей Смирнов обратился к нему с детской домашностью (Баскаков был заместителем у Сергея Сергеевича в “Литературной газете”): “Владимир Евтихианович, может быть, мне вы тоже не доверяете?” “Нет, — сказал тот, но уже помягче, — нет, Андрюша, мы тебе не доверяем. Тебе дается последний шанс”. Не знаю, начал ли тогда уже Андрей съемки “Белорусского вокзала”. В Пахре я с ним ни разу не поговорил, даже и не подходил к нему. Он и не бывал один — и прервать его взволнованную беседу с Ларисой Шепитько, например, было бы неловко.

Года за три до семинара в Пахре я был на Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде. Это была моя первая командировка от АПН — и с непривычки мне все нравилось. Нравилась, конечно, не сама журналистская работа — на нее и времени почти не оставалось: после ночей в гостинице “Октябрьская” я не ложился спать, как положено, на койку, а ставил телефон на подоконник — и засыпал, положив голову с ним рядом. Меня рано утром будила стенографистка из Москвы — и я импровизировал текст, который казался мне гениальным. Когда я вернулся, обнаружилось: отвечавший за кино редактор Марк Татаринов, полагая, что я там, на фестивале, сошел с ума, переписывал с первого до последнего слова мои заметки, и, когда опубликованы они были потом во всех областных и республиканских газетах, я без преувеличения действительно близок был к помешательству. Мне казалось, что меня презирает весь мир за выражения “полюбились” и так далее. Марк боялся ко мне подходить с полгода, а когда мне поручали оставаться вместо заведующего Авдеенко, опасался, что временный начальник

сделает все, чтобы выгнать его со службы.

Но до первой публикации мне нравилось изображать журналиста — и я видел в себе такого же непременного персонажа фестиваля, как и съехавшиеся в Питер звезды. Никогда и нигде больше не вел я себя с такой раскованностью, перезнакомившись (не продолжив больше никогда этих знакомств) буквально со всеми.

Меня хватало на круглые сутки непрерывных разговоров и шуток.

Один из ресторанных залов по случаю фестиваля не закрывали (это был самый первый фестиваль подобного формата) почти до утра.

Однажды, когда зашел я туда в половине третьего, в пустом (и полутемном, как сейчас мне кажется) помещении одна за столиком сидела кинозвезда еще довоенных (до моего рождения) лет Лидия Николаевна Смирнова.

Я представился ей корреспондентом и предложил шампанского — беседа наша дальнейшая на интервью была мало похожа, поскольку говорил в основном я.

В частности, я рассказал Лидии Николаевне, какое сильное — эротическое — впечатление произвел на меня году в пятидесятом или пятьдесят первом (напомню, что я сорокового года рождения) фильм “Серебристая пыль”, где Лидия Николаевна играла иностранную (фильм и был из иностранной жизни) проститутку (но с какими-то благородными намерениями вроде борьбы против империалистов за мир).

В одном из эпизодов у проститутки чуть сдвигается в районе декольте кофточка — и виден, к чему я клонил в рассказе-воспоминании, кусочек бюста.

“Эх, — вздохнула Лидия Николаевна (мы пили уже вторую бутылку шампанского, и звезда называла меня по имени), — эх, Саша, видели бы вы тогда весь бюст”.

Я понимаю, что сюжет требует поворота, при котором бы сбылась детская мечта — и я увидел-таки бюст Лидии Николаевны (пусть и в редакции тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года).

Но этого не было. Часа в четыре я проводил Лидию Николаевну до ее номера, поцеловал ей руку (а она меня в лоб) — и пошел к себе спать до вызова Москвой своего специального корреспондента.

Вскоре после “Белорусского вокзала” я встретил Андрея в ресторане Дома кино; вернее, мы увидели друг друга издали, из-за своих столиков (он сидел с Маргаритой Тереховой и с кем-то

еще, кого в лицо я не знал) — и сделали по нескольку шагов навстречу друг другу — поздороваться и что-нибудь сказать после того, как не виделись года два или три, наверное. Мне показалось, что он ждет похвал фильму (дальнейшим поведением Андрея это не подтвердилось), — и захотелось из чувства противоречия сказать про тенденцию “Белорусского вокзала”, что она, мол, мне чужда. Паровоз этот в конце с портретом Сталина… Комизм ситуации заключался в том, что пришел я в ресторан с внучкой Сталина — Надеждой. Не знаю, заметил ли это Андрей, но к моим замечаниям отнесся снисходительно и сказал, что для него главное, чтобы фильм понравился папе (моему папе, Павлу Филипповичу).

Вообще-то, абстрагируясь от настроений того вечера, не считаю себя стойким хулителем “Белорусского вокзала” — порой, когда я смотрел его в День Победы, что-то и нравилось, трогало меня в картине Андрея Смирнова — мы же с ним люди одного поколения, сходного воспитания. Другое дело, что мне фильм казался снятым как-то аляповато, не в настоящую силу оператора Лебешева, снявшего затем замечательные картины.

Правда, не исключаю, что фильм (сознательно — бессознательно) снят в эстетике наших детских воспоминаний о кино про войну.

Грустно бывает, когда, сняв свой самый знаменитый фильм, режиссер в последующих работах до него не дотягивается.

Но с Андреем все случилось по-другому — и дальше он снимал все лучше и лучше. Мне больше всего почему-то понравилась картина, которую Андрей считал вконец испорченной поправками (и ушел после нее на много лет из режиссеров), — про архитекторов, “Верой и правдой”; я всегда смотрю, когда повторяют ее по телевизору.

К сожалению, я так и не увидел фильма Сергея Юрского “Чернов/Chernov” — повесть читал, а картину так и не посмотрел — Андрей сыграл в ней главную роль. Говорили, что это было очень точным попаданием.

Не знаю, видел ли я все фильмы с участием Андрея-артиста, но до “Елены” Звягинцева мне казалось, что в кино используют очень выигрышный его типаж. А в “Елене” видно, конечно, что он — без дураков хороший артист.

Виргиния Генриховна сетовала: “Сережу забыли… Все Шукшин, Шукшин…”

Шукшин, конечно, был тут ни при чем — он проходил по другой художественной (и только художественной, сугубо художественной) номенклатуре.

Но Виргиния Генриховна верно почувствовала, что с уходом Сергея Сергеевича что-то в отношении к нему неуловимо изменилось.

Можно предположить, что и при жизни Сергея Сергеевича к середине семидесятых что-то неуловимо менялось в отношении к нему — тезис Пастернака начал подтверждаться: превращение в литературного генерала или министра не проходит для писательской психики бесследно. Смирнов, как совестливый человек, не мог не чувствовать, в какой тупик он будет загнан властью — и своей (по сути, достаточно ограниченной возможности творить добрые дела), и той, что над ним (безграничной, в общем-то).

Обратного пути из власти не бывает — это всегда крушение и удар все по той же травмированной властью психике.

И кураж для дальнейшей литературной работы был не так уже велик, каким был, когда входил писатель в известность и завидную должность.

Но, пока Сергей Сергеевич был жив, все заслонялось производимым им по-прежнему впечатлением — и уловить, что изменилось, вряд ли было возможно.

Когда писатель очень уж у всех на виду, он иногда подпирает свои книги активностью (влиятельностью) своего участия в общественной жизни.

После его ухода книги ждет в лучшем случае новое прочтение (и более, может быть, придирчивое, чем при жизни автора) — а в худшем — забвение, если, конечно, сложившаяся о писателе при жизни легенда каким-либо образом не продолжится.

Сергей Сергеевич Смирнов стал частью той легенды о Брестской крепости, которая его усилиями превратилась в факт истории, — и автор расследования стал персонажем документа, что весомее, но и менее романтично — рано или поздно все должно быть названо своими именами.

Наш сотрудник из АПН Марк Татаринов был сослуживцем Сергея Сергеевича по Воениздату. Марк был человеком, чье мнение мало для меня значило, но для вранья ему не хватило бы фантазии. И я запомнил его рассказ, как радовался — и не скрывал радости — Смирнов, что набрел на тему, разрабатывать которую можно будет бесконечно.

Твардовский (в рабочих тетрадях) пишет, что “осуществлением «Теркина» обязан этой ужасной войне, а ужасную войну эту пережил благодаря «Теркину»… а что тогда говорить про Симонова, который своим литературным

клондайком обязан войне”.

Дальше Твардовский говорит про Симонова, на мой взгляд, неоправданно резко — и я не считаю себя вправе цитировать им сказанное: он же не статью, не рецензию пишет, а делает запись в рабочей тетради, не предназначенной, может быть, для чужого прочтения.

Кроме того, от Джека Лондона мы знаем, что такое Клондайк — и на какие риски, на какие жертвы идут золотоискатели.

12

Когда Сергей Смирнов ворвался с журналистским азартом в легенду (как сам он говорил, “смутную легенду”) о защитниках Брестской крепости, она вполне могла и не оказаться Клондайком.

Смирнов мог залезть в дебри, вовсе не угодные власти, — и он залез. Но ему повезло, что начальство не сразу сообразило, на какие опасные для открытой информации глубины зашел журналист, ведомый (по всем внешним признакам, аргументации и лексике) праведной патриотической идеей.

Ему дали за книгу Ленинскую премию — и только тогда поняли, что с поощрением переборщили. Признавать ошибку было глупо, а всего удачнее — постараться переставить акценты в читательском понимании работы Смирнова. Автора возвеличить, но с переизданием “Брестской крепости” не торопиться.

В “Брестской крепости” нет места хеппи-энду.

Справедливость восторжествовала лишь в частном случае.

Возвращение благодаря смелости и настойчивости Смирнова честных имен героям, награды, нашедшие их через столько лет, не должны освобождать нас от вопроса о пропавших героях: а почему они пропали? Каким образом могло сложиться впечатление, что этих людей там, в крепости, и не было — кто-то же был вместо них награжден? Когда Смирнов (в начале поиска не знаменитость, не лауреат, не начальник) стал искать героев, существовавших в легенде безымянно, выяснилось, что кто-то был в концлагере, кто-то и сейчас в тюрьме, кто-то живой и не в заключении, но влачит (из-за кого влачит?) нищенское существование.

Сколько времени прошло с окончания войны, а до правды почти так же далеко (ничего, к общему несчастью, не изменили книги о ней, едва ли не самые важные в советской литературе книги, версия главного политуправления армии давит, как и давила) — для необходимой каждому жителю нашей страны

правды о войне нужна и правда о тыле (говорю скромно “о тыле”, чтобы обухом по голове не ошарашивать понятием “мир”).

Ушел из жизни Сергей Сергеевич Смирнов — эффектный, не сходивший с менее уплотненного, чем сейчас, телеведущими экрана человек — и кому-то, может быть, еще, кроме Виргинии Генриховны, показалось, что автора “Брестской крепости” забыли.

Мы не будем обманывать себя, что мертвых (и самых лучших) помнят ежедневно, — дай бог, чтобы помнили живых (я про лучших).

Но не подумать ли о том, что, покинув нас, Сергей Сергеевич — не генерал литературы и не телеведущий — вышел из плена должностей и комплиментов — и стал книгой “Брестская крепость”, оставшейся наедине с никем (и ничем) не отвлекаемым читателем?

Я говорил уж о том, что он стал частью легенды, преобразованной им в документ (где оставлена ему навсегда роль).

В телевизионном фильме, Брестской крепости посвященном, на роль отца был приглашен Котя Смирнов.

Притом что Котя в семействе Смирновых — мой любимец (и в качестве сына больших родителей, если ему нравится, тоже), я вынужден заметить, что актер он на порядок хуже Андрея — и сыграл он кого-то больше похожего на Симонова, чем на Смирнова.

Андрей, на мой взгляд, отлично сыграл Сергея Сергеевича в фильме про Бунина, и я подумал: а почему бы Авдотье Сергеевне, Андрюше и Коте не сделать фильм о Сергее Сергеевиче? Я сразу представил себе этот фильм — со стариком Глуховским в прологе, с Андреем в роли отца, с какой-то актрисой уровня Тереховой, сыгравшей бы Виргинию Генриховну, с каким-нибудь очень обаятельным актером в роли сибарита Константина Сергеевича Смирнова.

И сколько же может быть в таком фильме ролей писателей, жен и детей писателей — и уходящая натура Переделкина ко всему прочему.

В интервью с Андреем я прочел, как радовался Сергей Сергеевич, что не без его стараний учрежден отныне праздничный день — День Победы, никогда после войны не отмечаемый.

Во всем, что происходит у нас, есть подтекст.

Товарищ Сталин не случайно 9 Мая особо не отмечал.

Ему нужна был победа, отдельная от победителей.

Ему не победители нужны были, голову поднявшие, а знавшие свое место подданные.

И вот вошедший в государственный праздничный оборот День Победы постепенно превратился в дату поминовения в первую голову товарища Сталина.

Поначалу воспоминание о товарище Сталине как о главнокомандующем было чуть ли не фрондой — а сегодня неумолимо превращается в ритуал.

В дни чествования ветеранов — шутят, что с каждым годом их становится не меньше, а больше, — я всегда вспоминаю про инвалидов (безруких, безногих, на роликовых плотиках) первого послевоенного года, помню их на улицах, помню в поездах — казалось невозможным представить, что люди, взаправду бывшие под огнем (у писарей рук и ног не отрывали), оставлены родиной без внимания.

И, когда всех инвалидов из Москвы и больших городов выслали, люди со стыдом, но почувствовали некоторое облегчение — потому что стыд от того, что ничем не можешь (кроме милостыни) помочь тем, кто защитил тебя в боях, был еще бóльшим.

Я все ждал, что кто-нибудь из орденоносных ветеранов в очередной День Победы вспомнит об инвалидах.

Не вспомнили — и теперь уже не вспомнят.

Про инвалидов вспомнил один Евтушенко, сочинивший поэму, как приехали эти калеки на стадион “Динамо” смотреть футбол против западных немцев. Матч, правда, играли в пятьдесят четвертом году — и я не уверен, что увечные до такой степени воины еще оставались в живых. Но Евтушенко — хвала ему — вспомнил все-таки про них — и, поселив их в фантазии поэтической, вернул в Москву.

Ветераны превратились в единое целое — участие в этой войне приведено к общему знаменателю.

Но вспомните прозу лейтенантов — кстати, масштаб рассказанного о войне не высотой чинов достигается, а масштабом мысли — в ней обязательно присутствует конфликт между своими (в одну военную форму то есть обмундированными).

С чего начинается фильм “Тишина” по роману Юрия Бондарева?

В послевоенном коммерческом ресторане встречаются случайно два офицера-орденоносца, вместе воевавшие, — и один бьет другому морду за подлость, за трусость, повлекшую смерть своих солдат.

Или картина Константина Воинова “Солнце светит всем”, где прекрасный актер Валентин Зубков (сам, кстати, воевавший) играет ослепшего учителя, который по голосу узнает тоже

работающего сейчас в школе чуть ли не директором командира соседней батареи — и кричит ему: “Почему молчала твоя батарея?” Он ослеп из-за того, что батарея нынешнего директора не стреляла.

И “Брестская крепость”, конечно же, построена на конфликте.

Что-то же неправильное в самом строе, наверное, если и на фронте начальство всего чаще отдает предпочтение мерзавцу перед истинным героем. Кто эти люди, которые всегда командуют — и отдают (всегда) предпочтение тем, кто хуже, перед лучшими? Награждают не тех, кого надо? Обходят наградами тех, кого следовало наградить?

Одной Ленинской премией автору книги на такой вопрос не ответишь.

Но книга такая существовала бы и без премии.

IV. Дом творчества

Глава первая

1

Войди я через центральные ворота с улицы Погодина, где охранники, сюжет начавшейся главы мог бы сложиться и по-иному. Дорога от их будки упрется сначала в стеклянный борт ресторана “Дети солнца”. А потом уж пройдённым (с ударением на втором слоге — *никто пути пройдённого у нас не отберет*) путем доберемся до исторических колонн старого корпуса.

ДТ (я настаиваю на этой облагораживающей название учреждения аббревиатуре) — это сильно уменьшенное писательское Переделкино. В ДТ всей семьей не живут, лишь некоторые из стариков приезжают с женами.

Войди я через центральный въезд, не потянуло бы меня на многофигурный эпос.

А мне вовсе не требуется столько фигур.

Я и не вошел — интуитивно, наверное, — через охраняемые ворота.

Привычно свернул с аллеи классиков в оставленную по недосмотру (не по умыслу же) калитку в других, закрытых, но без охраны воротах — напротив дачи Кассиля, где осенью сорок первого года папа правозащитника Алексея Симонова сочинил “Жди меня”.

2

О том, что поэт Николай Заболоцкий жил не меньше года после войны в Переделкине — и не дачником-арендатором, а бомжом, воспользовавшись участием и добротой хорошего человека, за городом не зимовавшего, слышал, конечно.

Но в пору жизни поэта по соседству я и не подозревал о его существовании. На улице, скорее всего, с ним встречался, а кто он такой, не ведал.

Николая Алексеевича Заболоцкого я запомнил уже при следующем нашем соседстве — на Беговой, угол с Хорошевским шоссе.

В своей прямой причастности к литературной жизни Переделкино худо-бедно продолжается, прежний ореол утратив, но мемориальную репутацию за счет музеев (и тлеющих мифов)

отчасти сохраняя.

А поселения на Беговой больше нет — и оно является мне сегодня лишь в режиме миража.

Поселок (официальное, но не укоренившееся название — городок Моссовета), пленными немцами добротно возведенный, начинался при мне — котлованы для новостроек были вырыты рядом с корпусами, в которые мы вселились ранней осенью сорок шестого.

И я видел — много лет уже на Беговой не был, но пришлось, когда мимо проезжал, увидеть — огромнейший котлован вместо пятидесяти коттеджей-корпусов нашего городка.

Теперь вместо территории — современной конструкции высоченный дом. В него бы легко вместилось все население из немецких строений.

Три года назад левитановской осенью прибыл я сюда на метро (при мне никакой станции метро на Хорошевке не было), потом на троллейбусе ехал до Института Герцена в Боткинском проезде — все места детства — на облучение.

Вроде бы не до философии. А может быть, как раз и до нее: за пять минут спасительно-губительного луча о чем только не передумаешь; и протяженность разных мыслей помогла, как мне кажется, не намного меньше, чем луч.

Я не всегда уезжал ночевать домой, оставался в клинике — и теплыми вечерами сидел во дворике, смотрел из темноты, как огнями окон поднялись высотные дома, тесно вставшие на перекрестке — на том самом углу неизменной Беговой и разительно изменившейся Хорошевки, которой определял я местонахождение исчезнувшего селения.

Я сидел в больничном дворике, окруженном домами, которые помнил со школьного детства. Казалось, что темнота вечеров держит в себе, как держим мы что-либо в памяти, наш поселок, мой бывший корпус-дом — и пусть, когда рассветет, удостоверюсь, что прежнего не осталось. Но неужели усилиями ночи ничего вернуть нельзя?

Николая Алексеевича Заболоцкого я запомнил в полосатой, как у Вишневского на пожаре, пижаме (она в одном из его стихотворений той поры упомянута) и с тонким поливальным шлангом.

В первой же книге воспоминаний про Заболоцкого я прочел, как дорожил он своими посевами внутри низко огороженного палисадника — и страшно сердился, когда туда залетал мяч, кричал на детей, гонявших этот мяч на задах его домика (двухэтажного кирпичного коттеджа на четыре двухкомнатные

квартиры; квартира Заболоцких занимала правую половину первого этажа).

Кричал он, в частности, и на меня — к нему залетел мяч от моей ноги. Вот и все наше знакомство.

Еще, правда, в трамвае вместе ехали через Пресню на задней площадке — и он представил моему отцу своего сына: “Никита, студент второго курса”. По этой подробности исследователи творчества Заболоцкого могут точно установить год, в каком трамвай вез нас куда-то по двадцать третьему маршруту.

В Переделкине же сорок шестого года надо было прежде всего позаботиться (чтобы выжить) о картофельных грядках — и думать не о возможных исследователях, а о том, чтобы хоть какой-нибудь стих опубликовали.

Вдалеке от страданий и бед — это он, судя по начальной строчке В этой роще березовой, сочинил на даче. Березы не на всех участках росли — росли почему-то ближе к Лукино и вдоль железной дороги от Лукина в сторону Внукова.

Стихами, сочиненными в Переделкине, Заболоцкий поддержал меня в догадке, что доверять надо своему представлению о пейзаже — внутреннему, для себя и только для себя его толкованию, а не пейзажу визуальному.

Сам пейзаж принадлежит и всем остальным.

А вот чуть (или сильнее, чем чуть) смещенный особенностью твоего и только твоего зрения, приватизированный — единственно точен, есть ли в нем сходство, нет ли в нем сходства с тем, что принято считать реальностью.

Ты сам для себя реальность: ты же со своей, а не с чьей-то реальностью из этого мира уйдешь — и может быть, это единственное, что унесешь отсюда.

Пустяк отсутствия и будет твоим тайным вкладом в реальность, невидимо уменьшившуюся с твоим уходом — но оставившую место для нового на себя взгляда.

Сначала я не понял, почему дачный участок Пастернака Заболоцкий называет бором: черен бор за этим старым домом.

Но вскоре вспомнил, что он видит не участок с подходящими к даче соснами, а черную волну неразличимых по отдельности деревьев вдали, по ту сторону речки, на поднявшемся холмом берегу.

Когда в детстве слышал, что живем мы под Москвой, я немедленно представлял эту прочерченную черным даль. Ночное небо над ней, озаренное облаком невидимых светильников, казалось мне той Москвой, что над нами, — раз мы живем под нею.

В Ленинграде середины и конца тридцатых арестовывали чаще, гуще, неотвратимее, чем в Москве.

Товарищ Сталин считал, что пониженного в должности-звании оставлять в живых не следует. Напуганные нужны, а обиженные не всегда — вдруг обида и с нею гнев на обидчика потеснят страх?

Случаи, однако, когда выбитого из седла не оставляли под копытами — разрешали отползти на обочину, — бывали, правда, при канунах и началах репрессий, не позднее.

Один случай знаю из апокрифа (главный источник исторических познаний), другой — из жизни.

Старый большевик Алексей Егорович Бадаев (при царе, если не ошибаюсь, депутат Государственной думы) не был трезвенником и огорчивший товарищей проступок совершил в пьяном виде. Бадаев занимал большой пост в Центральном комитете все той же партии — и конкуренты на его должность предложили незамедлительно исключить его из большевистских рядов.

Но товарищ Сталин не переносил, когда лезли поперед батьки в пекло, не уловив настроения батьки, — и изрек: "Не мы принимали товарища Бадаева в партию, не нам его исключать. Но если он так любит пить, — тут товарищ Сталин уперся голосом в глагол «пить» с такой силой, что мягкий знак стерся, как в том знаменитом случае со словом «любовь» (у товарища Сталина «любовь» не только прозвучало, как «любов» — и впору было менять правописание, поскольку он и на бумаге начертал: «Любов побеждает смерть»", — если он так любит пить (гвоздями забил он в сознание поспешивших со своим мнением), мы сделаем его директором пивного завода".

Понижение до такой степени немыслимое, что и про обиду смешно было думать. Человек исчез с горизонта внимания бесследно — о нем забыли, как и не было его никогда.

Меж тем раздавленный опалой Бадаев до смертного часа прослужил на заводе — и после кончины, запамятовав причину появления большевика в низком для заслуженного партийца начальственном кресле, завод назвали его именем. И десятилетия ассоциировался бывший Бадаев с любимым народом напитком.

Кстати, все, кто предлагал исключить Бадаева из партии, подверглись репрессиям, никто не остался в живых.

Еще один старый большевик, друг моих родителей Михаил Кузьмич Ветошкин, работал заместителем Сталина по наркомату национальностей. К началу тридцатых Сталин совмещал пост наркома с должностями много повыше — ему было не до наркомата национальностей.

А в здании наркомата шел ремонт. На время ремонта

замнаркома Ветошкин хотел временно перебраться в пустующий кабинет наркома. Но кабинет Сталина был закрыт, и охрана не пускала туда даже замнаркома.

И, когда однажды товарищ Сталин в наркомат таки заехал, к нему в открытый по случаю прибытия главного начальника кабинет заявился упорный Ветошкин — и, докладывая о разных неотложных делах, сказал между прочим, что вот из-за ремонта работать ему негде, и поскольку Коба (товарищу по партии почему бы и не назвать Иосифа Виссарионовича дорогим, как память о славных временах, именем) бывает редко, то не разрешил бы он охранникам открывать кабинет в свое отсутствие для занятий замнаркома.

Коба сказал, что, конечно, пусть откроют, а то этот бездельник товарищ Сталин (имени Коба он и в шутку повторять не стал) где-то ходит, а труженику Ветошкину негде заниматься делами наркомата.

Тем не менее кабинетом Кобы Ветошкину воспользоваться не удалось — товарищ Сталин велел выгнать такого дурака из замнаркомов. И Ветошкина тут же от занимаемой должности освободили.

Но, раз никаких прямых указаний на его дальнейший счет товарищ Сталин не дал, ни на каторгу, ни на расстрел друг нашей семьи не пошел. А сделался — и до конца жизни (похоронили бывшего замнаркома, как одного из немногих уцелевших старых большевиков, на Новодевичьем) — профессором исторического факультета Московского университета.

Истории ленинградцев Чуковского, Маршака, Каверина и Тихонова отдаленно похожи на истории Бадаева и Ветошкина. Они не стали дожидаться, пока органы в Ленинграде обратят на них настоящее критическое внимание, и при первых же намеках (и косых взглядах) коллег собрались и переехали в Москву. Кстати, и в органах любят иногда понятливых.

3

Чуковский стал переделкинцем до войны, Каверин построил себе дачу на безлюдной улице Горького сразу после войны.

А предполагаемый переезд в писательский поселок Маршака неожиданно коснулся нашей семьи.

От нашего дачного участка — действительно огромного, как и все почти участки при коттеджах на кругу и двух впадающих в него улицах — отрезали почти половину, на которой и начали строительство дачи для Маршака. Маршака уже послевоенного,

московского, удостоенного за время войны Сталинских премий.

Отцу к тому времени хватало неприятностей, и усечение участка вряд ли можно было считать одной из главных бед. Но отец воспринял это неожиданно болезненно.

Я вспомнил про этот случай в конце восьмидесятых, когда уже не жил на родительской (литфондовской) даче (мы с братом не держались за нее, отдали при первом же намеке директора городка Гольдина, хотя формально, как член Союза писателей, о чем Гольдин не знал, мог бы походить по начальникам, но никуда, конечно, не пошел). Я купил путевку в ДТ, тогда и заметил на прогулке по кругу, что угол бывшего нашего участка срезан для расширения тротуара или чего-то такого.

Я понял по-настоящему пьесу Чехова “Вишневый сад” и в какой-то мере — реакцию отца.

На участке — и урезанном, и бесконечном до урезания — исхожен, часто босиком, каждый сантиметр. Мое познание мира начиналось исследованием этой не принадлежащей семье, но *нашей территории — и мне стало жаль, что прохожие затопчут мои следы на том отрезанном от участка уголке.*

Но я-то имел, казалось мне, право на ностальгию — мне ничего, кроме старости не за горами и внезапных заболеваний, не грозило.

Что же так задело отца — почему это, а не что-то другое показалось ему последней каплей унижения?

Моего друга, великого боксера Виктора Агеева, сорвавшего из-за драки в кафе поездку на Олимпийские игры в Мехико, подвергли целой серии проработок и наказаний.

Начальники спортивного клуба армии (да и в министерстве спорта) были на него чрезвычайно злы. На то, что он выиграет золотую медаль, очень рассчитывали — и теперь чуть ли не каждый день устраивали собрания, где его чего-нибудь лишали. Лишили звания заслуженного мастера спорта. Отняли офицерское звание, а затем и вообще выгнали из армейского спорта. И, когда Агеев уже думал, что отнимать у него больше нечего и нечего его лишать, вызвали на комсомольское собрание клуба. Агееву исполнилось двадцать семь, крайний предел пребывания в комсомоле, — и кроме того, по легкомыслию он вообще забыл, что состоит в комсомоле. Но когда, это он мне сам рассказывал, объявили, что из комсомола он исключен, Агеев неожиданно для себя заплакал. Так ему стало жалко себя, все на свете (и совершенно ненужный ему комсомол) потерявшего.

Может быть, и с отцом в связи со вселением Маршака на нашу территорию творилось что-то подобное.

Я читал — через много лет, конечно, — запись отца, какое

бессилие он чувствует из-за происходящего. Он чувствовал себя никем против Маршака. Но ведь дело шло к тому, чтобы и вообще стать никем — и засомневаться: а был ли кем-то? До всех партийных кар.

Не могу судить, как относился отец к Маршаку до начала строительства дачи для Самуила Яковлевича. Но замечал, что о Маршаке он всегда говорит несколько иронически.

Был такой детский поэт Валентин Дмитриевич Берестов — его теперь считают классиком литературы для детей и вспоминают чаще, чем отца.

В конце пятидесятых он нередко бывал у нас в доме и держался с отцом как с мэтром. Это не очень объяснимо, поскольку Валя (у нас в семье Валентина Дмитриевича всегда называли Валей) был признанным вундеркиндом. В Ташкенте времен войны его водили и к Ахматовой, и к Алексею Толстому, и к Чуковскому. И все Валю хвалили, принимали участие в судьбе вундеркинда. Валя вспоминал, как на каком-то собрании его увидел Алексей Толстой и, наставив толстый палец, произнес, словно приказал: "Много читать, много знать, много видеть". Валя также рассказывал, что испугался — и на долгое время перестал сочинять стихи, — когда услышал, что знаменитый кинорежиссер Всеволод Пудовкин сказал, что этот мальчик Валя Берестов будет как Пушкин.

Стихи для меня дело темное.

Не берусь судить, почему талантливые стихи вундеркинда вместо стихов для всех превратились в исключительно детские.

Правда, слава детских поэтов — того же Маршака, Чуковского, Барто и Михалкова — не считалась долгое время меньше, чем слава поэтов для взрослых. Но не потому ли, что не писавших стихов для детей Мандельштама, Цветаеву, Ахматову, Арсения Тарковского и Марию Петровых не печатали вовсе?

У Маршака тем не менее печатали всё — он еще и пьесы писал.

Валю Берестова, однако, Маршак интересовал и как переводчик.

Мне году в пятьдесят седьмом или пятьдесят восьмом, когда случайно зимой (я уже студентом был) оказался на даче, пришлось стать свидетелем такой сцены.

Валя пришел к отцу прочесть свою филологическую работу о переводе Маршаком какого-то сонета Шекспира. Берестов подробно исследовал этот перевод.

До сих пор не понимаю, почему Валентин Дмитриевич выбрал наихудший вариант слушателя-эксперта для подобной работы. Почему не пошел, скажем, к Чуковскому — Валя был принят у Корнея Ивановича в память о Ташкенте.

Я понимаю, что у Корнея Ивановича к Маршаку было сложное

отношение. Но Чуковский уж точно читал сонет Шекспира в оригинале — и знал варианты перевода или думал о возможностях переводчиков, если захотят они коснуться такой сложной задачи.

Отец, конечно, ни в чьем переводе этого сонета не читал и вообще о нем не слышал.

К тому же Валя рассмешил его комментарием, что Самуил Яковлевич крайне неохотно делится черновыми вариантами перевода, а то и не показывает их никому вовсе.

Отец возразил: старый кокет (как назвал он Маршака) покажет тебе, Валя, что угодно — хоть подштанники.

Тем не менее Валя сумел-таки увлечь отца своим исследованием. Отец не меньше часа слушал чтение внимательно, но все же в одном месте не удержался от замечания: "А вот здесь уже ученый заврался". Хотя как он мог проверить ученого, понятия не имея о предмете исследования?

Дослушав до конца, отец сказал: "Потратить столько ума, таланта, образования на такую чепуху. Я, Валя, удивляюсь".

Примерно тогда же или чуть попозже, году в пятьдесят девятом, Сергей Сергеевич Смирнов (он тогда редактировал "Литературную газету") сидел у нас в гостях — и вдруг спохватился, что идет у них в номер какой-то перевод или статья Маршака, а он забыл позвонить старику с похвалами, неловко получится.

Сергей Сергеевич тут же набрал номер Маршака — сказал ему все положенные слова, но и, как человек воспитанный, добавил: "Я вам звоню от Павла Филипповича Нилина, он передает вам большой привет". И, когда повесил трубку, смешно (недаром же подружился с Ираклием Андрониковым) изобразил, как забурчал старик в трубку: "Да, да… Нилин… хороший писатель, хороший… юмор, язык…"

Но отец и после переданных Сергеем Сергеевичем похвал своего иронического отношения к Маршаку не изменил.

И неужели только из-за дачи, в которую, между прочим, Самуил Яковлевич так и не переехал?

Дачу строили долго — и поселился в ней Николай Семенович Тихонов.

Когда Николая Алексеевича Заболоцкого довели пытками до психиатрической больницы, из него выбивали показания на Тихонова, остававшегося на свободе — и не просто остававшегося, но и возглавившего в конце войны писательское министерство.

Ленинградцев наказывали во многом из-за Кирова, убитого, как считается, по приказу Сталина, который видел в нем главного конкурента. Убийством Кирова товарищ Сталин воспользовался,

чтобы разделаться со своими мнимыми и реальными (ну неужели всех питерских начальников он устраивал?) соперниками в Ленинграде.

Но Кирова он после убийства канонизировал. Помню фразу из очерка Катаева: "Я видел Сталина, плачущего у гроба Кирова".

Во время войны Николай Семенович Тихонов сочинил поэму "Киров с нами", где покойный помогает городу выстоять в блокаде (Заболоцкий отбывал в это время ссылку на Севере): "в каких-то там ночах Ленинграда [цитирую по памяти, приблизительно] по городу Киров идет… И красное знамя над ними [теми, кого ведет убитый в тридцать четвертом году Киров], как знамя Победы, встает. И Кирова грозное имя на бой ленинградцев ведет". Сталин оценил поэму премией своего имени первой степени. Но у Ахматовой, при всех насильственных поправках, заметно поталантливее: "Живые с мертвыми, для славы мертвых нет". У нее было лучше, чем "для славы" ("для славы" ей вписали). Для чего? "Для чести?" — "Для Бога".

Должность министра Николай Семенович потерял все равно из-за земляков. Постановлением о журналах "Звезда" и "Ленинград" били по Ленинградскому обкому, а еще точнее — по Кузнецову и Вознесенскому, переведенным в Москву, чтобы столкнуть с Берией и Маленковым (но Берия с Маленковым в придворной борьбе оказались искушеннее и подорвали у Сталина доверие к питерцам).

Тихонов снова вышел из-под боя — из министров наладили, но для борьбы за мир во всем мире (белыми нитками шитые сети шпионажа) он пригодился.

Когда прохожу мимо тихоновской дачи — я теперь быстро хожу для сохранения остатков здоровья, — вспоминаю запыхавшегося, краснолицего Николая Семеновича, возвращавшегося с посохом с многокилометровой прогулки. На свои фотографии времен блокады — впалые щеки на сильном чертами лице, красноармейская каска — он, располневший (болезнь сердца, очевидно), похож не был.

4

Заболоцкий вовремя не уехал из Ленинграда.

И в Переделкино попал после всего перенесенного — не дачником, как я уже сказал, а по бездомности.

Я говорил, кажется, что из всех послевоенных годов всего лучше помню зимы. Народу мало, снегу много — каждый из встреченных на кругу входит в сознание из белого фона

отчетливо. Детей почти нет. Погруженный в себя (глубже некуда), рассматриваю взрослых, думаю о них подолгу, хочу представить, как вырасту таким же (или все-таки другим?) взрослым.

Зима сорок седьмого — моя последняя дошкольная зима, когда зимую за городом.

И Заболоцкого вижу в памяти той зимой или предыдущей, они, в общем-то, похожи, эти зимы после войны. Зимы ожидания того, что не скажешь, что не наступило совсем, — наступило отчасти, но ведь наступило, а для того же Николая Алексеевича Заболоцкого могло и не наступить; хотя было же и лето, когда семья его окучивала и копала картошку (хорошо знакомое мне по детству занятие) — рассчитывала на картошку.

Вернее, и на картошку — тоже.

Понимаю, почему у меня в связи с Заболоцким зимний мотив всего настойчивее: на мою детскую зиму проецируется вполне взрослая зима из поэмы Семена Липкина “Вячеславу. Жизнь переделкинская”.

И я со своей зимой должен посторониться. Липкин близко знал Заболоцкого, а моих родителей Заболоцкий, живший до войны в Ленинграде, и знать не мог. И вряд ли они его как тип людей заинтересовали бы в то время — его, обитателя чужой дачи.

Эпизод с Заболоцким в поэме Липкина — свидетельство страха, ставившего возвращенного из ссылки поэта на грань умопомешательства.

Липкин тоже в ту зиму жил на чьей-то даче: в Москве четверо (или тогда их было меньше?) детей, тесно, работать над переводами негде.

Вместе с Заболоцким они отправились как-то в Москву — электричек еще не было, ехали на паровике, шедшем в два раза дольше. С портфелями, набитыми рукописями, походили по издательствам. Николаю Алексеевичу, видимо, какую-то работу переводческую дать пообещали, он казался Липкину веселым, оживленным. Собрались обратно. Вдруг Заболоцкий, когда выходил в тамбур покурить, увидел чьи-то ноги в светлых бурках — и тут же решил, что следят за ним: человек в бурках не может быть не оттуда, откуда приходят забирать. Сейчас заберут — конечно же, бурки сели в поезд с единственной целью: снова арестовать Заболоцкого. Липкину, тогда еще не автору философской поэмы, а такому же, как Николай Алексеевич, человеку, правда, не сидевшему пока, проносило, передался ужас спутника.

Они вышли из поезда, шли по снегу мимо деревни Лукино —

и вслушивались в скрип бурок по тому же снегу — теперь у Заболоцкого уже не было сомнений, что не дойти ему до жилья. Но бурки отстали — бурки носили тогда не только работники органов. А может, это был и работник органов, но не на поэта, отбывшего свой срок, нацеленный.

5

Заболоцкий жил в дачном поселке словно на ощупь.

Жизнь в писательском мире за годы его отсутствия сильно изменилась. Например, молодой поэт Константин Симонов весь свой немыслимый взлет совершил, пока обэриут Николай Заболоцкий вкалывал на Севере кайлом и спасся от непосильного труда старой профессией чертежника. И вот теперь они квартируют в одном дачном поселке — Симонов о покупке собственной дачи подумывает, а некогда знаменитый автор “Столбцов” — в принадлежащей Литфонду даче на птичьих правах.

Симонов командирован в Америку. А Заболоцкий на паровике добирается до Москвы — и ходит по издательствам в качестве просителя. Притом что, конечно же, не бедный он родственник в литературе — перевел в ссылке “Слово о полку Игореве”. Но литература теперь совсем другая. Что понадобится ей в данную минуту, не всегда точно знает даже Фадеев (Фадеев, кстати, помог и с публикацией “Слова”, и с квартирой в Москве, на что семья Заболоцкого и надеяться не могла).

Заболоцкий держится в Переделкине определенной компании — компании своих, своего, как ему кажется, роду-племени.

Это несколько позднее, когда дела чуть-чуть наладятся и забрезжит перспектива все-таки жить, остаться на свободе, заработать что-то переводами с грузинского (или с какого языка предложат), он позволит себе встречи в Переделкине на другом уже уровне: станет бывать у Пастернака, в компании с Пастернаком напьется на даче Погодина…

Живет зимой на отцовской даче (Корней Иванович тогда еще проводил зимы в городе) Николай Корнеевич Чуковский, у него трое детей, а квартиры, где бы всей семьей разместиться, пока нет. Он пишет роман на материале, накопленном за войну, — был корреспондентом в морской авиации. К середине пятидесятых роман “Балтийское небо” сделает Чуковского-младшего известным и богатым, а в данную минуту с деньгами плохо: будущий роман (и семью) Николай Корнеевич кормит переводами.

Они пьют водку на даче Чуковского — для большинства товарищей по цеху и широкой публики все трое переводчики, и только: Липкин, Заболоцкий и Николай Корнеевич.

К ним на бедный огонек заглядывает Фадеев.

Фадеев сменил Тихонова на должности министра. Но для обитателей Переделкина — тем более пустынного, зимнего — он хочет оставаться (в чем и шарм его министерский) таким же, как они, дачником.

Заболоцкий, Липкин и Чуковский-младший чем-то ему интересны — он же не считает, что писателем быть перестал, до успеха “Молодой гвардии” обитателям чужих дач никогда не дотянуться. Они ему, я думаю, даже симпатичны. Они образованнее большинства литературных генералов, с которыми министр встречается ежедневно (и тоже, представьте себе, пьет и дружит, вместе песни поют в застолье, стихи читают). Эти трое, которых Фадеев, не исключаю, жалеет в их неприкаянности, талантливее, чем те, кто преуспевает; но не в нужную сторону таланты их направлены, не будет талантам такого направления помогать министр.

Он чем-то может им помочь в смысле некоторого улучшения быта — и ведь помог. Но не может Фадеев — и хочет ли? не по силам, не по власти даже и ему — перевести этих симпатичных литературных тружеников в иной общественный регистр, где дают ордена и квартиры, награждают лауреатскими значками.

Он, впрочем, понимает, что эти бедные люди любым наградам предпочли бы публикацию того, что пишут они не как поденщики, а для души — в чем ищут (а вдруг и нашли) свое предназначение. Но опубликовать хотя бы строчку из недозволенного (и сам министр не всегда понимает, отчего же) Фадееву неимоверно труднее, чем поспособствовать награждению премией очередной бездарности.

Он называет Липкина Семой, как зовут Семена родные и самые близкие друзья. Ему вообще нравится называть писателей уменьшительными именами: Коля, Павлик, — он хочет быть для них своим.

Он в чем-то главном для многих достойных действительно писателей — действительно свой.

Но в чем-то главном — по иным совсем принципам — он должен быть чужим (до враждебности, на какую заводит сам себя) и для самых достойных.

Он уходит от них.

И они ему по-своему сочувствуют — они знают о безнадежности нынешней жизни как бы и не больше, чем он.

Они пишут — и безденежные, и бездомные, счастливее,

пожалуй, чем министр, которого уже заждался по-рояльному, по-концертному лакированный “ЗИС” длиной в пол-улицы Вишневского.

Отец мой когда-то сказал, что Фадеев производит впечатление человека, которого снаружи ждет привязанный конь.

Но ждал его не конь, а министерский “ЗИС” — и Фадеев был к нему во всех смыслах привязан.

6

В повествовании я не раз упоминал лауреатские значки.

Но до сорок седьмого года нагрудного знака не было — только диплом, похожий на плоскую коробку багрового цвета. На квартире Шостаковича я насчитал пять — они пачкой на тумбочке лежали — таких дипломов.

У бывшей нашей дачи было три входа: кроме парадного из сада через открытую веранду (дверь в большую комнату на моей памяти всегда оставалась запертой, в дом проходили через полуовал закрытой веранды) еще два черных (говорили обычно не “черный вход”, а “черный ход” — и мне это казалось таинственным, вроде входа в пещеру).

Сейчас черный ход со стороны ворот и гаража отрублен, дверь забита — впечатление, что оборвалась на полуслове важная для мемуаров фраза.

А я помню, как сидел на этом исчезнувшем крыльце, закрытом козырьком, — и ждал возвращения родителей из города, пока была у нас машина.

И вот на этом крыльце вернувшийся из города отец показал мне белую коробочку; открыл, а там — муаровой ленточкой внутрь медаль с выпуклым профилем Сталина.

С момента присвоения премии отцу прошло семь лет.

“Я эту медаль носить не буду, — сказал отец, — надену, когда будет их у меня три”.

У него не будет и второй.

А я про слова отца вспомню, когда приведет меня матушка на спектакль “Двенадцать месяцев” в Художественный театр зимой пятидесятого года.

У автора пьесы — Самуила Яковлевича Маршака (до полноты плотного, парадного, в очках) — на пиджаке и было ровно три сталинские премии.

Мы сидели в первом ряду, ногами на поперечный проход. Мимо прошел Сергей Михалков — и без выражения на лице

раскланялся с матушкой.

Мне в глаза бросилась уютная домашность его бело-синего свитера. Пиджак, широко открывавший обтянутые свитером грудь и живот, повис на плечах — и на лацкане две лауреатские медали; третья еще предстояла.

Отец вряд ли находился в лучшем материальном положении на тот момент, чем Заболоцкий и Николай Корнеевич, и точно в худшем, чем всегда неплохо зарабатывавший переводами Липкин.

Но у него, как сказали бы теперь, другой была ментальность.

Он сочинил пьесу для Малого театра, думал о государственных наградах, купил новую (вместо “эмки”) машину — крошечный синий “Москвич” (сколок с другого “опеля”, чем вскоре выпущенная “Победа”).

“Москвич” уже через год пришлось продать.

7

Сюжет не выдумка — тянется нитью из жизненной ткани, судьба ведет, о чем не сразу догадываешься. А ведь приучают к мысли, что сюжет надо сочинять.

Что угодно можно сочинить, кроме сюжета.

Зато сюжет может сочинить тебя — если сам себя сочинить не может.

Я живу сейчас на даче, где заканчивал свои дни Семен Израилевич Липкин.

Своих книг у нас здесь почти нет — сгорели при пожаре. Но у Липкина (и у жены его Инны Львовны Лиснянской) наверняка же должны быть стихи Заболоцкого. Нашел из наших обгоревших второй и третий тома с переводами, а первый (где стихи) кто-то зачитал.

Опять приходится полагаться на память, а при любой памяти (моя-то давно ослабла, особенно на стихи) обязательно стихотворную строчку чуточку изменяешь — даже у классиков. *Тут летчик у края аллеи покоится в ворохе лент, и мертвый пропеллер, белея, венчает его монумент.*

А от стихотворения, что захотел вспомнить дословно, у меня в душе вообще какой-то странный отпечаток — ощущение музыки от полузабытых слов и ощущение самой натуры, пропеллера на кладбище, образа из реальности (или реальности из образа) — единственного, что ассоциируется у меня детского и сегодняшнего с послевоенным Заболоцким в Переделкине (“черный бор” на месте

горизонта — это все же что-то другое, из догадок, а не ощущений).

Нет теперь этого пропеллера (в авиации он называется винтом — "от винта!") на склоне кладбища к дороге, тогда из булыжника.

Не помню, с какого года он исчез.

Есть ли ему на могиле, если она сохранилась, в чем сильно сомневаюсь, какая-то замена — обелиск или что-то в этом роде? Я не запомнил имени летчика (летчика — иначе бы почему не крест, а пропеллер?) на могиле — впервые увидел этот косо стоящий винт, когда еще читать не умел, значит, года в четыре, позже уже читал.

Был летчик родственником кого-то из местных, сам ли был из наших мест? В бою ли погиб или умер от ран?

Не разбился ли его самолет где-то неподалеку? Мне теперь кажется, что в детстве я видел обломки самолета. Или поверил, что видел сам, услышав чей-то рассказ, — со мною в детстве такое случалось часто (а сейчас только иногда).

Пропеллера нет. Неизвестно, сохранилась ли могила. А стихотворение, сочиненное бездомным тогда поэтом, останется, вне зависимости от того, отыщу ли я первый том.

8

Лето сорок седьмого года еще не завершилось, а мы оказались рядом — стали жить по соседству на Беговой — и с Заболоцким, и с Липкиным (с Липкиным я познакомился первого сентября сорок седьмого года во дворе школы № 146; тридцатисемилетний отец привел в первый класс восьмилетнего — а мне было семь — сына, мы проучились в одном классе с Яшей до конца школы).

Писателей в нашем поселке (городке Моссовета) было поменьше, чем в Переделкине или Лаврушинском, но тоже достаточно, если перевести на один квадратный метр.

Насчет "соседства" и "рядом" я чуть преувеличил: в московских ведомственных домах все обычно жили вместе, а наши писатели жили кто в одном корпусе, кто в друг от друга отстоящих, но отстоящих по-деревенски недалеко. Согласимся с тем, что на углу всем известной улицы и достаточно известного шоссе образовалось писательское поселение, родственное и Переделкину (и другим литературным местностям — Голицыну, Малеевке, Внукову, в будущем — Красной Пахре) и Лаврушинскому, а через промежутки лет — Ломоносовскому

проспекту, переулкам Безбожному (ныне Протопоповскому) и Архангельскому.

Дома на Беговой (и Хорошевке) снесли, но из истории их вычеркивать рано.

Я должен бы перечислить всех живших в городке Моссовета писателей. Но кого-то могу и пропустить. Кроме того, одни довольно скоро переместились в более престижные поселения типа Лаврушинского (а то и улицы Горького, как Чаковский), другие долго оставались на прежних местах; кто-то и умер, возможно, в этом городке, хотя — редкий случай — смертей не помню.

Поэтому говорить буду в основном о тех, кто имеет прямое отношение ко всему сюжету моих воспоминаний (сюжету всей моей жизни).

О Заболоцком и Липкине я уже сказал.

Теперь — о Василии Гроссмане. Мы жили с ним на одной лестничной площадке — он в квартире № 1, мы в квартире № 2.

Десять лет дверь в дверь.

Тем не менее о многом происходившем в квартире напротив я узнал много позднее — и узнаю до сих пор. Сейчас, конечно, новой информации не поступает и не поступит, но услышанное я могу сопоставлять с тем, что видел или слышал тогда.

Мы не дружили семьями. Притом моя матушка хороша была с женой Василия Семеновича Ольгой Михайловной.

Пасынок Гроссмана Федя Губер был намного старше меня. Но мы оба увлекались футболом.

Как-то раз я в Федино отсутствие напросился смотреть финал кубка за пятьдесят первый год. У нас телевизора не было, а у Гроссманов был КВН-49 (самая ранняя марка, с пузатой линзой). Телевизор стоял в кабинете Гроссмана, но футбол он со мною смотреть не стал (хотя помню, что рассказывал моему отцу, как был на каком-то футбольном матче с Федей) — ушел из кабинета. Я долго помнил какое-то дымящееся, клубящееся изображение на увеличенном линзой экране трибун стадиона “Динамо”. Мы жили в квартале от него, что придавало футболу обертональность, сказал бы я теперь.

О том же, что Василий Семенович, может быть, прервал работу над великим романом, я подумал только сейчас, когда засиделся допоздна за компьютером в келье лучшего друга Гроссмана Семена Израилевича. Хотя Гроссман писал тогда первую (менее, на мой взгляд, удачную, чем великую, повторяю, вторую) часть романа о войне.

У отца в дневнике за сорок восьмой год есть запись о том, что

в соседней квартире Гроссман пишет настоящий роман о войне, а другие, и он сам в том числе, ни на что подобное не решатся.

Отец старался быть к соседу объективным.

Гроссман, однако, отца не любил — и отец не любил Гроссмана.

Неприязненное отношение друг к другу ни в чем внешне не выражалось — при случайных встречах возле подъезда они о чем-нибудь незначащем разговаривали, как полагается соседям.

Отец, как бывший провинциал, соседству придавал большое значение. Когда хоронили Пастернака, он до кладбища не дошел, но на перекресток — проводить взглядом гроб — вышел. И, когда в каких-то партийных инстанциях его за это упрекнули, сказал, что в России принято прощаться с умершим соседом.

Сын Липкина кудрявый Яша в младших классах казался мне смешным. Но, когда, прервавшись на пятый, шестой и седьмой классы, мы снова стали учиться вместе, имел, могу сказать теперь, на меня влияние.

Я этому влиянию сопротивлялся, но чувствовал, что в разговорах про литературу он показывает знания, заметно превосходящие мои. Происходило нечто похожее на то, что было в Переделкине, когда я общался с Чукером — и на меня невольно проецировалась часть информации, наполнявшая дом Чуковских.

Но Корней Иванович Чуковский был знаменит на всю страну, а Семен Израилевич Липкин удивлял учителей в школе: вот, родитель ученика считается писателем, но никто из педагогов ничего из им сочиненного не читал и фамилии никогда не слышал. И я сердился, что знаю меньше Яши. Он к тому же и стихи писал, что заставляло меня считать себя чуть ли не Дантесом, когда девочке, в которую Липкин-младший был влюблен, я нравился больше.

Представление об Ахматовой у меня складывалось из фразы Маяковского “как будто влип в акварель Бенуа к каким-то стишкам Ахматовой”.

Но Яша сумел мне внушить, что Анна Ахматова — великий поэт.

И помню, какую испытал неловкость перед Яшей на Ордынке — уже после окончания школы, — когда привез он на такси Анну Андреевну, побывавшую с визитом у Липкина-старшего; и по тому, как я держался теперь с Ахматовой — запросто, как ордынский завсегдатай, — мой школьный товарищ понял, что я, вчера еще не понимавший, кто такая Ахматова, пролез в ее непосредственное окружение.

Я бывал у Липкиных дома — и Семен Израилевич

разговаривал со мною по-доброму, как с товарищем сына, но я чувствовал нутром, что дом, из которого этот товарищ пришел, ему не близок.

На новом месте отец не стал ближе к писательской среде, чем в послевоенном Переделкине. Там он хоть до войны промелькнул киношным успехом. Теперь же для собравшихся в построенном пленными немцами поселке он был никем, если всерьез, — и вдобавок чужим: поселенцы Беговой (угол с Хорошевским) между собою связаны были теснее, чем дачники Переделкина.

Если дачников ревниво соединял успех, то на Беговой собрались писатели, в основном обойденные судьбой. Взиравшие изнутри свысока на лауреатов-нуворишей. Правда, тот же Михаил Бубеннов (из лауреатов) смотрел на неудачников с иного высока — высока официального признания, не светившего тем, кто презирал его успешность.

Отца презирать было, в общем, не за что — он тоже был пострадавшим, но пострадавшим чужим, не вызывающим такого сочувствия, какое вызвали бы неприятности человека из своей среды.

Из писателей у нас дома вспомнить могу Ираклия Андроникова (он тогда еще не жил в Переделкине). Он изображал взрослым генерала-грузина, а мне подарил тоненькую книжечку — приложение к “Огоньку” с надписью что-то такое, что я — Нилин, сын другого Нилина, которому автор таки является верным другом. Отнесем надпись к привычным для Ираклия Луарсабовича преувеличениям: через два дня на улице он меня уже не узнал.

Наверняка заглядывали к нам и другие писатели. Авдеенко-старший как-то после гостей у нас взял меня с собой в Переделкино; я потому запомнил, что машина на Минском шоссе сломалась, и мы долго стояли в темноте.

Приятелей — писательских детей в Москве у меня, кроме Миши Державина, сына известного переводчика Владимира Державина (они жили дверь в дверь с Заболоцким), не было. С младшим Авдеенко мы теснее дружили в Переделкине — в Москве он мне больше покровительствовал, чем дружил.

И все равно какие-то сцены писательской жизни разворачивались передо мною — как и в Переделкине.

Я стою у подъезда нашего дома — и трое взрослых (отец, Казакевич и Шапиро) гонят меня домой надеть пальто: весна, но пока холодно; я сопротивляюсь, мне интересно слушать их разговор о присвоении Сталинских премий за нынешний год — их присваивали в апреле, по-моему.

Премию получил Эммануил Казакевич. Я слушаю его — он говорит, что за гараж платит сейчас триста рублей, но такая возможность у него есть. Слушаю Казакевича и думаю о переводчике с украинского Льве Шапиро — он в добротной кожаной куртке, когда отправляли меня за пальто, объяснил, что в своей куртке не мерзнет. Шапиро ничего не получил, но вступает в разговор не менее авторитетно, чем Казакевич.

Жил в нашем же корпусе, но в подъезде ближе к воротам прозаик Петр Иванович Замойский.

Замойского можно бы назвать предтечей более поздних деревенщиков. Писал он, правда, менее литературно, чем они.

Замойский был писателем уважаемым, но начальники знали, что Петр Иванович сильно выпивает — и в пьяном виде может позволить себе сказать лишнее.

Как-то шло собрание, где обсуждали Федора Панферова. Замойский попросил слово. Председательствующий оценил его внешний вид и сказал, что дебаты закончены — выступить можно только для справки. “Для справки, — согласился предтеча деревенщиков, — для справки я хочу сказать, что Федька Панферов — зараза и позор нашей литературы”.

В другой раз, когда был некомплект московских писателей, для встречи с писателями из Чувашии пригласили Замойского.

За банкетным столом он встал с бокалом в руке — и обратился к собравшимся с вопросом: кого приглашают, когда приехали англичане? И сам же ответил: “Фадеева, Леонова и Корнейчука”. “А когда французы? — продолжил он делиться своими наблюдениями. — Правильно, Катаев, Федор Гладков, Лев Никулин (списки, приведенные им, были подлиннее, я сократил их для скорости рассказа). Но, когда приехало какое-то говно — чуваши, — вспомнили и про Замойского”.

Шапиро тоже выпивал — и ему было не избежать встреч с Петром Ивановичем в деревяшке возле трамвайной остановки.

Шапиро жаловался, что Замойский обязательно начинает вести разговоры о литературе. А Шапиро бы не хотелось, чтобы собравшиеся пьяницы знали, что он — писатель.

И Шапиро, и Замойский умерли в конце пятидесятых.

Но, когда еду я электричкой в Москву и соседом моим оказывается случайно кто-нибудь причастный к литературной жизни, я всегда стесняюсь разговоров с ним, чувствуя, что невольно напоминаю себе покойного переводчика Шапиро.

Вместе с тем понимаю, что опасения мои напрасны — люди все более безразличны друг к другу и им совершенно все равно, кто ты — писатель, сын писателя или читатель. Хотя, пожалуй, читатель самим фактом своего существования мог бы еще кого-то

удивить.

Таких бессонниц, как сейчас, в детстве у меня не бывало. Но случалось, что не спалось. Особенно когда ждали какие-нибудь неприятности в школе — в школе, впрочем, они ждали меня всегда, скорее всего, не спалось по какой-то другой причине.

Ну не для того же поднялся я в такую рань, чтобы увидеть за окном моего соседа Гроссмана и папу моего соученика Липкина очень странно одетыми: в сапогах, телогрейках, кепках. Мало кому эта одежда (главным образом телогрейки) до такой степени не шла (Гроссман еще и в очках был). “Их же за шпионов могут принять”, — удивился отец, когда чуть позднее я рассказал ему о том, что видел на рассвете.

Лет через сорок из воспоминаний Семена Израилевича я узнал, что после неприятностей в пятьдесят втором году, связанных с критикой романа Гроссмана “За правое дело”, они во избежание возможного ареста решили исчезнуть из Москвы — и скрыться на даче у Липкина.

Липкин, похоже, не поверил, когда я рассказал, что был единственным свидетелем их конспиративного выхода из нашего подъезда часов в пять или шесть утра.

Про мою матушку Замойский думал, что это жена Гроссмана. И в пору, когда соседа нашего из матери в мать склоняли во всех газетах, при встречах обязательно говорил ей: “Передайте Василию, пусть держится”.

С Казакевичем отец неожиданно сошелся на почве навязанной тогда писателям в обязательном порядке политучебы — изучения марксистско-ленинской эстетики и тому подобного.

Почему-то очередное унижение развлекало отца. Или отвлекало от мучающих мыслей. Он рассказывал мне об этих занятиях — кто из писателей как успевает на занятиях — с увлечением пришедшего в первый класс школьника. И нашей семье как-то и веселее стало жить, а то уж слишком мрачной бывала обстановка в доме.

Отец в Москве ложился спать рано, как Корней Иванович, — сразу после девяти. Разве что читать ему на ночь, как Чуковскому, не требовалось, хотя спал он плохо, чутко. Появившийся телевизор работал в четверть звука.

И у меня закралось подозрение, что и одного класса, как отец уверял, он не заканчивал. Слишком смутно представлял себе учителей, уроки — поражали его вещи совсем уж элементарные. И я думаю со времени той политучебы, что ни в какую школу никогда он не ходил. Подозреваю, что моя бабушка Мария

Александровна, воспитательница детского дома, сама занималась с младшим сыном и научила его грамоте. В старшем сыне (гостям в довоенном Переделкине бабушка представляла его так: “А это старший брат Павла Филипповича Сеня”) угадывалось, что класса три он окончил, а в отце и первый класс не просматривался. Автором статьи об отце в литературной энциклопедии В. Кардиным, пожалуй, страсть отца к самообразованию сильно преувеличена. Я все же видел людей, сделавших себя, как, скажем, Александр Остапович Авдеенко, с детства трудившийся на шахте, а затем (уже автором нашумевшего романа “Я люблю”) машинистом, — количество прочитанных им книг и перечень проштудированных авторов меня всегда изумляли; ни я, ни сын Александра Остаповича, мой друг Саша, и четвертой части им прочитанного не осилили (с нашим-то университетским образованием). Про моего отца этого не скажешь. Но книги он любил — и собрал завидную для многих библиотеку. Себя он ни в коем случае не позиционировал ни рабочим, ни тем более крестьянином — и тесно общаться хотел только с такими людьми, как Чуковский или философ Асмус (наивный Валентин Фердинандович давал отцу книги Шопенгауэра — и отец искренне расстраивался, что смолоду этих книг не прочел, но не прочел он их и в старости).

На единственной подаренной отцу своей книжке Эммануил Генрихович Казакевич сделал надпись, связанную с их общим изучением основ марксизма-ленинизма.

Эммануил Генрихович был человеком ироничным, всей интеллигенцией цитируемым остроумцем. Но все же на Ленина ирония его не распространялась — чему залогом “Синяя тетрадь”, трудно тем не менее проходившая в печать.

С Казакевичами наша семья соседствовала еще дважды — в Переделкине и в Лаврушинском (на одной, между прочим, лестничной площадке). Но тех отношений, что вроде бы завязались на Беговой, не продолжилось.

Я был свидетелем их единственной встречи в электричке по дороге в Москву. Чувствовалось, что говорить им особенно не о чем. Отец все же спросил: “Чего это не на машине?” “Хочется иногда отдохнуть от общества своего шофера — и жены, в общем, тоже…”

Потом Казакевич тяжело заболел — и лежал (время от времени забираемый в клинику) на московской квартире. Когда совсем уж ему сделалось плохо, писатели установили круглосуточное дежурство возле больного. И моя матушка тоже ходила на такие дежурства.

Некоторое участие принял и я. Маргарита Иосифовна Алигер

попросила помочь нести Казакевича в карету скорой помощи (почему-то мне сейчас кажется, что нести Эммануила Генриховича надо было вместе со специальной кроватью, одолженной в клинике).

У меня сидел приятель — двоюродный брат Миши и Бори Ардовых по прозвищу Зиба (от фамилии Зигберман), врач по профессии. И мы вместе с Андреем (настоящее имя Зибы) вошли в комнату к больному.

У Казакевича было желтое, как у японца, лицо — и он смотрел на меня иронически-скорбными глазами: догадывался, что, раз позвали на помощь соседского мальчика (мне было двадцать два года), дело плохо.

На лестнице начались препирательства между родными и медиками: родные запрещали нести ногами вперед, а медики шипели, что наклон койки при спуске по ступенькам вниз для головы (если нести вперед головою) не слишком хорошо. Больной что-то сострил насчет того, что скользить по наклонной плоскости он не привык.

У Заболоцкого кроме сына Никиты (с которым, студентом второго курса, я расстался в трамвае на Пресне, чтобы через много лет встретиться как старик со стариком, но я все равно был младшим стариком) была прелестная дочь Наташа. Она очень нравилась моей матушке, и матушке хотелось, чтобы Наташа вышла замуж за пасынка Гроссмана Федю (Федя с Наташей, по моим наблюдениям, ходили однажды вместе в театр).

Но судьба приберегала нам сюжет, связанный с двумя этими семьями, поинтереснее.

Вдруг открылось, что Екатерина Васильевна, жена Заболоцкого (“лучшая женщина из всех, каких я встречал”, — сказал о ней сказочник Евгений Шварц), и Василий Семенович любят друг друга настолько, что в своих прежних семьях оставаться дольше не могут.

Все нюансы этой любви переданы в романе “Жизнь и судьба”.

Скажу лишь о своих личных впечатлениях. Я, находившийся в полной власти эгоизма юности, впервые столкнулся с любовью взрослых (иначе не воспринимал Екатерину Васильевну и Василия Семеновича) людей. Смеха она у меня не вызывала, как у домработницы Гроссманов немолодой женщины из деревни, тоже Наташи (“Мне, что ли, влюбиться”, — шутила она, — наши кухни соединял остро пахнувший кошками тамбур черного хода). Но известное недоумение я испытывал: если прелесть Екатерины Васильевны была и для меня в мои годы очевидна, то привлекательность Василия Семеновича стала яснее только после

того, как сыграл его в Штруме Сергей Маковецкий, загримированный под Гроссмана.

А Наташа Заболоцкая вышла на всю жизнь замуж за сына Вениамина Каверина, друга отца (семья Заболоцких жила в Переделкине также и на даче у Кавериных).

Сына Каверина, Николая Вениаминовича (ныне академика), я всегда называл мысленно Килькой, будучи с ним в сущности незнакомым. В детстве я был настолько младше, что он меня и не запомнил. Я же видел Кильку (прозванного так, по-моему, за умение хорошо плавать в нашем Самаринском пруду) на участке у Чуковских, куда он приходил играть в какие-то игры для старших к своему тезке Гульке.

Мы жили с Наташей и Килькой по соседству в кооперативных домах около метро “Аэропорт”. А последние лет восемнадцать совсем неподалеку и в дачном поселке — нередко встречались по дороге на электричку. Иногда раскланивались, иногда — по моей дикости (делал вид, что задумался) — и нет.

Года два назад мы одновременно с Килькой лежали в пятидесятой больнице — и я занял ту же отдельную палату, из которой академик выписался.

И вот на днях я узнал, что они с женой уехали в Америку — больше не увидимся.

Ольга Михайловна после ухода Василия Семеновича к Екатерине Васильевне испытывала материальные трудности, а наша семья после успеха отцовской “Жестокости” жила теперь получше, деньги появились — и моя матушка, чтобы поддержать Ольгу Михайловну, купила у нее не очень нам и нужный письменный стол — мы переезжали на Лаврушинский.

Помню, как вносили этот стол в самую маленькую из комнат — и отец сказал грузчикам, что за этим столом работал хороший писатель.

Сам отец за чужим столом ничего не писал. Он и жил по большей части в Переделкине, где был у него стол попроще — письменный стол Василия Семеновича был настоящий писательский, на тяжелых тумбах, вмещавших длинные ящики, с тяжелой крышкой, выстланный темно-синей фланелью.

Я завидую детям, умеющим — или не в умении дело? — безоглядно — и главное, на людях — любить своих родителей.

Сказать, что я не любил отца и мать, не решаюсь: снятся же они мне иногда — и я потом долго пытаюсь разгадать смысл приснившегося.

Но на людях я отца с матерью обычно стеснялся.

Стеснялся того, что говорят они и как, — мне особенно не нравилось, как они говорят. Стиль их жизни — стиль жизни семьи, куда и я входил, — не нравился мне тоже.

Часто я сержусь на младшего брата, когда в манере его речи (в его лексике) улавливаю сходство с матерью и отцом.

Сам я иначе научился говорить — и жить вообще старался иначе.

Я не только стеснялся своих родителей, но и наедине с ними относился к ним чаще всего критически.

Когда известность отца постепенно схлынула, я стал избегать в компаниях упоминать о нем — и чувствовал себя в какой-то мере предателем, когда друзья мои, дети писателей, говорили о своих родителях с гордостью (мне оставалось утешать себя тем, что я объективнее других).

Я на самом деле не гордился ни отцом, ни матерью (известности, в общем, не узнавшей, а для меня успех много значит, за что постоянно осуждаем бываю младшим братом).

Я придерживаюсь — внешне, во всяком случае — установленной иерархии, даже если на виду у всех люди незначительные и мне никак не импонирующие.

Мне не нравилась у отца самая известная его вещь (кроме последней трети страницы), мне нравился рассказ, о котором почти никто не слышал.

Но я себе, однако, представлял и подлинные возможности отца (о которых, кроме, кажется, матушки, никто и не знал) — и до последнего дня его жизни надеялся, что он их проявит.

Но, раз того, что ожидал я, не случилось, считаю самым правильным принять эту данность как данность — и не искать никаких подпорок известности. И думаю, что отец, всегда говоривший: “Писатель живет только за собственный счет”, не осудил бы меня и брата, что ради искусственного продолжения известности отца ни он, ни я пальцем о палец не ударили.

В роскошном и неподъемном фолианте “Переделкино” дочки молочницы отцу уделено пять строчек, четыре из которых занимает слегка перевранная эпиграмма, а на пятой сообщение, что был он секретарем писательской партийной организации (и сказано это в контексте, который вызывает предположение, что эпиграмма протестом против его секретарства и вызвана).

Уверен, однако, что выдумка про секретаря — не со зла, а утверждение здесь же, что был отец обходительнейшим и милейшим человеком, — по незнанию. Не был он ни тем ни другим.

Но чем секретарь парткома лучше, чем “певец угрозыска”?

“Певец угрозыска” возникает из той же (где про страхи Заболоцкого) поэмы Семена Липкина “Жизнь переделкинская” (с посвящением прямо в заголовке “Вячеславу”; кто не поймет — Коме Иванову).

Где дочь молочницы и где Семен Израилевич Липкин — виднейший поэт, классик перевода, философ, мудрец и признанный гуру?

Но сходятся они в напраслине, возведенной на одну и ту же фигуру — бывшего арендатора дачи № 3 по улице Тренева.

Мне понятен благородный порыв Семена Израилевича.

Пильняка арестовали; тонко чувствующий Пастернак переехал на другую улицу, чтобы не видеть чуждых ему людей, что въедут в дачу репрессированного почти классика.

И въехал в дачу действительно человек для Липкина и Пастернака чужой.

Все вроде бы так. Но вот как звучит вся строчка: “Сюда заявится порою книжный крот или славистка из Канады. Но здесь теперь певец угрозыска живет [жил, вернее: завершение поэмы приходится на восемьдесят второй год, а мой отец умер осенью восемьдесят первого] и лает мопс из-за ограды”.

Я вполне понимаю (и не могу не уважать) высоту требований Семена Израилевича к литературе, которым проза отца не соответствует.

Какие могут быть у меня аргументы в защиту родственника?

Сам отец записал у себя в дневнике еще жестче. Он прочел в газете “Литература и жизнь” выступления новых писателей — и замечает: “Наверное, эти ребята не станут писателями, как не стали ими и мы. Не по своей вине”.

Насчет вины, конечно, можно и поспорить — что значит “не своей”? И своей, кто-нибудь обязательно поправит, тоже.

Ну не смог отец целиком посвятить себя самокритике — и кто бы смог целиком?

И все же насчет “певца”. Уверен ли Семен Израилевич, что Америка, Франция и еще ряд капиталистических стран стали бы в первый же после публикации год переводить повесть, если бы она воспевала советский уголовный розыск, а всемирно известный университет — издавать ее и по-русски (для студентов, изучающих русский язык)?

Теперь про мопса. Матушку мою особенно задело, что мопсом назван был тот самый приблудный пес Боцман, на которого хотела напасть огромная собака Александра Чаковского.

Матушка права. Мопс — признак буржуазного образа жизни, которого семья наша никогда не придерживалась.

Матушка жила с Липкиными в одном подъезде кооперативного дома на “Аэропорте”. И все хотела поговорить про мопса, но так и не собралась.

Зря не собралась. Возможно, Семен Израилевич рассказал бы ей то, что через много лет рассказал мне.

Оказывается, Гроссман высоко ставил литературный дар нашей матушки — и в разговорах с другом Семеном вспоминал, как в матушкином рассказе героиня говорит: что она только ни делала, чтобы понравиться мужчине, — “я улыбалась”.

Сказав бегло о месте, какое к моменту публикации поэмы стал занимать в литературе Семен Израилевич Липкин, представил себе смех отца, услышь он о том, что Липкин на сегодня один из наиболее чтимых поэтов России.

Про Липкина он говорил, что тот напоминает ему бальзаковского персонажа (не уточнив, из какого романа) — вот и отец проявил начитанность. Недаром же переводчик Михаил Кудимов в очереди за фруктовым заказом в голодное начало девяностых сказал мне, что “Павел Филиппович очень ведь неплохо знал иностранную литературу”. (“Разве что иностранную”, — подумал я про себя, но перечить не стал.)

Семен Израилевич не мог знать про сходство, приписываемое ему отцом с персонажем Оноре де… Но что-то почувствовать, наверное, мог.

Семья Липкиных (старая, точнее, его семья до женитьбы на Инне Лиснянской — “крупном, значительном поэте”, как надписал ей свою книгу Семен Израилевич) переехала к метро “Аэропорт” в тот год, когда мы оканчивали школу. И Яша пригласил нас посмотреть их новую четырехкомнатную квартиру в кооперативном доме.

Тогда я впервые и попал на “Аэропорт”, где прожил в дальнейшем почти тридцать лет.

Больше всех в новой квартире мне понравился Семен Израилевич. Не успели мы сесть за стол, как он спросил сына: “Что же ты, Яша, не запасся вином, чтобы угостить товарищей?” Портвейном-то умный Яша запасся, но не решался без отцовской санкции поставить бутылки на стол.

Нравился мне Липкин-старший на тех школьных собраниях, когда звали на них не только родителей, но и детей. Все родители дружно набрасывались на нас. А Семен Израилевич, бывало, и защищал.

Соединившись с Инной Львовной, Липкин переехал в другой дом — в новый кооператив “Драматург”, где поселились и мои родители.

Я часто встречал чету Липкиных-Лиснянских на улицах Усиевича и Красноармейской — и Семен Израилевич задавал мне иногда какой-нибудь пустяковый вопрос: катаюсь ли я на роликовых коньках, например.

Инна Львовна меня обычно не замечала. Но я помнил, что она была у нас в гостях на матушкином дне рождения, приехала не с Липкиным (его в ее жизни еще не было), а с двумя мужчинами-писателями, чьих фамилий сейчас и незачем называть, и не помню я, кто был второй.

Потом — ближе к девяностым и в девяностые — я стал чаще жить в ДТ, а Семен Израилевич с Инной Львовной останавливались там постоянно.

Я уже прочел поэму про жизнь переделкинскую. Но никаких особо злых чувств Семен Израилевич во мне не вызывал. Я только шутил со своими приятелями, что Инна Львовна смотрит на меня всегда с такой настороженностью, как будто это мой отец назвал Семена Израилевича певцом того, чего певцом Семен Израилевич не является.

Семен Израилевич, однако, в мимолетных разговорах выказывал мне едва ли не приязнь. Возможно, мы просто привыкать стали друг к другу, как непременные постояльцы.

Все изменилось — вернее, не могло не измениться, — когда я неожиданно для Инны Львовны и Семена Израилевича (а может быть, и для других неожиданно) женился на Наталье Борисовне Ивановой.

Я переехал к Наталье Борисовне на улицу Довженко, дом 4, а скоро в ранее занимаемую знаменитым летчиком Марком Галлаем дачу № 6 переехали после его смерти Липкины-Лиснянские.

Наталья часто бывала у них, а я сопровождать ее воздерживался: понимал, что для них я остаюсь чужим, а дежурную любезность не люблю — человек я не то чтобы во всем прямой, но уж не фальшивый точно.

Но Липкины-Лиснянские приходили и к Наталье Борисовне в гости — и мне поневоле приходилось изображать мужа-хозяина. Я изображал, не вступая тем не менее в разговоры — гости бы и удивились, заговори я на интересующие их темы. Молчал, как правило, по нескольку часов их визита.

Я вообще из тех восемнадцати лет, что живу с Натальей Борисовной, промолчал с ее гостями лет пятнадцать — гости Натальины изумились бы, узнав, что в своей компании я никогда не умолкаю — и на всех днях рождения и похоронах моих друзей неизменный тамада.

На моем шестидесятилетии Семен Израилевич, сказав несколько похвальных слов о юбиляре, заметил между прочим, что видит во мне отца.

Я вспомнил, что однажды слышал подобное от Ахматовой. Но там был понятен посыл — Анна Андреевна взяла меня под защиту. Мама братьев Ардовых Нина Антоновна достаточно добродушно сказала о моем сходстве с матушкой, желая подчеркнуть мою, с ее точки зрения, внешнюю непривлекательность. Нине Антоновне вообще-то девять мужчин из десяти представлялись красавцами, но для меня она решила сделать исключение. И Анна Андреевна, считавшая недопустимым осуждать кого-либо за внешность (при мне она дала резкую отповедь Маргарите Алигер, что-то критическое заметившей про Женю Чуковского), сказала в мою защиту, что видит во мне отца. Отец, видимо, произвел на нее хорошее впечатление, когда приходил однажды на Ордынку.

Но, когда я услышал, что отца во мне видит и Семен Израилевич, очень захотелось спросить: “Какого отца? Певца угрозыска?”

Конечно, ничего я спрашивать не стал. И на прощание Липкин меня отечески поцеловал.

2001-й, по-моему, год мы встречали с Натальей на даче у Липкиных — в той самой вместительной кухне, куда сейчас я пойду заваривать кофе, чтобы не заснуть.

За всех собравшихся по очереди выпили. Наступила очередь тоста за детей. Инна Львовна спохватилась, видимо, что за меня не пили, — и сказала, что тост этот и за Сашу (за меня): “Он же сущий ребенок”.

В это время где-то в глубине дачи зазвонил телефон — и Семен Израилевич предположил, что предстоит ему разговор с Яшей: “Самый трудный мой ребенок”.

Один “сущий ребенок” сидит за столом вместе со взрослыми, а другой ребенок (его одноклассник) где-то там балбесничает — огорчает папу.

С Яшей — теперь на территории его папы и мачехи — я встретился на дне рождения Семена Израилевича. И почувствовал ту же неловкость, как на Ордынке когда-то из-за видимой близости к Ахматовой.

Но что я мог изменить в разнице наших судеб?

Сказать, что я не так уж далеко ушел от него? А если ушел?

Мне со временем удалось сложить отношения и с Инной Львовной.

И вот сейчас я провожу вечера среди множества ее портретов

в двух смежных внутренних комнатах. Но сию минуту я сижу в келье Семена Израилевича — пишу за его старинным бюро.

Инна Львовна приютила нас у себя после пожара.

Действительно, “жизнь переделкинская”.

Добавить бы к названию три соответствующих слова.

Но у нас теперь с этим строго.

Глава вторая

1

Жил в ДТ известный тогда фельетонист Леонид Лиходеев. Он ценил Сережу Козлова (Сережин вкус) чрезвычайно высоко. Говорил, что есть только два мнения, с которыми он безоговорочно считается: жены Надежды Андреевны (она работала каким-то начальником на телевидении) и Козлова.

Это не помешало фельетонисту рассказать Сереже, что они его вчера вспомнили, когда накануне вечером за окном кто-то зашуршал в осенних листьях… “Еж?” — спросил Козлов с кислым пониманием.

“Ежик в тумане” — сказка, сочиненная почти сорок лет назад Сережей Козловым.

По этой сказке поставлен мультфильм, который видел в нашей стране каждый.

И каждый, кто даже не читал этой сказки, слышал произносимый за кадром голосом Алексея Баталова текст, написанный Сережей.

Но Козлову не всегда нравилось, когда ассоциировали его впрямую с им же сочиненным Ежиком. Он чувствовал, что персонаж затмевает в общем сознании автора: Ежика знают лучше, чем Сергея Козлова.

Вечер, возле старого корпуса собрались мы — молодые, если сравнивать с большинством писателей, живших летом в ДТ, люди, — и все проходившие мимо поглядывали на компанию нашу с завистью, такими веселыми мы всем казались.

Лиходеев выглядел усталым и старым (хотя был на десять лет моложе, чем я сейчас). По-моему, и ногами по асфальту шаркал (чего я себе до сих пор не позволяю).

Он вышел чуть ли не последним с ужина в старом корпусе — и теперь ему бы прямиком идти по заасфальтированной дорожке к тому самому коттеджу, где, как ошибочно и долго считал я, жил после войны Заболоцкий. Лиходеев, однако, сворачивает вправо, идет к нам (мы сидим на лавочке ближе к центральным воротам) и спрашивает: “Скажите, ребята, вы меня уважаете?” Мы улыбаемся в ожидании продолжения шутки — куда фельетонист повернет? “Скажите, чтобы я шел работать”.

Мы сказали. Он, шаркая, идет, приосаниваясь на ходу, в сторону коттеджа (его номер на втором этаже).

Лиходеев пишет роман. Славы фельетониста ему мало. В

изменившихся с приходом Горбачева временах ему удается публицистика, он колумнист в свободомыслящих “Московских новостях”, он что-то историческое написал про Бухарина.

Но самое главное для него сейчас — огромный роман.

На роман — вернее, на перемену участи — он делает главную ставку.

Дает всем понять, что пишет роман, небывалый по масштабу.

Мы — все еще молодые, как считаем сами, — не особенно верим в то, что человек в его возрасте способен на второй маневр. Публицистика фельетонисту, может быть, и близка, но вот насчет романа… Читателю известно имя Лиходеева — и он ждет от мэтра этого жанра сатиры и юмора.

Тем не менее Лиходеев нам симпатичен — никто не желает ему неудачи, просто не верит в его удачу.

Работает он на износ.

Дело идет к зиме, холодно, но снег еще не выпал. Суббота.

Из окна своего номера — я живу в старом корпусе — вижу, как осторожно идет по бордюру знаменитый специалист по Шекспиру профессор Аникст.

Минут через сорок поднимаюсь на второй этаж в библиотеку.

С дежурной шуткой обращаюсь к красавице библиотекарше Марине. Она с некоторым недоумением смотрит на меня — и глазами показывает, чтобы я обернулся. И я оборачиваюсь.

На составленных в ряд стульях, накрытый развернутыми газетами, кто-то лежит — наружу только ботинки.

За обедом узнаю, что Аникст поднялся на второй этаж, чтобы срочно прочесть статью Рожновского (фамилию запомнил, поскольку он немецкую литературу преподавал у нас на факультете, даже внешне его помнил). Что-то в статье Рожновского (она была опубликована в газете “Советская Россия”) не устраивало прогрессивную интеллигенцию — или устраивало, но не думаю: “Советская Россия” до какого-то момента с переменами упорно не соглашалась. И вот профессор Аникст ради этой статьи поднялся в библиотеку. Не знаю: успел ли прочесть до конца?

Приезжать за Аникстом из морга отказывались — во-первых, суббота, во-вторых, мы не Москва, а область (или, наоборот, морг областной, а мы Москва: граница тогда проходила по мостику через Сетунь, и я замечал за собой на мосту, как на пути к станции превращаюсь из дачника в москвича, а на обратном пути — из москвича в дачника).

Наступает вечер. Завернутого в простыню Аникста положили на холод — между закрытых на зиму двойных стеклянных дверей.

Некоторые из слабонервных обитателей ДТ боятся идти мимо

на ужин.

После ужина детский писатель Игорь Мазнин предложил навестить Лиходеева — отнести ему еду: он плохо себя чувствует, на ужин не пришел.

Мы двинулись с тарелками по асфальтовой дорожке. Я зачем-то обернулся — сквозь черные силуэты голых деревьев за освещенными стеклянными дверями труп замечательного ученого в белой простыне смотрелся торжественно, как Ленин в мавзолее.

Мы поднялись к Лиходееву. Он жаловался на боли в сердце. Чтобы успокоить романиста, прошедшего войну, я напомнил ему о сомнительной возможности попадания двух снарядов в одну воронку. И предположил, что два мертвеца за вечер — для ДТ все же слишком. “Это очень остроумно, Саша, — сказал Лиходеев, — но, когда у вас будет вшит сердечный стимулятор, посмотрю я на вас”.

Лиходеев выжил.

И роман, им законченный, — “Семейный календарь, или жизнь от конца до начала” — вышел — я видел кирпичных габаритов том.

Я так и не собрался его прочесть, что, разумеется, ни о чем не говорит — возможно, что наш сосед (Лиходеев получил потом дачу на улице Довженко вместо умершей Маргариты Иосифовны Алигер) сочинил великолепную книгу.

2

Думаю сейчас, что сама ставка на роман, который все прежние представления перевернет, неверна в принципе. “Нам не дано предугадать…” Но и не всем дается то спокойствие, что было дано Тютчеву — и он счел его благодатью.

Правда, я дожил до времени, когда возможен издательский проект, изначально продаваемый как гениальное произведение, — и материально внушаемые критики постараются передать это коммерческое послание читателю, отравленному рекламой.

Значит, дано?

А как тогда быть со спокойствием-благодатью — оно в таком случае тоже дается?

Сомневаюсь.

И мне Лиходеев с тщетой его надежд (я не Надежду Андреевну имею в виду) все-таки ближе, чем обманщики-издатели со всеми их проектами.

Лиходеев сочинял роман своей жизни.

Сережа Козлов тем же летом, той же зимой и так далее сочинял очередную свою сказку.

Сережа мог бы сказать про себя, как Влас Дорошевич, что любое из происходящих в мире событий застает его за писанием сказки. Правда, подобно нашему Лиходееву, Дорошевич сочинял фельетоны. Согласимся все же с тем, что сказочников, тем более таких, как Сергей Козлов, намного меньше, чем фельетонистов. (Впрочем, и Дорошевич — один на все времена.)

Про Лиходеева, его славу фельетониста, про замысел и осуществление его романа можно (не уверен, надо ли) рассказывать долго — и не знаю (почему и не уверен), увлеку ли я кого-нибудь жизнью и судьбой этого достойного человека.

А чтобы обозначить место в этом мире фатально невнимательных друг к другу людей, занятое Сергеем Козловым, достаточно фразы из трех слов — название главной его сказки.

3

Конечно, в гениальность знакомых веришь средне — и мне тоже легче согласиться с общим мнением о гениальности Норштейна, чем “развязывать шнурки на ботинках” Сережи, как рекомендует тонкий критик Самуил Лурье из Петербурга.

Не скажу, что риторика Лурье мне так уж понравилась — все же критику, претендующему на глубину понимания, лучше бы не впадать в “скотский тон”, за который не любил Стасова Чехов (он не любил его еще за обыкновение “пьянеть от помоев”, в чем питерского поклонника Сережи оснований упрекнуть намного меньше, чем других критиков из разных городов, включая Москву).

Тем не менее хвала Лурье, первым сказавшему про Козлова слова, которых тот при жизни не дождался, меня ободряет.

Чем же Ежик не лирический герой, не альтер эго автора, ставшего из-за своего же персонажа отчасти безымянным для широких масс? Запоминают наизусть текст, а не фамилию сценариста заучивают.

У Сережи были же и еще популярные (посредством мультипликации) персонажи — Черепаха и Львенок, например, певшие песню, подхваченную миллионами детей и взрослых: “Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу”.

И этот фильм прошел на ура. Но режиссером был не Норштейн — и персонажи от автора ушли в сторону масскульта.

Эдуарду Успенскому, которого в кооперативном доме на “Аэропорте” за глаза каждый звал Чебурашкой, Сергей Козлов скорее всего проигрывал из-за своей жизненной стратегии. Активной, взошедшей на эгоцентризме, но все же в том, что Пастернак определял как “навязывание себя эпохе”, недобиравшем до Чебурашки.

Ну и, думаю, сказывалась (в плане потерь) тайная надежда Ежика-Козлова на читателя, знакомого, скажем, с классикой, чем Успенский себя никогда не заморачивал.

Липкин, всегда думавший о том, о чем с меньшими, может быть, иллюзиями думал Чуковский, — о том, что́ и кто в литературе останется, — считал, что останутся выведенные, как в старину говорили, типы, а стиль устареет.

Липкин был серьезным человеком — и наверняка бы обиделся, что в ряд его постоянных размышлений я сунулся с Ежиком от Сергея Козлова.

Но я и не вполне разделяю мнение Семена Израилевича о стиле. Стиль сохраняет облик (и внутренний тоже) автора — и не выбрасывают же в семьях портрет дедушки из-за того, что меняется тип внешности, катастрофически исчезает порода.

Вопрос теперь только в том, останется ли читатель (все пойдут в писатели или куда-нибудь еще подальше)?

Но ничто тем не менее не освобождает пишущих от заботы о стиле, от проблемы — вывести в своем произведении новый тип, изобразить характер или создать образ.

Я равнодушен к сказкам, включая и знаменитые, народные.

И не знаю, читал бы я Сережу, не будь с ним близко знаком и временами дружен.

Но мне был интересен его подход к литературной работе: он знал, чего хочет, и в тех случаях, когда хотел невозможного.

Желание невозможного, наверное, и есть самое главное в труде писателя — вне зависимости от масштаба способностей или номенклатуры жанров.

К невозможному все равно не дойти. Но кто-то же идет.

И вместить хоть что-нибудь из заведомой тщеты усилий может только стиль.

4

Невозможность, желаемая Сережей, заключалась в слишком уж свободном обращении с жанром сказки.

Я сейчас вдруг сообразил, что, читая мне по нескольку

вариантов сказок, над которыми работал, он так и не прочел ни одного из своих лирических стихотворений.

Козлов учился в Литературном институте, занимался в поэтическом семинаре. Основным своим ориентиром он видел тщательно изученных (Сережа действительно не просто читал, а изучал занимавшего в ту минуту его воображение писателя) Блока, Белого и Бунина.

Вот на что замахивался Сергей в поиске стиля для себе и своих сказок.

Козлов сочинил и много пьес для кукольного театра. Но это были те же сказки с теми же персонажами, разбитые на диалоги.

Отойти далеко в сторону от сказок он не собирался и тогда, когда в новых временах увлекся с обычной своей страстью коммерческими проектами — выдумывал разные календари и азбуки, работая с талантливыми художниками. Лидия Шульгина поразила меня иллюстрациями к текстам Козлова не меньше, чем Норштейн — своим “Ежиком в тумане”.

Сказки его изложены в прозе, но это, конечно же, проза человека, сочиняющего стихи.

Проза в прозе Козлова, пожалуй, вовсе не занимала.

Притом что он был прекрасным устным рассказчиком — жаль, что некоторые из законченных историй он не попытался перенести на бумагу, хотя вел дневники.

Сережа называл Владимира Павловича Беляева Старой Крепостью — по названию его множество раз переизданной книги.

Вместе со Старой Крепостью писательское министерство командировало Сережу в Одессу что-то там открывать — то ли памятник, то ли мемориальную доску, не помню.

Лететь предстояло с Внуковского аэродрома. И Владимир Павлович пригласил Козлова переночевать у него в Переделкине — Внуково после Мичуринца следующая станция на электричке.

Сережа захватил в гости бутылку шампанского: знал, что у Беляева жена — актриса.

Помню, как собрались у нас на даче гости — и в числе приглашенных были Аркадий Райкин и Старая Крепость.

Я, надо сказать, обожал Райкина.

Когда меня начинает (вернее, в прошлом начинало) тревожить, что из нравящегося буквально всем мне ничего не близко и “в своей стране я словно иностранец”, с облегчением вспоминаю три явления, на которых, как на трех китах, держится мое единение с моим народом: люблю водку, футбол и Аркадия Райкина.

Я ждал, что Райкин что-нибудь у нас изобразит, как Андроников на Беговой. Но Райкин вне эстрады бывал скорее похож на изображаемых им вялых бюрократов — и быть в центре внимания не стремился, охотно уступая площадку своей жене Роме. Да и Владимир Павлович ничьего солирования, кроме собственного, в этот вечер не допустил.

Жизнь Старой Крепости изобиловала приключениями. Не жди я какой-нибудь сценки от Райкина, с удовольствием бы и его послушал.

Кое-что о художествах Беляева я и прежде знал.

Все обычно истории — и рассказанные Крепостью, и случавшиеся с ним как с персонажем — непременно были связаны с женщинами.

Незабываема история, случившаяся с Владимиром Павловичем во время войны.

Вступив в интимную близость с одною дамой в тылу, он все же для конспирации поостерегся полностью снять штаны, забыв, что в кармане заряженный пистолет, — и пистолет, как ружье в чеховской пьесе, выстрелил, ранив даму (это вам посильнее оргазма).

Но тогда на даче Беляев рассказывал в основном историю своих последних женитьб и разводов.

Причину расставания с предпоследней женой он объяснял тем, что она была композитором. И Владимир Павлович устал от ее непрерывной музыки, затосковав по Чайковскому, Шопену, Моцарту…

“А кто по профессии ваша нынешняя жена?” — поинтересовалась Рома. “Художница”. Тут уж и Аркадий Исаакович не выдержал — пошутил: “Но теперь вы можете затосковать по Репину, Тициану, Рафаэлю…”

Райкин оказался прав.

Следующей женой писателя Беляева стала актриса Художественного театра Татьяна Забродина. Однажды, когда мы ехали в машине Сергея Сергеевича Смирнова из Переделкина в Москву, Старая Крепость рассказал романтическую историю своей очередной (и кажется мне, последней) женитьбы.

Во Львов, где он тогда находился, приехал на гастроли МХАТ. Беляев, как знаток женщин, сразу же заприметил Забродину — и с огромным букетом демонстративно прошел на вокзале мимо Тарасовой, Степановой, Андровской и других гранд-дам академического театра, вручив его Забродиной. С чего и начался их перешедший в брак роман.

Татьяна Забродина училась на одном курсе с Олегом Ефремовым, но Ефремова, как известно, в МХАТ не взяли, а

Татьяну не просто взяли, а взяли на роль в спектакль “Плоды просвещения”, который ставил главный режиссер этого театра Михаил Николаевич Кедров.

На роль горничной Тани Забродина подходила идеально: круглолицая, русая, кровь именно с молоком (а не другими злоупотребляемыми актрисами напитками — вспомнил артистку, дочь театральной буфетчицы, про которую шутники говорили, что любовь к сцене она впитала с коньяком матери).

Но и этого мало. Забродиной увлекся постановщик, Кедров.

В отличие от Старой Крепости Михаил Николаевич Кедров в очевидной слабости к женщинам не был замечен — и, что редчайший случай в истории мирового театра, никаких актрис-фавориток у выдающегося режиссера не бывало. Он женат был на хорошей (и народной, конечно) артистке, но никогда не отдавал ей предпочтения перед премьершами мхатовской сцены, которых на львовском перроне лихо обогнул Беляев, рвавшийся к Забродиной.

“Плоды просвещения” — один из лучших спектаклей во всей истории МХАТа, заняты в нем были все первачи. Кедров, однако, столько поработал с Татьяной, что никому из первачей она в том спектакле не уступала — и удостоилась Сталинской премии вместе с некоторыми из особо отличившихся народных артистов.

У Михаила Николаевича это был первый и последний случай подобного рода увлечения.

Лауреат Сталинской премии Татьяна Забродина после триумфа в “Плодах просвещения” вернулась, потеряв поддержку главного режиссера, в ту же массовку, которая столько женских судеб во МХАТе погребла.

Женитьба на ней Владимира Павловича не смогла ничего изменить в ее несложившейся судьбе. Более того, безобразная сцена на львовском вокзале наверняка осталась в памяти кое у кого из гранд-дам великого театра.

Увидев у приехавшего к ним на дачу Сережу с шампанским, Владимир Павлович сказал: “Это вы, Сергей Григорьевич, зря. Смотрите!” — он открыл холодильник с поленницей бутылок “Посольской”.

На ночь, конечно, выпили. Переложили утром “Посольскую” в портфель — и отбыли на аэродром.

Только взлетели, Старая Крепость вынул бутылку — и, налив водки в самолетные стаканчики, сопроводил первое авиационное чоканье рассказом, как в послевоенном Львове приходилось ему с утра выпить пол-литра — и тогда уж весь день он ничего не боялся.

Форсируя увлекательные подробности продолжения выпивки

в небе и после приземления, скажу, что на второй день Сереже, который, могу засвидетельствовать, выпить умел, пришлось сделать прямой укол в сердце. Когда Козлов немножечко ожил, Беляев сказал ему: “При всему уважении к вам, Сергей Григорьевич, вы бы не могли жить в послевоенном Львове”.

Был такой очень милый человек Володя Жуков. Когда я с ним познакомился, он заведовал отделом литературы газеты “Красная звезда” в чине, несмотря на нестарые годы, полковника. Кроме того, он был кандидатом технических наук, но поскольку соприкоснулся с литературой как заведующий отделом газеты, то стал писателем. Человеком он был настолько разносторонним, что и жена Жукова не про все области приложения его сил знала. Как-то мы с моим давним другом, сценаристом Александром Марьямовым, у них ужинали — и Володя, что-то, как всегда, эмоционально рассказывая, заметил, что по образованию он оптик. “Боже мой, ты еще и оптик”, — воскликнула жена, кинооператор Инна Зарафьян.

Мы с Аликом сочинили сценарий, по которому Инна снимала фильм. И мы зачастили к ним в дом — они тогда жили на Песчаной. Позднее Инна с Володей построили квартиру в кооперативном киношном доме на Тишинке.

В ту квартиру я попал только на поминки по Володе, а до этого не случалось — отбился от их дома; а друзья мои (к Марьямову присоединились Авдеенко и Вася Захарько) сделались, наоборот, едва ли не самыми близкими Жуковым-Зарафьян людьми.

Литературная карьера Володи развивалась с необычной быстротой: вроде бы он только что был начинающим, а вот уже первый заместитель главного редактора журнала “Октябрь”. Как-то был я у него в журнале. Приближался юбилей Сергея Сергеевича Смирнова. Заведующая публицистикой попросила моего отца сочинить по этому случаю статейку. Он статеек (тем более спешных — к дате) вообще никогда не сочинял — и порекомендовал заказать ее мне. Идея не понравилась: “Нужна фамилия”. Отец сделал вид, что не понимает: “А у сына моего какая фамилия?” Знай я про эти переговоры-торговлю, ни за что бы не взялся за такую работу. Но, когда предложили что-то сочинить про Сергея Сергеевича, мог ли я отказываться? Заранее недовольная дама из публицистики долго меня мучила, объясняя, как надо писать для их журнала. Но и она едва скрыла от меня ужас, посмотрев, во что превратил заметку первый заместитель главного редактора. Притом что со мною Володя держался — к удивлению заведующей публицистики — по-приятельски (она

даже удивилась: “Что же вы не предупредили, что хорошо знакомы с Владимиром Николаевичем?”).

Мне потом было крайне неудобно перед Сергеем Сергеевичем, великодушно меня похвалившим, — кому же не нравится читать юбилейную про себя заметку.

И все же думаю, что охлаждение мое в отношениях с Жуковым произошло раньше, когда не присоединялся в гостях к похвалам его все чаще появлявшимся повестушкам — и перестал к ним ходить. Конечно, какие-то и еще могли быть причины, но я ведь сейчас и вспомнил про Жукова только потому, что начал рассказывать про Сережу Козлова.

5

Сережа одновременно с Жуковым учился на заочном отделении Литературного института. Козлов вспоминал, что приезжал туда в дни экзаменационных сессий на велосипеде, а Володя — на “Волге”.

Не знаю, кто были педагоги у Жукова, а Сережа занимался в семинаре у Льва Ивановича Ошанина. Ошанин был о Сереже самого высокого мнения.

Как-то мы с Козловым чуточку изменили в Переделкине маршрут прогулки — и завернули (через улицу Гоголя) на улицу Довженко (точнее, сначала на Лермонтова, а дальше — на Довженко).

Дача Ошанина — на Довженко. Он прогуливался с кем-то возле своих ворот — и представил Сережу как талантливого поэта. Про сказки он ничего не сказал, забыл или не знал, — Лев Иванович не сказки учил писать. Правда, ученикам его случалось менять жанр. Козлов напомнил учителю, как на резиновом коврике перед ошанинским гаражом спал Василий Белов, он ведь тоже начинал как поэт в семинаре Ошанина.

Мне показалось, что в той части повествования, где я рассказывал о Пастернаке, Ошанина упомянул пренебрежительно.

Иначе бы и нельзя, но мне негоже говорить в подобной форме про соседа, человека, у нас в доме бывавшего: едва Козлов сказал ему, кто я, он тут же вспомнил отца, правда, упорно называл его Павлом Ильичом — и, когда я захотел его поправить, возражений моих не принял, предположив, что это я путаю.

На меня, возможно, повлияло, что Андрей Вознесенский убийственной кличкой “ошань” окрестил всех врагов молодой поэзии.

Считать Ошанина (педагога Литинститута) врагом молодежи

все же преувеличение, простительное, впрочем, компании Вознесенского: они отстаивали свое место.

Но и Лев Иванович не проявил большого ума. Человек он был скорее искрений (пусть и не без хитрости), но сил своих не рассчитал. Думал выбить молодых с площадки разом, словно городки битой, — и просчитался: начальству в тот момент для политики нужна была игра с молодежью, ее следовало решительно перетянуть на свою сторону. А Лев Ошанин никуда бы с правильных позиций в любом случае не сдвинулся.

Молодым Ошанин ничем не мешал — он сочинял песни, к чему и молодых, когда захотелось жить красивее, потянуло, — и свой кусок от пирога стариков они отрезали. Они были, конечно, талантливее. Но вообще-то песни иного совсем таланта требуют, чем стихи, — и не стану утверждать, что Пастернак или Ахматова сочинили бы “Издалека долго течет река Волга” или “Эх, дороги”.

Это как шахматы и шашки — и не каждый шахматный чемпион силен и в шашках.

Мой друг Миша Ардов любит вспоминать, как когда-то Юз Алешковский в ресторане Дома литераторов отбрил Бориса Ласкина.

Ласкин вошел в ресторанный зал и громко пожаловался то ли метрдотелю, то ли кому-то из таких же, как он, уважаемых завсегдатаев, на непотребное поведение молодых (и, что существенно, неизвестных ему) коллег: “Целый день работаешь, приходишь спокойно отдохнуть в профессиональном клубе, а тут такое…” Пьяный Алешковский бросился к нему с вопросом: “А что ты такого наработал, от чего устал?”

Юза Алешковского и за границей знают, а о покойном Ласкине и здесь теперь не слышали.

Но спроси на улице обыкновенного, не первой молодости человека, знает ли он “Три танкиста” или “Спят курганы темные”. Конечно, знает.

Знают, конечно, и “Товарищ Сталин, вы большой ученый…”.

Но и в том и в другом случае наверняка не знают фамилии тех, кто сочинил слова.

Поэтому постараемся — пусть и через силу — не оскорблять кого-либо без крайней к тому нужды, как бы ни казались нам остроумными прозвища вроде “ошань”. Любители “Эх, дорог” могут не понять.

Я слышал от тех, кто продолжал дружить с Инной и Володей, что у Жукова больное сердце — и что, опять слишком эмоционально выложившись в разговоре за вином и закуской, он вдруг побледнел — едва не потребовалось вызывать “скорую”.

Что там ни говори про его прозу, работал он над нею с вредной для сердца неистовостью, не берег себя.

На похоронах Жукова в Дубовом зале ЦДЛ (Володя успел стать и одним из секретарей Союза писателей России) мы с Козловым были по отдельности: я пришел со своими друзьями (друзьями Инны и Володи) и Сережу на панихиде вообще не заметил.

А на следующее утро он по телефону, посетовав, что не увиделись накануне в ЦДЛ, сказал: “Хотел обратить твое внимание, Шуряй, на то, как аккуратно надо носить вещи. Володю положили в гроб в том же самом костюме, в каком он приходил защищать диплом. Это сколько же лет прошло!”

6

Похвалил меня Козлов за десятилетия знакомства лишь однажды.

К нему в номер зашел национальный писатель Алеша Б-в.

Национальный писатель рассказал нам, как он работает.

С утра садится за роман — не получается, за повесть — снова не получается, пишет рассказ… И так далее — садится за поэму, за стихотворение, за перевод, за статью.

После ухода Б-ва я долго смеялся.

“Зря смеешься, — сказал Сережа, — Алеша этот, конечно, графоман и… Но тебе, Шуряй, при твоих способностях надо бы этот метод заимствовать. И это бы тебя спасло”.

Козлов был несомненным поэтом по натуре, но и более рационального человека, чем он, я едва ли встречал.

Дневник у него превращался отчасти в приходно-расход-ную книгу: он записывал каждую потраченную копейку — на бензин, например.

И не от скупости, я уверен, это шло, а от непрерывного поиска системы, которую он настойчиво искал для победы в этой жизни.

К тому же он еще был и очень педантичным, аккуратистом. Как-то, помню, пил кофе у них с Таней (очень приятной, молодой еще, когда мы с Козловым познакомились, его женой, человеком несколько иного, чем он, склада) — и, когда Таня несла джезву с набухающей пенкой, он заволновался: “Роня, роня, ты сейчас капнешь…” — “И что?” — “Ну пол же натерт…” — “… с ним, с полом”.

Он пытался всех знакомых увлечь таблицей биоритмов — вычислил, сколько дней к моменту составления для меня

таблицы я прожил — и в каждый день недели отмечал что-то (я так и не понял) плюсовое и минусовое, относившееся к физическому, эмоциональному и еще какому-то состоянию; мог быть удачный день с тремя плюсами или день слома, когда с тремя минусами ни за что серьезное не следовало браться.

Я никогда не ощущал совпадения плюсов или минусов со своим состоянием — и бросал следить за таблицей. Но Козлов мне два или три раза составлял новые таблицы.

И все же одну предсказанную вещь я запомнил.

Сережа считал с таблицы, что главное со мною произойдет в третьей четверти жизни.

Мне тогда было пятьдесят лет — и четверть века впереди виделись бесконечностью.

Сейчас до истечения срока осталось меньше года.

7

Да, повторю, до истечения третьей четверти осталось меньше года. Судьба нашей родины при мне так и останется нерешенной.

И вот замечаю все чаще, что во время передач на политические темы, вроде бы все еще увлекающих меня, мысли очень скоро уносятся в келью к Семену Израилевичу — и я сержусь уже на себя, ежели в ту же минуту не ухожу ко всегда теперь включенному ноутбуку.

Третья четверть завершается — и, даже если дотяну я до семидесяти пяти, форсирую дату, кто мне даст гарантию, что текст мой не будет выглядеть записками сумасшедшего?

Почему бы не почувствовать себя отдыхающим? Кроме ноутбука, портящего зрение, есть же и дождь за окном, мокрые листья, что вот-вот облетят, трава, которую до следующего лета (а будет ли оно?) я не увижу, не до конца погубленный лес (с ним столько воспоминаний у меня связано).

Да мало ли есть на излете третьей четверти жизни, кроме глупого желания все, что вспомнил, перенести прямо на монитор?

Ну и перенесу; все не все, но перенесу же — и что?

Что-то изменится?

Ничего.

Разве что в кем-то придуманной на нашу голову электронике — родине ноутбука — появится березовая роща (какая разница, у этого она коттеджа или у другого, Заболоцкий всю рощу и все березы подразумевал, а не те несколько белесых с прочернью стволов, что выращены взглядом поэта из окна чужой дачи), появится, возможно, Сережа с таблицей биоритмов, Лиходеев с

кардиостимулятором, Аникст в шекспировском ожидании перевозки трупов, давно исчезнувшая библиотека, исчезнувшее, если строго судить, все на свете.

А как иначе, если никого уже нет? Кроме меня за ноутбуком в келье Семена Израилевича под бьющими по свежему шиферу перестеленной крыши струями последнего дождя прошедшего лета.

Сережа Козлов вспоминал, как сидели они со Шпаликовым то ли на балконе, то ли на какой-то из верхних веранд ДТ — тоже осенью, когда все листья уже облетели, пили пиво — и смотрели на кладбищенский склон, теперь хорошо видный издали, — следили за работой могильщиков.

По мере углубления погребальной ямы фигуры могильщиков все уменьшались и уменьшались. И через какое-то время на поверхности земли оставались только их головы.

И это еще не все в рассказе Козлова. То, для чего и начал он свой рассказ-наблюдение, было припасено к финалу.

Могилу копали для Тани Алигер — красивой девочки из нашего переделкинского детства. Она была моей сверстницей. И умерла молодой от белокровия.

Глава третья

1

Зимой шестьдесят шестого года мне удалось уговорить начальство в АПН командировать меня в Академгородок под Новосибирском.

Я работал в отделе искусства и культуры — и, отправляясь к ученым, видел в этом возможность перемен — в себе ли, в судьбе ли. Казалось, что мне со знаниями первоклассника самое время приобщиться к науке — физике, например, или математике.

Сибирь к тому же — родина моего отца. Я прожил больше четверти века в Москве — и до двадцати лет не был в Сибири. В двадцать лет я слетал в Омск, пробыл там две недели. Но двадцатилетним я еще не разбирался в том, чего действительно хочу. А тут мне шел уже двадцать шестой — и мне казалось, что вот-вот разберусь.

Быть в командировке, жить в Академгородке оставалось два ли, три дня, но я уже смог привыкнуть к непривычному для себя одиночеству и сосредоточенности, привык и к соблюдению режима, чего мне никак не удавалось до командировки в Сибирь, возможно, из-за специфики профессии.

Я жаждал перемен — и вместе с тем отчасти их боялся.

Начинал тревожить абсурд пребывания в учреждении, направленность которого с моей жизнью никак не корреспондировала.

Я предчувствовал, что навсегда в АПН не останусь.

Но вместе с тем мне нравилось чувствовать себя при деле. И потому я старался не замечать иронического к себе отношения ученых вроде члена-корреспондента Овсянникова. На мой вопрос о неправдоподобно молодом докторе наук Гарипове (знаменитость Академгородка, членкор), что тот записал математическими формулами некоторые из явлений возникновения цунами, — Овсянников, оценив взглядом в очках с тонкой оправой выражение моего лица, осведомился, не слишком ли элементарно он мне объясняет.

Мне-то откуда было знать, слишком или не слишком?

Я знал только одно.

Что когда-нибудь буду рассказывать не о Гарипове или Овсянникове, а о себе в связи с желанием проникнуть в недоступный мне мир.

Рядом с гостиницей в Академгородке архитектурными кубиками соединились торговый центр (тогда он назывался как-то по-другому), почтамт, что-то еще — и на краю ансамбля Дворец культуры, где показывали кино.

Но мне всю командировку было не до кино — я жил, как положено деловому человеку, на кино не отвлекаясь.

Нужно было съездить в Новосибирск — и я шел к автобусной остановке, когда увидел на Дворце культуры афишу о том, что сегодня здесь выступают гости из Москвы: киноактриса Инна Гулая и кинодраматург Геннадий Шпаликов.

Не поверите, но что-то мне подсказывало: рухнут сразу же все планы мои журналистские, если приду я на это выступление.

И я радовался, что дела мои в Новосибирске так и так не позволят мне вернуться ко времени, когда концерт начнется.

Тем не менее не удержался, заглянул во дворец, когда возвращался в гостиницу, самый конец встречи застал: Шпаликов, сказав что-то про Михаила Ромма, закончил выступление — и шел по проходу прямо к тем дверям, в которых стоял я.

Вместо расспросов, какими судьбами и я здесь оказался, он сообщил мне, что недавно в Италии вышел сборник его сценариев. Критика для сочинения предисловия к сборнику впопыхах не нашли — и пришлось взять мою статью о Шпаликове. И, когда мы вернемся в Москву, он подарит мне книжку с переводом на итальянский ставшей предисловием статьи.

Это показалось мне маловероятным.

Но поверил же я ему, когда из такси, затормозившего на красный свет при выезде с Арбата на Садовое кольцо, Гена, перекрывая шум улицы, крикнул мне, что вернулся с Кубы (а я-то удивился странности загара Шпаликова с отливом в красный цвет).

Побывать на Кубе тогда казалось никак не меньшей редкостью, чем стать автором предисловия (пусть и к итальянскому изданию).

На Кубе, как через годы выяснилось, он, конечно, не был, но в том, что был, уверил всех соседей по коммунальной квартире и некоторых из доверчивых друзей.

А заметку (статья слишком громко сказано) о Шпаликове я сочинил после кинофестиваля в Ленинграде — и ее перепечатали многие областные молодежные газеты.

Мы разговаривали с ним на ходу в километровом коридоре гостиницы “Октябрьская” — дошли до лифта, и на том интервью и завершилось (на интервью у меня никогда не хватало

терпения).

Собственно, мы просто потрепались на ходу — мне на фестивале все нравилось, а Гене, наоборот, все надоело, хотелось на дачу, купаться в реке, смотреть телевизор (про телевизор я не выдумываю) — и возможно, Шпаликов и удивился тому, из чего сложилась моя заметка, и потому в его фантазиях она и превратилась в предисловие.

Разумеется, заметки этой у меня не сохранилось — столько всякого случилось в моей жизни с лета шестьдесят четвертого, что мне еще только не хватало газетные вырезки беречь. Но почему-то запомнил Шпаликова в ресторане “Узбекистан”, куда тоже зашел с утра, удивившись, как мирно Гена пьет чай из пиалы, на столике толстобокий чайник и множество свежих газет, и все он намерен прочесть.

И пересказ сцены из фильма “Причал”, так никогда никем и не увиденного, где через Каменный мост (я жил тогда неподалеку, в Лаврушинском переулке, мост и без Шпаликова видел) в короткую летнюю ночь, когда рано светает (значит, и через рассвет), ведут лошадей (вероятно, белых). Я и сейчас вижу, как идут эти лошади из фильма Шпаликова. И себя представляю в квартире на Лаврушинском с окнами на Третьяковскую галерею.

Мы переехали на Лаврушинский, когда малинового (так мне казалось, что малинового) мрамора массивный памятник Сталину на низком пьедестале в центре двора Третьяковки уже убрали.

Я тогда думал, что тоже сниму когда-нибудь свое кино.

И мерещился мне эпизод, что на стенке желтого с белым строения сбоку возникнет сначала тень отсутствующего памятника — и дальше он из тени материализуется обратно в тяжелый мрамор (мне по-прежнему кажется, что малинового цвета).

На то, чтобы сочинить что-либо толковое для кино, моей жизни не хватило.

А вот в том, что на моем веку тень от того памятника не появится на стене отремонтированных строений перекроенной Третьяковки, гарантий нет.

2

Гена представил меня жене — кинозвезде. Но изображением излишней радости от нашей встречи не вызвал в ней энтузиазма. И той улыбки Гулой, которая в трудные для нее времена, возникнув на краткий миг, казалась мне цитатой из того, что никогда к ней больше не вернется, я при нашем первом

знакомстве с Инной удостоен не был.

Тем не менее Гена сказал, что сейчас мы все вместе пойдем в гости к физикам на пельмени. Я понимал, что нарушения режима не избежать, но уговаривал себя, что встреча с учеными в домашней обстановки обогатит мои будущие корреспонденции.

Физики сосредоточили все внимание на Инне — и я краем задетого ее пренебрежением глаза видел, что ученым она своей улыбки не жалеет.

Но Гена отвлек меня — и от физиков, и от лирики — разговором про футбол. Он сказал, что любой интересный матч он воспринимает как событие огромной важности, превосходящей премьеры в Доме кино.

Я с каждой следующей рюмкой делался красноречивей — рассказывал Шпаликову о знаменитых футболистах, с которыми был тогда достаточно близок. Гена слушал с нарастающим вниманием — и вскоре сказал, что рассказанное мною — готовый сценарий. И я должен как можно скорее сочинить этот сценарий для него, а он будет режиссером (он только что поставил на Ленфильме картину по своему же сценарию — “Долгая счастливая жизнь”).

Захваченный открывшимися возможностями, я тотчас же забыл и про ученых (на физиков больше и не взглянул), и про Академгородок. Гена с Инной через сутки улетали ночью в Москву. Мне оставаться дальше тоже было незачем.

За полночь их увезли в Новосибирск — они остановились в гостинице “Новосибирск”.

А я утром — было воскресенье, — проснувшись у себя в номере, посмотрел на бутылку кефира, поставленную между рамами (холодильника мне не полагалось), — и по тому, как равнодушно посмотрел я на кефир, понял, что поеду сегодня в Новосибирск.

Видит бог, я боролся со своим желанием ехать немедленно — и в гостинице “Новосибирск” появился, когда уже смеркалось. Но прибыл своевременно: еще бы две минуты — и актриса с драматургом уехали бы на телевидение — и чего-то бы в жизни моей не произошло.

Кто-то из его близких друзей (то ли Данелия, то ли Хуциев) уверял, что более неподходящего для военной службы человека, чем воспитанник Суворовского училища Геннадий Федорович Шпаликов, они в своей жизни не встречали.

Но я видел минуты, когда прорезался в Гене суворовец — и все движения его бывали по-гимнастически (он и гимнастикой когда-то занимался) четкими.

Он энергично отвел меня в сторону — люди из телевидения

за ними уже приехали, торопили со сборами, — достал из внутреннего кармана белую пластмассовую фляжку и кусочек засохшего сыру.

Гена никогда не говорил: “Давай выпьем”, но всегда: “Попьянствуем”. И никто в мире, кроме него, не говорил “попьянствуем” с такой искренностью предвкушения. Предвкушения не только флотского глотка, сразу согревающего желудок и вообще всего тебя изнутри, а праздничной ритуальности, где все приготовления обещали долгий разговор, широту взаимного расположения, глубину забытых наутро мыслей, спонтанность поступков (о которых всю последующую жизнь будешь жалеть, но вспоминать, однако, с удовольствием).

3

Как объяснить, что́ было праздничного в том, как вынул он два металлических рубля, когда стояли мы на том месте, где сейчас Союз театральных деятелей на углу бывшей Пушкинской улицы.

Летом это кафе на воздухе из-за полосатых тентов называли “Под парусами”.

Но еще и весна в силу не вошла, по бокам веранды чернел начавший таять снег. И вдруг нечаянная радость — буфет уже работает. Генины два металлических рубля тут же превращаются в просвечивающие на солнце бумажные стаканчики, и “Старка” в них светлее, чем в бутылке.

Мог же, однако, и арбуз быть.

Кто поверит, что без сопровождения водки?

Нашего замечательного режиссера Андрея Хржановского я, по-моему, с того дня и не видел до прошлого лета.

Но первое же, что вспомнил он, — как ели мы арбуз за столиком на борту кинотеатра “Россия” (теперь “Пушкинский”).

Андрей со Шпаликовым работали тогда то ли над “Стеклянной гармоникой”, то ли над “Жил-был Козявин” — шли к центру от Каляевской, где студия мультипликации, и купили по дороге арбуз. А я мимо них, уже разрезавших арбуз, шел на службу в АПН — и конечно, задержался.

Вайль (не тот Петр Вайль, что был на “Свободе”, а знаменитый в прошлом московский щеголь Лера Вайль, тоже не скажешь, что непьющий) от умиления почти расплакался. И, когда потом заставал нас на том же месте без арбуза, но со стаканами, всегда вспоминал, какое прекрасно выглядели мы трое с тем натюрмортом.

Передача на Новосибирском телевидении шла в прямом эфире. И с каждой секундой становилось все заметнее, что Гена не все из фляжки влил в меня — и ему тоже кое-что досталось.

Ведущий — красивый рослый мужчина — за голову хватался, слушая, что несет московский гость. Но, когда передача закончилась, подошел — и с чувством пожал руку Шпаликову как гражданин гражданину.

Расходиться просто так после столь волнующей (и грозящей ее организаторам неприятностями) передачи не хотелось — и редакторша, рыжая дама, пригласила к себе домой ведущего, Инну с Геной и меня, я считал, как их товарища.

Но в застолье рыжая редакторша села со мною рядом — и спросила, не помню ли я ее. В этой командировке я, повторяю, вел себя безупречно — и всех, с кем встречался по делу, прекрасно помнил. С другой стороны, сказать даме, что ты ее не помнишь, я тоже как-то не мог…

К счастью, дама сама и напомнила, где мы могли с нею видеться. Мы, как она сказала (я все равно ее не помню), сидели за одним столиком в ресторане Дома актера — вы (начала она почему-то с меня), ваш друг Александр Фадеев и ваш с Фадеевым друг — из театра Пушкина.

Начала редакторша с меня из вежливости. А запала ей в душу наша встреча в ресторане из-за Шуни Фадеева. Я успокоился, поняв, что ни при чем, кивнул согласно и что-то сказал про редкую красоту своего друга, мимо которой ни одна из женщин не могла пройти. Но рыжая дама сказала, что дело не в красоте. А просто вообще огромное счастье встретить такого (надо понимать, необыкновенного) человека.

Шуня был человек и на самом деле прекрасный. Но мне показалось, что дама, в доме которой (однокомнатная квартира со спящим давно ребенком) мы выпивали, открыла в моем друге качества, неизвестные ранее и нам, ближайшим его друзьям.

Неожиданный для меня поворот в разговоре обострил память: вглядевшись в рыжую хозяйку повнимательнее, я восстановил картину того стершегося было вечера и понял, кто же был наш общий друг из театра Пушкина.

Шел, напомню, шестьдесят шестой год, Владимира Высоцкого уже все знали — если не в лицо (хотя он и снялся в кино у Говорухина), то как барда.

Первым порывом было обрадовать хозяйку тем, что она вполне может считать себя знакомой с Высоцким — и всем в Новосибирске рассказать о близости (в ресторане за одним столиком сидели) со знаменитейшим из современников.

Но мне это показалось нетоварищеским по отношению к Фадееву. Дружил я все-таки с ним, а с Высоцким мы только вместе учились — нельзя же каждого из однокашников зачислять к барду в друзья.

Не подумал я тогда и о том — это мне теперь очевидно, — что совсем в шаге от всенародной славы Высоцкий и еще раз проиграл Шуне в глазах дамы — и не в том случае, о котором я вспомнил, не скромной (пусть и рыжей) редакторши с телевидения, а кинозвезды.

Фильм Говорухина свел на съемках Шуню (не самого лучшего из артистов страны), кинозвезду Ларису Лужину и Владимира Высоцкого, сочинившего для “Вертикали” песни, которые он тогда же и спел с экрана.

Одна из песен, к фильму отношения не имевшая, но очень скоро ставшая всем известной, — о женщине, которой сам Марсель Марсо чего-то говорил, — Высоцкий сочинил про Ларису и для Ларисы.

Володя показался Ларисе артистом с гитарой, каких на пути ее было и будет еще много. А таких людей, как Шуня Фадеев, она, подобно рыжей редакторше, никогда прежде не встречала.

Про покоренную Шуней редакторшу я слышал от кого-то, что она повесилась (слух, однако, непроверенный, но сюжет рассказанной истории усиливший).

Лариса же Лужина жива и здорова, уже не знаменита, но все же известна. И прямо, как теперь принято, говорит в разных передачах про Высоцкого, что простить себе не может ошибки, допущенной с Фадеевым: ее тогдашний брак расшатался, а Шуня на ней не женился (не понимаю, кстати, почему; пять раз он женился, а на прекрасную Лужину его обязательности не хватило).

Утечку мозгов из страны наше телевидение, похоже, рассчитывает компенсировать, привлекая все чаще в эксперты различных шоу лиц, прежде как оригинальные мыслители не замеченных, — дикторов советского телевидения. Узнаваемость спасает мир, раз не спасла красота. Но и забытая популярность может послужить поленьями для маниакально разжигаемого костра ностальгии по вчерашнему дню.

Однако Азу Лихитченко, учившуюся на курс старше меня, пригласили недавно в эфир для благородной задачи — вспомнить своего однокашника Владимира Высоцкого. Было время, когда Аза, как диктор на первой программе Центрального телевидения, являла собою символ официального признания: используя уроки знаменитого педагога по сценической речи Сарычевой, читала

речи руководителей, а эти большие люди на правительственных дачах слушали запрещенную “Охоту на волков” то в магнитофонной записи, а то и в личном (тайном) исполнении самого барда.

Азу пригласили в шоу, посвященное очередной дате Высоцкого, — и до неприличия упорно допытывались, был ли у нее с однокашником роман. При всем соблазне стать для страны еще одной музой Высоцкого Лихитченко держалась стойко — и я знал, что Аза никого в заблуждение не вводит: она любила не Володю, а Шуню Фадеева. Но про Фадеева, вновь вставшего со своей красотой у Высоцкого на пути, никто ее не спрашивал.

Красавец ведущий ушел домой (он жил где-то рядом). Утомленный выступлением Гена заснул еще до его ухода. Хозяйке надо было вставать рано (и она тоже легла), а мы с Инной разговорились — без какой-либо тогда эротической подоплеки. И проговорили всю ночь про театр, про Эфроса, у которого Гулая училась в студии при Детском театре, — я ей даже показался чем-то на Эфроса похожим внешне (что меня не так уж и порадовало).

Часам к восьми утра я почувствовал, что тоже бы с удовольствием вздремнул, тем более что Инна улеглась бок о бок с давно спящей редакторшей.

Но тут поднялся хорошо выспавшийся Гена. И, взглянув на часы, предложил мне пойти купить чего-нибудь (неужели я не догадывался чего?) к завтраку.

Ночью мы и не заметили, куда заехали, — то ли на такси, то ли телевидение какую-то машину предоставило московским гостям, — оказалось, мы ночевали в таком районе Новосибирска, который соответствует московским Черемушкам.

Дома2 цвета плит, из которых сложены, — и все одинаковые. С похмельной тоски не фокус и удавиться, но у нас никакой такой тоски не было, были деньги и цель была — найти поскорее продовольственный магазин. Я по своему характеру готовился к долгому поиску желаемого, а выспавшийся Гена казался бодрым и беззаботным.

В магазине, оказавшемся, на счастье наше, и открытым, и с водкой, он мгновенно набрел взглядом на одну-единственную праздничную — и по цвету совпадавшую с официозом — деталь: конус томатного сока на стойке. Рядом что-то вроде кафетерия, столик без стульев.

Гена решил, что мы заслуживаем того, чтобы распить одну бутылку (под томатный сок, вызвавший у него улыбку предвкушения) вот за этим столиком без стульев.

Вероятно, ничего распивать здесь было нельзя, но Гена подобные запреты с такой приятностью игнорировал, что никто и

замечания нам не сделал, никто по утреннему времени и внимания на нас не обратил.

Мы по половине граненых стаканчиков выпили — человека в лучшем расположении духа, чем в ту минуту у Гены, я и до сих пор не встречал.

Но свойства моего характера, не перестающие самого же и огорчать, проступили вдруг наружу. Я спросил Гену, помнит ли он номер дома, где нас ждут. Он отмахнулся. Я спросил уже, чувствуя неприятный холод в тех местах организма, что минуту назад согреты были водкой, помнит ли хоть номер квартиры или имя с фамилией редакторши? По инерции я задал еще несколько таких же напрасных вопросов, чувствуя приближение катастрофы — не улетим сегодня, у меня и билета еще нет, деньги на билет обещала занять до вечера Инна, но за деньгами и вещами надо ехать в Академгородок (а мы, считай, и не в Новосибирске).

Гена привел меня в чувство настойчивым требованием не портить ни себе, ни ему настроение. Водка еще есть, а не хватит, мы допьем ту, что собирались нести к завтраку — нам и на третью хватит (он нашел в кармане смятую трешку). Он подошел к стойке — и вернулся с двумя стаканами нового сока. Мне стало неловко за свой приступ неврастении — и я против своего обыкновения выпил стакан не глотками, а залпом, как Гена.

Потом мы шли по улице, ни о чем неприятном не думали, пели: “Нас веселой толпой окружила, подсказала простые слова, познакомила нас, подружила в этот праздничный вечер Москва…” Ноги сами вели нас. Сомнения, что идем мы в правильном направлении, давно меня оставили… “И в какой стороне я ни буду, по какой ни пройду я тропе, друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве…”

Мы свернули с тропинки к подъезду, поднялись на второй этаж, ни секунды не думая, в левую или в правую дверь нам стучать (со звонками мы не разобрались, они прилеплены были рядом, могли и в чужую квартиру позвонить), и безошибочно постучали в свою.

К чести Гены, никакой победительной укоризны я не прочитал в его так и не терявшем веселости взгляде.

Мы поприветствовали проснувшихся дам — и сели за убранный ими от грязной вчерашней посуды стол.

На высших сценарных курсах я чувствовал себя переростком, каких полно бывало в послевоенной школе. Со мною за партой в пятом классе сидел ученик по фамилии Фиронов, старше меня лет на пять, — и вот когда я сошелся приятельски не только со сверстником Козловым, а и с Горой Николаевым (он тоже жил в

нашем районе), который не на пять, а на десять лет был младше меня, я чувствовал себя Фироновым вдвойне.

Из всех, кто с нами учился, настоящим сценаристом сделался один Гора — по его сценариям снято много фильмов, а один из сценариев Николаева видится мне просто блестящим — и название великолепное: “Звездный час по местному времени” (правда, фильм назвали как-то по-другому, кажется, “Облако-рай”; уж не знаю, почему так решил режиссер).

Когда курсы окончились, наши отношения с Горой навсегда прервались — сейчас ему, по моим скромным подсчетом, за шестьдесят. Но в моей памяти ему и тридцати нет. Мы гуляем вечером по нашему району — и я в темноте не могу сообразить, куда нам поворачивать, чтобы покороче дойти до наших кооперативов. И Гора говорит: “Ты плохо ориентируешься на местности — тебе будет трудно с выстраиванием сюжета”.

С выстраиванием сюжета для сценариев, Гора был прав, у меня не сложилось.

А живу, похоже, по сюжету, невольно усвоенному в новосибирских Черемушках.

Тот исторический (если и шучу я над этим, то лишь отчасти), начавшийся в новосибирских, повторяю, Черемушках сюжет не ограничился долгим завтраком.

Было и неожиданное продолжение.

Когда заехали в гостиницу “Новосибирск”, портье бросился к Инне и Гене с новостью, что их разыскивает академик Будкер — он видел по телевизору выступление Шпаликова — и жаждет с ним познакомиться, ждет вечером у себя. У Будкера был коттедж в Академгородке.

Дальше события развивались с захватившей меня стремительностью. Мне купили билет на самолет. Все стало казаться легким и достижимым в самом ближайшем будущем.

От Будкера — я уже считал естественным, что всюду теперь появляюсь с Гулой и Шпаликовым — мы должны были лететь ночным рейсом в Москву.

К себе в гостиницу я заскочил взять вещи. Кефир между рамами прокис и зазеленел. Из номера я вышел совсем другим человеком, чем вошел две недели назад.

Я испытывал сумасшедший прилив энергии. За стеклом, отделившим вестибюль гостиницы, был виден ожидавший меня “ЗИЛ” академика (ехать до дома Будкера было два шага), у входа в ресторан мигал разноцветными, как на елке новогодней, огнями и отражениями огней бар. Я зашел в бар с чемоданом — и зачем-то выпил фужер сухого вина. И тогда только сел в машину.

Четкости изображения вечера у Будкера не хватало с начала

и до самого конца. Хотя что-то помню и через столько лет. Гена возился на снегу с овчаркой — не спешил войти в коттедж. Инна с легким раздражением сказала мне, что он копирует Антониони — тот точно так же вел себя перед каким-то приемом в России.

Дальше Гена требовал от Будкера — он с первой минуты стал назвать академика Андреем — восхищения красотою Инны. Но известный женолюб-академик на Инну большого внимания не обращал (возможно, не хотел огорчать на прощание высокую молодую женщину, делившую с ним коттедж; через короткое время он ее бросит — и женится на любимой телевизионной дикторше моего отца Алле Мелик-Пашаевой). Гена интересовал его больше. Но и Гена наслаждался общением с академиком. “Представляешь, — говорил он мне, — Андрей работал с Курчатовым”. Мне показалось, что Будкер видел себя фигурой не меньшей в чисто научном плане, чем великий организатор Курчатов, а то и большей, и старался каким-нибудь образом дать Шпаликову это понять. Он все порывался показать нам фотографию из альбома, но Гена препятствовал: “Потом Андрей, потом…” Будкер тем не менее альбом перед нами раскрыл — и мы увидели фотографию, где наш хозяин чокался с де Голлем.

Академик явно хотел рассказать о себе драматургу Гене подробнее. Вспомнил, как гордился, когда присвоили ему воинское звание полковника, но тут же спохватился — и добавил, что в своем деле занимает положение маршала.

Никто не напоминал нам о времени вылета. И я перестал о нем думать, решив, что у Андрея наверняка есть свой самолет, на котором и отправят нас в Москву, — можем никуда не спешить.

Дальше в сознании провал. Короткое воспоминание о деревьях за окнами машины, и — пробуждение в аэропорту. Инна в слезах… Мы в ресторане — уже закрытом, но почему-то нас не гонят…

Стюардесса трогает меня за плечо — прилетели.

Небо над аэродромом зеленовато-желтеющее, и я радуюсь, что не очень поздно — успеваем в ресторан Дома актера. Но на самом деле утро — и по дороге к дому (они еще не на улице Шверника жили, а кажется, на Профсоюзной) Гена просит такси остановиться — покупает в овощной палатке бутылку коньяку.

Кто-то скажет (и правильно скажет), что можно было и не длить дальше новосибирских воспоминаний, оборвать их, например, на пороге дома академика Будкера (правда, я не запомнил всех деталей прощания, хотя вспомнил про свой чемодан, оставшийся в “ЗИЛе”; скорее всего, этот же “ЗИЛ” и помчал нас на аэродром вместо нафантазированного мною личного самолета академика).

Но я чувствую по всему, что в последующем рассказе буду уже во власти воспоминания печального, и той безоблачности веселья (отчасти внушенной мне и примером Шпаликова в новосибирских Черемушках) я в себе уже никогда не найду — и не хочу ничего купировать в легкомыслии минувшего.

4

В том, что случилось с Инной и Геной, никто не мог им помочь.

И не пытался никто, и они вряд ли, как люди киношной среды, ждали от кого-то помощи (но последнее уже мой домысел — а вдруг и ждали?).

Теперь, когда не только ничего уже не изменишь, но и не увлечешь никого подробным погружением в жизнь давно ушедших — вместо внедренного суетным телевидением мифа, я думаю, что ими — по разным причинам, но приблизительно одновременно — выработан был ресурс везения: мистика счастливых совпадений обернулась мистикой несовпадений.

Разрыв такой эффектной пары сейчас вызвал бы ажиотаж в глянцевых изданиях. А тогда он вообще не дошел до публики, а в своем кругу скорее понимание встретил, чем недоумение.

И не выглядело это — чуть ли не до самой смерти Гены — ни для кого драмой.

Для Шпаликова круглогодичная жизнь у киношников в Болшеве или у писателей в Переделкине выглядела естественной — никто не воспринимал его домашним человеком, образцом семьянина. Инна сначала исчезла из его стихотворений, но стихи, ей посвященные (“искать слова и находить слова”), все равно не печатали и дальше своего круга они не выходили. Другое дело песни — две из них пели все и слова, естественно, знали. Мне очень нравилось: “Пахнет палуба клевером, хорошо, как в лесу”.

Память — драматург, а не прозаик, но есть и опора на рифмы — под рифмами я подразумеваю здесь не “вторение строк”, а вторение впечатлений (или ощущений скорее).

Рифмы не всегда улавливаешь, различаешь. Тем не менее приблизительную хронологию иногда с их помощью восстанавливаешь. Хотя хронология и в мемуарах не самое главное.

Тогда, по прилете в Москву, мы не расставались до вечера. Пришли к Шпаликовым друзья Гены — режиссеры Юлик Файт и

Витя Туров, пришел Боря Андроникашвили (он меня тогда и до дома довез на такси).

Для дальнейшего замечу, что Инна представляла трезвое начало, выглядела отчасти скучноватой женой, а не актрисой, не богемой. Пока мы вели застолье, она непрерывно звонила каким-то начальникам, обещавшим Шпаликовым увеличить квартиру, — и они вскоре переехали из двухкомнатной квартиры в трехкомнатную.

Свои хождения по домам творческих работников Гена начал уже из трехкомнатной.

При встречах с Геной, в огромном городе внешне случайных (но пока такие, говоря более поздним языком, пересечения происходят, какая-то скрытая закономерность в них есть), он всегда умел сделать вид — у него это выходило очень естественно, — что только тебя и поджидал, и случайное пересечение обязательно имело развлекательное продолжение.

В грустном — вероятно, выпить не на что было — настроении шли мы с Борей Ардовым по Пятницкой, когда остановилось рядом с нами такси. Гена в светлом плаще сидел рядом с водителем — и потребовал, чтобы мы немедленно сели сзади и ехали с ним вместе дальше. Руки у него были заняты тремя или четырьмя коробками шоколадных конфет, перевязанных ленточками. Он объяснил, что едет к метро “Аэропорт” в детский сад Литфонда — хочет премировать конфетами руководителей своей дочери Даши.

Я второй раз в жизни оказался на “Аэропорте”, в районе, с которым, как уже не раз говорил, столько в дальнейшей моей жизни будет связано.

И в частности, с кафе-стекляшкой на углу.

Когда я уже прочно обосную в этом районе, кафе перейдет на торговлю портвейном — и контингент у заведения будет соответствующий. Впрочем, портвейн унижать не позволю — им вспоена была, высокопарно выражаясь, целая генерация людей, конфликтовавшая с властью (что, конечно, не помешало любить портвейн конформистам, не знающим, что они конформисты).

Не хочу изображать из себя — постфактум — чистоплюя. Но я (уже в качестве старожила Аэропорта) заглянул (впервые после визита с Геной и Борей, о котором через страничку обязательно расскажу) в стекляшку, чтобы спросить шампанского, — когда учился в семидесятые на Высших кинематографических курсах, я был крайне умерен в употреблении спиртных напитков.

Шампанского не оказалось, но на барменшу Римму я своей

изысканностью произвел впечатление.

Римма — натура для изваяния “Девушка с веслом” — в нашем районе пользовалась не меньшей популярностью, чем такие звезды искусства, как Люся Марченко, Майя Булгакова, Лилия Олимпиевна Гриценко — все клиентки и подруги барменши. Я предлагал даже своими силами снять про нее фильм “Римма в одиннадцать часов” — был такой итальянский фильм неореалистического направления де Сантиса, где в названии вместо Риммы был Рим. Пикантность шутки заключалась в том, что алкоголем в ту пору до одиннадцати утра не торговали.

У Гены есть стихи со строчкой “имел в любви большие неудачи”. Мне строчка очень понравилась, но я сказал ему нравоучительно — мы сидели в ресторане Дома актера, — что в любви не может быть удач или неудач (нельзя, мол, так рационально ко всему подходить). Он согласился, но не отказался от своей строчки, а мне она не перестала нравиться. И вспомнил я ее при не совсем обычных обстоятельствах.

Благосклонность Риммы и мой авторитет среди пьющей части (а это была значительная часть) аэропортовского населения заметно поднимала. Однако одним поздним зимним вечером авторитет этот поднялся до высот, с которых дальше предстояло только спускаться (я понял альпиниста, поднявшегося первым на Эверест, который рассказал потом о грустном чувстве, какое охватило его, когда восходитель понял, что выше вершин ему уже не взять: мечта сбылась — и дальше жить нечем).

Как со своим человеком Римма стала со мною церемониться гораздо меньше — и разговаривала со мной иногда так же панибратски, как, допустим, с детским писателем Юрием Сотником, на чьей книге “Архимед Вовки Грушина” воспитывались дети моего поколения.

На пересечении улиц Усиевича и Лизы Чайкиной было еще одно кафе со своей историей.

Я уже бегло сказал о роли портвейна в становлении протестного движения, но в моей компании портвейн никогда не называли портвейном, а только “азербайджанским” — и вот почему.

Недавно умер один из основателей театра “Современник” великолепный актер Виктор Николаевич Сергачев.

Как-то мы с тем же Борей Ардовым встретили Витю, когда он уже за Ефремовым ушел во МХАТ. Витя позвал нас к себе смотреть по телевизору футбол — и обрадовал тем, что по дороге мы заглянем в кафе-деревяшку и выпьем ажжибижанского (так он выговорил) портвейна. Я давно заметил, что в русском языке

самое трудное слово — “Азербайджан”: на моей памяти никто не выговорил его правильно. Но Витя как-никак к тому моменту был народным артистом России — и служил не где-то, а в Художественном театре (как писал Маяковский, “И чист, как будто слушаешь МХАТ, московский говорочек”). Мы предложили Сергачеву из спортивного (шли же футбол смотреть) интереса выговорить слово “азербайджанский” правильно, но скоро поняли, что на футбол опоздаем.

С тех пор мы портвейн не называли иначе как азербайджанский.

В том, втором кафе, разумеется, тоже торговали только портвейном, но я почему-то окрестил “Азербайджанским” дальнее, а не ближнее кафе. Шутка материализовалась — построенный через дорогу кинотеатр официально назвали “Баку”.

В тот вечер, разозленный панибратством Риммы, я перебрался в “Азербайджанское” — не сошелся, мол, свет клином на Римме.

В “Азербайджанском” вокруг меня собралась компания знакомых и незнакомых людей. Речь зашла о театре.

Среди нас был спившийся актер Коля Завитаев. Он выпивал еще в школе-студии, за что ректор Радомысленский решил не выгонять его совсем, но отдать на перевоспитание в провинциальный театр. Он сам отвез Колю во Владимир, а оттуда привез очень талантливого актера без высшего образования, которому бы не помешало доучиться на старших курсах учебного заведения при МХАТ. Фамилия нового студента была Евстигнеев и звали его Евгений. Завитаева же потом простили и вернули защитить диплом, но в Колиной судьбе это мало что изменило.

Как всегда бывает при таких интересных разговорах, в самый неподходящий момент кончились деньги, а у местной барменши Эммы даже я не пользовался кредитом. К тому же заведение уже закрывалось — и бежать, чтобы занять у кого-нибудь денег, в кооперативный дом “Драматург” было поздно.

И вот на самом краю минуты отчаяния в дверях показалась Римма — она пришла мириться — и предложила мне проследовать в ее кафе (тем более закрытое, раз она покинула свой пост).

Я не мог бросить слушателей — и ответил Римме, что без них никуда не пойду.

И она позвала всех. Нет, не в кафе (это было бы чересчур — и участковый Солнцев такое действие несомненно бы пресек) — все остались на темной улице, а Римма вынесла нам несколько больших (по ноль семьдесят пять) бутылок портвейна.

Пили в молчании. Пьющие и в кино таких проявлений любви

не видели — и смотрели на меня новыми глазами. Пытались понять, что замечательного могла найти такая выдающаяся женщина, как Римма, во мне — в одном из них, как казалось моим неблагодарным (алкоголизм разрушает личность) собутыльникам.

Мои же мысли заняты были другим.

Я догадывался, что не к удачам (по мною же оспариваемой классификации Шпаликова) надо отнести случившееся, а к высшим жизненным достижениям.

Сочини я две “Войны и мир”, у людей, пьющих сейчас посвященный мне Риммин портвейн, я не смогу вызвать такого же (пусть и с примесью справедливой зависти) восхищения.

А будет ли сочинена хоть одна?

Но, когда осенью шестьдесят шестого года мы вошли в кафе-стекляшку на перекрестке с Геной и Борей, там торговали исключительно коньяком, и никакой Риммы (она, наверное, училась еще в школе) за стойкой не было.

Гена сразу заговорил о том, что кафе это любит Светлов — он живет в доме рядом.

Шпаликову всегда хотелось исторических параллелей. За год до того мы — в том же составе — встретились за кулисами Театра киноактера во время панихиды по великому Петру Алейникову.

Перед нами в буфет ворвался Борис Андреев — и с порога потребовал налить ему стакан водки. После чего поднялся наверх, где кинематографический народ пока еще не собрался на панихиду, а зашедшие с улицы робко жались по стенке.

Андреев упал большим телом на гроб — и громко зарыдал. И горе его (вот что значит энергетика настоящего артиста) сразу всем передалось — и, как мне показалось, в помещении вокруг гроба сразу стало тесно.

В буфете же, когда Андреев выпил и ушел, Гена, подняв свою рюмку, предложил: “Давайте выпьем за то, чтобы так дружить, как дружили Борис Андреев, Алейников и Крючков”.

За коньяком в кафе мы пробыли довольно долго. К третьей бутылке Гена раскрыл одну из подарочных коробок конфет. Незаметно стемнело. Мы поспешили в детский сад. Шпаликов вошел внутрь, а мы с Борей Ардовым остались ждать его у входа. Пьяного папу ребенка в саду долго не задерживали — и он сказал, когда вышел, что надо было, наверное, не конфетами премировать руководителей Даши, а тоже коньяком.

Под улицей Горького прорыли подземный переход — после службы я шел им на тот берег.

Меня остановила необыкновенно красивая и, как мне показалось, совершенно незнакомая дама в дорогой (какие тогда были редкостью) шубе и обратилась ко мне проникающим вслед за дорогим опять же запахом духов тоном — светским и вместе с тем свойским.

Получилось, что после знакомства в Новосибирске я и не узнал Инну Гулую (и не обратил внимания, что люди на нее оборачиваются, то есть обратил, скорее всего, но счел это за обывательский интерес к амуниции упакованной дамы).

Инна сказала, что идет на премьеру к подруге (назвала тоже известное имя) — может, если хочу, и меня взять в театр. Но я не был в ту минуту готов к такому повороту — сослался на какие-то неотложные дела.

Похожий случай был у меня потом и с Геной. Я встретил его в устье Арбата с каким-то представительным господином. Шпаликов сказал, что это оператор Олег Арцеулов (“ты, наверное, читал в «Комсомолке» его репортажи из Камбоджи”) — и он, Гена, давно хотел нас познакомить. Сейчас самый подходящий случай. Инна на съемках (Гулая последний раз снималась в большой роли — играла в советско-чехословацком фильме возлюбленную моего любимого писателя Ярослава Гашека), и они едут к Шпаликову домой (Гена показал сумку с пятью, по-моему, бутылками водки). И мне сейчас самый смысл ехать с ними.

Но я опять не мог. Дело у меня и на самом деле было неотложным: надо было навестить обезножевшего друга.

Я тем не менее согласился на скорую руку выпить с ними в ближайшей столовой. Народу в обеденное время было полно: лето, жара, люди сердито хлебали суп, ели винегрет с котлетами (целиком из хлеба). Но Гена и не претендовал на закуску — он мигом выбил в кассе, улыбнувшись публике в очереди, шесть компотов (почти без ягод).

Мы быстро выпили по компоту, а в пустые стаканы Гена налил водки из своей сумки.

Дома у Гены Арцеулов немедленно набрал номер домашнего телефона, сказал жене: “Я — мустанг” — и шваркнул трубку.

Утром погода резко ухудшилась. Предстояло, прежде чем снова выпить, сдать пустую посуду — постоять под дождем в очереди перед приемочным пунктом стеклотары.

Арцеулов снова позвонил домой, сказал жене: “Я больше не мустанг” — и поехал домой.

А Гена, конечно, оставался мустангом.

Он продолжал быть мустангом и при всех других обстоятельствах, когда все быстро (к рассвету) спешно разлетались, как Олег Константинович Арцеулов — сын одного из

первых русских летчиков.

5

Гена еще и во ВГИК не поступал, учился у себя в суворовском, когда у нас в Переделкине на улице Лермонтова известный драматург Александр Штейн и один из лучших режиссеров страны Михаил Ромм работали над режиссерским сценарием фильма про адмирала Ушакова.

И вот, вспоминает Штейн, к нему на участок завернул по-соседски (телефонов на дачах еще не было, но такой-то гость не стал бы и звонить с предупреждением о своем визите) Александр Петрович Довженко.

Ромм при всем проявленном к гостю почтении тут же дал классику мирового кино понять, что у них со Штейном нет ни минуты свободной — сроки поджимают.

Но Довженко еще с полчаса помучил их праздным разговором: говорил про бездарность затеи со штакетником, разделяющим писательские участки на улице Лермонтова, и советовал Штейну купить побольше фанеры, из нее сделать забор и выкрасить его в цвет морской воды — глаз на таком заборе будет отдыхать.

Когда гость наконец ушел, Ромм вздохнул — и сказал Штейну, каким гением считает Довженко.

Но, похоже, не гениальности Александра Петровича (Довженко) позавидовал Михаил Ильич (он в себя верил), а возможности жить, не считаясь ни со сроками производства, ни с производством вообще — у Довженко в те годы работы не было.

Ромм и Штейн работали к сроку (и в правильном русле) — и у них были деньги и дачи (у Ромма в Красной Пахре). А Довженко тогда ушел от них к себе в мазанку, собственными руками сооруженную.

Место в истории мирового кинематографа за ним оставалось, а денег на строительство своей дачи заработать не получалось, жил на жалованье преподавателя во ВГИКе.

Когда Довженко умер во время съемок “Поэмы о море”, супруга режиссера, бывшая звезда немого кино (Аэлита в “Аэлите”) Юлия Ипполитовна Солнцева довела картину до конца, дождалась Ленинской премии, на которую и построили по чертежам покойного режиссера дачу.

Улица, где сейчас рассуждаю я в келье поэта Семена Израилевича Липкина обо всех этих превратностях судьбы, носит имя Довженко. Но той дачи, о которой столько мечтал Александр

Петрович, больше нет.

Новый владелец земли (академик живописи Церетели), скорее всего, понятия не имел о Довженко — и дом (вместе с исторической мазанкой) снесли, сад, посаженный режиссером, вырубили, а на их месте — домина ненамного меньше того, что стоит вместо нашего поселка на углу Беговой и Хорошевского шоссе.

Знай новый владелец о заслугах Александра Петровича перед кино, продал бы его дом по бревнышку американскому или французскому киномузею. Но он не стал заморачиваться, соображать, в честь кого названа улица.

Будь я киноведом или историком кино и сочиняй про Гулую со Шпаликовым книгу, можно было утешиться тем, что снялась Инна в трех картинах, которые останутся, как и картины по сценариям Гены.

Но мое дело, пока я пока жив, — вспомнить сверстников живыми, а посмертную их известность констатируют и без меня.

Когда мы на курсах спрашивали у проводившего с нами занятия по режиссуре Андрея Тарковского, как оценивает он Шпаликова-сценариста, тот отвечал, что Шпаликов в большей степени поэт, чем сценарист.

По странной случайности в той же самой даче-коттедже на территории ДТ, где повесился Гена, Андрей с мамой и сестрой проводил ребенком военный сорок третий год — и он рассказывал, что ходил зимой к сыну Фадеева, моему будущему другу Шуне, играть в солдатики.

Виктор Мережко одного со Шпаликовым года рождения. Но они относятся к разным временам кино. Когда работал Гена, сценариста Мережко еще не существовало (он учился в киноинституте у Алексея Владимировича Спешнева), а когда широко пошли фильмы по его сценариям, не было уже Шпаликова.

Сейчас Виктору Ивановичу Мережко пошел семьдесят шестой год. Он по-прежнему работает в кино — сам теперь ставит фильмы по своим сценариям. Мы были с ним соседями по Аэропорту.

В прошлом году я встретил Виктора Ивановича, он мне обрадовался, растрогался, вспомнив моих родителей (они жили в одном доме), рассказал, какого строгого режима питания придерживается, чтобы сохранять рабочую форму.

Уверен, что за время, прошедшее с нашей встречи, он поставил еще один фильм.

По сценариям Мережко вообще поставлены десятки картин,

по сценариям Шпаликова — едва ли десяток. Правда, киноведы чаще говорят про кинематограф Шпаликова как про нечто, существующее совершенно отдельно. Но Мережко — профессионал, который при всех обстоятельствах жив и работает.

Сверстница Инны Гулой Светлана Светличная не сыграла столько главных ролей, как Инна (знаменитой ее сделали роли поскромнее или даже эпизоды, как в “Бриллиантовой руке”). Но вот недавно снялась она (в свои семьдесят два года) у знаменитого иностранного режиссера — и сидела на премьере в мини-юбке. Как мне было не вспомнить Инну Гулую?

Во времена, когда стойкие мустанги превратились уже почти в анахронизм, сидел я за ресторанным столиком со Шпаликовым и Никитой Михалковым — и не мог не заметить, с каким почтением, как младший к старшему, как артист к своему драматургу, относится ставший к тем временам знаменитым Никита к Гене.

По-моему, Никита еще не снял ни “Рабы любви”, ни “Родни” (по сценарию Мережко), но чего-то уже снял — и отличался от того Никиты, каким я увидел его на Московском кинофестивале дай бог вспомнить какого года. Не шестьдесят пятого ли? Точно помню, что приезжала на тот фестиваль Софи Лорен. Поскольку сотрудник нашего отдела в АПН Марк Татаринов (тот самый, что столько огорчения мне доставил правкой моей корреспонденции с фестиваля в Ленинграде) познакомил меня с Карлом Понти — ткнул в живот растерявшегося от такой наглости Понти и кивнул мне: “Знакомься, Сашка. Это Карл Понти — продюсер”. Это дает мне теперь повод называть Софи Лорен женой одного моего знакомого. Тем более что фотограф АПН Валера Шустов сделал снимок: “Софи Лорен среди журналистов”, и один из окружавших ее журналистов — я.

Но все, конечно, впечатления от Московского фестиваля меркли перед пресс-баром, работавшим на седьмом этаже гостиницы “Москва” до четырех утра. Не понимаю, как после ежедневного присутствия в баре до самого закрытия мне удавалось утром на службе сочинять заметки в наш “Вестник союзной информации”. Когда удивляешься теперь ощутимо пошатнувшемуся здоровью, как не вспомнить — правда, почти не с кем стало вспоминать — героические посиделки на седьмом этаже.

И ведь седьмым этажом не ограничивалось.

Продолжения следовали.

Однажды наш разъезд после закрытия фестивального бара

напомнил один из первых опытов нового искусства — кинематографа: короткометражный фильм “Политый поливальщик”. Не помню уж, как мой друг (и в ту пору начальник) Авдеенко раздобыл в пятом часу утра возле гостиницы “Москва” шланг, из которого захотел помыть свою машину. Алкогольное опьянение отчасти помешало его первоначальному замыслу, зато удалось облить всех нас, собравшихся с ним ехать дальше.

Приехали ко мне на Лаврушинский. Поднялись в квартиру поливальщик, я, знаменитая девушка Лена Окаемова… Возвращаясь к теме Шпаликова, вспомнил, что на дне рождения Максима Шостаковича она заговорила в какой-то связи про Гену, а Евтушенко посетовал: мол, какой-то он, Шпаликов, неосновательный. Лена возмутилась: как может человек в двадцать семь лет быть основательным, — но Евтушенко с нею не согласился, заявив, что двадцать семь лет — это уже серьезно; самому Евтушенко тогда было, по моим подсчетам, тридцать.

С единственной в нашей компании дамой, Леной, я варил на кухне кофе. А потом, когда несли мы с ней кофе в комнату, обратил внимание, что входная дверь не заперта. Я выглянул на всякий случай за дверь — и увидел, что на нижних ступеньках лестницы к пролету второго этажа (я жил на третьем) сидят Савва Ямщиков с Никитой Михалковым — и пьют вино из своей бутылки.

Я позвал их наверх, гадая, почему они остались на лестнице. Сейчас понимаю, что ехали они в другой машине, вошли в подъезд позднее — и, не заметив спьяну, что дверь ко мне не заперта (не прикрыта плотно), не знали и куда идти. Позвони Савва с Никитой в пять утра не в ту квартиру, выгнали бы их вообще на улицу из подъезда. А интуицией Шпаликова, так блестяще проявленной им в новосибирских Черемушках, они не обладали, им надо было знать адрес определенно.

Савва бывал у меня потом на Лаврушинском, а Никиту я не видел до новой встречи в ресторане. Он меня не узнал, и Гена познакомил нас снова.

6

Покойный Виталий Вульф позвонил мне однажды с вопросом, касающимся звезды конца пятидесятых Людмилы Марченко. Ему надо сделать о ней передачу, а он ее мало знает, но слышал, что я знаю Люсю ближе. Я и на самом деле знал Люсю ближе, чем Вульф. Но в подробности жизни актрисы, снявшейся последний

раз заметно в экранизации “Звездного билета” Василия Аксенова, а дальше — тишина (или, лучше сказать, пустота), посвящать телеведущего не собирался. Просто захотел внушить ему простую мысль, что Люся, как и еще ряд молодых актрис сходной с нею судьбы, между съемками в кино актрисой, по существу, не была, не умела поддерживать самостоятельно форму (и содержание, в общем, тоже) — они слишком долго не понимали, почему их больше не зовут сниматься в кино. Были на то и другие причины, о которых еще и сегодня любят иногда вспомнить скандальные репортеры. Но главной причиной была собственная беспомощность в паузах, о которой скучнее, конечно, рассуждать, чем о любви с пожилыми и всемогущими режиссерами.

К Инне Гулой подобное соображение довольно долго никакого отношения не имело.

Она была на год моложе Люси, снялась в большой роли несколько позже, у того же самого режиссера — Льва Кулиджанова — в фильме “Когда деревья были большими”. Но уже первая роль — сектантки в картине Ордынского “Тучи над Борском” очень болезненно ударила по ее психике (сами обстоятельства, предлагаемые ролью, оказались очень вредны для нее), на что вовремя никто не обратил внимания.

Вытеснил отчасти из сознания две первые главные роли Инны новый ее имидж, предложенный режиссером Михаилом Швейцером, несомненно под воздействием экспрессивной картины знаменитого художника тридцатых годов Александра Самохвалова “Девушка в футболке”.

Картина “Время, вперед!” по роману Валентина Катаева предлагала нам в столько обещавшие шестидесятые вспомнить кинематографический (в пику и в подражание Голливуду) стиль отечественных тридцатых.

Фильм Швейцера большого успеха не имел — и не из-за неправды, а из-за излишнего эстетического изыска. Но Инну Гулую этот фильм, отвлекая, по-моему, от сути ее артистической натуры (проявленной, между прочим, в фильме Шпаликова), обещал сделать актрисой такой же популярности, какая была перед войной у Любови Орловой или Валентины Серовой.

Инна была одареннее Люси Марченко, обладала лучшими внешними данными и человеком была намного хуже, чем Люся, что в профессии давало ей преимущество.

И была у нее школа, выгодно отличавшая Инну от большинства киноактрис.

“Непосредственная, как Гулая” — было такое у Эфроса, по свидетельству однокашников Инны (моих приятелей) по студии при Центральном детском театре, специфическое выражение.

Вроде бы что может быть важнее для артиста, чем непосредственность?

Но, как и у всякого великого достоинства, у непосредственности есть оборотная сторона.

Станиславского и Немировича восхищала непосредственность Владимира Федоровича Грибунина, артиста из поколения основателей Художественного театра. Но разве почитают Грибунина так, как почитали Качалова! Нужны же еще и мозги, повернутые к рампе — по ту и по другую ее стороны, и в отношении с партнерами, и в отношениях с публикой.

В “Современнике” — изначально и на долгие времена — эталоном непосредственности была Нина Дорошина (она, говорили в театре, на сцене переиграет и кошку).

Но Дорошина, с одной стороны, органично вошла в систему “Современника” (будучи происхождением из Вахтанговской школы), а с другой… так ли уж была счастлива при распределении ролей?

Анатолий Васильевич Эфрос снял Инну Гулую в своей картине, где главную роль розовского мальчика играет юный Табаков, а к нему по ходу действия приходят домой две девочки в школьных фартуках: одна из них первая жена Табакова Люся Крылова, а вторая — Инна.

Но никуда дальше Эфрос ее не позвал.

Мне показалось, что у моих приятелей — соучеников Гулой не сложилось о ней определенного мнения. Они любили вспоминать случай, как пришел к ним в студию при Центральном детском театре великий режиссер Алексей Дмитриевич Попов. Ему хотелось сделать приятное своему другу Марии Иосифовне Кнебель, главному режиссеру Детского театра, у которой учился Эфрос. Анатолий Васильевич вел курс, которому вот сейчас предстоял экзамен в присутствии таких важных для него как педагога людей.

Инне предстояло сыграть отрывок вместе с другой девочкой — Светой, ставшей потом актрисой театра Советской Армии и вышедшей замуж за известного писателя, потерявшего на фронте обе руки, соседа Твардовского по дачному поселку на Пахре Иосифа Дика.

Девочки для храбрости выпили перед экзаменом четвертинку, и когда открылся занавес, всем было видно, что будущих актрис развезло — и Гулую развезло чуть больше. Ничего не оставалось, как дать команду закрыть занавес.

В мертвой тишине, наступившей после закрытия занавеса, когда Кнебель с Эфросом боялись смотреть на Алексея

Дмитриевича, все услышали, как одна девочка сказала другой: “Ты мне весь отрывок испортила…!” Услышав всеобъемлющее слово, Попов молча надел пальто, кепку, галоши — и по-английски, не прощаясь, ушел.

Но не прошло и двух лет после выпуска студии, как Инна (с ее неодолимой непосредственностью) уже и звезда кино, и замуж выходит за почти легенду и любимца киношного мира Геннадия Шпаликова.

К ней и в новом качестве у бывших сокурсников возникали придирки. Мой приятель Сеня Сапгир (способный малый, не совладавший в итоге с водкой) осудил однажды прелесть телесного избытка Инны — сказал (уж не помню по какому поводу): “И тут еще Гулая со своим бюстом…” На что Боря Ардов, перебив Сеню, резонно заметил: “Минуточку, минуточку, я не понимаю, почему плохо, когда у человека бюст, если он — дама?”

7

Я удивился, застав ее у Люси Марченко.

То есть я был предупрежден, что она там будет, — и в общем, пригласили меня на Инну.

В других бы случаях и не приглашали бы специально меня — своего человека в том доме, приятеля двух последних мужей Люси. И с хозяйкой вдобавок отношения сложились совершенно самостоятельные. Между нами, последнего мужа Сережу Соколова мне даже предварительно показывали: ка2к он мне, стоит ли бросать из-за него Виталия, Виталий Войтенко (администратор Москонцерта) меня как-никак и привел в этот дом.

Но перевозбуждение Люси, связанное с приходом Инны, не приходилось объяснять.

Едва ли не в каждой квартире двух стоявших рядом кооперативных домов сложились свои компании для посиделок.

Почти все служили в Театре-студии киноактера, но одних еще (“еще” я сказал, заглядывая вперед) снимали, а других уже (“уже” в комментарии вряд ли нуждается) нет. Но и тем, кто не снимался, полагалось непременно звонить Билле Ароновне, заведующей неоглядной труппой, и спрашивать, не предвидится ли какой работы на киностудиях (допустим, озвучания).

Инна впервые обратила на себя внимание Люси в театре, когда нагрубила Билле Ароновне (Люся мне рассказывала об этом случае как бы с мудрым осуждением старослужащей опрометчивости вновь поступившей: попала сюда — не бунтуй).

Бывшие чаще и группировались с бывшими. С Люсей, правда, все дружили — и к ней могли заглянуть Юматов или Майя Булгакова. И все же и Юматов, и Майя — соседи, а Инна из совсем другого района, на Аэропорт никогда прежде ее не заносило.

Последний муж Люси — художник-оформитель книг — обожал знаменитых людей, ходил и на похороны к ним, не будучи лично знакомым. После женитьбы на Людмиле Марченко знакомство со звездами становилось обыкновением. Сережа гордился тем, что была у них в гостях даже Татьяна Самойлова.

Только Самойлова все равно уже считалась вчерашним днем.

А Инна — другое дело. Люся точно не знала, навсегда ли исчез из дому Гена. Не знала и того, будет ли он еще снимать кино сам или снимет кто-нибудь фильм по его сценарию. Зато теперь Люся понимала, сколько зависит от расположения действующего режиссера. Это когда-то она Иваном Александровичем Пырьевым пробросалась — сейчас-то бы сто раз подумала. С другой стороны, вредить себе — изначальное свойство Люсиного характера. Потому все в киношных домах на Аэропорте ее и любили.

До такой степени перевозбужденной я Люсю и не видел. Кто бы ни звонил ей по телефону, первое, что она сообщала: мы вот сейчас с подружкой Гулой… а Гулая кривилась, слыша, что она — подружка. Но в том и выражалось ее одиночество, что отступать было дальше некуда.

Состояние Инны и мне передавалось: мы разговаривали с меньшей естественностью, чем в Новосибирске, когда только-только познакомились.

Друзья Гены держали его сторону — и во всем винили Инну.

Возможно, она и была кругом виновата.

У нее не было опыта другого замужества — не возникло и в дальнейшем.

Иногда я думаю, что, соедини она жизнь с терпеливым мужчиной из публики (не из мира искусства) — и мужчиной, разумеется, физически неслабым, как это случилось с другой нашей звездой Викторией Федоровой, когда вышла та в Соединенных Штатах Америки (на родине своего отца, контр-адмирала) за пилота компании “Пан-Американ”, где хлипких не держат, — судьба ее сложилась бы по-другому.

И не Гена ли был виноват в том, что приучил Инну к мысли о дальнейших съемках исключительно у него как у режиссера, а новых постановок не было? Она же, прибившись к нему, от своих прежних режиссеров отошла.

А в кино, как и в жизни, одним прощают все измены, а другим не прощают и одной-единственной (хотя измены, по моим наблюдениям, в единственном числе не бывают).

И все же причины, по которым ей не давали работы (твердили, как она мне рассказывала, в любой съемочной группе, куда она приходила на пробы: “Какая вы странная, Гулая”, — словно прежде она была другой), оставалось искать только в ней самой.

Тогда утром на Аэропорте она без макияжа похожа была на героинь ранних своих картин — и только дубленка (вряд ли дешевле той шубы, в какой я видел ее когда-то) отдаляла ее от них.

Она вспомнила, что надо (что пора) улыбнуться — отогнать мрачные мысли. Лучше казаться капризной, чем мрачной.

Люся упрекнула меня: “Ты больше всех нас любишь эту сумасшедшую”.

Она была не права.

Женщинам с психикой Инны я мог сочувствовать, но выдержать их было свыше моих сил.

Когда Инна служила в ЦДТ, она говорила директору Когану: “Послушайте, я известная актриса, а зарплата у меня девяносто рублей. Приходится говорить знакомым, что получаю двести. Как мне быть?” Коган посоветовал: “И дальше говорите, что двести”.

Но со всеми своими капризами она за девяносто рублей так играла в пьесе Шварца “Тень” Юлию-Джулию, что, по словам служившей одновременно с нею первой жены Бори Ардова, это становилось событием для их театра, из чьей труппы тогда не ушли еще ни Инна Чурикова, ни Лия Ахеджакова, а героинь играла очень талантливая Тамара Дегтярева, менее потом успешная в “Современнике”.

И я удивился, когда Инна сказала, что в Киноактере, куда она все-таки перешла, ей не дают роль девушки из пьесы Булгакова, по которой Гайдай вскоре снял картину “Иван Васильевич меняет профессию”. Не могли же составлять ей конкуренцию не умевшие играть на сцене киноактрисы.

Как-то она мне позвонила: “Понимаешь, они считают меня алкоголичкой”. Я от большого ума посоветовал: “А ты, Инночка, не пей”. “А я и не пью”.

Того, что наркологи считают отсутствием критического к себе отношения, у нее не было. Сказала же она вполне искренне с навсегда запомнившейся мне обреченностью: “Сначала выпьешь, потом захочется закурить, потом чего-то еще захочется…”

У нас на курсе училась девочка, которую настолько любили педагоги, что она так и не выучилась выговаривать “р” — и вроде бы ей это не мешало.

Старшекурсникам — один из них придумал ей прозвище Фиалка — она, пожалуй, нравилась больше, чем нам, своим соученикам. Что не помешало ей все равно выйти за самого красивого нашего студента Гарика Васильева.

Мы же с нею после приезда моего на каникулы в Ленинград, откуда была она родом, всегда изображали брата и сестру, она меня и называла братиком.

Недавно мне попался снимок немногочисленной труппы театра “Современник” самого начала шестидесятых — и очарование моей однокурсницы я впервые (через столько лет) сумел оценить. А когда учились, она не шла для меня ни в какое сравнение с девочкой, учившейся на третьем курсе. Та играла уже роли — и в ней была для меня магия единения с теми женщинами, каких играла она в учебных отрывках (и уже в спектакле во МХАТе), а до способности разъединить роль с актрисой я еще не дорос.

В самом начале шестидесятых я летел в командировку от “Известий” через Новосибирск — и на сутки отложил продолжение полета, чтобы провести эти сутки с бывшими однокурсниками, поступившими в “Современник”, который гастролировал по городам Сибири.

Я впервые летел на самолете — и с погодой не повезло: всю ночь прослонялся в Москве по аэропорту в ожидании своего рейса. Под утро встретил Евгения Евстигнеева — тот уже снимался в кино (но картин с его участием еще не выходило, и никто не узнавал артиста, когда пили мы пиво).

Евстигнеев летел в Новосибирск играть “Голого короля”, но другим рейсом — наш отправляли раньше, — и просил меня предупредить в театре, что может к началу спектакля опоздать, пусть тогда короля играет дублер Боря Гусев.

Евстигнеев успел к началу — и короля играл сам, а я после бессонной ночи в аэропорту проспал весь спектакль в оркестровой яме.

Но дальше я приобщился к веселой гостиничной ночи с артистами.

“Сестра” веселилась в компании со старшими (Олег Табаков отмечал свой день рождения), а моих бывших однокашников на такой уровень пока еще не приглашали — и я выпивал с ними под

селедку (ничего другого для закуски я на прилавках Новосибирска не увидел) в номере, который Боря Ардов делил с Витей Тульчинским и еще с кем-то.

Лет через десять после того Новосибирска прочел я повесть Юрия Трифонова “Долгое прощание”, которая начинается с эпизодов гастролей московского театра, но не в Сибири, а на Волге (в Саратове, по-моему), — и сразу вспомнил ночь среди артистов “Современника”.

Конечно, Трифонов знал актерский быт, он и пьесы сочинял для театра Ермоловой, и женился на артистке, от чего Господь меня уберег, а мог ведь и не уберечь.

Мой дядя, работавший долго в Норильске, интересовался театром, фигурным катанием, но смотреть и спектакли, и соревнования мог только по телевизору. Когда он бывал в Москве, ему нравилось, что вращаюсь я в мире, где и театр поблизости, и с фигурным катанием (в то время я часто писал о спорте) могу соприкоснуться, если очень уж захочу. Но вместе с тем он наставлял меня постоянно: “Жениться, Сашка, надо на простой бабе, которая щи умеет варить”. К дядиному совету я всерьез не относился — я не люблю супа, я закуски люблю (у меня был приятель Леня Лейбзон — и на военных студенческих сборах, когда сокурсники, любившие вкусно поесть, вроде Кости Щербакова, рассуждали, чего бы им сейчас хотелось съесть, сказал: “А я просто так никогда не ел, я всегда закусывал”).

Одна прекрасная дама сделала мне замечание: “Тебе надо было про женщин писать, а не про футбол”.

Я мог бы ей ответить, что с массами (толпой) мне казалось естественнее делиться футболом, чем женщинами.

Но и с футболом все получилось сложнее.

Того футбола, который интересен массам, я толком не знал.

Я знал (и знаю) только свой футбол.

Футбол, сочиненный для самого себя в детстве, чтобы не жить той жизнью, что жили родители.

И мой футбол не мог быть близок массам — у тех, кто хоть что-то прочел из сочиненного мною про футбол, это чаще вызывало недоумение: про что это?

А вот про сочиненных женщин наверняка бы почитали.

Массы, измученные и утомленные реальными подругами, сочиненных женщин способны были бы полюбить.

Но меня интересуют только реальные женщины, у меня нет фантазии, чтобы женщин сочинить, — и кажется, хватило ума не считать, что в ком-нибудь из них я разобрался. Я в себе разбираюсь при их участии (во всех смыслах).

Когда-то в школе меня никак не хотели принимать в

комсомол (я уже и сам не хотел, но вступал из спортивного интереса). И вот на очередном классном собрании, где решали, принимать меня или снова повременить, выступила девочка Лариса Морозова — и сказала, что, прежде чем выразить свое мнение — за или против, она хотела бы больше знать про Нилина (про меня), знать, например, что он больше всего в жизни любит.

Яша Липкин в расстегнутом школьном кителе подал реплику с первой парты: “Он любит женщин”.

Все тогда, помню, набросились на Яшу — собирались сгоряча его, наоборот, из комсомола исключить, а не меня принять.

В комсомол меня все же приняли, что не отменяет Яшиной правоты.

В ту ночь, которая прошла у меня тогда с артистами “Современника”, мне всего интереснее было превращение моих бывших однокурсников и однокурсниц в актеров и актрис — их судьба казалась определившейся, а мне за своей, как надеялся я, предстояло еще лететь куда-то дальше.

У сестры-Фиалки в ту ночь это получилось не вполне.

Спрос на нее этажом выше, где веселились основатели и первачи, оказался слишком велик.

Утром на нашем этаже я стал свидетелем корпоративного осуждения малодушия вчерашней однокурсницы. Девочки (Галя Соколова и Оля Фомичева) обиделись за красавца Гарика Васильева. Витя Тульчинский, больше всех возмущавшийся, — очевидно, тоже. Мой друг Боря Ардов вяловат бывал на такого рода осуждения, но мне показалось, что и он был слегка раздосадован, вспоминая, как приняли Фиалку на Ордынке: она нравилась ему и Максиму Шостаковичу, а Борин брат Миша даже приезжал к ней в общежитие.

Интересно, что Витя Тульчинский через много лет совершенно не помнил о случившемся тогда в Новосибирске. И с тем, что не удержалась Фиалка дольше, чем сезон-другой, у них в “Современнике”, никак не связывает эпизод, приключившийся на этаже, где разместили первачей.

Бывает, что и преподаватели ошибаются — очень известный театральный педагог Виктор Карлович Монюков, когда руководил некоторое время театром на Малой Бронной, взял к себе Фиалку на главную роль в каком-то спектакле, не ставшем, однако, сколько-нибудь заметным событием.

Может быть, я придал обычному для театральных кулис случаю значение некого символа только из-за того, что и мне

тоже случалось ставить невзначай на кон свое будущее?

Андрюша Кучаев — в те времена, когда Фиалка бывала у Ардовых, он пользовался наибольшим ее расположением — в одном из своих сочинений, желая увидеть в профуканной, как любит говорить Алик Марьямов, большинством из нас биографии что-то нас и возвышающее, пишет, что за лихость молодости мы и расплатились по-царски — всей будущей судьбой.

Я бы все же сказал не судьбой, а карьерой (то есть видимой частью айсберга судьбы).

И, пока хоть кто-то из нас жив, судьбу всей компании рано считать завершенной.

9

В год, когда Фиалку уволили из “Современника”, туда перешла некогда безответно мною, первокурсником, любимая девочка с третьего курса — и заняла там первое положение, а когда это положение показалось ей менее прочным, вернулась в МХАТ уже к Ефремову — и снова играла главные роли.

Когда через семнадцать лет после встречи в школе-студии я столкнулся с нею вновь — и узнал ближе, то не мог не обратить внимание, что триада последовательных действий, сформулированная некогда Инной, вполне органично присутствует и в ее жизни, на театральных делах никак не отражаясь.

А Фиалке, работавшей ассистенткой режиссера на телевидении, никто не верил, что была она замужем за ставшим знаменитым артистом театра и кино Игорем Васильевым, женатым в тот момент на приме МХАТа Ирине Мирошниченко.

Гена все скитался по домам творчества. Я никаких подробностей его жизни не знал. А Инна объявилась — позвонила за полночь, рыдала, что ей страшно одной в квартире.

Квартира, в которой я прежде не был, показалась мне просторной, но словно нежилой, словно не только хозяин ее покинул, но и остававшаяся в ней хозяйка. Стоило так хлопотать об этой жилплощади (кто жил в те времена и тем более те, кто живет в нынешние, могут себе представить, каких хлопот стоила трехкомнатная квартира), чтобы теперь не желать в ней жить.

Я предложил Инне побыть пока у меня — Аэропорт с кооперативными домами киношников все же повеселее будет, чем улица Шверника (черт-те где, по моим ощущениям).

Ей и у меня на Аэропорте лучше не сделалось — ей уже нигде

не могло сделаться лучше. И, когда лет через десять (прошедших для нее никак) она в Доме кино набросилась с кулаками на Настасью Кински, я не удивился — и понял ее отчаяние: как ни хороша была Кински, но я-то помнил, как начинала Инна Гулая.

Сохранилось в памяти название картины — “Любимая женщина механика Гаврилова”, на премьеру которой (точную дату можно восстановить по справочникам) все в тот же Дом кино звала меня Инна, к той поре звонить почти переставшая.

Я не мог идти (да и не хотел идти вместе с Инной: кто знает, как она поведет себя, разогретая многолюдством).

Она равнодушно выслушала мой отказ — сказала: “Ну да… Ты же опять женат. Но я тебя никогда за мужчину и не держала”.

10

Я заглянул во времена более поздние, не завершив воспоминания о начале семидесятых.

Судя по той погоде, что стояла, скорее всего продолжалось лето (или только-только начиналась осень, но, по моим ощущениям и по тому, как легко одет был Гена, лето еще не закончилось).

Он жил в Переделкине, деловая Москва от него отдалилась — былые товарищи (я это сам от них слышал) устали от того состояния, в котором он постоянно теперь находился и трезвым.

Все куда-то спешили, избегали встреч, не убежденные, что трезвость эта надежна.

Все, повторяю, сделались взрослыми — и никто, хоть ненадолго, не соглашался становиться мустангом.

Гена сказал, что ко мне он прежде всего по делу: срочно нужна пишущая машинка. Он должен сочинить стихотворение к годовщине смерти клоуна Лени Енгибарова, за которым через некоторое время зайдет Ира Мазурук — она работает теперь в журнале “Советская эстрада и цирк”. Ира жила рядом с журналом и в нескольких минутах ходьбы от меня.

Гена предупредил, что выпьем (не “попьянствуем”, дело не ждет) непременно, но не раньше, чем он закончит стихотворение.

И тут же изменил решение: “Нет, все-таки по чуть-чуть — давно же не виделись”.

Когда Ира пришла за стихотворением, мы еще сидели на кухне — не помню уж, принесенное ли Геной мы пили или я сходил в наш магазин “Комсомолец”, пока Шпаликов обдумывал, с чего начать стихотворение.

Ира присоединилась к нам — стол придвинут был к стене, мы

сидели близко друг к другу.

Почему-то и намека на веселье не получалось — все мы трое слишком далеко отошли от намеченного. Я помнил Ирин дипломный сценарий про свою маму, ушедшую от полярного летчика, Героя Советского Союза Ильи Мазурука, к молодому писателю Вадиму Кожевникову (вполне оправдавшему надежды этой дамы с очень ей подходящим именем Виктория, ставшему и отчимом Иры, и тоже Героем, но Социалистического Труда), недолгое замужество за Ефремовым в пору создания “Современника” (мне, свидетелю Ириной юности в Переделкине, не сразу удалось привыкнуть к мысли, что она стала женой моего педагога, а когда привык, сразу же и отвыкать пришлось — он от Иры ушел, да и я у него дальше не учился).

У нее и потом были известные мужья: Ким Бакши — журналист, писавший про науку, писатель Виль Липатов. В браке с писателем она сочиняла сценарии по его прозе и собственную прозу, которую хвалили. А теперь вот не от хорошей жизни жалкий журнальчик, но зато на службу ходить совсем рядом.

Безразличная мне, в общем-то, всю жизнь Ира, с которой и здоровались мы всегда формально, словно припоминая друг друга (хотя соседями были всегда), вдруг почудилась мне близкой в тот вечер — всей нелепостью своей судьбы.

Шпаликова мы усадили за машинку — срок сдачи работы передвинулся на утро, — а я пошел провожать Иру, и мы за полночь сидели в палисаднике перед ее подъездом. Я ощутил себя в давно прошедшем времени, вернувшемся специально для меня, как поезд задним ходом, чтобы вскочил я хоть в последний вагон. Но вагон для курящих, а я не курю.

Утром, прежде чем появилась заказчица Ира, за Геной приехала вдова Енгибарова — и сказала, что заберет его к себе, иначе ничего он не сочинит.

Гена попросил дать ему чистую рубашку — свою он чем-то залил — и обещал, что зайдет ко мне, когда будет в следующий раз у нас на Аэропорте в поликлинике.

Но больше я Шпаликова никогда не видел. Началась последняя его осень, завершенная ночью с первого ноября на второе.

Инна позвонила мне на следующий после известия о смерти его день — спрашивала совета, вести ли на похороны дочь Дашу. Я не знал, что ответить; попытался сосчитать, сколько ей может быть лет, — спросить показалось мне почему-то неловким, — если ходила она в детский сад, когда я и не жил еще на Аэропорте. Прошло никак не меньше восьми лет. Инна не совсем

была в себе. Но и не могло же быть иначе…

11

Про Инну и Гену мы говорили ночью накануне похорон с бывшей третьекурсницей.

Она тоже во всем винила Инну.

Я помнил, что в той самой картине по роману Катаева снималась и бывшая третьекурсница. Играла — и талантливо, как всегда, — характерную (с комическим, что и придавало блеск исполнению, оттенком) роль жены прораба (не помню, кто его играл, кажется, Куравлев, но могу и ошибаться, очень давно этот фильм видел).

Бывшая третьекурсница тоже, конечно, была по амплуа героиней, но в той картине для двух главных женских ролей нужен был иной тип внешности. И пришлось ей пропустить вперед Инну — с ее защищенным Борей Ардовым бюстом, высоко дышавшим под полосатой футболкой.

Зато сейчас она, а не Инна играла роль у Швейцера в новой картине (теперь по сатирическом памфлету Леонида Леонова) — не самую главную, но не ронявшую ее положения роль.

Для Гулой режиссер ничего лучшего не придумал, как безмолвную секретаршу в паре с Шуней Фадеевым. Но Фадеев был для Швейцера никем, а Инна — когда-то — своей.

И могла бы, подумал я тогда же, бывшая третьекурсница отнестись к Гулой с большим сочувствием.

А в начале следующей ночи, после возвращения от Вали Тура, приятеля Шпаликова (и моего, и отнюдь не постороннего человека для бывшей третьекурсницы), куда собрались помянуть Гену разные популярные люди, я навсегда с ней рассорился — и ушел.

Так Гена косвенно помешал мне сделать самую, может быть, большую глупость в моей жизни, какую вполне бы мог совершить по своей слабохарактерности, останься я тогда.

Еще и не перелистывал, не пробежал глазами оглавления, а только в руки взял роскошно (на хорошей бумаге, в твердом переплете) изданную на излете века почти академически книгу, где собраны все стихи и главные сценарии Геннадия Шпаликова, как вспомнилось мне название рассказа Хемингуэя — “Что-то кончилось”.

Когда-то Гена подарил мне номер журнала “Искусство кино” со своим сценарием “Долгая счастливая жизнь”, опубликованным

рядом с “Человеком из мрамора” Анджея Вайды.

На пробелах журнальных страниц — коричневые фломастерные, чем дальше, тем менее разборчивые каракули шпаликовского почерка.

И не только дарственная надпись (спьяну чего только хорошего в былые дни не говорилось), но и стихотворение “Бессонница”: “Бессонница, — бываешь ты рекой, болотом, озером [дальше не смог тогда разобрать]… иногда бываешь никакой”.

Сколько же лет — чуть ли не тридцать — хуже, чем собственной бессонницей, мучился, что не могу разобрать, какой же бывает бессонница у Гены?

Сейчас узнаю, предвкушал я, сверившись с оглавлением и перелистывая страницы тома, — и прочел: “…болотом, озером и СВЫШЕ НАКАЗАНЬЕМ…” Вон что. Перед “иногда” — “и”: “И иногда бываешь никакой”. Два “и” подряд — спотыкаюсь я при чтении, когда две гласные или две согласные во фразе рядом.

Что-то кончилось.

И началось другое: “искать слова и находить слова” больше не надо — есть теперь общие слова, вырезанные гравером на мраморе мемориальной доски. А сама доска — на доме 13 улицы Горького, теперешней Тверской-Ямской.

Но для меня “весь Шпаликов” остается рукописью — и мне легче помнить его наизусть, чем перечитывать набранного типографским способом.

Глава четвертая

1

В раскачиваемом скоростью вагоне метро было шумно — машинист спешил, наверстывая упущенное (ситуация хорошо мне знакомая), — и не ручаюсь, что я в точности расслышал фразу Андрея.

Уловил только, что он намерен сочинить детектив, где вместо мертвого тела на месте преступления обнаруживалась бы кем-то убитая мысль.

Замысел Жоры многие смогли узнать, не спускаясь в метро, которым он не пользовался со времен молодости, — к нему, знаменитому писателю Георгию Вайнеру, жителю Нью-Йорка, в Москву теперь бывавшему наездами, явился интервьюер.

Интервью с Георгием Александровичем заняло газетную полосу целиком, и, что мне более всего понравилось, наш писатель обращался к планам на ближайшее будущее.

Я уже знал о тяжести его заболевания, а говорил он о новом романе как человек, располагающий временем для исполнения новых желаний.

Что же получалось?

Не вызвавший ожидаемого интереса прозой мемуарного характера и жаждущий читательского внимания Андрей Кучаев был готов к резкому повороту в сторону остросюжетного — пусть и не без доли умозрительности — повествования.

В то время как Жора, достигший вместе с братом-соавтором Аркадием (правда, к моменту интервью братья жили в разных странах и работали порознь) всей полноты (без тени шутки над комплекцией Вайнеров) признания именно детективами, собирался написать роман автобиографический.

Можно подумать, что, соединив в своем рассказе малоизвестного Андрея и знаменитого на всю страну Жору, я затаил такой уж крутизны сюжетный поворот — и дальше по ходу повествования произойдет чудо: прочитанного наконец Кучаева ждет посмертный успех, что уравняет его с братьями Вайнерами.

К сегодняшнему дню (27 сентября 2013 года), однако, картина ничуть не изменилась: известность братьев Вайнеров сохраняется, а к Андрею Кучаеву она все еще в пути (не совсем уверен, что и в пути, но если не буду в это верить, то зачем тогда вообще соединил товарищей своей юности — да и старости —

общим сюжетом).

Между прочим, Андрей и Жора (он был на год старше Андрея) умерли в одном и том же 2009 году — Кучаев двадцать седьмого мая, а Вайнер одиннадцатого июня.

2

Как-то в лучшую для братьев пору в Доме литераторов был устроен их творческий вечер при большом стечении народа и с выступлением (правда, без песен) Высоцкого.

После торжественной части на закрытой веранде позади ресторанного зала дан был банкет для избранных с тамадой Григорием Поженяном.

Высоцкий на банкет не пришел — обиделся на Вайнеров за то, что не оставили достаточного количества билетов для его друга, золотоискателя Вадима Туманова. Но это лишь показывает, что Аркадий с Жорой достигли к тому времени такого положения, что могли даже под Высоцкого не подлаживаться.

Несмотря на обиду, Владимир Семенович прочел со сцены стихотворение, посвященное братьям.

Банкет и без Высоцкого выглядел по составу чрезвычайно представительным. Всех почетных гостей я в памяти не удержал. Но про Аркадия Кольцова — директора крупнейшего мебельного магазина, человека, уважаемого всей состоятельной Москвой, скажу особо.

Как-то на перроне вокзала в Кисловодске я наблюдал дружескую встречу мебельщика Кольцова с великим футбольным тренером Константином Бесковым. Строгий и в миру Бесков весь светился доброжелательством и радостью от неожиданной встречи.

Кольцов сразу же сообразил, что я не из тех, кто покупает дефицитную мебель, и сказал мне: “Привет от братьев Вайнеров”, указав на корни нашего знакомства.

В глазах Бескова я от такого знакомства, конечно, вырос — и, когда Кольцов нас покинул, он сознался мне, что никто так не может его, Константина Ивановича Бескова (тогда тренера народной команды “Спартак”), рассмешить, как этот дальний родственник Вайнеров. Я даже не удержался от вопроса — неужели тренер не знаком с другим Аркадием — Райкиным? Оказалось, что знаком (а я и не сомневался).

На банкете Кольцов сидел за столом рядом со следователем по особо важным делам Виноградовым — и оживленно за трапезой с ним беседовал. Чему вроде бы удивляться при

популярности Кольцова, мною уже отмеченной?

Нюанс, однако, существовал.

Виноградов оставался в своей должности, а Кольцов временно свой директорский пост оставил, поскольку был осужден и для сокращения срока отбывания наказания переведен на “химию”.

Непосредственно с “химии” он прибыл к родственникам на творческий вечер — и, в отличие от Высоцкого, остался на банкет. Куда ему было торопиться.

В своем тосте временно отлученный от дел мебельщик пожелал братьям “оставаться флагманами советской литературы”. Насчет флагманов всей литературы родственник загнул. Евреям-детективщикам (пусть и партийным, а одному из них — и офицеру милиции на Петровке) стать такими флагманами никто бы не разрешил.

Но по успеху у читателя братья сделались флагманами.

В один из приездов на родину Жора сказал мне, что за всю свою сознательную жизнь так не смеялся, как у себя на Лонг-Айленде, когда получил приглашение на конференцию в Сорбонне, посвященную творчеству Александры Марининой.

Мне казалось неловким упомянуть в этом разговоре про участие в этой конференции моей жены — притом что жена совсем невысокого мнения была не только о текстах Марининой, но и о текстах самих Вайнеров. Разговор всерьез о Марининой показался ей занятным поводом для публикации своих соображений о социологии чтения, и прежде всего — о современной жизни, делающей выбор в пользу Марининой, — и в Сорбонне она выступала с докладом.

Когда я прочитал уже дома ее доклад, мне захотелось самому написать чего-нибудь про Жору (и Аркадия, разумеется).

Но сочинять статьи я не умею. Мое дело — вспоминать.

Еще до брака со мной моя жена, к неудовольствию, надо сказать, своего тогдашнего мужа, напечатала статью, где выражала сильное (и аргументированное примерами из текста) сомнение в правдивости братьев, заверявших, что последние два своих романа как опасно для авторов антисоветские они до лучших времен закопали под какой-то березой в Переделкине.

Тогдашний муж не столько Вайнеров защищал, сколько беспокоился о том, что статья восстановит против его жены определенную часть общества, превратившуюся в ревностных читателей этих братьев.

Женитьбу на даме, выступившей против них с Аркадием,

Жора счел бы, наверное, предательством с моей стороны, дружи мы с ним так, как дружили в юности, а не пунктирно, как всю последующую жизнь, — и будь он до конца убежден, что я восторгаюсь его сочинениям так же, как все остальные читатели.

Мы с Авдеенко вновь оказались в уже описанной мною ситуации, когда деньги кончились, а покидать ресторан до закрытия казалось нелепостью. Стояли возле зеркальной стены вестибюля Дома журналиста — и соображали, кто нам наверняка даст в долг.

И первый несомненный кандидат в кредиторы не заставил себя ждать — откуда-то (не из того ли же самого ресторана или бара?) вышел Жора.

И вдруг Авдеенко мне сказал: “У него-то мы, надеюсь, никогда занимать не будем”.

Деньги мы через минуту заняли у кого-то другого.

И, когда вернулись за ресторанный столик, какое-то время, пока официантка несла наш заказ, я думал о странной реакции Авдеенко — для него особенно странной.

Мой друг Авдеенко — человек наследственно вспыльчивый — бывал, однако, невыдержанным только при игре в футбол и ссорах с женами. В остальных случаях его отличала выдержка, отсутствие агрессивности и желания конфликтовать.

Он был объективнее меня в оценках и более доброжелателен.

Постоянно находившийся в среде людей успеха, Авдеенко никогда не тяготился ревниво ничьей известностью, считал себя (и вел себя) с любой знаменитостью на равных — и отношения со знаменитостью не составляли для него труда, осложненного завистью.

В Доме кино давали премьеру фильма Алексея Германа (Авдеенко, конечно, дружил и с Германом) “Мой друг Иван Лапшин”.

В зале собралась вся кинематографическая Москва (точнее, ее цвет).

Но сначала на сцену вышло человек двадцать — и среди них мой друг (о чем я не был предупрежден).

Устроители вечера предварили всеми ожидаемый фильм Германа документальной лентой о греческом композиторе Белояннисе, которая никого, кроме тех двадцати человек на сцене, не волновала перед премьерой “Лапшина”.

Из титров я затем узнал, что Авдеенко — автор дикторского текста, весь смысл которого был в том, что одну из своих симфоний Белоянис сочинил весной и потому назвал ее

“Весенней”.

После фильма Германа народ расходился взволнованным, потрясенным — или разгневанным сложным кинематографическим языком.

Про Белоянниса все напрочь забыли.

Кроме любезной тещи Германа, жены писателя Борщаговского. Она подошла к Авдеенко — и сказала ему: “Саша, с премьерой”. “И вас тоже…”

Очень надеюсь, что он ответил так в шутку.

Я всегда помнил и помню, насколько труднее, чем Авдеенко, братьям Ардовым, Андрею Кучаеву и даже мне, не самому из них везучему, давалось Георгию Вайнеру вхождение в ту жизнь, какой мечтал он жить.

Перед началом того вечера в Доме литераторов мы смотрели с ним вместе, как впускают в строго охраняемые двери публику с билетами.

“Да, — с плохо скрытым удовольствием заметил Жора, — столько народу рвется сейчас сюда только из-за того, что когда-то одному мальчику не хотелось ходить на службу”.

Меня покоробила не столько некорректность замечания про “одного” (только одного, получалось, мальчика, без соавтора в лице старшего брата), сколько неправда о нежелании ходить на службу.

Хотелось бы думать, что, говоря про службу, он имел в виду работу в Музее революции, где за крошечную зарплату работал смотрителем панорамы “Штурм Зимнего” (Жора включал панораму, а при мне однажды и устранил в ней неисправность), или инженерство в гостинице “Советская” (где, мне теперь кажется, он был главным инженером — и в ресторане мы с десяткой в кармане на двоих сидели за столиком для дипломатов с флажком какой-то страны).

Но на службу в ТАСС разве же он ходил без удовольствия?

И потом — какой ценой далась ему штатная работа в телеграфном агентстве!

Всякая попытка поступления Жоры в какую-нибудь газету происходила приблизительно по одному и тому же сценарию.

Работодатель сначала говорил ему об идеологической подоплеке работы в газете — и затем спрашивал, комсомолец ли Жора. Тот отвечал, что член партии.

Отступать работодателю было вроде некуда, но работодатель находил. “У нашего издания есть определенный уклон в сторону тем, связанных с техникой…” “Я инженер”, — спешил с ответом Жора. “Но никак не меньше и тем, связанных с юриспруденцией…” “Я учусь на заочном отделении юридического

факультета МГУ”, — думал обрадовать работодателя Вайнер.

Тогда работодатель, словно спохватившись, говорил, что при всех глубоких знаниях претендента необходимо быть журналистом. У Вайнера и на это был ответ-козырь: “В ближайшее время я защищаю диплом на факультете журналистики”.

Что же оставалось делать подневольному работодателю, когда не принято было говорить вслух о том, что журналистов еврейской национальности в каждой редакции перебор, а нежелательны они вовсе (это же не самое начало советских времен, когда шутили, что в уважающей себя газете всегда есть Гуревич, Гурович и Гурвич).

И все-таки в ТАСС Георгий Вайнер попал — и казалось бы, там прижился.

Он объяснял мне свое неожиданное расставание с агентством и вообще с журналистикой заботой о дальнейшей судьбе старшего брата.

“Аркашке”, как всегда называл брата Жора, перестало нравиться на Петровке (чему я, конечно, удивился: Аркадий считался талантливым следователем, продвигался по службе неплохо; возможно, думаю теперь, национальность сужала его перспективы на будущее).

И братья, видимо, решили постепенно приобщить к журналистике и Аркадия, из-за чего и возникла идея соавторства — милицейский материал, накопленный старшим братом, приравнялся к перу младшего.

Они составили план большого очерка на криминальную тему и показали его своему знакомому начальнику по имени Норман Бородин. Этот влиятельный господин увидел за планом очерка план целой книги.

Так братья Вайнеры (сначала они подписывались Аркадий Вайнер и Георгий Вайнер, братьями на обложке они стали чуть позднее) начинали свою совместную литературную деятельность.

Первая их книга, если не путаю (ее я так и не прочел), называлась “Часы для мистера Келли” — и до отдельного издания опубликована была в популярном журнале (то ли в “Смене”, то ли в “Огоньке”).

Жора никогда и не скрывал, что хочет быть писателем. Часто повторял: “Когда у меня будет две книжки” (почему-то всегда говорил про две — не уточняя, сразу ли две, вообще ли две). Обмолвился, рассердившись на кого-то из нашей компании на Ордынке за излишний гонор в притязаниях: он, Вайнер, собирается сочинять просто интересные книжки без глобальных

задач.

Мы не могли тогда знать — Жора через много лет рассказал об этом в интервью, когда сомнений в том, что цель достигнута, у него больше не оставалось, — что семнадцатилетний Вайнер дал своей маме расписку: обязуюсь стать великим человеком.

В нашей компании, где все надеялись быть великими и продолжать начавшуюся дружбу не иначе как в этом качестве, о мере Жориного тщеславия можно было догадаться.

Но не обо всей мере.

А не она ли — меры остальных превысившая мера — все и решила в пользу Георгия?

Но вдруг и не она? Не будем оправдывать себя той скромностью, какую хочется приписать тем, кому удалось меньше, чем Вайнеру.

3

Мое отношение к их книгам менялось в лучшую сторону.

Мне у Вайнеров не нравилась имитация стиля. У кого, однако, стиль не имитация? Я винил бы в том и читателя как клиента.

Несомненно, умные братья Вайнеры, понимавшие лучше многих других собратьев, что публика — дура, считались с нею больше, чем те, кто публику ставил высоко и оттого с нею не считался, наивно полагаясь на ее самостоятельность и воспитанный (кем же, интересно?) вкус.

Мне не нравилось, что, сочувствуя по всему своему складу персонажам отрицательным (близким себе по уму и знанию жизни), авторы в тексте слишком уж демагогически это скрывали — скрывали за пошлой моралью, вооружившей персонажей положительных.

Сами же Вайнеры мне всегда нравились.

Да они и почти всех к себе располагали большей откровенностью выражения себя в жизни, чем в книгах.

Тогда, на банкете, Поженян, восхищаясь романом “Эра милосердия” (по которому снят был знаменитый фильм “Место встречи изменить нельзя”, а о героях сочинена песня “Глеб Жеглов и Володя Шарапов”), сказал, что “здесь такая жажда справедливости…”.

У выдуманных героев (тех же Жеглова и Шарапова) подобная жажда по-разному, но была.

Но умные реалисты, знатоки жизни у себя в стране Жора и Аркадий такую жажду вряд ли испытывали.

В неосуществимое они не верили.

Реплики из фильма Говорухина по роману Вайнеров заучивали наизусть — и наиболее цитируемой стала фраза, произнесенная Высоцким в роли Жеглова: “Вор должен сидеть в тюрьме”.

У нас, где воровство все более становится “делом чести, делом славы, делом доблести и геройства” (привожу буквально сказанное товарищем Сталиным про труд, хотя рабский труд, на котором и держалась в основном советская экономика, тем и уникален, что мог обходиться без поощрения, но в отдельных пропагандистских акциях — вроде стахановского движения — поощрительными эпитетами все же подзаряжался), — у нас, где есть угроза, что разворуют вообще все, ничего и не остается, как тешить себя сочиненной Вайнерами фразой о неотвратимости наказания за воровство.

Ну как тут не вспомнить довоенный рассказ Зощенко.

Михаил Михайлович, рассуждая о финском опыте отрубать за воровство руку, все же предостерегал о внедрении подобного опыта в наш общественный быт: количество одноруких будет зашкаливать.

Я знал обоих Вайнеров задолго до их писательской известности (и вообще литературной деятельности) — и мне всегда хотелось понять, как выглядели они в глазах писателей постарше, с которыми я при знакомстве никогда не становился на равную ногу, всегда оставаясь для них чьим-то сыном, самостоятельные соображения которого интереса не представляют.

В дневнике нашего соседа по Аэропорту, знаменитого сценариста Анатолия Гребнева, — мы жили не только в соседних домах, но и в соседних мирах, о которых я узнаю теперь из его записей, — время от времени возникают братья Вайнеры (“наши милые толстые братья”).

Сценарист соприкасался с ними чаще в переделкинском ДТ, чем на Аэропорте, где с конца семидесятых годов жил Жора.

Из записей Анатолия Борисовича у меня сложилось впечатление, что братьям, бывшим заметно моложе Гребнева, нравилось демонстрировать старшему товарищу свое превосходство и в знании подробностей, и в понимании сути советской жизни.

Не всегда знавшего то, что знали Вайнеры, Гребнева жизнь интересовала глубже, чем моих приятелей. Почему и вел он с такой регулярностью дневники.

Гребнева, конечно, задевало, что Вайнеры считают его прекраснодушным идеалистом, воспринимающим советскую

реальность с наивностью укрощенного ею интеллигента.

Однако и он видит Аркадия и Жору, в свою очередь, интеллигентами (меньшей концентрации разлива), которые на все махнули рукой ради жизни, “которая [хотел бы напомнить им сосед по Аэропорту] проходит”.

Не знаю, держал ли в уме Гребнев ставшую знаменитой в устах Высоцкого фразу, когда записывал свой разговор с Жорой, который пожаловался на приметы в киновзяточничестве. Выслушав Жору, Анатолий Борисович резюмировал: сажал бы взяточников без сожаления.

“Что ты, Толя, — возразил Вайнер, — ни в коем случае! Пусть лучше грабят, но не убивают! Когда тебя ограбили, но не убили, ты же благодаришь Бога? Пусть грабят, только пусть дадут жить”.

4

Легко понять интервьюера из газеты, предположившего, что действующими лицами автобиографической прозы знаменитого писателя станут люди такого же ранга, дружбой с которыми наверняка жизнь Георгия Александровича изобиловала.

Жора, однако, ответил, что донельзя устал от мемуаров, где самым главным бывает доложить (а то и перечислить), какое количество известных всему народу людей повстречалось автору на выпавшем ему веку.

Сам же Георгий вдруг понял, что для него наиболее любопытным и памятным становилось, наоборот, знакомство с людьми незнаменитыми, а встречи со знаменитостями всего чаще оборачивались курьезом или глупостью.

Удивленному интервьюеру Георгий Вайнер заявил, что героями нового романа станут его друзья Миша Ардов, Саша Нилин, Саша Авдеенко, Андрей Кучаев — он давно хочет их изобразить.

В своем романе “Петля и камень в зеленой траве…” про убийц Михоэлса братья Вайнеры придали (без личных наблюдений Жоры за Андреем здесь не обошлось) герою-литератору черты Кучаева и приметы его биографии: красивый блондин, любим женщинами, сильно зашибает, публикуется на шестнадцатой (юмористической) полосе “Литературной газеты”.

Мой друг Боря Ардов сказал мне незадолго до смерти: ты должен написать книгу про всех нас.

Какую бы книгу написал *про всех нас я, приблизительно себе представляю.*

А вот какую собирался Жора, будем гадать. Чем не детектив?

Мы не узнаем мыслей младшего из Вайнеров про всех нас (вернее, тех из нас, кого он перечислил).

Миша Ардов спрашивал вдову Георгия, не осталось ли каких-нибудь страничек, с объявленным в газете замыслом связанных? Нет, не оказалось ни строки, нам посвященной.

В один из Мишиных приездов в Америку он удивился, с какой увлеченностью занимается Жора газетой — тот стал главным редактором "Нового русского слова" (прежде Вайнер несколько лет руководил отделением этого издания в Москве), — и на вопрос старого друга, не отрывает ли газета от литературных занятий, ответил, что литературные занятия ему наскучили.

Был ли он до конца откровенен? Не уверен.

Откровенным до конца, как и большинство из нас, Жора не бывал никогда.

Но тому, что газетой он занимался с увлечением, я бывал свидетелем, когда заходил к нему в офис московского отделения "Нового русского слова".

Жоре нравилось, когда проводил я параллель с его судьбой рассказом о еврее, эмигрировавшем в Америку — и там, в Америке, поначалу рассчитывающем стать кантором в синагоге.

В синагоге сразу оценили его голос — и попросили заполнить анкету: мол, берем… И услышали, что без пяти минут кантор заполнить анкету не сможет — он неграмотный. Переговоры с ним немедленно были закончены — уважающей себя американской синагоге неграмотные канторы и даром не нужны.

Несостоявшийся кантор вышел на улицу — уже смеркалось, — и торговец фруктами и овощами позволил ему взять с лотка два подгнивающих плода (вероятно, апельсина) — все равно бы уже никто их не купил.

Еврей, не ставший кантором, не производил впечатления человека, павшего духом. Он аккуратно протер, будем считать, апельсины, дождался темноты — и в наименее освещенном переулке всучил даром доставшиеся ему плоды какому-то позднему прохожему за сущие копейки.

Так начался его бизнес в Америке.

Лет через десять Жора решил пожертвовать отвергнувшей его синагоге сто тысяч долларов. В момент вручения чека его попросили расписаться в книге с перечнем наиболее почетных прихожан (или как они там называются). Он ответил, что при всем желании не сможет: по-прежнему неграмотен. Представители синагоги всплеснули руками: "Мистер Робинс [из Рабиновича он сделался в Америке Робинсом], кем бы вы, такой выдающийся человек, стали, будь вы грамотным!" "Пел бы у вас в

синагоге", — ответил Робинс-Рабинович.

У меня был еще знакомый с похожим на Жору взлетом — после неудач молодости.

Мой знакомый был инженером на электроламповом заводе — и выдвинулся в начальники цеха. Он фанатически увлекался футболом и готов был начать жизнь сначала, если примут его в штат еженедельника "Футбол". Я помню его заметки — и могу с уверенностью сказать, что штатным сотрудникам (а в тогдашнем "Футболе" таких слабых журналистов, как сегодня, и на порог не пускали) мой знакомый ни в чем не уступал, а уж культурой, начитанностью едва ли не превосходил главного редактора — кстати, выпускника довоенного ИФЛИ.

Но отказали ему по той же причине, по которой отказывали и Георгию Александровичу Вайнеру.

Тем не менее мой знакомый в упорстве и находчивости не уступал ни Жоре, ни Робинсу (Рабиновичу). Сначала он возглавил Дворец культуры своего завода, имевшего завидное помещение телетеатра (там когда-то размещался Театр имени Моссовета, и москвичи-театралы стали называть станцию метро "Электрозаводская" "Электрозавадской" в честь руководителя этого театра Юрия Завадского), познакомился со многими деятелями искусства, а в изменившихся временах, занявшись бизнесом, уже в качестве богатого человека достиг и общественных высот.

Ему оставалось, как Робинсу, пожертвовать деньги "Футболу", умыв еженедельник своим великодушием, а он возьми и купи его. Но прежнего значения при новом хозяине издание себе не вернуло. А самого хозяина потянуло — без отрыва от бизнеса — в телеведущие.

Ему при всей его жизни бизнесмена выстраданной прожженности тоже казалось, что профессия телеведущего в нынешнем веке наиважнейшая. Как инженер-железнодорожник в начале века или авиатор, физик или космонавт в шестидесятые, валютная (эпитет завораживал) путана в середине восьмидесятых или… даже не могу назвать второго дела, проще сказать про всевозможные формы этой древнейшей профессии.

Неудачу реформ во времена Ельцина объясняли тем, что революцию пытались сделать силами завлабов.

Сейчас все надежды на перемены связаны с телеведущими.

Смешно же быть сегодня летчиком или хирургом, когда ежедневно и во множественном числе плодятся на экранах сотен телеканалов мужчины и женщины, молотящие… трудно удержаться от квалификации ими произносимого, не прибегнув к

запрещенной лексике, — но за неплохие деньги, о которых строевому интеллигенту и мечтать нелепо.

Мне кажется, что Робинс, не захотевший петь в синагоге, выглядит предпочтительнее, чем Жора и мой знакомый.

Но, возможно, бывший Рабинович и не любил так профессию кантора, как Жора газету, а другой мой знакомый (кроме футбола) — телевидение?

Тем более что Робинс — персонаж, кем-то выдуманный, а те, о ком я вспоминаю, реальные люди.

5

Во второй половине семидесятых, когда Жора и Миша Ардов вселились в кооперативный дом "Драматург", а я, как уже докладывал, жил возле метро "Аэропорт" не первый год, у нас накануне сорокалетий (я сорокового года рождения, Миша был старше меня на три года, Жора на два) появилась возможность видеться почти так же часто (или еще чаще, в соседних домах жили все-таки), как в конце пятидесятых на Ордынке.

Мог стать соседом нашим и Андрей Кучаев, но не стал.

На Аэропорт Андрей попал гораздо раньше, чем я.

Чтобы не перегружать рассказ излишними подробностями, скажу кратко: и появление Кучаева на Аэропорте, и его исчезновение оттуда, и сорванный переезд в кооператив "Драматург" связаны с его первой и второй женитьбами.

Мне кажется, что за время пребывания в двух этих браках он сделал все, чтобы приобрести литературную репутацию.

А в четырех последующих (был еще и седьмой брак, о котором скажу отдельно) сделал если не все, то многое, чтобы эта репутация пошатнулась.

Первую женщину в жизни Андрея и первую жену звали одинаково — Иринами.

И к той и к другой имел, можно сказать, непосредственное отношение Миша Ардов.

В одном из поздних сочинений Кучаева первая женщина (эта самая первая Ирина) не только с благодарностью упомянута, но и названа по фамилии — в опровержение сказанного как-то барменшей из Дома журналиста, Тамарой, что у нас на родине не принято спрашивать у сексуальных партнерш их фамилии.

Не представляю, как в тех обстоятельствах Андрей мог узнать

— и тем более на всю жизнь запомнить — ее фамилию.

Кучаева, чья жизнь оказалась перегруженной женщинами (и женщинами иногда замечательной внешности), такая память характеризует с лучшей стороны, как мужчину тонко организованного (притом что достаточно часто в отношениях с женщинами он проявлял себя примитивно, как большинство мужчин).

Наш педагог в театральном институте Александр Михайлович Карев всегда говорил, что ничто не начинается со второго раза (разумеется, профессор по актерскому мастерству подразумевал очередность).

Кучаев жил с отцом на Гоголевском бульваре. Мы зашли как-то к нему с Борей Ардовым без предварительного предупреждения.

Леонид Сулейманович, отец Андрея, был, вероятно, на службе, а у Андрея в гостях сидели две необыкновенно хорошенькие и нарядные девочки — и они пили чай с большими шоколадными конфетами.

Борису тоже предстояла долгая биография любимца женщин, но в ту минуту от вида таких хорошеньких и нарядных девочек он до того растерялся, что и чай не смог пить, а если какая-нибудь из девочек начинала говорить, тянулся к ней навстречу, но сам ничего произнести не мог (и это Боря, знавший и анекдотов никак не меньше старшего брата Миши и кокетничать умевший с женщинами лучше самих женщин, на что сразу обратила внимание Инна Гулая, когда впервые его увидела).

Но не могла же — не то было время (сейчас-то все могло быть) — мужская жизнь Андрея Кучаева начаться с одной из этих хорошеньких и нарядных девочек?

К сексуальной жизни приобщил его Миша Ардов.

Напомню, что они с Жорой были старше нас на три и на два года. И жили они несколько иной, чем мы, жизнью.

Мы возвращались с Борей после вечерних занятий в школе-студии на Ордынку (я жил рядом, но прежде, чем идти домой, заглядывал обязательно на Ордынку — это было как ритуал) — и в комнате, отведенной Боре и Мише (а случись, что родители отсутствовали, то и в столовой, самой большой комнате квартиры Ардовых), заставали Мишу, Жору и двух крашеных блондинок с яркими губами. Пили они не чай, как у Андрея, а “Старку”.

Боря мне завистливо шептал: “Они как нэпманы”.

Мама Жоры и Аркадия, добрая и гостеприимная, красивая в недавнем (а нам-то казалось — давнем) прошлом женщина Фаина Яковлевна обычно удивлялась: “Ну зачем вам обязательно эти

водка, коньяк? Купили бы пирожных, конфет. Девушки приготовили бы вам чай — пили бы чай и разговаривали". Она, вероятно, воображала наших приятельниц вроде тех поразивших Борю девочек, что гостили (и действительно пили чай с конфетами) у Андрея на Гоголевском.

Посмотрела бы на блондинок, отдыхавших в обществе ее сына и Миши Ардова!

Но, видно, судьба была начинать с тех блондинок.

Шли мы как-то втроем — Жора, Миша и я — по той стороне улицы Горького, где телеграф, мимо облицованного мрамором, отобранным у немцев, не сумевших взять Москву, дома, на стене которого сейчас мемориальная доска Гене Шпаликову.

Навстречу бросился знакомый Жоре юноша (долго помнил его прозвище, а теперь забыл, но не суть важно).

Запыхавшись, он сообщил, что с ним Таня-головастик. Жора сказал ему: "Ты таким тоном это говоришь, будто с тобой по крайней мере сэр Энтони Иден" (Энтони Иден был тогда то ли министром иностранных дел, то ли премьер-министром Великобритании и, кроме того, считался лондонским денди).

Вместе с этим юношей и Таней-головастиком мы явились на Ордынку.

Таня-головастик, взглянув на висевшие у Ардовых в столовой рисунки Фалька и Тышлера, впервые с момента встречи на улице Горького раскрыла рот — и произнесла: "Я вас всех ненавижу, художников-абстракционистов".

Тем не менее, когда откуда-то из загорода приехал слегка выпивший Боря, старшие товарищи решили премировать его Таней. Головастик отнеслась к нему благосклонно, не подозревая, как сам хорошо рисующий Боря почитает Фалька и Тышлера.

Точно таким же образом на одном из домашних гуляний под водительством Жоры с Мишей премирован был Ирой Кучаев — Миша еще размышлял, кого правильнее премировать, Борю или Андрея? И остановил свой выбор на Андрее как менее искушенном.

А уж дальше Андрей действовал сам — и оказался учеником, превзошедшим учителей, чему способствовала и красота Андрея, и подвешенный язык, и прочее, прочее, прочее.

Существенным минусом, однако, не для любви, но для общежития, становилось неумение Кучаева пить; каждому из нас в те времена случалось скандально напиваться, но это все же бывали одноразовые акции, а не, как у Андрея, систематические — не бывало гулянья, чтобы он чего-нибудь не отчебучил. От

больших неприятностей его спасало лишь везение или трезвые товарищи.

Уже во взрослой его жизни на члена Союза писателей Андрея Леонидовича Кучаева по месту работы (то есть в писательское министерство, он к тому времени был уже свободным художником) пришли извещения, присланные вытрезвителями двух городов — Ростова и Москвы. В министерстве решили сначала, что это розыгрыш — не может писатель в течение двух суток побывать в двух вытрезвителях из разных городов. Но плохо они знали Андрея Леонидовича.

Кучаев стал членом писательского союза одновременно с Вайнерами, в самом начале семидесятых. И относительно (все тогда происходило медленно, только жизнь прошла, не успеешь оглянуться) скоро сделался тем писателем, которым выезд в буржуазный зарубеж не возбраняется, если едет он туда туристом.

И в составе писательской туристической группы Андрей поехал в Италию.

Не помню, на ком он тогда был женат (после Гали Соколовой), а дружил ближе всех с драматургом Александром Мишариным. Максим Шостакович жил в ту пору в Америке, Миша Ардов стал деревенским священником, Боря Кучаева недолюбливал (о чем Андрей вряд ли догадывался), со мной он на то время как-то разошелся (не звонил, не появлялся).

В Италию он поехал вместе с Мишариным (в моем повествовании еще, кажется, не появлявшимся).

Мишарин был сценаристом Тарковского на фильме “Зеркало”.

Когда Мишарин с Кучаевым приехали в Италию, Тарковский вел там, если не ошибаюсь, переговоры о съемках “Ностальгии”.

В день приезда они встретились втроем — и Тарковский сказал, что итальянская сторона платит ему до того щедрые суточные, что с бедными друзьями-туристами он может частью денег поделиться.

После этого, как рассказывал мне Мишарин, трезвым Андрея (Кучаева, а не Тарковского) он больше не видел.

Но и это еще не все (хотя уже прыжок пьяного писателя из Москвы на спину итальянскому карабинеру мог дорого обойтись советскому туристу).

Кучаев вступил в преступную связь с туристкой, женой руководящего деятеля из писательского министерства.

Андрей жил с Мишариным в одном номере. И Мишарин, оставляя Кучаева для огромной любви, не только терпел неудобства, оставшись без крова, но и хорошо себе представлял,

что гнев обманутого мужа может и на него обрушиться — как на пособника прелюбодеяния.

Всем участникам группы делалось совершенно ясно, что по возвращении домой гуляка перестанет быть их коллегой: вряд ли муж полюбившей нашего оболтуса дамы захочет оставаться в одном союзе писателей с Кучаевым, который враз лишится всех положенных благ — и еще неизвестно, не разлюбит ли его, развенчанного, жена начальника.

Но в последний день перед отлетом в Советский Союз так и не протрезвевшему Андрею совершенно невероятно — и непредсказуемо — повезло.

Сбежал в капиталистический мир турист из писательской группы — драматург (забыл его фамилию, но был он мужем нашей переделкинской девочки Таты Агаповой, дочери того самого Бориса Агапова, который так тонко проанализировал успех послевоенной поэзии Константина Симонова).

Персонаж пьесы Чехова говорил, что человек, изменяющий жене, может изменить и родине.

Драматург, спутник Мишарина и Кучаева, убил в таком смысле двух зайцев, изменив жене (за границей он немедленно женился) и родине совокупно.

Измена прежде всего родине затмила безобразия Кучаева. О них по возвращении из Италии никто и не вспоминал, все были захвачены обсуждением коварства сбежавшего драматурга.

6

В начале девяностых Мишарин стал главным редактором бывшего журнала “Советский Союз” и пригласил меня и Андрея занять ключевые должности в преобразуемое издание.

Года через полтора журнал финансово выдохся — и никаких возможностей не имел. Но поначалу под эгидой комбината “Правда” такие видные сотрудники, как мы с Андреем, многое могли себе позволить.

Андрей легко убедил главного редактора, что ему необходимо быть срочно командированным в Париж для встреч с Владимиром Максимовым, Синявским, Гладилиным — и вообще со всеми, кто там был в эмиграции.

Лететь в Париж ему предстояло вместе с ответственным секретарем журнала Виктором Благодетелевым по прозвищу Шарик за умение угодить любому начальству. Благодетелев был ответственным секретарем при прежнем редакторе Николае Матвеевиче Грибачеве и очень рассчитывал удержаться при

новом. Он знал, что Кучаев — друг нового редактора, и воспринимал совместную поездку как знак особого к себе доверия. Андрей для него был тоже вроде бы начальником, хотя высокой должности, как я, первый заместитель главного редактора, не занимал.

Ко времени их вылета в Париж опыт зарубежных командировок у меня уже был. И я предупредил Андрея, что полет первым классом для него лично чреват особой опасностью.

Пассажир первого класса может бесплатно пить на борту столько, сколько душе его будет угодно. И я рекомендовал Андрею безропотно разрешить спутнику довезти его в такси до гостиницы — и сразу же уложить спать.

Благодетелева я попросил держать командировочные деньги на обоих у себя — и Андрею не выдавать ни су, как бы тот ни требовал своей части денег на руки.

На следующий день главному редактору позвонил убитый горем Благодетелев: ближайшим рейсом они возвращаются.

Мы с Мишариным тайно совещались в бывшем кабинете Грибачева — огромном помещении с “вертушкой” (аппаратом, напоминаю, правительственной связи).

Мы хорошо знали Андрея — и не сомневались, что прилетит он не только без командировочных денег, но и без каких-либо оправдательных документов, сокращающих понесенные редакцией убытки.

И как отчитываться перед издательством “Правда” в непонятно на что истраченных пятнадцати тысячах франков?

Позже выяснилось, что по прибытии в гостиницу в дымину пьяный Андрей потребовал у Благодетелева свои командировочные, Шарик все ему отдал — и друг редактора исчез в парижской ночи.

Утром он утверждал, что его обокрали. Требовал полицейского разбирательства. Но представитель “Международной книги” Тарасов, которому Кучаев успел в день прилета нахамить, потребовал немедленного возвращения Андрея и Благодетелева на родину.

Еще неделю Андрей не появлялся на службе — прятался от редактора, встречался со мною тайно в метро, брал деньги на продолжение загула — и сдался, когда уже не оставалось сил.

Редактор, однако, питал к нему давнюю (в полжизни) слабость — и необъяснимым образом пятнадцать тысяч франков удалось списать, пользуясь всеобщей суматохой тогдашнего времени.

Тогда Кучаев находился в шестом браке, на момент утраты подотчетных сумм еще не зарегистрированном.

Поэтому читателю любопытно будет услышать, что в первом и во втором браках Андрей от алкоголя удерживался. Правда, оба эти брака (замечу, что и первый и второй брак для друзей-приятелей были неожиданными) несколько лет все же разделяли — и упущенное за срок, проведенный в первом браке, Кучаев наверстать успел.

Какое отношение имел Миша Ардов ко второй Ирине — первой жене Андрея?

Ирина, ставшая первой женой Андрея, была первой женой и для старшего, единоутробного брата Миши и Бори — Алеши, всей стране известного как киноартист Алексей Баталов.

От Алексея Баталова Ирина (фамилия Ирины — Ротова, она была дочерью знаменитого карикатуриста Константина Ротова) ушла к сыну знаменитого графика, но прожила с ним совсем недолго, осталась одна (точнее, с дочерью, мамой и отчимом — мама Ирины, пока репрессированный Ротов отсутствовал, вышла замуж за киноведа Коварского).

Баталов женился на красавице из цирка, наезднице Гитане Леонтенко.

Получается, что Ирине Ротовой Миша Ардов приходился всего-навсего младшим братом бывшего мужа.

Но Ардовы любили внучку Надю (дочь Иры и Алеши) и к самой Ире привыкли — она и с появлением Гитаны оставалась для них в ранге невестки. Для Ардовых родственники не могли быть бывшими.

Ирина бывала на Ордынке достаточно часто, с Кучаевым там и познакомилась, как с другом Миши.

Началось с того, что в Андрея влюбилась Надя Баталова — ей было лет шесть. А затем уж и ее мама.

Андрей был, по моим подсчетам, младше первой своей жены на десять лет. И можно предположить, что в чувстве к нему Ирины проступало и нечто материнское.

Андрей органично вошел в свою новую семью. Пить бросил. На службу — он поступил в Аэропроект — ходить было через дорогу (Ленинградское шоссе). Ирина приветствовала его занятия литературой — восхищалась первыми его работами, предназначенными для печати. Для себя Андрей сочинял давно, но теперь стал примеряться к публикации — существенный момент в жизни пишущего.

В журнальном интервью, взятом по случаю восьмидесятипятилетия до сих пор всеми любимого артиста, Алексей Баталов противопоставляет свою вторую тещу — тоже Гитану и тоже цирковую артистку (я знаком был с этой

замечательной женщиной) — первой, утверждая, что с Ириной он разошелся исключительно из-за плохого отношения к себе тещи.

Ирина мама, Катерина Борисовна, не любила и второго своего зятя, сына графика. Полюбила она третьего — Андрея — и очень старалась устроить его судьбу. Катерина Борисовна сама сочиняла пьесы (и некоторые из пьес шли на сцене), и в писательском мире у нее были связи.

Ей удалось устроить Кучаева на семинар молодых сочинителей, куда приглашались только члены писательского союза, но для нашего друга сделали исключение.

Перед отъездом Андрея под Москву на семинар их семье с помощью все той же Катерины Борисовны удалось из однокомнатной квартиры переехать в двухкомнатную.

Кучаеву купили письменный стол. Но поработать за этим столом молодому писателю не пришлось.

На семинаре он познакомился с драматургами-соавторами Мишариным и Вейцлером. Мишарин сразу прикипел к Андрею.

Андрей Вейцлер относился к Андрею Кучаеву куда сдержаннее. Но Мишарин плюнул на мнение соавтора и вел себя с Кучаевым как обольститель. И Мишарин, и Вейцлер сильно выпивали — и было на что. Они еще студентами сочинили пьесу для Малого театра, “Песня о ветре”, — а когда на какое-то время дела с театрами не заладились, поступили работать на радио.

Не знаю, сдружился бы с ними Андрей, будь эти ребята трезвенниками. Но трезвенниками они не были — и проснулся в нем прежний Кучаев.

По возвращении семинариста домой Ирина сразу поняла, что с джинном, выпущенным из водочной бутылки, ей не совладать, — и друга драматургов выдворили (кажется, вместе с новым письменным столом).

Второй брак Кучаева был еще неожиданнее первого.

Андрей женился на моей однокурснице — актрисе театра “Современник”.

Первая жена (сначала Баталова, а потом Андрея) наверняка понравилась бы руководителю театра “Современник” Олегу Ефремову. Для него высшей похвалой девушке было “смешная”. Конечно, он понимал под этим не чистый комизм, а скорее то, что называют пикантностью или изюминкой, но ему была ближе односложность оценки: смешная — значит такая, с которой никогда не соскучишься, как иногда бывает с женщиной красивой, но невыразительной.

В Ирине была живость, мешавшая принимать во внимание, что муж на столько лет моложе. Моя же сокурсница Галя

Соколова бывала очень смешной — и в жизни, и на сцене, — но под ефремовское определение никак не подходила. Внешность характерной актрисы отнюдь с красотой не соотносилась (даже скучной и невыразительной). И для всех оставалось загадкой, как приглянулась она избалованному красавицами Андрею. Хотя, может быть, избалованность и потребовала контраста.

И снова началась трезвая жизнь. Андрей ушел из Аэропроекта. Он переехал к Гале в район другого метро — “Красные ворота”, и ездить на Ленинградское шоссе стало несподручно. Он перешел на вольные литературные хлеба — и начал постепенно зарабатывать.

Жанр, им избранный, удивил меня еще больше, чем вторая его женитьба. Он стал юмористом. Сочинял небольшие вещи для шестнадцатой полосы “Литературной газеты”.

Андрей казался мне для юмориста снобом.

Но может быть, это и выделяло его в среде, генерируемой шестнадцатой полосой.

Рыжебородый юморист Веселовский объяснил мне в пивном баре Дома журналиста, что Кучаев в их кругу считается “скорее стилистом”.

Вместе с тем, как муж актрисы, Андрей теперь много времени проводил и в театре, где очень нравился артисткам, недоумевавшим по поводу его выбора подруги жизни.

Тогда среди мужей актрис оказалось трое очень похожих друг на друга, красивых молодых людей: выдающийся в будущем режиссер Юрий Погребничко был женат на пришедшей из ТЮЗа героине Тамаре Дегтяревой, мой знакомый футболист из “Торпедо” Володя Михайлов — на Тане Лавровой. И муж Гали Соколовой — наш Андрей.

Мне всегда казалось, что после какого-нибудь премьерного банкета дамы перепутают мужей.

Все три брака распались.

И наиболее скандально ушел от жены Кучаев, чуть ли не прямым текстом заявивший, что соскучился по красивым женским лицам, а от внешности Галины устал.

Нетрудно догадаться, что заявление было сделано в нетрезвом виде — первая же после длительного перерыва рюмка способствовала прозрению.

Андрей взял свою часть накопленных на кооператив “Драматург” денег, и вчера еще обожавшая мужа Галя твердила теперь на каждом шагу, что он ее обокрал, — и перестала здороваться со мной и с Борей Ардовым, считая, что это мы как друзья настроили Кучаева против нее.

А окажись Кучаев в одном доме с Мишей Ардовым — Мишу

поселили не в том главном корпусе “Драматурга”, где жил Жора (первый этаж занимал Литфонд), а во втором (внизу сберкасса), — отношения между ними, возможно, вернулись бы к прежней интеллектуальной близости.

Кучаев, как и Жора, со времен юности не скрывал, что собирается быть писателем. И всем нам его желание казалось более естественным и более достижимым.

Кучаев уже показывал свои рассказы Корнею Ивановичу Чуковскому — и тот дал ему рекомендацию в Литературный институт. Но Кучаев поступил в МИФИ — он, между прочим, закончил школу с серебряной медалью, однако получить ее из рук директора школы не смог (в тот вечере на Ордынке мальчики Ардовы варили брагу), и на выпускной вечер вместо внука пришлось идти дедушке с материнской стороны.

Я имел честь видеть и дедушку Андрея с отцовской стороны.

Это был настоящий, словно из мемуаров Расула Гамзатова, дагестанский старик с усами. Кучаев за столом спросил его небрежно (сам считая, что из любезности по отношению к старику): “Дед! А сколько у тебя там в ульях пчел? Тысяч сто?”

Дед сделался свекольно-фиолетовым, но выдержки не потерял, хотя внук и нарушил горский обычай почтительного отношения к старшим, — и попытался даже придать ответу иронию, выдохнув с акцентом: “Мыилион!”

При нашей предпоследней встрече, когда приехал Кучаев ко мне в Переделкино, он объяснил, что докопаться до тайн мироздания сначала собирался как физик.

Но понял, что литература для этого больше подходит, чем наука.

Брагу на Ордынке, пока Андрей занимался на первом курсе МИФИ, варили еще не раз — и только благодаря неустанным хлопотам Максима Шостаковича на следующий год Кучаев учился в институте связи.

7

В каждой компании всегда кто-то дружит с кем-то ближе, чем с остальными, что не разрушает общей дружеской атмосферы.

В нашей ордынской компании я ближе всех дружил с Борисом, Андрей — с Максимом, а Миша сумел одинаково близко дружить и с Андреем, и с Жорой.

Наш Михаил, как называл брата Боря, был человеком разносторонним — и, пожалуй, более любопытным, чем мы,

остальные. Не потому ли и он стал писателем? Он к тому же не был ленив, что и сегодня его выгодно отличает.

С Андреем они обсуждали романы Достоевского, которых мы, например, с Борей так и не прочли. Они могли вести интеллектуальные дискуссии, не задевая самолюбия друг друга. Словом, у них было немало точек умственного соприкосновения.

Зато Жора увлекал нашего Михаила тем знанием жизни, каким никто из нас, живших в мире литературы, музыки или, как Андрей, науки (у него и мама была научным работником, и отец — экономистом школы Кондратьева, погубленной советской властью), не обладал.

С именем-отчеством отца Жоры (и Аркадия, естественно) есть свои сложности: в коммуналке на Воровского все соседи, включая моих будущих тестя и тещу, называли его Ефимом или Ефимом Григорьевичем, что, конечно, тоже было переводом с того настоящего еврейского имени, которое он от рождения носил, но не стал по вполне понятным соображениям вписывать в паспорт.

На Востряковском кладбище есть памятник-колонна с надписью “Александр Вайнер” — это могила папы братьев Аркадия и Жоры. Надпись сделана по просьбе сыновей, почему-то отдавших предпочтение отчеству Александровичи перед Ефимовичами.

Я не помню, как обращался к нему. Скорее всего, Ефим Григорьевич.

Он был одним из самых умных людей, которых я за свою жизнь встречал, — умных недоступным и, в общем-то, чуждым и моей семье, и мне самому умом.

Я бы счел его ум по-антисоветски советским или по-советски антисоветским — он рожден был не из штудирования теорий, а прямо из обстоятельств, предложенных формально (и по букве закона очень строго) всем, но, как показал опыт старшего Вайнера, не каждому.

Когда я познакомился с Жорой, Ефим Григорьевич был главным инженером фабрики спортивных товаров. Но не знаю, как Аркадию, а Жоре нравилось позиционировать себя мальчиком из бедной семьи, сыном неграмотных родителей.

Не думаю, чтобы Вайнер-старший был книгочеем (что не помешало быть книгочеем Жоре, да и Аркаша был человеком читающим, пусть и поменьше, чем младший брат). В кино ему нравились только фильмы итальянского неореализма (они напоминали ему местечко, где он рос). Но я бы сказал, что при советской власти он жил грамотнее девяносто пяти процентов грамотеев, не видевших выхода из сложившейся ситуации.

Ефим Григорьевич никакого выхода для себя и не искал, он вполне приспособился (без никакого, кстати, внутреннего пресмыкательства) к предлагаемым обстоятельствам — и норов власти изучил, как норов хищного зверя, определив для себя промысел, вынуждавший рисковать, но по-умному. Съесть себя с кашей и без соли не позволявший.

Конечно, дети, особенно мечтавший о необыкновенной судьбе Жора, слушались его далеко не во всем — смотрели иногда на отца с высоты полученного по его же настоянию образования. Тем не менее главным правилам своего участия в жизни, заложенным в них с детства, они следовали всегда — Жора с бóльшими отклонениями, Аркадий с меньшими.

В положении Ефима Григорьевича афишировать хоть какой-либо излишек не следовало.

Машины и у Аркадия, и у Жоры были, сколько я их помню, — и вряд ли по тем своим заработкам они смогли бы купить их без помощи отца, который сам машины не имел, хотя слышал я, что возил он во время войны какого-то генерала, водительские права у него, конечно, были.

Ефим Григорьевич считал, вероятно, что машина — не роскошь, она организует человека.

Вспомнил сейчас встречу с Ефимом Григорьевичем на “зебре” перехода между магазином “Консервы”, я с той стороны шел, и тогда существовавшим кинотеатром повторного фильма.

…На месте бывшего кинотеатра теперь театр Марка Розовского.

Жора рассказывал, как еще студентами университета они с Марком отдыхали с девушками у Жоры дома — комнаты в той коммунальной квартире на нынешней Поварской были метров по шестьдесят (и жильцы из своих комнат поминутно не выходили — я, множество раз у Жоры гостивший, свою будущую — первую — жену, в той же квартире жившую, никогда там не встречал).

И вдруг Жора натренированным ухом услышал, что дверь (не к ним в комнату, а в общий коридор) открывает своим ключом именно Ефим Григорьевич.

Отец, однако, свернул на общую (опять же) кухню — поджарить принесенный хлеб и вскипятить заодно молоко.

И пока он производил кулинарные действия, молодые люди успели одеться и заправить койки — родительское ложе составляли две двуспальные кровати, а Жорина (тоже двуспальная) кровать стояла в углу на расстоянии метров тридцати — неплохие по тем временам условия для досуга с дамами.

Кроме того, Марик схватил со стола свежий номер журнала “Юность” (по-моему, он тогда и служил в юмористическом отделе “Юности”) и начал читать опубликованное там стихотворение с выражением, выдающим будущего народного артиста России.

Жалко, что не присутствовала при этом мама Жоры Фаина Яковлевна. Взглянув на слушавших чтение Розовского девушек, она легко поверила бы, что те могли бы приготовить Марику и Жоре чай.

…Мы поговорили тогда с Ефимом Григорьевичем на середине мостовой — точнее, обменялись на ходу шутками, что заняло полминуты. Однако, дойдя до дому, он поделился с Жорой впечатлениями о нашей встрече — сказал, что видел Сашу Нилина, подчеркнув: “Он тоже не в шелка одет”. Видимо, у Вайнеров я считался мальчиком из обеспеченной семьи. И отец педагогически дал Жоре понять, что, раз сын писателя одет скромно, нечего и ему, сыну обыкновенного инженера, особо пижонить.

Жора не скрывал, что Миша Ардов имел на него эстетическое влияние.

Через много лет — уже на Аэропорте — он рассказывал мне, как поражен был, когда Миша сказал ему про “золотых девок” вокруг главного фонтана ВДНХ, что это чудовищная пошлость. Тогдашний Жора, по его же словам, не мог себе вообразить ничего красивее.

И все же дальнейшие успехи Жоры на писательском поприще я хотя бы отчасти рискнул объяснить верностью его этим “девкам”: он согласился с Мишей на словах, но из души не смог выбросить золотых изваяний.

8

Как читатель (в нашей компании единственный) самого-самого первого опыта Георгия Вайнера в прозе — Аркадий служил еще на Петровке, о литературной славе не помышляя, — я совершенно уверен, что следователь Тихонов, главный положительный герой половины романов братьев Вайнеров, вынут Жорой при согласии брата из своей мечты — из того, каким ему хотелось бы стать в идеале: красавцем (некрасивые люди в их книгах всегда с откровенной гипертрофией некрасивости), спортсменом, мачо (тогда это понятие до нас не дошло, но смысл его существовал), независимым от семейных уз (отличный семьянин Жора видел себя внутренне холостяком),

одиноким (в чем-то и был, как следует быть писателю, одинок) и никем не понятым, кроме одной-единственной прекрасной женщины, с которой что-то мешает быть вместе, но это обстоятельство и придает их отношениям романтичность.

Первым набрал висты в изображении милиционера, которого должны все полюбить, конечно же, Сергей Владимирович Михалков со своим дядей Степой.

С ним он изначально поделился своим ростом, разрешив ему, однако, вырасти гораздо выше.

Но, чуть повзрослев, я обратил внимание на строчку: “После чая приходите, сто историй расскажу…”

“После чая” — это где-то на уровне “маминой спальни” у Корнея Ивановича: сочиненному милиционеру автор подарил что-то из семейного уклада своего детства, где чаепитие, возможно, было неким ритуалом.

Не так ли и младший сын Сергея Владимировича Никита поступил, подарив семейное гнездо на Николиной Горе сочиненному комбригу Котову в “Утомленных солнцем”?

Милиционер из юношеского романа Жоры чем-то для меня все же родственен “золотым девкам” работы Константина Топуридзе (мужа Рины Зеленой, нынешнему зрителю известной только по роли в фильме про Шерлока Холмса).

У героя (повествование велось от первого лица) был друг, которому и герой, и, надеюсь, автор хотели подражать — он как-то героически погиб.

Звали друга героя Борис Левин.

Мог ли знать Георгий, еще не бравший в голову и тени мысли о будущих детективах, что перенесением имени реального человека на персонаж он начинает детектив, который не ему будет дано закончить?

Еще с дописательской жизни братьев Вайнеров был у них друг не друг, родственник не родственник, но домашний человек по имени Боря Левин, в спортивных кругах — Левин был спортивным журналистом — прозванный “Борей от ума”.

У меня есть подозрения, что журналистикой Жора и Боря Левин начали заниматься одновременно. Но Боре повезло с трудоустройством больше: он попал в штат какой-то спортивной газетенки. Выбор среди специальной спортивной прессы для рьяных любителей футбола или хоккея был невелик. И кроме постоянного чтения “Советского спорта” эти любители жаждали урвать еще хоть какую-нибудь дополнительную информацию — и у Бори Левина, как у всех тогдашних спортивных журналистов,

была микроскопическая известность, какой у сотрудника газеты “За образцовое обслуживание” Георгия Вайнера (у себя в издании он подписывал свои заметки “Г. Воронин” — псевдоним взял в честь знаменитого футболиста Валерия Воронина) быть ни при каких обстоятельствах не могло.

Редакция газеты “За образцовое обслуживание” тем не менее находилась на улице Горького, в первом переулке после Елисеевского магазина, в добротном угловом доме, в трехкомнатной квартире, которая стоила бы сейчас миллионы, даром что на первом этаже.

Довольно часто бывая там у Жоры, я не интересовался журналистикой, но редакционные кулисы (как и кулисы любого производства — от театра до заводского цеха или научной лаборатории) меня занимали. И вообще я любил тогда центр города.

Служба Жоры в той газете имела и для моей жизни некоторые последствия.

Жора выписал Виктору Ефимовичу Ардову, как известному писателю-юмористу, полезному для реноме издания, удостоверение члена несуществующей редколлегии в редакции, существующей, однако, на улице Горького.

Когда мы с Мишей Ардовым и Максимом Шостаковичем отправились летом шестьдесят третьего года в Коктебель, Миша, собираясь на курорт, захватил на всякий случай (а вдруг негде будет без путевок и курсовок там поселиться) отцовское удостоверение.

И оказалось, что в курортном Коктебеле быть сыном члена редколлегии никому неведомой за пределами сферы коммунальных услуг газеты выгоднее, чем сыном всемирно известного композитора.

Правда, Миша со взятым из дому удостоверением выдавал себя за отца.

Но нас в пансионате поселили, а то бы из-за отсутствия пристойного ночлега мы на курорте не задержались — и я бы не познакомился с Аликом Марьямовым и не попал бы в АПН.

Про то, что есть такое учреждение — АПН, я, кстати, узнал впервые от Вайнера. Жора говорил, что ни о чем бы больше на всю дальнейшую жизнь и не мечтал бы, удайся ему устроиться хоккейным обозревателем в спортивную редакцию АПН, где, к слову, самым главным сотрудником был Марьямов!

Заинтересовать хоккеем Георгия мог не только Боря Левин, но и еще один Боря — Спиркин, приятель скорее Аркадия, чем Жоры.

С Борей Спиркиным мы учились вместе в школе — я в пятом,

он в шестом. Я всегда потом рассказывал, как наш класс играл против шестого в финале первенства школы по хоккею.

Спиркин жил в одном из бараков на территории Боткинской больницы. Рядом с ближайшим ко входу на эту территорию с улицы Поликарпова (перпендикулярной Беговой) бараком, напротив бывшего морга в бывшей церкви (новый морг приблизительно на этом же месте) заливали каток. И дети сотрудников больницы, живших в бараке, ученики нашей школы, целые дни проводили на льду, игнорируя если не присутствие на занятиях, то уж точно приготовление заданных на дом уроков.

Не все из них получили среднее образование, но несколько человек стали известными хоккеистами, а некоторые и олимпийскими чемпионами.

Перед финальным матчем нашего пятого класса против шестого самые большие волнения вызывало участие Спиркина — накануне он один, как говорили, обыграл команду пятого класса “А”. И когда Борис на этот матч не явился — он занимался в секции хоккея стадиона “Юных пионеров” и отвлечен был на какое-то другое, более важное соревнование, — мы подняли головы.

Но проиграли все равно с треском: в команде шестого класса отличился Юра Чумичкин (по прозвищу Пека, был тогда в Ленинграде великий футболист Пека Дементьев), тоже из Боткинской больницы — трудно вообразить, что случилось бы с нами, играй за шестой класс одновременно и Спиркин, и Чумичкин.

Кроме того первенства школы, где играли мы со Спиркиным, было еще и первенство для старших классов, в одном из которых (восьмом, очевидно) учился Авдеенко. Авдеенко был звездой дворового и школьного хоккея (и спорта вообще — он еще и сильнейшим лыжником считался).

Помню матч на залитом между домами возле школы дворе, в котором встречались между собой восьмиклассники — и весь матч свелся к противоборству лидеров команд — Авдеенко и парня по фамилии Комаров.

Я еще учился в школе, когда Спиркин и Чумичкин уже играли за настоящую команду мастеров — “Локомотив”. Авдеенко поступил на факультет журналистики МГУ, а судьба Комарова мне неизвестна.

У старших классов было свое соревнование, но ведь второгодники-переростки вполне могли быть ровесниками Авдеенко.

И поэтому еще вопрос, у кого было больше способностей к хоккею. Просто Авдеенко не жил в бараке.

9

Жора Вайнер, уже состоявшись как писатель, зашел на досуге отобедать или отужинать в ресторан Дома композиторов — и в самом центре зала дружески встретился с человеком, занимавшим тогда немалую должность в музыкальном сообществе, оргсекретарем Союза композиторов Панченко (недавно я прочел воспоминания знаменитой тренерши фигуристов Татьяны Тарасовой о муже, мирового уровня пианисте Владимире Крайневе, где пишет она, как рада была познакомиться с другом мужа, замечательным человеком — генеральным директором Госконцерта Владимиром Всеволодовичем Панченко).

Володю Панченко я знал со времен, когда он, инструктор райкома комсомола, занимался в драматической студии текстильного института, которой короткое время руководил Боря Ардов. Панченко очень скоро стал другом всей семьи Ардовых, включая и Алексея Баталова, с которым в дальнейшем сошелся даже ближе, чем с Борей.

Вспомнил сейчас, как Боря пришел пьяным, а Панченко у Ардовых что-то обсуждал с Баталовым, который уже давно жил в киношном доме на Полянке, получив квартиру съехавшего на улицу Горького Михаила Ромма.

Заметив Борино состояние, Панченко с дружеским участием спросил, почему он такой грустный. “Власть ваша потому что на дворе”, — ответил Борис.

Алеша при всей дружбе домами с Панченко все же опасался, что Володя, занимавший большие посты в ЦК комсомола (а затем и в Союзе композиторов, и в Госконцерте), связан с Комитетом государственной безопасности, — и счел нужным сделать младшему брату (для его же блага) замечание: “Боренька, у тебя двухкомнатная квартира [Боре после пожара на Голиковском, когда сгорела его комната, дали квартиру возле Библиотеки иностранной литературы, но все равно он чаще обитал на Ордынке]. Кем бы ты был в какой-нибудь другой стране?”

Борис ответил брату (народному артисту, кавалеру ордена Ленина, а в дальнейшем Герою Социалистического Труда) с непозволительной, согласимся, резкостью: “Я-то был бы, я-то был бы, кем бы был ты, твою мать?”

Должен сказать, что Володя, независимо от своих должностей и связей с Лубянкой (не знаю, были они или не были), оставался превосходным парнем, добрым и веселым человеком — и перед нами с Борей никогда своим положением не кичился.

И чему же удивляться, что в центре ресторанного зала они с

Жорой встретились дружески — и, как у нас, у работников искусства, принято, поцеловались.

Дальше Владимир Всеволодович пошел руководить композиторами, а Георгий Александрович предался своему любимому (после литературы) занятию — стал кушать.

Но, прежде чем Жора сел за столик, подошел поприветствовать дорогого гостя метрдотель и сказал: “Рад вас видеть, вдвойне рад, что вы друг нашего начальника!” А Жора возьми и зачем-то скажи: “А мы учились с ним в одном классе”.

“Почему, — горестно вздохнул метрдотель, — в нашем классе не учились такие люди?”

А в моем — учились. Например, знаменитый хоккеист Виктор Кузькин.

И я никогда не забывал сказать, если начинался где-нибудь разговор про хоккей, что мы с олимпийским чемпионом одноклассники.

Наш район, возле двух стадионов (“Динамо” и “Юных пионеров”), дал немало олимпийских чемпионов, но мой одноклассник был трижды олимпийским чемпионом — таких людей и на всю страну вряд ли наберется больше десятка.

И дальше что?

На спорте же свет клином не сошелся.

И потому я не очень удивился, что судьба Кузькина, в свое время известного всей стране (портреты его, как капитана сборной, — в каждой руке по кубку за победы — публиковали на первых полосах), моих приятелей по школе, химика Нюму Иоффе или технаря Сашу Зубкова — не академиков, но кандидатов наук, — никак не занимает. Яша Липкин на девяностолетии Семена Израилевича, когда вспомнил я к чему-то про Кузькина, сказал: “Ну да… у вас же были какие-то свои отношения, связанные со спортом”.

Но тогда совсем уж странно.

Как же это я, по общему мнению, спортивный журналист, не сочинил ничего о Кузькине, когда был он в славе, — не пробился к нему, не напомнил о себе?

Я встретился с ним, когда его карьера игрока уже завершалась.

Меня привели к нему домой — и первое, что он сказал, было: “А я думал, что ты будешь еще здоровее”. Помнил он, значит, как я выглядел в школе. Мог бы и забыть, столько всякого за прошедшие годы повидав, столько лиц перед ним мелькнуло. Конечно, теперь намного здоровее был он — Виктор непрерывно тренировался, а я как только мог разрушал свое здоровье. Но ведь

и хоккеисты пили крепко.

Отношения у нас с Кузькиным в школе, Яша прав, были.

Яша, Нюма, Саша, которые хорошо учились, считались думающими парнями. Оригинальностью суждений они вызывали интерес девочек, с которыми начали мы учиться после седьмого класса.

У Яши, Нюмы, Зубкова и у меня начинались излишне перегруженные психологическими нюансами романы с Ларисой Антроповой и другими девочками, а Кузькин только и мог, что дернуть их, как школьник из младшего класса, за косичку.

Витя был единственным мальчиком в классе, который учился еще хуже, чем я. В девятом классе он остался на второй год — и когда я пришел на вечер выпускников, то разговаривал с ним не без чувства некоторого превосходства: он еще учился в десятом классе, а я все же был студентом (не какого-нибудь, правда, серьезного института вроде МАИ, но Школы-студии при МХАТ). Кузькин спросил меня почему-то: “И что же, ты будешь чтецом?” А я ему стал втолковывать, что такое Художественный театр и школа при нем.

Проходившая мимо учительница истории Ирина Николаевна улыбнулась иронически моей горячности. Для нее мы с Витей были одинаковые двоечники, но вот один в артисты подался, а с другим неизвестно что будет.

Каким-то образом при своих оценках я примыкал к ребятам, хорошо учившимся. А с Кузькиным мы играли за школьную баскетбольную команду. Он, легко в это поверить, играл лучше, чем я. Но в команде нашего класса уступил мне по своей инициативе капитанство, хотя в школьной сборной играл в стартовой пятерке, а я во второй.

Мы вместе с ним приходили поступать в баскетбольную секцию “Юного динамовца”. Но знаменитый тренер Зинин нас обоих забраковал из-за малого роста. В нас тогда было чуточку больше ста восьмидесяти, а искали ребят под два метра. Конечно, покажись мы тренеру очень уж большими талантами, он взял бы нас и с таким-то ростом. Но мы не показались; с Кузькиным Зинина, видимо, подвело чутье — мышечные возможности будущего олимпийского чемпиона (пусть и по хоккею) наверняка и на тот момент были выдающимися.

Так что было у нас общее воспоминание.

Мы были ровесниками, но Кузькин после поздней (по спортивным меркам) женитьбы на зубном враче Тане пить стал намного меньше — и выглядел накануне семидесятилетия неправдоподобно молодо. Он мне сказал, что и чувствует себя неправдоподобно хорошо — занимается дайвингом.

Под водой у него остановилось сердце — и до семидесяти он чуть-чуть не дожил.

Теперь на Ваганькове есть стрелка-указатель (такая же, как “К Есенину”, “К Андрею Миронову” и другим знаменитостям), направляющая к могиле моего одноклассника.

Я помнил фразу, сказанную им, когда наливал он мне коньяку (сам не пил, надеялся продлить карьеру игрока) у себя дома: “Ты знаешь, я ведь и не думал, когда мы в школе учились, что буду за сборную играть и все такое, что так вдруг получится”.

И до сих пор помню ту степень неловкости, какую испытал тогда дома у одноклассника за всегдашнюю суетность своих мечтаний.

Видел и помнил, как на хоккее в лужниковском зимнем дворце орал он (в качестве, мне показалось, какого-то администратора) на постоянную, реликтовую, немолодую уже, всегда вполпьяна болельщицу футбола и хоккея Машку.

У Машки никакой своей жизни, кроме футбола и хоккея, вроде бы не было. Все спортсмены относились к ней очень хорошо. Слышал, как фамильярно обращалась она к Валерию Воронину (во всем роскошном звездном его облике), называя его Вороной (а он считал это в порядке вещей, ничуть не сердился). Видел, как чемпионка мира по художественной гимнастике красавица Ирина Дерюгина, вся в модных тряпках и с гладкой балеринской прической, жена в ту пору знаменитейшего футболиста Олега Блохина, доверительно беседовала с одетой в какие-то обноски Машкой.

А Боря Левин на нее орал — и грозил прогнать с трибуны.

В очерке про Всеволода Боброва для журнала “Юность” я вспомнил Машку в нескольких словах — и она потом постоянно носила в кармане ветхого, дешевого красного пальто засаленный номер журнала.

Борис Левин всегда на хоккее (или футболе) разговаривал как на театральной сцене, обращаясь к собеседникам непременно издалека — и, соответственно, громко, чтобы всему стадиону была слышна чепуха (с моей точки зрения), которую он обычно на людях говорил.

Как-то он опять что-то во всеуслышание сказал, а собеседник сделал вид, что удивлен широтой его взглядов — “Боря от ума” все негодовал: “За кого же вы меня тогда держите?” И кто-то тут же и сострил: “За Машку!”

Ничего, казалось бы, и обидного для Бори. И он тоже за годы непременного присутствия на спортивных зрелищах стал вроде реликта, но более карикатурного, вызывающего к себе меньше сочувствия со стороны бесчувственных коллег.

Но если на стадионе “Боря от ума” бывал фигурой, всего чаще подвергаемой насмешкам, то вне стадиона — у Вайнеров, или в Доме кино (он ходил туда регулярно на премьеры), или в гостях у руководителя писательской поликлиники Евгения Нечаева (у них с Левиным была общая компания друзей юности, вроде нашей ордынской) — становился как лицо, причастное к большому спорту, человеком почти уважаемым.

10

Регулярные встречи у Жоры дома сделали и меня приятелем Бори Левина.

Ко мне Боря относился очень хорошо — стремился опекать, но и наставлять. Наставления его сводились в основном к тому, что я должен сочинить роман о рабочем классе — и стать писателем со всеми положенными писателю привилегиями (о них он прекрасно знал от своего друга — главного врача).

От спорта — поденщины на темы спорта без штатного места в специальном издании (я его, как и вообще работы где-нибудь в штате, лишен был смолоду) — меня отговаривали многие желавшие добра мне люди. Но я при видимой покладистости бываю необъяснимо упрям. И советы, исходящие от Левина, помешанного на спорте, выводили меня из себя.

На ту же высоту (в смысле перспективы, если возьмусь за ум) он ставил и моего друга Александра Марьямова. Но ему отдавал все же предпочтение — говорил, что, будь он женщиной, влюбился бы в Марьямова: “Он красивый и хорошо пишет, а ты хорошо пишешь, но очень толстый”.

Через много лет на моем дне рождения, когда Левина уже не было в живых, Алик Марьямов в тосте отметил, что нас с ним, случалось, сталкивали лбами. И я сразу же вспомнил покойного “Борю от ума” — и засмеялся, хотя Алик вряд ли помнил высказывания Левина.

Наглость тона, неожиданная в Боре (учитывая незавидность его статуса), происходила, по-моему, из-за постоянной внутренней трусости (и беспокойства). В отношениях с женщинами (а он, как настоящий еврей, очень любил женщин) сходила за эдакую брутальность (притом что и внешность Левина далека была от тех идеалов мужской красоты, которую предписывали своим положительным героям Вайнеры). Но помню, как одна из подруг жены Миши Ардова Милы, послушав глупейшие (на мой необъективный, наверное, слух)

разглагольствования Бориса у Ардовых, сказала: “Видно, что очень умный парень, но чувствуется, что большой бабник” (Шарлотта в чеховском “Вишневом саде” говорит: “Ты, Епиходов, страшный человек…”).

Борис собирался вместе с нами (со мной и его любимым Марьямовым) в Питер и пообещал захватить нас на вокзал — сказал, чтобы ждали его на углу Красноармейской и Второго Аэропортовского перед домом Марьямова. Подъехала белая “Волга” (никаких иномарок мы тогда не знали и ничего шикарнее белой “Волги” себе не представляли). Боря сидел за рулем, рядом с ним — очень хорошо одетая дама третьей (приблизительно) молодости.

Мы догадались, что машина принадлежит даме, судя по разговору между водителем и пассажиркой, возлюбленной Левина. Всю дорогу до Ленинградского вокзала мы с Аликом ломали голову, кто же эта дама — чем-то отдаленно она показалась нам знакомой.

Уже на перроне Марьямов — он все же старше меня на три года и несколько лучше помнил пятидесятые годы на эстраде — сообразил, что дама — Нина Дорда.

Кто читал “Московскую сагу” Василия Аксенова, должен помнить, как ее герой, двадцатичетырехлетний Борис (тоже Борис), вернувшийся с фронта офицер разведки, сын погибшего маршала, слушает в ресторане при гостинице “Москва” певицу Нину Горду — и решает увезти ее к себе домой, когда ресторан закроется.

И привозит в пятикомнатную квартиру на улицу Горького, где певицу, перед тем как лечь в койку, слегка смущает, что предстоящий любовник намного ее моложе — и у Горды просыпаются к нему отчасти и материнские чувства. Герой тем не менее в свя2зи с ней несколько сезонов, вплоть до начала пятидесятых, когда знакомится с девочкой лет шестнадцати — и Нина Горда действительно по-матерински благословляет сына маршала на новую любовь.

Как все же причудливы судьбы женщин — и неспособных обойтись без них мужчин: не проходит и полтысячи лет, как знаменитая певица оказывается в объятиях не офицера и не сына маршала, а не служившего в армии спортивного журналиста, сына простого советского еврея (я был на похоронах Бориного отца, но не догадался спросить, чем занимался папа счастливого обладателя Нины Дорды-Горды).

Боря никогда не был женат — и жизнь его, отличаясь, конечно (но до такой ли уж степени?), от жизни постоянной оппонентки Левина на стадионе Машки, посвящена была спорту как всеобъемлющей страсти.

Должность, занимаемая им на стадионе (и позволявшая ему строгое обращение с общей любимицей Машкой), называлась “редактор”. Отдел состоял из двух человек — редактора Бориса и очень импозантного диктора (по-моему, с высшим театральным образованием), чья фамилия у меня вдруг вылетела из головы (на семьдесят четвертом году такое иногда случается). Диктор должен был объявить составы играющих команд, а делом Бориса было проследить, чтобы в написании фамилий игроков не вкрались ошибки или опечатки. И надо сказать, что составы команд Левин всегда знал наизусть.

В свободное от работы на стадионе время он сотрудничал — обычно это случалось дважды в год, перед началом очередного хоккейного сезона — с приложением к спортивной газете, публиковал интервью с тренерами. В таком приблизительно стиле: “Наш корреспондент встретился со старшим тренером команды «Химик» (Воскресенск), заслуженным тренером СССР Николаем Семеновичем Эпштейном. Николай Семенович назвал состав на предстоящий сезон: вратарь Зубарев…” и так далее. В заявку команды на сезон входит человек тридцать — и строчек для солидности публикуемого интервью, в общем, хватало.

И вдруг чья-то умная головушка решила (а может быть, и подсказал ей кто-то из недругов Левина — антисемитов), что две должности на отдел жирно будет. Без диктора действительно обойтись нельзя. Но редактор-то зачем? Неужели у нас протоколы на матчи заполняют люди, не закончившие хотя бы начальной школы? У каждого игрока, между прочим, кроме паспорта есть еще билет участника соревнований, где черным по белому и вполне грамотно записана его фамилия, — и ошибок в протоколе быть не может, так что незачем платить зарплату инженера какому-то редактору.

Горе потерявшего должность Бориса было столь неописуемым, что Жора вынужден был собрать у себя дома совет на Аэропорте (по примеру совета в Филях). Вместо Кутузова пришел Женя Нечаев — человек со связями (какого уровня, вы скоро узнаете), а меня пригласили как спортивного эксперта.

Жора боялся, что Левин близок к самоубийству.

Боря твердил, что никогда теперь больше не увидит хоккея — ему стыдно будет приходить на стадион, когда все будут знать, что он без должности (у него, оказывается, в лужниковском дворце был и отдельный кабинет для редакторской работы).

Я его успокаивал, приводя пример из жизни только что смещенного с поста Председателя Президиума Верховного Совета СССР Николая Викторовича Подгорного (международная обстановка требовала от Леонида Ильича Брежнева совмещения двух должностей — и генсека, и президента, не игравшего, правда, в то время такой большой роли, как сейчас).

Я предположил, догадываясь о нравах в верхах, что у Николая Викторовича нет таких преданных друзей, как у самого Бори, например, Евгений Борисович Нечаев (в хлопотах за Левина Жора охотно уступал первенство — он знал, как велики возможности главного лекаря писателей).

В пору книжного дефицита все писатели (я не говорю про писателей-начальников, писателей, чем-либо заведующих, или знаменитостей вроде Жоры и Аркадия) заискивали (а куда страстным книгочеям деться?) перед директоршей книжной лавки писателей Кирой Викторовной.

Я выходил как-то из дома, где жили Нечаев и Жора, — и нос к носу столкнулся с главным врачом, державшим двумя руками тяжелый, перевязанный толстой бечевкой, упакованный в коричневатую оберточную бумагу пакет. “Ты знаешь такого Ремизова?” — спросил меня Женя. Я пошутил, что знаю только писателя Ремизова — мне и в голову не могло прийти, что речь идет об этом Ремизове. “Вот-вот, — обрадовался Нечаев, — а то Кира иногда какое-нибудь говно может всучить”.

Я, сознаюсь, дурака валял, вспоминая казус с Подгорным. Я-то лучше Жени и Жоры понимал, чего лишился Левин.

По должности, утраченной Борисом, полагались аккредитации на все соревнования и еще специальные пропуска, дающие проход на стадионе всюду: в раздевалки к спортсменам, в буфеты, куда простых смертных не пустят.

Мне могут сколько угодно колоть глаза принадлежностью к спортивной журналистике, но у меня таких пропусков не было даже тогда, когда в системе издательского дома “Московских новостей” я служил главным редактором журнала “Спортклуб”.

Но меня, и в те давние времена домоседа, ни на какие соревнования и не тянуло (есть же телевизор).

А для Бориса отсутствие ксив превращалось в настоящую трагедию.

И тогда мы решили обратиться к очень хорошему парню, жившему по соседству, в том же доме, где Миша Ардов, — Юре Метаеву, директору издательства “Физкультура и спорт”. Юра сильно болел (и дни его были уже сочтены), но согласился прийти домой к Жоре Вайнеру на переговоры. Мы давили на то, что Боря — известный журналист с великолепным пером, и ему

тесно в должности редактора каких-то примитивных текстов. А вот редактировать книжки — прямое его дело.

Юра вошел в положение Левина.

Но дня через два позвонил, искренне огорченный: “Но у вашего протеже нет высшего образования”. То-то, догадались мы, на прежней работе ему предпочли дипломированного артиста — антисемитизм, значит, ни при чем. Уже легче.

Нечаев, как настоящий друг, не оставил мысли о трудоустройстве Бориса. И когда у него в гостях был Альберт Беляев…

Чтобы нынешний читатель понял смысл предыдущей фразы с Альбертом Беляевым, я должен объяснить, что звучало это так, как скажи я, допустим, сейчас кому-нибудь о визите в наш ветхий дачный домик… ну, не Путина (не хочу лишних гипербол), а премьера Медведева или военного министра Шойгу (в бытность его губернатором, когда жил он с нами по соседству).

Альберт Беляев был заместителем заведующего идеологическим (не побоюсь этого слова) отделом Центрального комитета партии — и судьба каждого главного редактора главных газет, издательств, не говоря уж о судьбах всех (без исключения в данном случае) писателей и вообще работников искусства, зависела от него.

Что связывало его с главным врачом нашей поликлиники (при всей чрезвычайной важности и этого поста), для меня до сих пор загадка. Но то, что Женя решился заговорить с ним о трудоустройстве Бори Левина, характеризует отношения сановника и врача как несомненно дружеские.

Евгений Борисович и наколку даже дал, где бы хотел он видеть протежируемого Бориса: произнес название издательства “Физкультура и спорт”. Мысль о редактировании книжек такому начитанному человеку, как Женя, показалась здравой (очень хотелось пошутить, что и как врачу, учитывая психическое состояние безработного).

Не буду врать, что знаю механизм, доносящий волю Беляева до подчиненных. Но какой-то сбой в нем все-таки произошел: Борю взяли на место редактора, но не в книжном разделе издательства, а в журнале “Физкультура и спорт”, входившем в систему издательства и в здании издательства размещенном.

12

И, не побоюсь этого слова, журналист Борис Левин был

совершенно счастлив. Он стал тем, кем когда-то мечтал стать Жора в АПН, — хоккейным обозревателем.

В журнале отдельных кабинетов для сотрудников не предусматривалось, но Боре стол выделили. Боря повесил над столом таблицу розыгрыша хоккейного первенства. В редакции ему все очень нравилось: нравились все сотрудницы, все сотрудники, все авторы. Но больше всех он любил главного редактора — доброго, нетребовательного, легкого в общении человека — Анатолия Михайловича Чайковского.

Почему-то у Толи (позволю себе по давнему знакомству назвать так редактора, к тому же мужа девочки, с которой мы и жили рядом на Хорошевке, и учились в одной школе, Лены Осиповой, и которую мир потом узнал как выдающегося тренера по фигурному катанию Елену Чайковскую) не было тогда машины. И Борис возил всюду редактора на своей машине. А Толя поправлял Борины заметки — и Левин выступал в печати со все более содержательными корреспонденциями.

Но самое интересное, на мой взгляд, случилось не с Борей (и даже не с Чайковским), а с Альбертом Беляевым.

После смерти Юры Метаева издательство, куда устроили Левина, возглавлял Марат Шишигин.

Должность директора издательства “Физкультура и спорт” вообще-то не предполагает выходов на такое начальство, как Альберт Беляев. Но Шишигин и не собирался довольствоваться малым — в дальнейшем он стал чуть ли не заместителем министра печати. Связями он располагал меньшими, конечно, чем наш Нечаев, но каким-то образом попал-таки в поле внимания Альберта. Мне опять же неизвестен механизм сообщения между собою такой значимости лиц. Но в какой-то, может быть, депеше, поступившей к Беляеву, промелькнула фамилия директора издательства “Физкультура и спорт”.

У государственных людей обычно не девичья память.

Беляев запомнил, что должность директора издательства обещана была им другу Нечаева по фамилии Левин. Откуда же вместо Левина в директорском кресле (Альберт и представить себе не мог, что Женя просит его о меньшей должности) взялся Шишигин? Идеолог мог единственно предположить, что Шишигина поддерживает кто-то мощнее, чем он, Беляев.

Шутки, как говорил мой покойный друг Гена Галкин… дальше следовал непечатный эпитет.

Началось тайное расследование — и вскоре выяснилось, что в системе издательства “Физкультура и спорт” есть и Борис Левин, за которого так хлопотал главный врач поликлиники Литфонда, кандидат медицинских наук Евгений Борисович Нечаев. Но он —

не директор издательства, а хоккейный обозреватель в спортивном журнале.

Ей-богу, Альберту Беляеву было бы гораздо приятнее узнать, что на пути его подопечного встал человек равного с ним, Беляевым, или большего могущества.

Но, когда он узнал, что властью своей назначает теперь не директоров, а хоккейных обозревателей (и не газеты “Правда”, а несуществующего для него журнальчика), ярости заместителя заведующего всей идеологией не было предела. С Нечаевым он, разумеется, не поссорился, но предупредил Женю, чтобы в ближайшие десять лет тот вообще к нему ни с какими просьбами не обращался.

Нечаеву это слышать было неприятно. Тем не менее он посчитал свой долг перед Борей выполненным — и продолжал дружить и с Беляевым, и с Левиным.

Я пропустил момент, когда Боря Левин ушел из журнала, и о причинах расставания с ведомством Шишигина не удосужился спросить. Возможно, новый главный редактор (тоже, как я слышал, неплохо относившийся к Левину) не нуждался в шоферских услугах, возможно, как человек пожестче, чем Толя, потребовал от Бори больше самостоятельности в литературном труде.

Боре всегда требовалась взаимная любовь с начальством.

Он устроил меня когда-то в сауну, которую посещали люди с общественным положением. Мне запомнились дамский мастер Орлов, один важный хоккейный (куда же Левин без хоккея) начальник — и еще какой-то (не знаю чего) начальник. Вот ему Боря и сказал: “Тебе-то что! Бросил жопу с четвертого этажа в машину — и все. А мне идти на службу, где начальнику может еще не понравиться мой нос” (сразу скажу, что Боря говорил про гипотетического начальника, а не про нового редактора журнала, который тоже был, по моим наблюдениям, евреем и нос Левина не мог ему не нравиться). Фраза о жопе, брошенной в служебный автомобиль с четвертого этажа, показалась мне достойной пера Аксенова. И я посоветовал Борису сказанное запомнить — и придерживаться такого же стиля в дальнейших сочинениях.

В девяностые годы, подвергаемые теперь огульной критике, Борис Левин не оказался, как можно было ожидать, вне игры (говоря нашим спортивным языком). Он и в одном новом издании себя попробовал, и в другом.

Я в те времена ничему не удивлялся — сам (к чужому удивлению) занимал руководящие посты в трех последовательно

изданиях. Но и меня поразило, что Боря стал служить в самой популярной из тогдашних газет — вчерашней еще очень живой, но все равно комсомольско-молодежной, перекроенной вдруг по лекалам буржуазной прессы.

Боря был старше меня лет на восемь-девять — и ему на рубеже веков приближалось к семидесяти (если вплотную не придвинулось), а состав газеты состоял сплошь из мальчишек и девчонок (за исключением тетеньки по прозвищу Сельская Учительница, занимавшейся литературой). Ну, может быть, исключение было сделано еще для одного-двух-трех отличных журналистов или для талантливого человека, известного поэта Саши Аронова, очень интересно ведшего свою рубрику колумниста.

В самой редакции видел я Бориса Левина лишь однажды, но у меня сложилось впечатление, что он вел себя точно как и в те времена, когда гонял Машку. Мне он, по обыкновению, обрадовался — и бросился походя знакомить с каждым проходившим по коридору сотрудником редакции. Такая манера водилась за ним и раньше — и я замечал (на тех же стадионах), что когда он тебя кому-нибудь шумно (и рекламно-пошло) представляет, то реакция всегда бывает: перед другом Бори Левина (как он рекомендовал меня каждому) надувался и любой функционер, и физкультурник, если я не был знаком с ними прежде.

Сотрудники преуспевающих изданий бывают очень высокомерны. До демократии нам далеко — и слава богу: видите, что творится в Америке, где никто и президента не слушается; то ли дело у нас (это я сейчас подумал, а не тогда в коридоре редакции, где испытывал неловкость из-за поведения Левина).

Конечно, я из-за своей занятости (и высокомерия, сознаюсь) ничего из Бориных заметок в этой популярной газете не читал — не всегда и попадалась мне газета. Но, когда он провожал меня из редакции, на крыльце подошел какой-то, как раньше говорили, “чайник” — и пожал ему руку от читающей России за какие-то воспоминания о знаменитых ветеранах.

Может быть, Боря послушался меня — и стал писать на уровне той фразы о четвертом этаже и увозящей брошенную оттуда часть тела служебной машине?

Уже в начале нового века продолжавший водить машину, когда ему за семьдесят перевалило, Боря Левин попал в автокатастрофу — и погиб. Ехал он, как я слышал, в драгоценные для него Лужники — на праздник, ежегодно устраиваемый редакцией бывшей молодежной газеты.

Я узнал про смерть Бори месяца через два после случившегося и на похоронах не был. Знал бы, обязательно пришел — не я же первый заметил, сколько исчезает из общей нашей жизни с уходом каждого, с кем знаком хоть немного (а Левина я знал с начала шестидесятых).

Смерть Левина, как и почти все в его жизни, показалась мне нелепой — опять Лужники, всегдашние Лужники, редакционный праздник…

Но я ошибался — я не знал редактора газеты, где завершилась судьба Бори (видел однажды на седьмом этаже офиса, когда охранники оттеснили меня от лифта, в котором должен был он спускаться, посоветовав мне спуститься на лифте, что рядом); не знал человека, которому наш Левин чем-то приглянулся — или редактор руководствовался соображениями, мне недоступными?

На первом этаже редакционного офиса на стене перед входом — четыре памятные доски: журналистам, погибшим на фронтах; тому мальчику, который вел героическую борьбу с ведомством, что сумело все-таки заложить ему в кейс взрывчатку, убившую честного корреспондента; Саше Аронову и Борису Левину (на доске к имени прибавлено два слова: “спортивному журналисту”).

На похоронах Аркадия в Доме кино я стоял с Жорой рядом, когда со своими соболезнованиями подошел к нам тот самый редактор, что пригрел Левина, — поклонник творчества Вайнеров, вряд ли знавший, что Боря их друг (а может быть, и знавший от самого Бори).

Но раннего романа Жоры редактор уж точно не читал — и я жалел, что обстановка не разрешает мне рассказать оставшемуся брату завершение его юношеского замысла. Он взял фамилию знакомого, а редактор сделал (придумал?) тому судьбу.

Глава пятая

1

А может быть, Андрею просто не везло — и в этом все отгадка?

Может быть, права пятая жена его Таня — она вышла за него замуж в конце семидесятых двадцатилетней (Андрею было около сорока), родила ему сына, втянулась в литературные интересы мужа, полюбила писательский мир и вино, — когда говорила, уже после того, как Кучаев ушел от нее к Алле, что Андрею не хватало хотя бы одного настоящего успеха?

Но ведь и терпения, по-моему, тоже.

Потерпи он еще немножечко женой Галю — и, глядишь, прочел бы "Современник" его пьесы и какую-нибудь наверняка поставил.

Кстати, детские пьесы самой Гали Соколовой, сочиненные в домашнем соревновании с мужем, до сих пор — и после смерти авторши — идут на утренниках (сейчас уже, однако, не в "Современнике").

С другой стороны, как можно называть невезучим любимого столькими замечательным женщинами Кучаева — того Кучаева, которому всегда готовы были прийти на помощь друзья, простить, как писал Шпаликов, "долги и старые обиды". Один лишь Максим Шостакович — самый близкий поначалу друг — чего-то, чего мы никогда не узнаем, простить ему не захотел.

Симпатии он вызывал и у людей, которые вроде бы и не должны были ему симпатизировать.

Мой отец всегда называл Кучаева Генри в честь героя романа "Прощай, оружие" — он так представлял себе американского лейтенанта.

На отца мои приятели всегда обижались за непримиримость к нашему образу жизни — видели за этим ханжество: сам отец не был трезвенником.

Однако на Андрея отцовские придирки не распространялись. Отец приглашал его: "Приезжай, Генри, ко мне в Переделкино. Ну уж, если так захочется выпить, выпьем".

Может быть, следует признать, что везло ему во всем, кроме главного?

А ведь он, при своем пьянстве и баловстве с дамами, жил для этого главного — и ни для чего другого.

Терял себя — и годами жил в состоянии потерянности.

А со стороны жизнь его казалась иногда и забавной — если взять, допустим, те его долгие дни, которые он провел, снимая комнату в Голиковском переулке.

Может быть, и зря, желая по советской привычке приукрасить действительность, я пропустил, рассказывая о двух первых женитьбах Андрея, подробности паузы между этими женитьбами, заполненной обстоятельствами жизни на Голиковском?

И не забыл ли я, что квартира, где снимал он комнату у Марьи Ивановны, стала натурой для самого известного рассказа Андрея “Мозговая косточка”?

Андрей занял комнату внука Марьи Ивановны после ухода того в армию.

В квартире на Голиковском жили Боря и Миша Ардовы — они и сосватали не имевшего после развода с Ириной крова Андрея в жильцы к Марье Ивановне. Кроме них комнату в квартире занимал и прототип героя “Мозговой косточки” дядя Вася с женой и двумя детьми. А в двух оставшихся комнатах у входной двери жила семья Марьи Ивановны, состоявшая из ее дочери Нинки и любимого внука.

Говорят, что избалованными детьми бывают дети богатых родителей — генералов или писателей. Но внук Марьи Ивановны, богатых родителей не имевший — мама его, окончив курсы мороженщиц, в первый же рабочий день пропила всю выручку и никуда больше долго не могла устроиться, — по избалованности мог дать сто очков вперед старшему сыну Фадеева. При том, что, напоминаю, у Шуни были руки умельца и машину он водил лучше шоферов первого класса. Внук же Марьи Ивановны ни гвоздя забить не умел, ни за баранку автомобиля ни разу не садился.

Гарантом его благополучия была бабушка, работавшая на двух работах — дворника и лифтерши.

Марья Ивановна сговорилась с Кучаевым, что в день жалованья у себя в Аэропроекте он не только платит ей двадцать рублей за жилье, но и отдает на хранение все остальные деньги, а по утрам берет у нее два рубля — на дорогу и портвейн.

В конце месяца Андрей всегда удивлялся, что денег на руках у него вообще никогда не бывает, — и винил в том только Марью Ивановну, что-то путающую в их общей бухгалтерии. Сосед Миша Ардов острил: “Это какая-то прорва, Марья Ивановна”.

Но Кучаев и не жил на жалованье — его ежедневно посещал богатый, как нам всем казалось, Саша Мишарин — и деньги Андрею нужны были теперь только на дорогу.

Да и то не нужны — на службу он ездил теперь не каждый

день: не хотелось терять золотого времени для выпивки, как ответил я старику Ардову на вопрос, бывает ли Андрей когда-нибудь в Аэропроекте.

Вопрос Виктора Ефимовича носил праздный характер, а вот Марья Ивановна отношением Кучаева к службе была всерьез встревожена: весь ее личный проект пошел бы псу под хвост, вылети (пардон за глупую шутку) ее жилец из Аэропроекта.

Жалованье, которое получал там Андрей — сто пятьдесят рублей (с прогрессивками, которые прогульщикам вряд ли полагались), — представлялось ей чем-то из ряда вон выходящим (она на двух своих работах получала втрое меньше).

Прошедшие с невиданным размахом проводы внука в армию (описанию этих проводов посвящена была первая проза будущего священника и писателя Михаила Викторовича Ардова) потребовали бы секвестра бабушкиного бюджета, если бы не вырученные от сдачи комнаты Андрею суммы.

Теперь Марья Ивановна опасалась, что выгнанный со службы Кучаев из комнаты все равно не съедет (а куда ему съезжать!), а два рубля по утрам все равно брать будет — и вполне заменит ей паразита-внука.

Возможно, бессонными ночами ей мерещилось бесконечное повторение той сцены, что мы однажды наблюдали с Михаилом Викторовичем в один праздничный день: Марья Ивановна, одетая в телогрейку, с дворницкой метлой в левой руке правой рукой вынимает из-за пазухи деньги (видимо, традиционные два рубля) — и передает их склонившемуся в галантном поклоне Андрею (Андрей в коротком пижонском плаще бежевого цвета).

2

Александр Мишарин проводил теперь на жилплощади Марьи Ивановны больше часов, чем за работой над пьесами со своими многолетним соавтором Вейцлером — тоже Андреем.

Мы все называли его дедушкой Мишариным или просто Дедушкой.

Прозвище закрепилось за Александром Николаевичем после того, как провожал он на поезд соавтора, Вейцлера.

Они были одногодками — и вместе учились в театральном училище Малого театра.

После распределения в Тверской (тогда Калининский) театр юного зрителя их ждала перспектива играть, исходя из разницы их фактур, Медведя и Зайца.

Медведя и Зайца им играть на тюзовской сцене не пришлось.

Они стали сочинять пьесы — и, втершись в доверие к Охлопкову, одну из своих пьес поставили у него в Театре Маяковского. И Мишарин даже сыграл свою единственную роль на профессиональных подмостках — роль начальника зимовки. Зато Андрей Тарковский дважды снял Дедушку в эпизодах своих картин, и место Мишарину в истории кино как артисту обеспечено.

Мишарин и Вейцлер учились на одном курсе с первой женой Олега Табакова Люсей Крыловой — и я, учившийся в одно с ними время, но никогда не видевший их в ролях (а не в общежитейском лицедействе), спросил у Табакова, хорошими ли артистами они были. Он со знаменитой своей улыбочкой ответил: “Нет, они не были хорошими артистами”.

Тем не менее в недавно вышедшей книге о Щепкинском училище, где главу о каждом выпуске предваряют фотографии бывших студентов, ставших знаменитостями, выпускники за пятьдесят девятый год представлены двумя портретами: Люси и Мишарина.

Мишарин прожил намного дольше Вейцлера — Вейцлер умер, не дотянув до сорока, хотя пили соавторы почти всегда вместе и одинаково много (или Мишарин за счет телосложения даже больше).

Вейцлер вряд ли был менее одаренным, чем Мишарин. Они сочиняли интересные пьесы и по отдельности, но в театрах ставили те, что придумали они вдвоем. И только через годы после смерти Андрея Леонидовича Вейцлера Александр Николаевич Мишарин, набредший на жилу партийно-политической драматургии, на ту минуту театрам нужной, дошел до сцены ефремовского МХАТа с пьесой, где прототипом главного героя стал только-только взявший власть Горбачев.

Правда, по первоначальному замыслу пьеса строилась на истории гибели Машерова в Белоруссии при странных обстоятельствах. Но, пока пьесу мурыжили по разным театрам, все давно забыли про лидера белорусских коммунистов.

Ефремову был нужен именно Горбачев — и великий артист Олег Борисов сыграл сочиненного Мишариным Горбачева.

Для жизненных ролей из своей фактуры Мишарин извлек больше, чем Вейцлер из своей.

Рано растолстев и быстро устав от борьбы с полнотой, Мишарин придумал для себя образ эдакого респектабельного, всегда отлично (для молодого человека слишком уж тщательно) одетого барина, отрастил и холил бороду, научился смотреть на

незнакомых людей не по чину строго.

А Вейцлер смотрелся по-юношески вертляво — и совершенно не думал о том, чтобы стать солиднее. Он происходил из актерской семьи (отец служил на Таганке до Любимова, но один из немногих в прежней труппе Юрию Петровичу пригодился) и, не оцененный Табаковым как артист (что успешного на первых порах драматурга Вейцлера вряд ли огорчало), сохранял в себе то, что в театральной среде называют “наивом”.

Когда пьесы Вейцлера и Мишарина вдруг перестали после критической заметки в “Правде” ставить на театре, они насобачились сочинять пьесы для радио и некоторое время работали в литературно-драматической редакции.

Всем литературно-драматическим вещанием руководил известный номенклатурный деятель (после войны он был шишкой в министерстве кино) Константин Кузаков. Поговаривали, что он — сын Иосифа Виссарионовича Сталина (известно же, что в Туруханском крае Сталин квартировал у солдатки Кузаковой). Кузаков и внешне немного напоминал папаньку. Будь он безродным авантюристом, распускавшим слухи о родстве с вождем, этого сына Сталина немедленно расстреляли бы, а Кузакова никто не расстреливал, наоборот, держали на руководящей работе.

Литературно-драматическая редакция помещалась в Доме звукозаписи на улице Качалова.

В один из рабочих дней пьяный сотрудник радио Вейцлер стоял с товарищами по службе на крыльце, когда на машине подъехал начальник Кузаков. Вместо того чтобы поскорее исчезнуть с его глаз, соавтор Мишарина радостно пошел сыну Сталина навстречу — и поцеловал его на глазах изумленной публики.

Кузаков был в папу, с чувством юмора, — сделал вид, что ничего необычного не произошло, однако Вейцлеру тихо сказал: “Еще раз поцелуешь — уволю”.

Но еще до того, как Мишарина с Вейцлером устроили в Радиокомитет, когда их пьесы во всех театрах были вычеркнуты из репертуара, шли они по Никитской — и неожиданно встретили Охлопкова.

Николай Павлович милостливо узнал на улице своих былых фаворитов и остановился, участливо спросив, как у них дела. О чем он, впрочем, как читатель газеты “Правда”, уже и сам знал.

Ребята рассказали, как они бедствуют. И Охлопков не просто формально посочувствовал неудачникам. Взглянув на часы, он сказал, что через час заканчивается обед в бухгалтерии театра. А сам он вернется к себе в кабинет через полчаса. И вот если они

сейчас поспешат и к его возвращению сочинят заявку на пьесу, то он поставит на ней свою резолюцию — и в кассе им выдадут аванс.

У Мишарина сию же минуту заработала голова, а Вейцлер спросил ребячливо: “Николай Павлович, а о чем должна быть пьеса?” Охлопков посмотрел внимательно на Вейцлера — и подумал, наверное, что товарищи из “Правды” правильно поступают, критикуя таких бестолковых драматургов, как молодой Вейцлер. Но потом перевел взгляд на целиком сосредоточенного на поставленной задаче Мишарина — и смягчился.

“Это будет пьеса о советских людях”, — сказал он со своей завораживающей что аншлаговый зал, что отдельных людей-зрителей многозначительностью.

Так, возвращаясь к проводам Вейцлера — тот уезжал отдыхать на юг, а Мишарин по каким-то важным (касавшимся, несомненно, и соавтора) делам оставался в Москве.

Перед отходом поезда Мишарин давал Вейцлеру последние наставления — я при этом не присутствовал, но предполагаю, что он рекомендовал младшему (по расстановке сил в их отношениях, а не по значимости вклада в работу) партнеру не пропивать сразу же по приезде всех денег и не спешить слать телеграмму с просьбой выслать ему на курорт дополнительные средства.

Соседка Вейцлера по купе, с восторгом наблюдавшая из окна вагона за строгим Мишариным, сказала, когда поезд тронулся: “Какой у вас симпатичный папа”. “А это не папа, — сказал где-то уже успевший хватануть Вейцлер, — это дедушка”.

Вот откуда взялось прозвище Дедушка.

Мишарину нравилось покровительствовать.

А Кучаеву необходимо было оставаться кем-то покровительствуемым. Будь с ним все время рядом, как в юности, Максим Шостакович, возможно, и Дедушка был бы не нужен.

Я не помню, видел ли Мишарин когда-нибудь Максима. Вероятно, раз-другой все-таки видел, но больше знал по рассказам Кучаева о главном своем друге.

А воображения Дедушке хватало.

Как-то я застал у него дома человека по фамилии Камянов. Это был серьезный критик, печатавшийся в “Новом мире”. Он жил с Мишариным в одном доме. И показался ему зачем-то полезным. Мишарин сознавался, что слаб на передок (употребленное им выражение), когда дело касается знаменитых людей. И с любым из них ему удавалось (при желании) закорешиться. Наиболее тому яркий пример — Андрей Тарковский. Мишарин увидел того

в гостях у драматурга Вали Тура — и так выстроил дальнейшую жизнь, что из соавторов Вейцлера сделался соавтором Тарковского.

Камянов не был такой уж знаменитостью, но Мишарин счел нужным и на него произвести впечатление. Он и в моем присутствии не постеснялся (относительно трезвый) сказать соседу-критику, вовлекая и меня в это вранье, что в “нашем (нашем с ним) воспитании наибольшую — и непосредственную, следовало понимать критику, — роль сыграли Анна Андреевна Ахматова и Дмитрий Дмитриевич Шостакович”.

Я-то хоть видел Шостаковича в домашней обстановке и знаком был с Ахматовой. Но Мишарину как драматургу достаточно было и этого, чтобы начать фантазировать пьесу и наши роли в ней.

Героем непоставленной его пьесы стал Максим (то есть человек с внешностью и характером Максима Шостаковича, узнанным от Кучаева). Пьесу, между прочим, могли свободно поставить в “Современнике”. У меня с Табаковым потому и зашел в Софии (мы были на фестивале молодежи и студентов) разговор о Мишарине, что Лелик (как называли мы тогда Табакова) похвалил эту пьесу про Максима (и сам, по-моему, к роли Максима примерялся). Он хвалил пьесу и ругал Мишарина за то, что тот не приехал к ним вовремя на гастроли в Литву, где Табаков попробовал бы уломать Ефремова.

Ефремову пьеса не понравилась.

И, как нарочно, вечером того же дня, когда Ефремов прямо сказал об этом Мишарину, мы оказались за соседними столиками в ресторане Дома актера.

Взбешенный и дневным отказом, и вечерним соседством с тем, кто отказал, Мишарин шваркнул об пол нераспечатанную (взяли в буфете домой) бутылку водки.

И Ефремову такой жест, видимо, запомнился.

Не прошло и четверти века, как он поставил пьесу Мишарина “Серебряная свадьба” с Олегом Борисовым в роли Михаила Горбачева (в пьесе он назывался Выборновым).

У меня такое впечатление, что вся накопившаяся за советские времена жажда — жажда всего, жажда сразу всего — утолена для большинства молодого населения страны пивом (не чем другим, как пивом-символом).

Пивом настоящих сортов, которых я так и не попробовал, — наливаются в нашей стране всего лет двадцать, а я пива не пью, предпочитаю ему напитки покрепче лет, наверное, сорок — ну, тридцать пять, не надо преувеличивать.

Выпил когда-то в Парке культуры (в “Пльзене”) двадцать четыре кружки чешского — и разлюбил, счел, что напился пива на всю жизнь вперед.

На самом излете восьмидесятых выпил я в Париже фужер настоящего пива — и подумал тогда: а точно ли все пиво, мне предназначавшееся, я уже выпил?

Но вернулся в Москву, вышел на следующие утро из дому — и первым, кого на Красноармейской улице встретил, был скульптор (автор памятника Ленину в Твери) Борис Палыч Барков.

Он сказал, что идет к “Семи ветрам” (неформальное название пивной, где даже знаменитые хоккеисты из “Динамо” и клуба ЦСКА отдыхали после тренировок): вдруг открыто и пиво есть (пиво и в пивных не каждый день бывало).

Помню одного идеалиста, сделавшего огромный флотский глоток из кружки — и удивившегося, что не полегчало после вчерашнего. Он задал тетеньке, торгующей пивом, бестактный вопрос: “Что же вы так сильно разбавляете?” Для ответа та чуть ли не по пояс высунулась из своей амбразуры: “Чтобы всем хватило!”

Но не потянуло меня вслед за Борисом Палычем на “Семь ветров”.

Не вернулся я к пиву и в изменившейся ситуации.

Мишарина Жора видел только в Тбилиси. У Вайнеров на местной студии снимался фильм, а Дедушка исправлял чей-то сценарий. Касса в тот день выдавала гонорары мелкими купюрами — и от буфета до номера Мишарина тянулся след из рассыпанных трешек и пятерок.

Мишарин вошел ко мне на восьмой этаж (я жил тогда на Аэропорте), как всегда, важный, элегантный, с новеньким портфелем (он всегда зачем-то ходил с портфелем), крепко прижимая к себе большую банку с консервированной югославской ветчиной.

Такая банка стоила шесть рублей (стоимость двух бутылок водки). Я ничего, конечно, не сказал. Но Мишарин без слов меня понял: “Я взял четыре поллитровича, — расстегнул он портфель, — надо же и немного закусить”.

Он поставил сковородку на газовую плиту, пока я доставал граненые (севастопольские) рюмки.

Закуска была кстати, но все равно целая банка ветчины — это слишком. Пришлось спуститься в наш магазин “Комсомолец” еще за двумя… ну, не банками, конечно…

Моя служба в бывшем “Советском Союзе” начиналась в дни, когда к власти рвался ГКЧП.

Был у нас сотрудник, редактор спортивного журнала-приложения (я этот журнал курировал как первый заместитель Мишарина) Олег Спасский. В день перед развязкой событий я куда-то торопился, когда меня остановил мой приятель по АПН, хорошо знавший Спасского, и предупредил, чтобы мы (с Мишариным, разумеется) были со Спасским поосторожнее — он близок к Янаеву (для тех, кто не помнит: Янаев был фактическим руководителем ГКЧП). “Значит, их вместе расстреляют”, — механически пошутил я, усаживаясь на заднее сиденье служебной машины.

И надо было видеть на следующий день (когда Янаева повязали) лицо Спасского при встрече со мной в коридоре.

Но я-то не знал главного.

Не знал, что Мишарина главным редактором “Советского Союза” назначил Болдин — помощник Горбачева, предавший своего патрона. И поражение ГКЧП стало и поражением Мишарина.

Редактором он оставался еще несколько лет, но той поддержки сверху, ради которой и добивался редакторского кресла, был теперь лишен.

Мише Ардову попасть в кооператив “Драматург” было гораздо труднее, чем Кучаеву, — он не состоял в писательской организации и формальных прав (которые, конечно, нарушались, но выборочно и не бескорыстно) у него вообще никаких не было.

Но с кооперативом ему помог Жора.

Благодарность Ардова Вайнеру показалась мне отчасти чрезмерной. Я не призываю к неблагодарности — говорю сейчас только о форме выражения этой благодарности. Она казалась мне чрезмерной только потому, что Миша с Георгием дружили с юности — и мне (допускаю, что из корпоративных чувств) неприятно было видеть, когда старые друзья в отношениях между собой словно бы поменялись местами.

Возможно, мое впечатление, что Михаил в их юношеском союзе выглядел авторитетнее, было обманчивым. Не оттого ли, что видел я их обоих в основном на Ордынке, где один был сыном хозяев квартиры, а другой его гостем?

А сейчас в кооперативном доме на Аэропорте Жора не только выглядел, но и во всех смыслах был хозяином положения.

Даже Боря Левин, не имевший и сотой части достоинств Михаила (и в общественном плане ничего не значащий), чувствовал себя с Вайнером, по моим наблюдениям, свободнее,

чем Ардов. Притом что Левин не скрывал своего преклонения перед Жорой-писателем, упрекая его лишь по-дружески, что тот плохо следит за своим здоровьем, не занимаясь спортом, а Миша непрерывно шутил, позволяя себе и слегка посмеиваться над тучностью хозяина квартиры, хотя и самого шутника не отличала худощавость. Помню, Левин, всегда бывший в курсе и культурных новостей, сожалел, что Жора до сих пор не видел фильма с участием Анни Жирардо, и Миша тут же ввернул, что Жора и сам в некотором смысле жирардо.

Левин на подобные шутки права не имел (да они бы и не пришли ему в голову), а Миша — при его-то репутации остроумца — имел право и на более рискованные шутки.

Когда присутствовал я при сценах такого рода, меня не оставляло ощущение, что жалкому Боре от дома никогда не откажут (он здесь навсегда свой), а блистательному Мише есть смысл быть с хозяевами поосторожнее — и в каждой рискованной остроте шифровать тайный комплимент, положенный успевшему привыкнуть к постоянным похвалам-восторгам знаменитому писателю Вайнеру.

На эти мысли сам Миша меня, в общем-то, и навел, все время подсказывая (сам, может быть, того не замечая), как должен я вести себя с Жорой и его семьей, на каких правах бывать мне у них дома.

Отправившись служить попом в деревню, Миша Ардов освободил мне плацдарм для новой дружбы с Жорой.

Сразу двух товарищей детства новый Жора вряд ли потянул бы.

Я не видел в ежедневных встречах ничего из ряда вон выходящего.

Свои мысли и наблюдения, которыми я спешил поделиться с Жорой, казались мне интереснее того, что говорил он (да он и говорил намного меньше, чем я, чаще терпеливо слушал).

Конечно, полной откровенности (и с моей, кстати, стороны тоже) между нами не было.

В расположение Жоры ко мне, им всячески выказываемое, я до конца не верил. Помнил, как тот же Миша, когда на Ордынке конца пятидесятых Вайнер показался мне таким же близким другом, как, скажем, Боря Ардов, предостерег от излишнего доверия к искренности его отношения к любому из нас.

После женитьбы (и рождения ребенка) я переехал из хорошей однокомнатной квартиры в плохую двухкомнатную. Пусть и не слишком обременительной (не более часа усилий), но

ежедневной поденщиной я зарабатывал деньги на следующий — завтрашний — день жизни, а на послезавтрашний этих денег уже не хватало.

По вечерам (а нередко и днем) я сидел в огромном (Жора соединил однокомнатную квартиру с трехкомнатной в единую жилплощадь) кабинете писателя Вайнера и что-нибудь непременно ему рассказывал, входя в сочинительский раж, разогретый вниманием собеседника, чьими детективами все, кроме меня, зачитывались.

Грузчики вносили в просторную квартиру дорогую мебель, в самой большой комнате (хотелось сказать про нее — зала) стояла скульптура, заставлявшая вспомнить про фонтаны ВДНХ, какие-то вкусные вещи ели мы на ужин, а я длинным языком оправдывал, как мне казалось, свой — противоположный Жориному — образ существования.

Все же я не до конца превращался в тетерева — иногда и слышал себя.

И за реакцией Жоры на свои слова изредка следил.

Я понимал, что Жора никогда не забудет, насколько выше были мои стартовые возможности: относительно культурная семья, русский писатель отец, отсутствие очень уж больших сложностей при поступлении в недоступное ему когда-то АПН.

Догадывался, что выгляжу со своей квартиркой на нежилом этаже (после завидной девяноста процентам москвичей родительской квартиры на Лаврушинском) смешнее, чем Жора со всей нуворишской роскошью квартиры в кооперативе “Драматург”.

Но мне всегда неловко бывало показать, что мне плохо.

И, хотя на протяжении жизни плохо мне бывало часто, у меня всегда сохранялся вид благополучного человека, которому очень хорошо живется.

“Очень хорошо живется” назывался фильм Всеволода Пудовкина по сценарию Александра Ржешевского.

Я запомнил Ржешевского по Переделкину. Дачи в аренду ему не полагалось — и непонятно было, под какой же крышей он ночует, настрогав десять человек детей, но никакого заработка не имея.

Выглядел он тем не менее, как бывшая знаменитость, гордо — преуспевающих обитателей писательского поселка считал ловкачами и бездарностями, а себя, сочинявшего сценарии для Эйзенштейна и Пудовкина, по-прежнему талантливым (а может быть, и прав он был).

Ржешевский не мог до конца служить мне примером: у меня не было прошлого, жизнь моя скорее еще не начиналась — никак

не начиналась. Я не сочинял сценариев для Эйзенштейна и Пудовкина — и свысока смотреть на богатого Мережку не мог (у меня, кстати, такого желания никогда и не возникало, мне нравился трудолюбивый и удачливый Мережко). Единственно, что утешало, — не нарожал я десятерых детей. Но в моих обстоятельствах еще вопрос был, как одного подниму.

Для внешнего рисунка жизни я находил себе другие примеры.

Максудов в “Театральном романе” не может вспомнить имени предводителя мушкетеров у Дюма, а я помнил: господин де Тревиль.

Господин де Тревиль говорит д’Артаньяну, что приехал в Париж с четырьмя экю (кажется), но вызвал бы на дуэль каждого, кто усомнился бы в его возможностях купить Лувр.

Жору с его знанием жизни, любившего спросить о ком-нибудь: “На что он живет?” или назвать менее имущего соседа по кооперативу нищим, моя манера держаться вряд ли могла обмануть.

Но мне нравилось так себя вести — более того, нравилось вести себя только так.

У нас в одно и то же время родились дети — у меня сын (Павел), у него дочь (Анна).

Я женился, как говорят в деревне, по залету — и планы мои на семьдесят седьмой год кардинально менялись; непонятным стало, зачем же поступал на кинематографические курсы: на стипендию одному еще кое-как можно было перебиться, но не троим.

Но не мог же я показать Жоре, что полноценная семейная жизнь застала меня, тридцатисемилетнего, врасплох.

Жора, ставший настоящим еврейским папой, вполне готов был к рождению третьего ребенка — теперь, после двух сыновей, еще и дочери.

Обмолвившись насчет еврейского папы, я ничего другого, кроме недостижимых для меня родительских качеств, в это понятие не вкладываю.

Миша Ардов впервые попал в дом к Жоре (кажется, тогда и Аркадий жил еще у родителей, во всяком случае, знакомство Мишулика с ним в тот день и состоялось) на еврейский праздник, название забыл.

На Ордынке таких праздников не отмечали — и едва ли держали их в уме. Чистокровный еврей Виктор Ефимович Ардов стоял за ассимиляцию и не скрывал, что хотел бы видеть детей своих от русской матери по духу и по букве (в паспорте)

русскими.

В конце жизни Виктор Ефимович шутил, что дети превзошли все его ожидания: один сын — поп, а другой (Боря) — алкоголик.

В семье Вайнеров ни о какой ассимиляции (при вынужденном фокусе с отчествами сыновей) не могло быть разговоров и в шутку.

Однажды, отчаявшись после очередного отказа в грубой форме (кажется, в отделе кадров АПН), Жора за вечерней выпивкой в самом узком кругу брякнул, что ему бы хотелось побыть хоть ненадолго русским — и поступить на ту работу, какой он больше всего хотел бы заниматься.

Но больше таких приступов малодушия (кроме того, когда в газете "За образцовое обслуживание" он подписывался Ворониным) за Жорой не замечалось. И, как ни относись к романам братьев Вайнеров (восхищайся или придирайся), далеко на все, кто добился успеха в советской литературе, добивался его, не меняя фамилии.

Вайнеры могли бы смотреть свысока и на очень известных писателей, избравших псевдонимы.

Они, возможно, и смотрели — достигнув успеха, Вайнеры (особенно Жора) придавали установленной субординации даже большее значение, чем следовало (история литературы знает примеры малоизвестных писателей с дарованиями, заметно — пусть и не замечено — превосходящими способности знаменитых братьев). При этом Вайнеры изначально старались расположить к себе литературную среду — дружили со многими.

Аркадий впоследствии признавался кому-то (кажется, Анатолию Гребневу), что первые их с братом гонорары целиком уходили на угощение издателей и вообще полезных людей.

Широким и щедрым братьям доставляло удовольствие приглашать в застолье и коллег, никакой особой пользы и не обещавших.

Когда-то Жора восторгался названием, которое дал своим путевым заметкам очеркист журнала "Юность" Виктор Буханов: "Аве София" (мы с ним были на фестивале молодежи и студентов в Болгарии, а Георгий Вайнер оставался верным читателем "Юности"). Но и двух лет не прошло, как я уже от Вити услышал восторженный рассказ о Вайнерах, державших стол на дюжину халявщиков.

У Вайнеров было все, что требовалось для дальнейшего расширения семьи, кроме грудного молока — на третьего ребенка молока у Жориной жены не хватило.

А у нас только молока и было в излишке — и мы с Вайнерами делились.

Теперь история о том, как бутылку такого молока я мог обменять на встречу с Высоцким и Мариной Влади.

Как человек, часто бывавший у Жоры, я, конечно, знал, что братья собираются провести встречу с Чингизом Айтматовым, Владимиром Высоцким и Мариной Влади не у Аркадия в Астраханском переулке, в квартире на Аэропорте. Но какую-то посуду, как понял я, случайно присутствуя при разговоре по телефону между Жорой и женой Аркадия Софой, на Аэропорт предстояло перебросить с Астраханского.

Жора разговаривал с женой брата нервно (при посторонних он таких выплесков себе нынешнему не позволял). Как я понял, его сердило, что Софа преувеличивает, на взгляд Жоры, значение приема таких важных гостей. Жора старался дать понять жене брата, что встреча происходит вполне на равных — и для него ничего в ней сверхъестественного нет. Но я видел, что Жора все же нервничает. И не из-за Высоцкого — Высоцкий снимался в картине по их роману (и был уже за своего), — а из-за не вполне понятного Жоре Айтматова.

Может быть, у Жоры закрадывалось сомнение, так ли высоко непроницаемый классик Айтматов ценит их книги, как Высоцкий?

Мои родители переехали (о причинах переезда и самом переезде последует отдельный рассказ) в один с Жорой дом — и чтобы не создавать излишней суеты с передачей молока, я, если бывал у них утром, оставлял в холодильнике бутылочку для Вайнера — тому ничего не составляло вечером спуститься к моим на седьмой этаж со своего, кажется, одиннадцатого.

В тот день я зачем-то заглянул к родителям и вечером. И, когда сосед сверху позвонил к ним насчет молока, не мог не изумиться отцовским чувствам Жоры: посреди такого важного для себя приема он вспомнил про молоко для младенца.

Я уже уходил — и в пальто передал ему бутылочку возле лифта.

“Может быть, ты зайдешь?” — из любезности спросил Жора.

Я знаком был со многими знаменитостями столетия, но в тех случаях, когда знаменитостями становились мои сверстники, прослеживаю одну закономерность: знал я их сколько-нибудь близко до того, когда к ним пришла громкая известность.

Могу и про Высоцкого сказать, что общался с ним довольно часто в его “довысоцкий” (если позволено так будет выразиться) период.

Меня такая ситуация сегодня вполне устраивает: мне стало

интереснее размышлять о его судьбе, чем вспоминать частности встреч с ним.

Вспоминать об этих встречах мне вообще-то не в труд: иногда кажется — помню каждый день жизни.

Надеюсь, конечно, что это сильное преувеличение — о многом предпочел бы забыть (о сказанных глупостях, например, а еще больше — о глупостях сделанных).

Мне было семнадцать лет, когда познакомился я с Володей Высоцким в первый же день занятий в школе-студии МХАТ второго (первое было воскресеньем) сентября пятьдесят седьмого года. Два студента моего курса — Сева Шиловский и Витя Тульчинский занимались вместе с Высоцким в драматической студии при Доме учителя, кажется. И поступивший годом раньше, чем они, в школу-студию Володя сразу же к ним подошел.

Я запомнил его сразу — мне тоже хотелось поговорить со второкурсником (узнать, как и что).

Помню, что задал ему с целью втянуть в разговор вопрос: был ли он в самодеятельности первым артистом?

Он охотно разъяснил салаге-первокурснику, что по своему амплуа (характерного артиста или комика) он вообще не может быть первым на театре. Но если я спрашиваю, был ли он лучшим, то, конечно, лучшим он, Высоцкий, был.

Сразу после студии, когда разговаривали мы с ним чаще, пожалуй, чем когда рядом учились, он был чуть менее в себе уверенным — дела поначалу не радовали.

Однако на некоторую долю самокритики он бывал способен и в школе-студии.

…Я дежурил по студии и вместо присутствия на занятиях сидел в коридоре, чтобы вовремя дать звонок на окончание уроков. Высоцкий, видимо, был свободен от утренних занятий — к полудню только подошел — и подсел ко мне на гимнастическую лавочку.

Я дал звонок — и в ту же секунду из ближайшей аудитории вышли, продолжая начатый на репетиции спор, Валя Никулин (будущий знаменитый актер) и Витя Большаков с винтовкой. Они репетировали отрывок из “Любови Яровой” Тренева — Витя играл матроса Швандю, а Валя профессора, которого Швандя по ходу пьесы принимал за Карла Маркса.

Высоцкий сказал мне, что Валя зря спорит с Большаковым: “Мы все — и Никулин, и я — испорчены самодеятельностью, а Витя непосредственности не утратил”.

Витю Большакова распределили после школы-студии в хороший театр — в новосибирский “Красный факел”. Но я больше о нем не слышал. Знал ли он в годы славы Высоцкого, какого

высокого мнения был о нем знаменитый однокашник?

На капустнике, разыгранном студентами второго курса в честь нашего поступления — это традиция школы-студии, — Высоцкий изображал Чарли Чаплина. Танцевал в котелке и пел куплеты про двух девушек-старшекурсниц, Нину Веселовскую и Маргошу Володину, уже сыгравших большие роли в кино. Чарли-Высоцкий слегка посмеивался над новоявленными звездами, сетуя, что фильмов с Чаплиным в нашем кинопрокате нет.

Позже выяснилось, что слова куплетов не Володины, а его друга Игоря Кохановского. Но от сокурсников я слышал, что и Высоцкий чего-то сочиняет, удивляет своей фантазией.

В эпизоде с изображением Чаплина в капустнике я согласен уловить некоторую символику, способную взволновать почитателей Высоцкого.

Чаплин в мировом масштабе стал понятен миллионам людей разных вкусов, образовательных цензов, общественных слоев — понятен и в самом простом, но всегда и в неимоверно сложном (в чем никого другого массовый зритель не принял бы).

Подобная миссия уже в масштабе отечественном выпала Высоцкому — и номер капустника я бы рассматривал эскизом к огромности будущей судьбы.

Недавно один господин, представившись биографом Владимира Семеновича (как стало принято Высоцкого называть, что не идет ему вовсе), расспрашивал меня о Высоцком на Ордынке — был ли он представлен Ахматовой; биографам зачем-то нужно, чтобы Володя вошел в историю как знакомый Анны Андреевны.

Родственник Высоцкого — администратор (продюсер, как сказали бы теперь) в своей книжке описал встречу между Ахматовой и Высоцким у Ардовых. Но сомнение в том, что эта встреча действительно имела место, закрадывается у тех, кто и хотел бы в нее уверовать.

Я ответил отрицательно, опираясь и на память, и на свои представления о времени, в котором мог Высоцкий если и не встретиться с Ахматовой, то хотя бы украсить легенду об Ордынке своим присутствием.

С моим покойным другом Авдеенко мы нередко бывали свидетелями одних и тех же происшествий. Я помнил о них с большей, чем он, точностью. Но позднее заметил, что в его версиях, где больше сочинительства, есть свои резоны. Фантазия опирается на сугубую популярность представлений — и слушатель слышит именно то, что ему больше всего хотелось бы

услышать.

Отсалютовав фантазерам, я все же продолжаю свою линию, рискуя наскучить буквализмом.

Высоцкий никогда не был на Ордынке.

Вполне мог бы быть, но как-то случилось, что не был. А я уже и от соседки Ардовых Тани Глебовой слышу, как будил Володя своей гитарой весь дом номер семнадцать.

Слухам о пении Высоцкого у Ардовых способствовал мой друг Боря (знакомый с Высоцким намного ближе, чем я), когда захотел посвятить себя так до сих пор и не открытому музею на Ордынке.

При всех исключительных качествах Бориса Ардова доверять ему как историку все же поостергся бы.

Во времена, когда и я уже стал крайне редко бывать на Ордынке, клонившейся к музею, застал невзначай у Бориса на каком-то домашнем празднике малоизвестных мне дамочек, внимающих с волнением рассказу хозяина о том, как его мама Нина Антоновна хоронила Цветаеву. Боре недостаточно было дружбы мамы с Ахматовой — он и Цветаеву присовокупил.

Я осторожно (Боря становился с годами все более обидчивым) сказал ему, что есть, наверное, люди, знающие географию, а из географии — о расстоянии между Чистополем (там в эвакуации жила Нина Антоновна с тремя сыновьями) и Елабугой, и таким людям вряд ли понять, как могла узнать мама о смерти Марины Ивановны — и без промедления дойти на пароходе из Чистополя до Елабуги.

Правда, сводный брат Бори и Миши Алексей чуть не развеял моих сомнений замечанием, что из Чистополя в Елабугу по мосту можно было перейти. И оставалось радоваться, что знаменитый Баталов не сказал про этот мост в какой-нибудь телевизионной передаче — и Борина фантазия обрела бы силу факта.

Когда на съемках фильма “Единственная” Высоцкий познакомился с моим отцом, первое, что сказал: “Ну и побили мы у вас посуды на Лаврушинском”.

Сам Высоцкий сказал, что был у нас в Лаврушинском!

Мне ли отрицать им сказанное, когда будущий музей бьется за факт его присутствия и на Ордынке?

А я из-за взятых зачем-то обязательств — придерживаться в повествовании фактов — вынужден сказать, что Володя перепутал, не был он в Лаврушинском; веселиться с нечаянным битьем хозяйской посуды веселились, но не в Лаврушинском.

И уж сразу признаюсь, что вживую ни одной песни Высоцкого не слышал. Помню, пели мы (и я без слуха подпевал Владимиру Семеновичу и студентке факультета музкомедии) ночью в

общежитии, в комнате будущей жены Ивана Пырьева, а потом Олега Стриженова Лионеллы Скирды, но песни почему-то были не Высоцкого, чьи-то еще.

Когда с первой женой Высоцкого Изой проводили мы вместе часть лета восемьдесят третьего года в Жуковке у Сталиных-Фадеевых, я ни разу не заводил с ней специальных разговоров о нем.

Это уж потом, когда насели на нее со всех сторон журналисты, она стала широко делиться воспоминаниями. А тем летом в единственном нашем с нею разговоре, коснувшемся Володи, Иза сказала: “Он был танк”.

И я тут же вспомнил, как наш второй курс и Володин третий послали в общежитие на Ленинские горы.

Намеченный концерт что-то не склеился: предполагали сыграть какие-то отрывки, не собрались. Начали, однако, петь песни из наших капустников, которые студентам университета не показались интересными — они же касались наших преподавателей и наших студентов, им неизвестных, — и дальше все мы сидели и просто разговаривали.

Но Высоцкий вдруг встал на стул — и стал читать “Баню” Маяковского.

Приехать и не выступить он не мог.

Раз уж упомянул про фильм “Единственная”, вспомнился мне давний эпизод, связанный со съемками — вернее, тогда не съемками — в кино Высоцкого.

Мы сидели с ним в кафе, которое называлось у студентов школы-студии “Под шарами” (в этот дом по соседству школа-студия потом переехала и по сей день там). Легко подсчитать — в связи с тем, о чем расскажу сейчас, — что год был пятьдесят девятый, поздняя осень.

Володя жаловался, что ничего интересного в кино ему не обламывается. А начинались съемки фильма — экранизации повести отца “Испытательный срок”, и Высоцкий сказал, что есть там роль Воробейчика — “прямое мое дело”.

Но я чем ему мог помочь? На роль Воробейчика пробовался (а потом и снялся в ней) известный комический актер Борис Новиков. Сценарий был не отца, а чей-то еще. Я советовал Володе поговорить с Таней Лавровой (та училась на курс старше, чем он). Режиссером фильма был ее отчим Владимир Герасимов, а оператором — ее мама (Галина Кузьминична Пушкова). Там снимались кроме Табакова и Ефремова и ее однокурсник Слава Невинный, она сама и ее муж Евгений Урбанский.

Лет через двадцать по рассказу отца “Дурь” знаменитый режиссер Иосиф Хейфиц ставил фильм “Единственная” — и

теперь только ради участия Высоцкого для него специально расширяли роль, чтобы спел он старинный романс. И уже ничья помощь (или поддержка) ему не была нужна.

Ахматова умерла в шестьдесят шестом году. И Высоцкому в ту пору с ней и незачем было встречаться. На мой — уж из сегодняшнего дня — взгляд.

Кто мог быть тогда ориентирами для него в поэзии?

Те, кто были на слуху — Евтушенко, Вознесенский, — те, кто потом и покровительствовали ему (не назвал Роберта Рождественского, тот поспособствовал выходу посмертной книжки стихов Высоцкого), и ревновали к славе (когда стал он в нее входить), и разделяли с ним эту славу (сделавшись друзьями), и место ему пытались определить — не отдельное, а в общей легендарной стае (“меньшого потеряли брата”, — написал Вознесенский).

Когда могла бы ему понадобиться Ахматова, Ахматовой уже не было.

Он обрадован был поощрительными словами Бродского. Не думаю, что Иосиф как-то кривил душой, похвалив вынутые из песен стихи, — он же сам песен не сочинял (а если уж пел в “Самоваре”, то что-нибудь советское из отрочества: “и лежит у меня на… [ладонь он переиначивал на “погон” — сын офицера]… и лежит у меня на погоне… [руке он, по-моему, нашел другой эпитет, но у него на погоне она лежала]”) — и никаких для себя пересечений не видел.

Евтушенко Бродский ненавидел — за то, что, предполагаю, тот портил ему читателя — слоганы легче усваивались, чем сложный синтаксис.

Почему слава Евтушенко сердила Бродского, а слава Высоцкого — нет, сразу и не скажешь. Потому, может быть, что все же с Высоцким они были полюсами — при том, что в какой-то смелости, взятой из разных эстетик (разных поэтик), могли вдруг и без малейшей конкуренции соприкоснуться (на мой опять же далекий от тонкого понимания поэзии взгляд).

По возвращении с похорон Высоцкого Жора что-то твердил насчет того, что никогда у нас в стране не отдадут должного Мандельштаму.

Но Мандельштам ли волновал его?

Между жаждой славы и жаждой справедливости общего только жажда.

Последний раз накануне очень скоро пришедшей к Высоцкому славы я видел его в ресторане Дома актера. Жена (Людмила Абрамова) уговаривала Володю идти домой. Но кому

же хочется уходить из ресторана, когда кажется он в такую минуту своим домом больше, чем свой на самом деле дом.

Он мне сказал тогда (и я запомнил в связи с тем, что было потом и очень скоро): “Шура! Я могу теперь сочинять песни по заказу для кино”. Конечно, про песни Высоцкого я уже знал, только слышал в чужом исполнении — его однокурсника Гены Яловича или парня, учившегося позднее, — Севы Абдулова). Но “для кино… по заказу”? Я слышал, что в кино за песни (тогда фильмов без песен и не бывало) платят хорошие деньги. А денег в ту минуту у Володи не было. Не сочинявший песен для кино Боря Ардов купил ему сто граммов коньяку с условием, что после коньяка он послушается жены (Боре стало жалко эту очень красивую даму), — и Высоцкий правда выпил и дал себя увести.

Песни, о которых он говорил, были к фильму “Вертикаль”. Фильм через короткое время вышел на экран — и все запели: “Если друг оказался вдруг…”

В декабре семьдесят второго года умер известный и уважаемый человек Александр Моисеевич Марьямов, отец моего друга. Старший Марьямов входил в редколлегию “Нового мира” при Твардовском — и проведению панихиды в писательском клубе чинили сначала какие-то препятствия. Александр Моисеевич был к тому же в художественном совете Таганки, и Любимов сказал, что проведет тогда панихиду у себя в театре.

Мы пришли с Аликом на Таганку, и, когда сидели у Юрия Петровича, вошел Высоцкий. Я что-то слышал о том, что он будет репетировать Гамлета. И по тому, как он вошел в кабинет главного режиссера, я, немножечко представлявший себе театральную иерархию, сообразил, что занимает он в театре ведущее положение.

Проходя мимо меня, Высоцкий бросил: “Здорово”, но не остановился.

Прошло еще какое-то время — как и все, я был наслышан про его успехи, про Марину Влади, про белый “мерседес” (тогда диковинку). И увидел издалека этот “мерседес” (не знаю марок, но догадался почему-то, что вижу “мерседес”) и рассмотрел за стеклом Высоцкого — машина была припаркована к открытым воротам Дома журналиста (тылом к бульвару).

Я сделал вид, что не замечаю, кто внутри “мерседеса”, свернул перед носом машины в Дом журналиста — подходить к машине и что-то говорить показалось мне неловким; иное бы дело, окликни он меня.

Но как человеку, на себе сосредоточенному, мне было интересно, что мог подумать обо мне, глядя сквозь лобовое

стекло, Высоцкий? А если занят он был какой-то своей мыслью — и ничего не подумал, отметив мысленно: такой-то. Ну и что?

Не приняв Жориного приглашения зайти к нему — и быть представленным гостям, — я ни секунды не жалел об этом.

Уже обосновавшийся на Аэропорте, но не вполне еще к району привыкший, я после развода с первой женой продолжал помногу быть на людях далеко от дома.

Как-то черт занес меня на день рождения знаменитого киноартиста, с чьей женой у Игоря Кио был роман — Игорь и привел меня на этот день рождения. Квартиры у артиста еще не было — снимал он тесное, как, возможно, показалось мне из-за многолюдства, жилье.

Я и войти не успел, как столкнулся с улыбающимся Высоцким. Я пришел в гости отчасти навеселе и не могу с уверенностью сказать, трезвым ли был Высоцкий. Был он, во всяком случае, очень ко мне доброжелателен. О чем-то давнем мы сразу же с ним заговорили. И я без всяких оговорок обрадован был бы той встречей, если бы не Ваня Дыховичный. Он толкнул меня, здороваясь, — предположил, что, ошалелый от близости Высоцкого, я никого вокруг себя не замечаю.

Вспоминая о том на следующее утро, я насторожился: а не проявился ли у меня некий провинциальный комплекс при виде знаменитых людей: мол, глазам своим не верю, что передо мною такой-то.

Достойна ли такая потеря себя выходцу из Переделкина?

Пойди я тогда и к Жоре, Высоцкий наверняка бы шумно обрадовался мне — обрадовался бы возможности сделать царский подарок на глазах Вайнеров с женами, Марины Влади и Чингиза Айтматова.

Я бы на месте Высоцкого поступил точно так же.

Но сделать вид, что воспринимаю такой прием как должное, было бы фальшью с моей стороны.

И я бы не простил себе, если завтра — человек в таких случаях слаб — сказал бы кому-нибудь, что вот был я вчера в гостях вместе с Высоцким…

Вместо этого я отдал бутылочку с грудным молоком — и вошел в лифт.

Глава шестая

1

Дружеские отношения с Жорой в декорациях Аэропорта все равно скоро бы иссякли. Я и тогда это спокойно понимал.

И все же интересно, до какого поворотного момента они бы развивались, не вселись в кооператив “Драматург” мои родители.

В квартире на Лаврушинском стало тесновато: к середине семидесятых у брата родилось уже двое детей.

Конечно, обе семьи (или одна родительская) могли бы оставаться на даче. Но при всем видимом пристрастии к оседлой жизни охота к перемене мест (связанная, как и у Евгения Онегина, с беспокойством) время от времени овладевала отцом.

Он все чаще стал огорчаться, что мало времени живет в Москве — в городе, куда он так хотел попасть с юности, но не мыслил себя и без Переделкина.

Мне кажется, что беспокойство бывало связано не с местом жительства — скорее, необходимость перемен в самом себе, к тому времени вряд ли вероятная, подталкивала отца к несвойственному ему движению.

Увеличить квартиру за счет переезда в освободившуюся на той же лестничной площадке после смерти Казакевича четырехкомнатную квартиру (семья Казакевичей перебралась в трехкомнатную на третий этаж) не удалось.

Отец встретился с писательским министром Георгием Марковым не на приеме у него в министерстве или по-соседски постучавшись в дверь, а походя, внизу, возле почтовых ящиков, — и министр твердо сказал, что освободившейся квартиры он не получит никогда.

Не годился и вариант с предоставлением отцу жилья в новом писательском доме на Астраханском — тогда надо было отдавать квартиру на Лаврушинском, и брат с женой и детьми все равно оставались без крова.

Мысль о кооперативе на Аэропорте оказалась единственно возможной.

Анатолий Борисович Гребнев, оценивая у себя в дневнике два отцовских рассказа, по которым сняты не сходящие с телевизионного экрана фильмы “Единственная” и “Впервые

замужем”, осторожно замечает, что они “хороши, но с какой-то, может быть, излишней мерой условности, выдающей все-таки приблизительное знание предмета”.

Конечно, сославшись на читательский успех опубликованных не где-нибудь, а в “Новом мире” рассказов, за которые тут же ухватился не последний в стране режиссер Иосиф Хейфиц, легко отмахнуться от мнения Гребнева.

Но в связи с переездом отца в кооператив на Аэропорт, воспринятым им как своего рода приключение, я счел для себя нужным вникнуть в замечания несомненно хорошо относившегося к отцу и высоко его ставившего Гребнева.

Есть противоречие в том, что, определяя жанр своих наиболее известных вещей, как “подробности жизни” (цикл “Подробности жизни” составили повести “Жестокость” и “Испытательный срок”), сам отец выбрал для себя уклад (или образ) жизни, позволявший ему жить в быту менее подробно, чем большинство. Скорее всего, эти подробности и казались ему элементом той условности, в которой упрекнул его известный сценарист.

Я думаю, что правота оставалась бы за отцом — она, кстати, на мой взгляд, за ним и остается, — если бы он свою особенность смотреть отстраненно (по Шкловскому, которого отец, не прочтя у него толком ни строчки, не любил) никак не маскировал. Не соединял бы себя с персонажами общностью социального происхождения.

Был бы откровеннее с открытым в себе, больше бы из задуманного (и начатого) довел до конца.

Сергей Сергеевич Смирнов привел к отцу в гости на дачу знаменитого хореографа Игоря Моисеева.

Я у родителей тогда бывал редко — и спрашивал потом матушку, как Моисеев ей понравился. Она смешно ответила, что понравился, но не так, наверное, как отцу и Сергею Сергеевичу, которые поражены были, что в ансамбле танца есть еще и начальство и финансовая дисциплина, а не только танцоры.

Конечно, наблюдения матери скорее относились к отцу, а не к Сергею Сергеевичу, подружившемуся с Моисеевым.

Так же мало отец знал и про кооперативы — он полагал, что наличием денег на первый и последующие взносы все и решается.

Когда матушка позвонила Маркиной, первой председательше затеваемого кооператива, та отнеслась к желанию отца вступить в кооператив радушно: сказала, что вступление “такого писателя, как Павел” очень будет на пользу — и никаких, разумеется, возражений нет и быть не может.

И в семье родителей вопрос посчитали решенным.

Откуда им, не вникающим под влиянием отца во многие подробности жизни вне Переделкина, было знать о подоплеке отношений внутри кооператива “Драматург”.

Жоре ни за что бы не втянуть в кооператив Мишу Ардова, не веди он с первого дня борьбы с председательшей и не создав коалиции, добившейся ее свержения и замены ее на председателя, удобного Жоре и его компании. И собрание кооперативщиков, на какое впервые пришел отец, носило характер незавершившегося сражения: сторонники Маркиной могли еще поднять голову.

Ни о чем не подозревавший отец что-то такое высказал там невпопад.

Никто, конечно, не поверил, что в жилищный кооператив можно упасть с луны.

На барина-отца яростно бросился сражавшийся на Жориной стороне Эдуард Успенский. В позиции моего родителя ему почудился такой махровый конформизм, что он захотел уточнить: а тот ли это Нилин? Тот самый Нилин, который “Жестокость”?

Отец об Успенском ничего не знал. Что вы хотите? Откуда мог он знать про Чебурашку и крокодила Гену, когда о песнях Высоцкого узнал чуть ли не от самого Высоцкого! То есть о песнях-то он слышал — от Гриши Горина. И когда после съемок какой-то сцены в “Единственной” встретились дома у режиссера Хейфица, отец спросил у Высоцкого: “Вы и есть тот самый великий человек, чьи песни у всех на магнитофонах?” Высоцкий мне потом говорил: “Потрясающий мужик. Он моих песен, оказывается, не слышал. А меня перепутал с Золотухиным — сказал, что мы виделись утром на вокзале, а на вокзале утром был Валера”.

Конечно, отец придурялся, когда спросил в ответ: “А вы какой Успенский? Тот, что «Растеряева улица»?”

Противники председательши квартиры отца, конечно, не лишили. Но выделили одну из худших, чего он и не заметил, отвлеченный новизной впечатлений.

2

Не пойму еще, что интереснее мне для рассказа: отношение отца к новым соседям, о котором знаю, или отношение новых соседей к отцу, о чем могу лишь догадываться.

Но я же строю догадки о них, отталкиваясь от своего знания Жоры, который своим с ними приятельством давал мне возможность составить и о них представление.

Новые соседи, кроме Эдварда Радзинского, Успенского, Мережко и Жоры, на первый план общественно-литера-турной жизни не выходившие, могли и недоумевать: почему же немолодой писатель с известным положением, русский, член Коммунистической партии, не пробил себе для разросшейся семьи еще одной квартиры у государства?

Мережко и Радзинский относились к отцу хорошо — и, по-моему, были рады соседству. Радзинский сказал своей знакомой: “Я живу в том же доме, где Павел Нилин”.

Успенский после того собрания интереса к отцу не проявлял — разочаровался, очевидно.

А Жора, которого всегда занимало движение на лестнице иерархии, наверняка думал о том, что отказ отцу в еще одной квартире — знак понижения. Он не мог поверить, что отец ни на какие рычаги не нажимал, не боролся за квартиру — раз пришлось ему все же вступить в кооператив, значит, проиграл борьбу.

Вайнеры на две квартиры для себя в Астраханском переулке не претендовали. Решили, что на Астраханском будет жить Аркадий. А Жора зато займет солидную жилплощадь в “Драматурге” — и под маркой мастерской обустроит однокомнатную квартиру для мамы (Фаина Яковлевна останется в ней, когда Жора со всей семьей уедет в Америку, но после маминой смерти будет в оставленной — большую квартиру сразу продали — однокомнатной жить, наезжая изредка в Москву).

Жора оценил ситуацию с моим отцом, в общем-то, верно. Не учитывая… хотел сказать “лишь одного”, но тут понял, что учитывать Жоре пришлось бы (неподъемно для него) многое из того, что отличало жизнь отца от жизни большинства советских писателей.

Я это сам начинаю понимать лишь теперь, когда не только жизнь отца позади, но и моя.

Упрекая меня за малую активность, неумение побороться, уцепиться, зацепиться, отец своей жизнью, у меня на глазах протекавшей, ни в коей мере не мог послужить мне примером.

Он и сам на моей памяти ни за что не боролся.

И, возможно, рассказы о тех трудностях, что мне в молодости (как сыну писателя) не выпали, а ему выпали, по его словам, сверх меры, показались бы мне стопроцентно реалистическими, не повествуй он о своих несчастьях так весело, что скорее хотелось такие несчастья пережить, чем их избежать.

Но, может быть, мытарства того и стоили, раз мальчик, не имевший никакого образования, с хромой (полиомиелит с детства) ногой, мало что захотел стать писателем, но и решил

жить в Москве, где ни родни, ни знакомых у него не было, — и к тридцати годам перебрался в дачное Переделкино, где произвел на всех впечатление здоровяка-сибиряка (а некоторым дамам и показался интересным мужчиной), попал в кино, куда со стороны никого особенно не звали, и стал одним из лауреатов.

Он мог и называть (а то и считать) себя — как пришлось мне услышать в начале пятидесятых — неудачником (осуждая одного из старых приятелей за уныние, сказал: “Я тоже неудачник”), но, рассматривая сегодня жизнь отца целиком как не во всем сложившуюся (на что рассчитывать он был вправе), все же считаю его человеком везучим.

Везение в двух, как минимум, случаях перевешивает все прочие невезения.

На что мог отец сетовать?

На обойденность какими-то регалиями?

Но он же сам всегда вслух говорил, что писателей не надо награждать.

И уж точно ради наград пальцем о палец не ударил (ударил, так уж точно бы ничего не получил).

Вадим Кожевников ему говорил: “Ты, Павлик, тоже ведь хочешь быть и Героем Соцтруда и депутатом, но, когда надо поцеловать начальству задницу, в последний момент сжимаешь зубы”.

Насчет зубов Кожевников был прав больше, чем представлял себе.

Знаю на своем опыте: когда отец два или три раза хотел похлопотать за меня в молодости перед влиятельными людьми, эффект неизменно бывал обратным. Отец разговаривал с этими людьми в каком-то странном (чуть ли не приказном) тоне — и двери передо мной захлопывались еще плотнее.

За себя же хлопотать ему (кроме случая с квартирой, которую попросил он у министра возле почтовых ящиков в подъезде), в общем, не приходилось.

Не было законченных рукописей, так и не печатали.

А закончил вовремя рукопись, напечатался в толстом журнале, тут и двери издательские приоткрылись. Не скажу: распахнулись. Помню, что была женщина по фамилии Чеховская (кажется, Ирина), главный редактор какого-то солидного издательства (чуть ли не “Молодой гвардии”, но не утверждаю). Она сказала: “Нилин в нашем издательстве печататься не будет”. Не данная книга, а писатель имярек вообще, как будто бы печатался он у них прежде и не оправдал надежд.

Но как-то же образовалось — тиражи были не меньше, чем сейчас у Марининой. И Чеховская смягчилась.

Не заметила критика?

Так и большинству коллег-писателей (и старым, что понятнее, и молодым, особенно тем молодым, что искали образцы у старых) тексты отца казались слишком уж простовато-незатейливыми (без очевидных литературных влияний).

Тот же Кожевников говорил: “Тебе-то что? Ты своим говорком можешь плести бесконечно”.

Вадим Михайлович смолоду подражал Борису Пильняку. Вот ведь парадокс советской литературы: для правоверного, премированного, сдавшего Гроссмана Кожевникова идеалом стиля был расстрелянный Пильняк.

Критике для оценки писателя (до того никем не оцениваемого) нужен непременный аналог в уже существующем, прочитанном и авторитетно утвержденном. А тут случай, когда пишущий читал мало — и следования в привычном для оценок эстетическом русле минимум.

Предполагался в авторе бесхитростный рассказчик, в стиле не замеченный, не заподозренный даже.

Шли мы однажды с ним зимой — по той как раз улице Лермонтова, где дача Вадика (отец при недовольстве Кожевниковым называл его Вадиком), — и вслед бесшумно проехавшей по толще выпавшего снега машине отец сказал: “Вот так надо писать — как она едет по снегу”.

Подражать отцу в намеренном отказе от щедрости изобразительных средств я никогда не хотел — мне больше по вкусу словесная избыточность.

Но, начав это затянувшееся отступление с замечания Анатолия Гребнева, с которым почти было согласился, не могу и не привести любимого высказывания отца о литературе: “Большие писатели не унижаются до выписывания подробностей. Они лишь расставляют знаки, возбуждающие воображение читателя”.

Но почему он тогда цикл назвал “Подробности жизни”, если заведомо не собирался их выписывать?

3

Беспокойство, выразившееся внешне в переезде на Аэропорт (“охота к перемене мест”), на самом деле отражало, наверное, на непрозрачной глубине то, куда он то решался, то снова не решался заглядывать.

А времени рассмотреть, что́ там, оставалось все меньше — и отец все чаще (вспоминая Корнея Ивановича) заговаривал о

долголетии, в которое по состоянию своему (физическому и душевному) верил тоже все меньше.

При переезде на Аэропорт его увлекла идея некого опрощения.

Матушка наша до войны сердилась на отца, когда, выходя из машины, он бросал незахлопнутой дверь, предоставляя это шоферу.

Теперь он перевоплощался из переделкинского барина в “жителя Земли” (как он выражался).

С идеей опрощения он по-своему прав.

Но, на мой взгляд, опоздал с ней.

В середине пятидесятых одновременно с ним в известность пришли те, кто принес в литературу опыт, отцу уже меньше знакомый.

Конечно, и он в работах, относящихся ко временам его юности, шифровал свой сегодняшний взгляд (взгляд, может быть, и пожестче, чем у тех, кто прочнее входил в моду). Но события, датированные поближе к происходящему сегодня, волновали читателя больше.

А отец о том, что видел сию минуту, вроде бы предпочел отмалчиваться.

Писатели, ставшие одновременно с ним известными, годами были помоложе. Но не настолько, чтобы считаться с ними поколениями.

А отцу вдруг захотелось перед ними предстать эдаким умудренным мэтром из Переделкина. Но в качестве мэтра из Переделкина новым знаменитостям интереснее был скорее Катаев.

Ситуация взаимного недопонимания друг друга усугублялась еще и тем, что, встав вроде бы с молодыми на товарищескую ногу, почти подружившись с некоторыми из них, отец никого из них не прочел.

“Вы даже Ваську Аксенова не читали”, — кричал пьяный Юрий Казаков, обиженный к тому же тем, что отец вместо продолжения выпивки (тот за водкой и приходил на дачу из ДТ) предложил ему съесть борща.

На Аэропорте отцу нравилось ходить с кошелкой на рынок или в магазин, что просто оскорбило одну из обитательниц “Драматурга”: “Я-то думала — Нилин, а он с кошелкой…”

Он торопился с тюком одежды под мышкой в химчистку, когда окликнул его Константин Симонов; спросил: “Вещи краденые?” “Почему ты решил?” — “Редко печатаешься, а есть-пить надо”.

— Я и не знал, что ты на Аэропорте теперь живешь, — сказал Симонов, — а у меня тут офис. — И придержал отца за плечо: — Куда ты торопишься? Когда еще увидимся…

Отец, наверное, понял, что всегда сам спешивший, всегда занятой Симонов с ним прощается (Константина Михайловича очень скоро не стало). Но в записи о встрече он от какого-либо комментария воздержался.

В Лаврушинском, по моему восприятию, не было двора в привычном городском понимании — для основного состава жильцов этот двор заменяло Переделкино.

Сказав про двор в городском понимании, тут же подумал, что в коммунальной своей функции двор и стирал ту грань, какая существовала когда-то между городом и деревней.

Ко времени переезда моих родителей на Аэропорт переделкинский городок писателей уже напоминал скорее Лаврушинский изолированностью обитателей. Я реже бывал в Переделкине, и мне казалось, что со смертью Корнея Ивановича ритуал прогулок по кругу существенно изменился: уменьшилась продолжительность остановок при встречах, потом и сами остановки сделались необязательными. Кивок (разной степени доброжелательности) на ходу — и все, а чем дальше, тем чаще встречались и незнакомые люди (вселение в дачи сделалось более общедоступным, элита становилась все многолюднее).

Былое Переделкино напоминал теперь ДТ внутри ограды; за оградой — на кругу — обладатели путевок выглядели менее уверенно, чем старожилы. Но начавшийся процесс большей общедоступности освобождавшихся дач делал арендаторами вчерашних обладателей путевок ДТ.

А на Аэропорте, перед башней кооператива “Драматург”, пятачок возле главного подъезда (второй подъезд вел в однокомнатные мастерские), поначалу не огороженный, вполне заменял привычный московский двор — и все соседи моих родителей знали и друг друга, и друг о друге.

Отец почти был знаком с этими людьми, сочинявшими, как считал он, тексты для говорящих собак (говорящие собаки возникли в его сознании по прямой ассоциации с теми собаками, что во множестве выгуливались перед домом). Но, как и всегда, новые люди вызывали в нем любопытство — и, возвращаясь со двора, он подолгу рассказывал матушке, с кем из жильцов сегодня познакомился.

Пока мой младший брат обустраивал новую квартиру родителей — он у нас в семье единственный рукастый человек, —

что-то ремонтировал, что-то проводил, что-то прибивал (дальнейший перечень глаголов окончательно выдаст мою некомпетентность), я надеялся (и брат, по-моему, тоже), что отец с матерью одумаются и останутся в Лаврушинском (зачем им Аэропорт). Брат все делал, как он любит, обстоятельно, время шло, и я привык было к мысли, что если и будет переезд с Лаврушинского, то сам же брат и переедет со своей семьей.

Когда родители все же сделались, вопреки моим и брата ожиданиям, соседями Вайнера, я ни минуты не сомневался, что вмешательство отца в наши аэропортовские отношения с Жорой обязательно произойдет.

Мне ничего не оставалось, кроме стараний не выглядеть в неизбежной ситуации совсем уж глупо.

Жору понять, наверное, будет легче. Почему же, заняв положение известного писателя, не стать на равных с известным писателем постарше, вчера еще, возможно, смотревшим на тебя сверху вниз, а сегодня еще вопрос, чье влияние пересилит? Почему бы и не поставить спортивный интерес во главу угла?

Отцовскую позицию понять сложнее.

Когда-то Юрий Трифонов назвал его манеру разговаривать “следовательскими штучками” — говорил отцу: “Оставьте ваши следовательские штучки, Павел Филиппович! Думаю я по этому поводу то же самое, что и вы”.

Но друзья-приятели — и не только мои, но и младшего брата — на эти “штучки” непременно ловились и сдавали нас с потрохами: выдавали, как теперь говорят, “негатив” (“позитива” и на самом деле недоставало, но не “позитив” интересовал отца).

Школьные приятели сдавали меня с энтузиазмом — недавно один их них, которому тоже за семьдесят, сознался, что в нашей семье он больше всех восхищался отцом, — повод ли, однако, осложнять мою жизнь?

Но отец угадывал стремление поделиться наблюденным “негативом” и у моих взрослых друзей — никто не устоял до конца перед его расспросами.

Вейцлера и Мишарина и долгое время отец знать не знал — хотя они таили на него обиду: их в Союз писателей с первого раза не приняли, когда отец был председателем приемной комиссии.

Несмотря на обиду, более прямодушный, чем Мишарин, Вейцлер говорил мне о своей мечте: что придет он к нам на Лаврушинский, а отец скажет: “Ты, Саша, пойди в другую комнату, нам с Андреем надо поговорить о наших писательских делах”.

Вейцлер такой возможности не дождался, а Мишарин, когда я уже не жил на Лаврушинском, приходить к отцу не приходил, но

по телефону с ним разговаривал. Если трубку брала матушка, Мишарин говорил, что звонит лишь затем, чтобы “услышать родной голоса Павла Филипповича”. И Павел Филиппович — к неудовольствию матери, не любившей все неестественное, — называл Мишарина не иначе, как Александром Николаевичем, и за глаза.

Потом Александр Николаевич перестал быть отцу интересен — и мне бывало неловко перед Мишариным за отцовскую холодность.

Не могу даже сказать, что Жора меня сдал. Он только сказал отцу: “Нелегко будет Саше нас догонять”. Отец с удовольствием передал мне это высказывание.

Внутренне покривившись, я сказал отцу, что ничего обидного для себя в замечании товарища не вижу: на данную минуту положение Жоры выглядит предпочтительнее, и уж я-то получше других знаю, каких усилий ему стоило нынешнее процветание.

Тем не менее я чувствовал, что отцу Аркадий нравится больше, чем Жора. Конечно, “здравствуйте, наш дорогой Павел Филиппович” Аркадия скорее располагало к себе, чем Жорина якобы забота об улучшении моих дел.

Когда Жора жил в Америке, а мы с Аркадием иногда встречались, я обратил внимание, что при всей своей внешней брутальности и бретерской бравости старший брат в отношении к людям бывал мягче младшего, больше предан товарищеской этике. Но я (и тогда, и потом) ближе был с Жорой. И мне неприятно было, что, не зная толком ни того ни другого, отец отдает предпочтение Аркадию.

И все же не отцу и не Жоре обязан я очередным перерывом в отношениях с младшим братом Вайнером.

4

Какой-то ветеран (полковник, кажется) прислал на адрес Союза писателей (копия — фигурантам поднятой им проблемы) письмо с обвинением братьев Вайнеров в плагиате. “До каких пор, — цитирую я по памяти конец письма ветерана, — братья Вайнеры будут обкрадывать русских писателей Богомолова и Нилина?”

До этого он привел несколько примеров прямого, как считал он, заимствования. Роман Владимира Богомолова “В августе сорок четвертого” я не читал (читал только повесть “Иван” и рассказ “Зося”) и не могу перепроверить. Те же параллели, какие

проводит автор письма с повестями отца, вряд ли можно считать заимствованиями.

В “Эре милосердия” два главных персонажа отчасти могут, конечно, напоминать персонажей “Испытательного срока” — расстановка сил (типов характера) у них схожа. Но и только.

К тому же такого рода противопоставление персонажей — не новость.

Пишет отец, на мой взгляд, лучше братьев Вайнеров. Но это уж на чей вкус. Экранизированы были и та, и другая вещь. Но у фильма Говорухина успех был бóльшим, чем у отчима знаменитой артистки Татьяны Лавровой.

Хотя, если не иду я только на поводу у родственных чувств, актеры в “Испытательном сроке” играют лучше. Олег Табаков лучше Владимира Конкина. Вячеслав Невинный мне тоже нравился больше Высоцкого-Жеглова. Высоцкий играл с большим удовольствием — и некоторые сцены очень хорошо. Но играл хорошо, радуясь наступившему умению. А Невинный впервые снимался — и попал в роль абсолютно. И все же сравнения с Высоцким, каким он стал ко времени съемок в “Месте встречи изменить нельзя”, даже Невинному, артисту вряд ли слабее, выдержать у публики, целиком принадлежащей Высоцкому, было невозможно.

В своем повествовании придерживаюсь принципа не судить победителей, как бы хорошо ни относился я к проигравшим. Реплики из “Места встречи” знали наизусть, а из “Испытательного срока” — нет (успех в этом смысле “Большой жизни” не повторился). Ну и совсем не эксклюзивна ситуация, когда сыщик внедряется к бандитам, — сегодня без нее редкая картина на криминальные темы обходится.

Словом, никто, кроме ветерана-полковника, не винил Вайнеров в плагиате.

И я бы вообще не вспоминал о случае с письмом, если бы не оказался в том самом глупом положении, какого и опасался после переезда отца в один дом с Жорой Вайнером.

После выхода своей первой книжки Вайнеры подарили ее отцу с надписью. Книжку эту, сам не успев прочитать, я дал кому-то — и обратно не получил (детективы Вайнеров были нарасхват).

Отец трясся над каждой книжкой из своей библиотеки — и, мгновенно обнаружив пропажу, закатил мне страшный скандал, вспомнив заодно и Вадима Кожевникова, который так же бездумно разбазаривал библиотеку своего отца.

Я был не менее вспыльчив, чем отец, — и сгоряча пообещал завтра же принести книгу Вайнеров с новой надписью.

С Вайнерами, однако, я тогда не встречался — и договориться с ними о дарении еще одного экземпляра попросил Мишу Ардова.

Миша подал это Жоре как ссору в семье Нилиных из-за его книги. Жора, по рассказу Миши, удовлетворенно хмыкнул — вспомнив, может быть, о том, как надеялся он когда-то, что отец прочет его юношеский роман, а я роман отцу и не передал (знал же, что не прочтет) — и надписал теперь книжку всей нашей семье.

Отец поставил книжку обратно на полку, но читать не стал и никакого, естественно, мнения о заимствовании или, наоборот, напраслине, возведенной на Вайнеров ветераном, иметь не мог.

Я посоветовал ему не обращать на письмо никакого внимания, а с Жорой вести себя, будто ничего не случилось и никакого письма о плагиате он не читал — иначе он и себя, и меня выставляет не в лучшем виде.

Дал совет я, разумеется, зря. Отец поступил по-своему.

С Аркадием он так же дружески беседовал в поликлинике, как и раньше, Жориной жене при каждой встрече в подъезде долго говорил о ее красоте, а с Жорой, никаких, слава богу, отношений не выясняя, стал раскланиваться как с человеком совсем уж едва знакомым.

5

Перед отъездом в Америку Жора стал заведующим корреспондентским пунктом газеты “Новое русское слово” — и Нечаев, напомню, главный врач Литфонда, еще не успевший продать здание писательской поликлиники (и прятаться потом в сумасшедшем доме), предоставил Жоре помещение для офиса на четвертом этаже.

Поликлиника пока функционировала — и на ее пороге при случайной встрече Жора сказал загадочную фразу: “Мы с тобой очень разные люди, но оба не готовили себя к старости”.

Я удивился — то мы были похожи, теперь нет, а про старость мне некогда было думать, не то что как-то специально к ней себя готовить.

Потом Жора уехал, как я уже ранее докладывал, в Америку.

Но его офис в поликлинике оставался — и теперь, когда он прилетал в Москву и мы снова случайно встречались, выяснялось, что Вайнер снова был ко мне расположен.

Правда, и мой статус к середине девяностых изменился — и к Жориному расположению ко мне в новом статусе я как бы и не

стал привыкать, понимая как само собою разумеющееся.

И в Жорин офис я несколько раз заходил, как в старые времена, когда еще на улице Горького Вайнер способствовал отличному обслуживанию трудящихся. Только держался с Жориными сотрудниками с подчеркнутым демократизмом человека, намного выше их стоящего (при том, что работали на “Новое русское слово” люди немолодые, занимавшие хорошие должности, когда я, можно сказать, бедствовал).

6

Рубежное для моей дальнейшей жизни лето девяносто пятого года я начал вместе с Жорой и Андреем Кучаевым в ДТ.

Кучаев собирался навсегда в Германию — и находился в центре недоуменного внимания знавших его много лет обитателей писательского стойбища.

Жора приехал на побывку из Америки. К тому, что один из братьев за океаном, успели привыкнуть. Старый еврей из старого корпуса (мы с Вайнером остановились в “обкоме”, как местные люди звали новый корпус, а Кучаев в старом) спросил Георгия: “Вы какой Вайнер? Тот, что в Америке?”

Жора жил с девушкой Инной, Кучаев со своей шестой женой Аллой, а я, не ждавший уже никаких резких перемен в жизни, оставался по вечерам один.

Мне показалось, что у Жоры была какая-то домашняя договоренность о перемене имиджа. Он дал журналу “Огонек” слишком откровенное даже по тем раскрепощенным временам интервью о той широкой сексуальной развязке, на какой теперь живет, — и явлению Инны я не должен был удивляться. Меня лишь чуть позабавило, что обликом она напоминала жену Жоры до перемен, произошедших с ней накануне отъезда за границу: вместо наивной домашней простушки-толстушки она превратилась, заметно похудев, в современную вумен и усвоила (несомненно, с Жориной подачи) привычку, вошедшую в моду у свободных от предрассудков женщин, подставлять приятелям мужа щечку для поцелуя.

Как новый американец, Жора заботился о своем здоровье. И вряд ли случайно его новая девушка Инна была врачом-диетологом.

Жора не терял надежды похудеть, но более всего его устраивала бы диета, состоявшая из свежего лаваша. Однако Инна настаивала, чтобы съедал он в день два лаваша, а не три, — иногда ей это удавалось. В таких случаях Жора затевал шашлык

на пленэре, куда мы ездили на машине, чтобы уж худеть так худеть.

Бывает, что любовь к одной женщине оказывается расплатой за прегрешения перед другими — иногда и более красивыми, более талантливыми.

Ничего плохого не могу сказать про Аллу — шестую, как я уже подсчитал, жену Кучаева.

У меня с ней из всех жен Андрея были самые дружеские отношения. Она мне даже сказала, когда праздновали мы их официальное бракосочетание (до этого они лет шесть жили в гражданском браке), что, если бы не Андрей, вышла бы замуж за меня.

В общем, всем бы хороша была Алла, если б не ее талант художницы, переоцененный и самой Аллой, и — что более всего поразило меня — Андреем.

Андрей и сам хорошо рисовал (одно время даже брал уроки рисования), и разбирался в живописи. Как же надо было любить Аллу, чтобы поверить хоть в какую-то возможность для нее мирового признания, если переедут они в Германию!

Допускаю, конечно, мысль, что и сам Андрей мог надеяться на признание за рубежом. Но в девяносто пятом году так ли уж необходимо было куда-то уезжать — кое-кто из небезуспешно работавших в эмиграции, наоборот, возвращался. Стоило ли уподобляться черепахе из диснеевской “Белоснежки и семи гномов”, карабкающейся по лестнице навстречу летящим кубарем вниз гномам?

Я еще понял бы затею, восстанови Андрей дружбу с остававшимся в Америке Максимом, так и не передавшим Бродскому пьесу Кучаева. Но Алла смогла устроить лишь переезд в Германию по еврейской квоте, вряд ли надежной для отца Андрея и русской по матери Аллы.

Мне еще показалось, что обставляют они свой отъезд из Переделкина, ставшего для них вроде образа родины (во мне, быть может, говорила ревность), слишком уж пошловато, фотографируясь у калитки дачи Пастернака. Тем не менее обитатели ДТ любили Андрея, привязались к Алле — и в их отъезде некоторые из коллег видели чуть ли не драму. Я же, старый товарищ Андрея, но всегда относившийся к нему без особой восторженности (с особой восторженностью я в зрелом возрасте не относился вообще ни к кому), видел в мотивах отъезда лишь силу его чувств к Алле или, правильнее сказать, страх расставания с нею. И мне было жаль их обоих — мне казалось, что Кучаеву опять не хватило терпения. Как и

большинству из нас.

7

Вижу теперь и то, что жил я с осени девяносто пятого по часам, подаренным мне будущей женой на день рождения — 31 июля.

Часов на руке не ношу чуть ли не полжизни; раза два после парной (и того, что за парилкой следовало) забывал их в бане — и подумал: а зачем мне часы? Я не артиллерист, сверять их не с кем. И вообще, как говорил Юрий Карлович Олеша, “мои часы на башнях”.

Подаренных часов я тоже так и не надел: они хранились в коробочке — и сгорели, как и очень многое, при пожаре в конце августа две тысячи двенадцатого года.

Но теперь-то я точно знаю, что живу и сейчас по ним, как жил все последние девятнадцать лет.

Жору я последний раз видел на похоронах Аркадия.

Шел в Дом кино на панихиду, не сомневаясь, что встречу его сейчас — не мог же не прилететь из Нью-Йорка, — шел и думал, что сказать ему, если встреча наша произойдет на публике, при жене и дочери Аркадия. Я знал, что его собственные медицинские дела плохи (почему и возникали некоторые сомнения, прилетит ли он): Софа, жена (а теперь уже вдова) Аркадия, говорила Мише Ардову, что при поставленном Жоре диагнозе дольше четырех лет не живут. Но Жора жил дольше.

Наступила пора, когда болезни и смерти сверстников должны были бы и перестать удивлять. А все равно удивляли — к тому же я и свой диагноз знал, но умирать не собирался, верил в удачу предстоявшей мне вскоре операции.

Жора не сидел вместе со всей родней возле гроба — стоял возле открытой двери, ведущей в зал. И я смог до самого начала панихиды постоять с ним рядом. И не говорить того, чего не думал (или не чувствовал), — мне казалось, что я понимаю, о чем думает сейчас Жора, отвечавший подходившим к нему такими же дежурными словами, но чаще простым наклоном головы. Сама мизансцена, когда стоял он от гроба поодаль, была — точнее не придумаешь. И смысл ее понятен был кроме меня разве что родне, в ту минуту, однако, отвлеченной естественной скорбью.

Как ни дико звучит это в пересказе, он выглядел человеком, тактично уступившим брату почести, полагавшиеся сейчас и ему — живому.

Я положил розы на гроб, поцеловал вдову — и вернулся к Жоре.

Я пробовал развлечь его потом на панихиде, когда кто-то из выступавших (в больших чинах) признался, что дома у него есть специальная полка, где стоят книги Аркадия Александровича, — и сказал, что можно у кого-то другого вообразить полку с книгами уже одного Георгия Александровича.

Но ведь Жора как раз хотел отдельной полки, для того в Америку уехал. И вот прошло в Америке больше десяти лет — и речи сейчас над гробом Аркадия впрямую относились и к Жоре: других слов не скажут, в Америке другой ритуал похорон и другие формы почестей. И главное, литература — другая.

Не напиши Аркадий вообще ни строчки, я все равно бы думал, что без его участия книг у Жоры не было бы — и не было бы, скорее всего, успеха.

Я читал первый Жорин роман — и отчетливо вижу, как вошел в эту не имевшую продажной стоимости рукопись Аркадий. Вошел начисто лишенный комплексов, заимствованных у друзей юности младшим братом, милиционер Аркадий — и в итоге (обернувшемся популярными книгами) обеспечил приземленной достоверностью вымечтанный персонаж, в которого младший брат до конца жизни надеялся превратиться.

У Аркадия, не столь пристально следившего за тем, что пишут авторы “Юности”, не могло быть робости перед теми, кто обрел уже известность, смущавшую отчасти Жору. От Аркадия исходила уверенность, передававшаяся брату.

Жора гнал от себя сомнения, а у Аркадия их не было изначально.

На художественном совете Ленфильма, где авторам сценария (кто бы они ни были) требуется прежде всего терпение и способность не разозлить тех, кто делает им замечания (не то будет хуже), Аркадий мог встать и сказать: “Мы известные прозаики со своей, ни на кого не похожей манерой письма, почему же вы лишаете нас возможности быть своеобразными художниками и в кино?”

Скажи что-нибудь подобное Жора, заклевали бы насмерть. Но когда столь неожиданные для худсовета слова произносил сильный человек, пришедший из милиции, матерые киношники, советской строгостью воспитанные, терялись. На Ленфильме ничего из произведений Вайнеров, по-моему, так и не экранизировали. Но слух об их уверенности в своей правоте прошел по всем другим киностудиям. И не будем к тому же забывать, что кинематографисты, не читавшие книг, для

экранизаций не предназначенных, романами Вайнеров искренне зачитывались.

Жора тем не менее хотел большего, а старший брат не хотел — и оказался прав.

Писателей, выступавших на панихиде, не могу вспомнить. Помню, что видел у ворот кладбища Фазиля Искандера — он дружил с Аркадием, но не знаю, был ли почитателем (или хотя бы читателем) книг братьев Вайнеров.

Наибольшей знаменитостью из выступавших был, конечно, Кобзон. Кобзон вспомнил, как советовал Аркадию бережнее относиться к своему здоровью, а тот ему ответил: “Кацеле [кажется, по-еврейски это “котенок”], неужели из-за того, чтобы протянуть годом больше — годом меньше, я стану себе отказывать в лишней рюмке…”

И это очень похоже было на Аркадия. Он и вышел из последней больницы, где оставила его для сохранения здоровья Софа, улетевшая к дочери в Америку, — вышел, чтобы поучаствовать в каком-то фестивале фильмов на криминальные темы, где он считался президентом, и вряд ли миновал банкет.

В дефолт девяносто восьмого года Аркадий прогулял пропадавшие деньги с друзьями — ничего в спешке покупать не стал по принципу, что пропито, про… что, короче, вложено в сексуальный акт, то в дело произведено.

Прожил он годы, проведенные Жорой в Америке, веселее, чем младший брат.

Правда, весело он жил и до отъезда брата: по словам Жоры, одной из причин разрушения их писательского союза стал неинтерес Аркадия к тем новым задачам, которые предлагал Жора для превращения их в самых больших писателей на свете.

8

Со сцены Дома кино в каждом выступлении Аркадия называли не иначе как выдающимся писателем.

Но Жора — при жизни причем — слышал такие же слова и о себе.

Это было при мне — и тоже в Доме кино.

Собрались на презентацию новой книги Жоры — и Аркадий пришел со всей семьей. Внешне — для широкой публики — отношения не разрушались.

Примирившись с тем, что мировая слава недостижима,

Георгий все же попытался умыть отечественных детективщиков, находившихся в небывалой прежде чести.

Сочиненный им в кратчайшие сроки роман назывался “Умножающий печаль”. Обожавший Жору, но к произведением его остававшийся равнодушным отец Михаил, тут же окрестил роман “Умножающим пошлость” — и сам роман, по-моему, не прочел.

А я прочел.

Вайнер производил на меня впечатление человека одинокого, которому и поговорить по-настоящему было не с кем. И мне хотелось, чтобы роман, сочиненный им теперь без всякого соавторства, получился лучше предыдущих.

В художественных возможностях Жоры я по-прежнему сильно сомневался. Но допускал, что из Америки он увидел в нашей жизни — в той, правда, ее части, которая не особенно интересовала меня, — нечто неожиданное и вряд ли отечественным детективщикам доступное.

Я не был разочарован тем, что прочитал, и только не понимал, зачем нужно было уезжать, чтобы в своих представлениях о жизни не продвинуться. Или лучше сказать, что в представлениях-то, может быть, и продвинуться, но так и не найти инструментария для выражения этого понимания.

Конечно, раздражал и язык ставших обязательными для Жоры (после прочтения “Мастера и Маргариты”) отступлений на религиозные и философские темы, которые и у самого Булгакова мне не нравились, а у Вайнеров я их просто пропускал.

Миша был не по-товарищески жесток в оценке романа Жоры. Но по сути прав.

Роман вышел у нас тиражом, и не снившимся писателям, которых критика признавала лучшими. Но не уверен, дотянул ли он до тиражей Марининой и Донцовой, презираемых Вайнерами как занимающих по недоразумению их, классиков, место.

Успехом Жоры следовало считать и то, что по роману немедленно сняли многосерийный фильм с участием новых знаменитостей. Только культовым осталось все равно “Место встречи”. Уехавший Жора со своим романом оказывался нужен меньше, чем ничего не пишущий, но у всех на виду остающийся Аркадий.

Модератором презентации в Доме кино был некто Армен Медведев.

Когда-то на фестивале в Ленинграде, куда впервые я был командирован от АПН, этот Армен Медведев был вроде атташе пресс-центра, бегал с какими-то бумажками.

Дальнейшая карьера развивалась до должности министра кино, а затем нашлось для него еще какое-то хлебное место. Он опубликовал свои мемуары, из которых не очень было ясно, каким образом, оставаясь, как убеждал Армен, кинокритиком, он достиг таких чиновничьих высот. Я так понял, что у ничтожных людей, называемых им своими учителями, он действительно учился — и научился тому, что при всех режимах бывал нужным кому-нибудь наверху.

Дословно вряд ли процитирую, но сказал Медведев что-то вроде того: “Хотелось узнать, что думаешь про сегодняшнюю жизнь ты, выдающийся русский писатель?”

Зависть не всегда отличишь от неловкости (во всяком случае, сам я не всегда отличаю).

Поэтому, когда не поднялся вместе со всеми в ресторан на банкет, не мог и сказать (себе же) точно — зависть ли мною владела или неловкость?

Вообще-то зависть не мешает пить водку. В былые времена мне и неловкость не очень-то мешала.

Но что-то, вероятно, со мной случилось.

Мне неловко сделалось после разговоров с Жорой о литературе, где каких только знаменитостей не подвергал я беспощадной критике, сесть теперь за банкетный стол и влиться в общий хор похвал.

И промолчать на банкете было бы неловко.

Книга “Умножающий печаль” подарена мне автором с надписью чуть ли не более лестной, чем сказанное Медведевым о нем.

Жора что-то почувствовал, не увидев меня в ресторане. Но при следующей встрече ничего не сказал.

Дальше мне, как всегда, будет трудно обойтись без специальных знаний, возможны словесные ляпы или неточности, но в моем кругу на этот счет не с кем проконсультироваться.

Словом, первая часть похорон Аркадия проходила при строгом соблюдении еврейских обрядов, большинству из присутствующих (даже из евреев) в подробностях незнакомых.

Происходило это довольно долго — у Жоры упал сахар в крови, кто-то из рядом стоявших дам отломил ему кусочек шоколадки.

Я задержался на сугубо еврейской части похорон и оттого еще, что знаю продолжение, происходившее по разряду совсем другого официоза.

В прежние бы времена подчеркнутое еврейство в биографии милицейского капитана (или Аркадий успел все же стать

майором на Петровке?) понимания у властей могло и не получить. Нынешней же власти было безразлично — хоть все поголовно превращайтесь в евреев, ее не убудет. Да и у евреев в глазах великорусской общественности появились некоторые преференции — перед кавказцами, например.

Властям было важнее другое — взять знаменитого писателя под свое (желательно на всякий случай советское) знамя.

И после строго, повторяю, соблюденного иудейского обряда по центральной аллее Востряковского кладбища, высоко вскидывая ноги в начищенных сапогах — не впервые ли в истории кладбища? — двинулся, чеканя по гравию шаг, почетный караул.

Когда дошли до могилы, винтовки караула были вскинуты вверх для прощального военного салюта. Но это было еще не все. Грянул гимн Советского Союза — и мальчик, задействованный в еврейской части церемонии, что-то из порученного ему до последнего момента держать в руках от неожиданности выронил.

9

То ли восьмого, то ли шестого апреля две тысячи девятого года Андрею Леонидовичу Кучаеву исполнилось семьдесят лет.

Я всегда путал, у кого шестого, а у кого восьмого день рождения — у Мишарина или у Кучаева. Они родились почти одновременно в тридцать девятом году — и я всегда шутил, что от путаницы в нашем сознании дат количество выпитой на днях рождения водки не меняется.

Теперь изменилось. Мишарин до семидесятилетия не дотянул, Кучаев старался избегать алкоголя: в Германии медицинское вмешательство непомерно дорого для человека, живущего на пособие, а русских денег Андрею взять было совсем уж неоткуда — волей-неволей приходилось держаться в рамках полной трезвости.

Я сейчас не помню, шестого или восьмого был юбилей у Кучаева, а тогда, четыре года назад, конечно, уточнил — и купил специальную карточку для разговора с ним, допустим, шестого. Но накануне юбилея он объявился сам в Москве — и я поехал из Переделкина в город, чтобы как-то отметить дату вдвоем: никакого праздника устраивать Андрей не собирался. “Для кого теперь?” — сказал.

Незадолго перед тем Кучаев потерял сына.

Мы не обсуждали с Андреем Ванькиной смерти, как и за несколько лет до этого смерти Аллы.

Прошло лет десять после его отъезда в Германию, когда

стали мы встречаться иногда в Москве, а затем и по телефону разговаривать, — он находил какой-то льготный тариф, позволявший в уик-энд разговаривать долго. У меня вошло в привычку рассказывать ему о московской жизни, хотя я мало где бывал и почти обо всем знал понаслышке.

Мне не нравились многие из новых качеств Кучаева — он утратил ту элитарность, что отличала его в суете общей борьбы за место в литературе (так им почему-то и не отвоеванное).

О литературе он так или иначе думал всегда. Какие-то мысли, конечно, брались им из книг — эти мысли бывали мне интересны, но никогда близки. Когда же он говорил о том, что́ из проживаемой нами одновременно жизни может обернуться фактом литературы, я слушал его более внимательно.

Купленную карточку для юбилейного звонка Андрею я хранил (пока не сгорела она в огне испытавшего нас пожара), словно и после смерти мог позвонить ему — и рассказать, например, как отпевал его на русской половине Востряковского кладбища отец Михаил, а я помогал держать кадило, чем вызвал необычайное уважение у кучаевских друзей — юмористов и романиста.

В прежние приезды он проводил больше времени с друзьями — бывшими семинаристами. Они и любили его больше, чем я, и помогали ему больше, чем я, ухитрявшийся оставаться в стороне от литературной жизни.

Но отношения между ним и его питомцами, вставшими на крыло (а некоторые вышли в литературные генералы, в нынешнем, конечно, понимании), в ту пору, когда стоило ожидать, что их гуру, отказавшись от вредных привычек и разобравшись с женщинами, сотворит что-то в полную силу, постепенно иссякали.

Былым подшефным труднее стало скрывать недоумение, почему не приходит к Андрею успех, позволивший бы не жить из милости в Германии, а занять на родине положение, не уступающее положению, занятому ими.

На поминках Александр Кабаков честно сказал, что не берется ответить на вопрос, отчего одних печатают и хвалят, а других (он не сказал, что тех, кто ничуть не хуже, но мне именно так захотелось его понять) вот стали, кажется, и печатать, но успех до них так и не дошел.

Каюсь, что не успел со вниманием прочесть всего сочиненного Андреем в Германии, а теперь и не прочту: книги сгорели, и доставать их где-то у меня уже жизни не хватит.

Буду перед памятью старого товарища совсем откровенен. Мне не таким уж и важным казалось все прочесть — занят я собой (время поджимает). Но в мыслях своих о том, что прошло, мне важно отметить, что умерший, как и Жора, на чужбине, Андрей стал там писателем, каким на родине не был, а Вайнер остался тем, чем уехал.

Итак, мы встретились последний раз с Андреем Кучаевым у метро “Баррикадная” — и двинулись в сторону площади Восстания. Я не брал на себя ответственности выпить с ним, например, коньяку (чего мне хотелось), но что мешает нам дойти до “Кофемании” в двух шагах от Дома литераторов, коего он когда-то бывал завсегдатаем, а я был считаное количество раз?

Кофе так кофе, вздохнул я, гордясь собой, но и сожалея, что теперь мы вместе никогда ничего, кроме кофе, не выпьем.

В один из прежних его приездов мы сидели летним днем в дорогом кафе напротив Художественного театра и чувствовали себя и за кофе так прекрасно, что, даже зная все последующее, не могу я с тем днем связать нас: одного на сменявшихся операционных столах, столько жизненных радостей отнявших, а другого — сгоревшим от рака легких за каких-то два месяца.

Когда принесли кофе, я сказал Андрею: “Покойный Галкин убил бы, узнав, что чашечка кофе стоит как в магазине бутылка водки”.

Галкин умер в начале восьмидесятых, не дотянув и до сорока трех. Жора — из-за разницы времени с Америкой — спал, скорее всего, у себя в клинике, пока пили мы с Андреем кофе. Мне хотелось считать себя окончательно излеченным. Андрей про возможные болезни, может быть, и думал (а как иначе, когда приближаешься к семидесяти), но ничего вслух не говорил.

Когда мы встретились в последний раз, не зная, что это последний, у метро “Баррикадная”, я обратил внимание, что вид у него вновь модный, пижонский, какой бывал на Голиковском, когда выцыганивал он у Марьи Ивановны (взявшей метлу на караул) деньги на портвейн, или много раньше, когда я, недавно познакомившись с ним в Переделкине, увидел потом Кучаева неподалеку от Красной площади — он шел пешком к Ардовым на Ордынку или возвращался на Полянку, где жил тогда у матери: пальто песочного цвета (такие носили мои бывшие однокашники, ставшие хоккеистами команды мастеров), ни секунды не сомневающийся, что впереди будет только хорошо, выпускник-медалист, еще не сделавший выбора между физикой и литературой.

Миша Ардов бывал удручен видом приезжавшего из Германии Андрея (и в первую очередь, одеждой не по сезону), когда тот навестил его на Аэропорте, а затем и на обед в честь премии Букера пришел не переодевшись.

Надо еще к тому добавить, что на этот обед отец Михаил приходил непременно в рясе и с большим крестом на животе.

А Кучаева проводил по пригласительному жены или какого-то отсутствующего в Москве писателя кто-нибудь из прежних воспитанников, чаще всего Александр Кабаков.

Мне запомнилось, как Андрей (сам себя назвавший “сиротой на елке”) жмется к Кабакову, а Кабаков по-генеральски комментирует обстановку: говорит про Майю, например, Кучерскую, что, на его взгляд, она самая обещающая из молодых. Я легко мог представить Андрея при других обстоятельствах в том же ДТ, где бы он с оценками всех действующих писателей не стеснялся. Но в том, что на Букере он молчал, было известное проявление такта.

Мне делалось неловко, когда в книжном магазине на улице Горького Андрей, рассматривая обложки новинок, слишком громко восклицал, называя знаменитых писателей по именам — “Людка Петрушевская”, допустим; я понимал, что, когда занимались они с “Людкой” в драматургической студии у Арбузова, Андрей — мечта всех учившихся сочинять пьесы женщин, мог и называть по-товарищески Петрушевскую Людкой, но в магазине я себя с ним чувствовал как Шапиро на рандеву с Замойским в пивной-деревяшке у трамвайной остановки.

И за Андрея, когда видел я его на приемах, испытывал неловкость и обиду: он-то каким образом стал для литературного народа чужим? Ему-то зачем сюда приходить — и чувствовать себя лишним?

Но потом из откровенного с ним разговора я понял, что бывать ему на вручении Букера крайне важно.

У себя в городке он вел литературный кружок в синагоге (а где же еще). И по возвращении из Москвы на кружковцев своих он должен производить впечатление человека, укорененного в литературной среде настолько, чтобы странным казалось, что Букер снова присудили не ему, а кому-то другому.

В “Кофемании” мы развивали друг перед другом полюбившуюся в телефонных разговорах мысль (мною однажды высказанную, а он ее с удовольствием подхватил), что, пока поставленные цели не достигнуты, возраст в нашей жизни присутствует совсем необременительно: отдав генералам внешнюю (взрослую) жизнь, мы оставляем за собой внутреннюю молодость, а публично ведем себя так, словно и внешняя нам

продлена.

И тут случилось уж никак не предусмотренное. За столиком неподалеку от нас, как цитата из Пастернака (“Тишину шагами меря…”), возникла Людмила Максакова. “Ты появишься у двери…” Нет, мы пропустили момент, когда входила она — с той продуманной естественностью, что позволяет актрисе стать незамеченной, неузнанной.

Прежде видел я ее на сцене Вахтанговского театра, один раз встретил студенткой училища при этом театре и еще раз уже знаменитой артисткой на похоронах моего отца, а так — в кино, на телевидении, может быть.

Она не задержалась для меня в оболочке цитаты — я вспомнил (по общепитовской ассоциации) сцену из фильма, где играла Максакова эпизод без слов — девушку на первом этаже ресторана “Прага”; она там, воспитанно обращаясь с вилкой и ножом, ест блинчики или что-то еще за одним столиком с главным героем картины, импозантным мужчиной. И я запомнил, как она смотрела на мужчину-героя. Самые точные слова испортили бы эпизод напрочь.

Брошенный в сторону Андрея взгляд я себе, возможно, и нафантазировал.

На втором курсе в Щукинском училище ставили отрывок из повести моего отца “Жестокость”. Героя играл студент по фамилии Ганшин — я когда-то часто видел его в ресторане Дома актера всегда вместе с Александром Збруевым. Збруева сейчас все знают, а Ганшина никто не помнит. Но Ганшин начинал никак не слабее Збруева. Автора (в программке он именовался Павлом Нилиным) играл тоже очень известный сейчас Вениамин Смехов.

А роль героини — той, что изобразила в кино жена Мариса Лиепы, а должна была сыграть ставшая (как и предполагал ее учитель Довженко) очень своеобразным писателем красавица из ВГИКа Ирина Поволоцкая (моя соседка по улице имени Довженко), — исполнила в отрывке Люда Максакова.

В сильный мороз зимой пятьдесят восьмого года студентка приезжала к отцу на дачу, что-то хотела неясное в роли уточнить, а он ей советовал читать маркиза де Кюстина и еще какие-то книги, какие сам, я не уверен, что прочел.

Потом она — уже при мне — приходила на Лаврушинский. Вечер проходил как-то непривычно для нашей семьи суматошно и многолюдно. Помню присутствие моих приятелей из “Современника” Владика Заманского (его, как Збруева, все знают) и Миши Федорова (известности, по-моему, не снискавшего). Оба они то ли пробовались, то ли собирались пробоваться на фильм “Жестокость”. Отцу не нравился ни тот ни другой, но и сам он,

чувствовал я по недоуменно-немигающему взгляду студентки Люды, не выглядел таким, каким бы ей, возможно, хотелось.

И совсем уж глупо получилось, когда друзья-актеры запели песню к фильму на слова отца (мелодии то ли никто из поющих не помнил, то ли не была еще сочинена мелодия) при девочке, учившейся в музыкальной школе играть на виолончели, к тому же дочери знаменитой певицы из Большого театра (отец когда-то говорил нам, что был с Марией Максаковой знаком, но не помню, чтобы разговор с дочкой о матери зашел тогда за наши столом).

Я пошел провожать Люду до троллейбуса на Каменном мосту, но почему-то не знал, о чем с ней говорить. Мы учились в разных театральных школах, но многие первокурсники обычно друг друга знают. И я одного малого с их курса знал, но как-то не сообразил о нем спросить.

Гарика Васильева с нашего курса за провинность перевели на год перевоспитываться к щукинцам. Он тоже кого-то играл в отрывке из “Жестокости”. И сказал Люде про меня, что я “немного странный”, — и ко всем огорчениям вечера в Лаврушинском приходилось добавочно расстраиваться из-за того, что считают меня странным.

Странным я ни тогда не хотел быть, ни сейчас. Но сейчас меня вроде бы и не обвиняют в странности, наоборот, все более кажусь и себе, и всем элементарным — и слава богу.

Во второй раз, как уже сказал, я видел уже ставшую знаменитой артисткой Людмилу Максакову в Доме литераторов на похоронах моего отца пятого октября восемьдесят первого года.

Мы виноваты перед отцом за то, что выставили гроб с ним в Доме литераторов: он говорил, что писательское начальство не любит его, а он не любит писательское начальство. И не хочет даже представлять себе его у своего гроба.

Но еще он сказал: “Друзей нет, некому и на похороны будет прийти”. Это опасение в нашем с матушкой сознании и перевесило пожелание покойного. Прямо в крематорий и в самом деле много народу не придет, а в Доме литераторов всегда какой-то народ.

Матушке даже показалось, что пришли проститься многие. Но, как отметил тот же Гребнев, можно было ожидать народу и побольше.

Начальники на минуту встали в почетный караул мрачной шеренгой с уставленными в пол равнодушными лицами.

И вдруг в распахнувшуюся снаружи центральную дверь узкого зала вошла вся в белом, нарядная Людмила Максакова — в руках роскошный букет белых роз. Эффект ее входа, понятно, никак не

на скромность траурного зрелища был рассчитан. Но я только из-за такого ее появления готов простить нашей семье неповиновение воле покойного.

10

За годы в Германии (и вообще за прошедшие годы) Андрей, конечно, изменился, но в темно-зеленом иностранном пиджаке (модные брюки закрыты были кофейным столиком) Люда вполне могла его узнать — в поле женского внимания, им наверняка у нее вызванного, и узнавание происходит легче.

А что знакомы они были, у меня нет сомнения. Мишарин знаком был с немцем, мужем Людмилы, бывал у них дома. А у Гали Соколовой с Андреем была приятельница из музея театра Вахтангова Рита Литвин. Словом, общих знакомых хватало.

Но мне показалась, что неожиданная встреча с Людой в “Кофемании” на Кучаева такого впечатления, как на меня, не произвела. И с некоторой досадой на него подумал, что ему бы, при его-то былых возможностях, таких эмблематичных женщин, как Максакова, не следовало обходить стороной, не соблазняться тем, что попроще.

…На улице апрель, тепло, светло, приближалась Пасха — настроение сразу улучшилось.

Андрей проводил меня на Киевский вокзал — я взял с него обещание, что на Пасху он приедет ко мне в Переделкино и мы пойдем к Авдеенко, где и куличи, и все к Пасхе положенное.

Прощаясь, он сказал с легким смущением, что у него теперь в Германии женщина: “Ну, конечно, не очень молодая и не очень красивая…” Я опять вспомнил фантастических женщин из молодости Андрея, которым предпочел он совсем других, — и утешил-пошутил: “Ничего. Не все сразу, Андрюша”. Он захохотал, пообещал, что, вернувшись к этой даме в Германию, обязательно передаст ей мои слова.

На Пасху я его не дождался. Он уехал внезапно. А через два месяца пришло извещение от той самой дамы, которой уж не знаю передал ли Кучаев мои слова (надеюсь, что нет).

Даму эту в Германию выписала из России дочь: они с мужем, учитывая астрономический мамин возраст (сорок семь лет), намеревались полностью поручить ей внуков. Но встретить в жизни такого мужчину, как Андрей, и двадцатилетним удается одной на сто тысяч — и воспитание внуков было отложено.

Дама владела немецким языком — и Кучаев (за пятнадцать лет язык так не выучивший) усадил ее за новый (под его

руководством) перевод на русский “Страданий молодого Вертера” Гёте.

Переводчица Гёте извещала нас, что ее муж Андрей в коме.

11

В клинике мне сделали около дюжины операций — после первой, самой серьезной, семичасовой — разной степени серьезности и покороче.

Я пережил увлечение хирургами, как в детстве — футболистами.

Нравилось, что операции меня больше не пугают — наоборот, появился азарт, словно сам я себя оперирую (наступаю на болезнь).

По некоторым, однако, намекам врачей, стоявших при обходе за спинами фаворитов больничного руководства, по симпатичному лицу расположенной ко мне после тяжелой первой операции очень милой женщины-анастезиолога начал догадываться, что хирургическое вмешательство не может быть бесконечным.

Но, когда летом две тысячи десятого года главный хирург сказал о необходимости лучевой терапии, я сник — лучше бы уж пусть продолжались операции.

Был наслышан от младшего брата, ограничившегося при том же диагнозе одной-единственной операцией, аналогичной моей, что луч — последняя линия защиты.

Химия — это уже так, для очистки совести. Лечишься, а не живешь. А между операциями я жил — в больнице жил — привык.

Внешне я, как всегда, хорохорился. И когда в клинике сказали, что направляют меня в институт Герцена, тут же козырнул знакомством с профессором Софьей Львовной Дарьяловой.

Насчет Софьи Львовны я сгоряча преувеличил (желая вырасти в глазах профессора-хирурга таким знакомством).

Но с неведомой моему профессору Софой знаком был.

Софу я видел на одном из домашних праздников в семье Вайнеров — и про себя отметил, как удачно, на какой красивой девушке женился старший брат Жоры.

Но по-настоящему Софу я оценил на Жориной свадьбе.

Я уже пытался в прошлой части своего рассказа обрисовать, каких размеров комнату занимал Жора вместе с папой и мамой в коммунальной квартире на Воровского (теперешней Поварской),

где сыну в отсутствие родителей открывался желаемый простор для вольных встреч.

Но такая комната и свадьбу со множеством гостей вполне смогла вместить.

Дабы не отвлекаться надолго, скажу по-репортерски кратко, что женился первым браком Георгий Вайнер на дочке лубянского генерала, после войны гауляйтера всей Литвы.

У генерала была совсем неплохая квартира в доме своего ведомства, но и в квартирах для генералов не были предусмотрены комнаты подобных размеров. Добавлю, что и дом Жоры архитектурой своей превосходил генеральский — недавно по телевизору показывали дом, где якобы электромонтеры избили голландского дипломата (в отместку за избиение полицейскими нашего дипломата в Голландии) — и я узнал тот самый дом, где гулял на свадьбе.

Генерал сидел в конце стола рядом с будущим священником Ардовым — и они настолько увлеклись беседой, что, когда опоздавший Виктор Ефимович Ардов сунулся было, как почетный гость, к генералу, тот никакого амикошонства не допустил: “У нас тут свой разговор”, — кивнул он на сидевшего с ним рядом Мишу. И Боря Ардов тут же сострил, что Миша из преданности генералу готов был тут же сам отвезти отца на Лубянку.

К чести Вайнеров, никакого фетиша из родственника-генерала они не делали (причем я и до сих пор не уверен, что отец очень уж был счастлив таким браком младшего сына).

Веселились, однако, вовсю, радуясь прежде всего поводу для веселья.

Отца Жоры и Аркадия я никогда ни прежде, ни потом таким веселым не видел. Меня он обнимал, называя “элефантом”. Мы вместе с ним пошли на балкон за боржомом, взяли по охапке бутылок, как дрова, — и, когда одна из бутылок, выскользнув, шумно разбилась об пол общей кухни, Ефим Григорьевич зашелся от смеха.

Через много лет, когда Жора успел родить троих детей в новом браке, мы обсуждали с его мамой детали той первой свадьбы; она, радуясь, как удался тогда праздничный стол, вспомнила, что поставила на столы целых пять поросят. А друг генерала-тестя Миша смеялся еще надо мной: мол, я, услышав про поросенка, подумал, что это говорят про кого-то из гостей.

Аркадий, сменив по ходу свадьбы три белых рубашки, без устали играл на гармошке (в следующий раз я увидел его с гармонью по телевизору, когда он, уже знаменитый писатель, аккомпанировал Людмиле Гурченко).

Но чего никогда не забыть мне из впечатлений от первой

свадьбы Жоры, так это танца Софы — легкостью, энергетикой и неутомимостью, превосходящей неутомимость игры мужа на гармони.

Я и не знал тогда, что Софа — медик, начинающий врач или, может быть, еще студентка (в мединститутах учатся долго, у нас с ней в годах разница незначительная, но я-то еще точно был в университете).

Позднее, когда я не мог не знать, что Софа уже не только врач, но и кандидат медицинских наук, все равно при упоминании про жену Аркадия сразу же вспоминал танец на Жориной свадьбе в доме, где через много лет так некрасиво поступили с иностранным дипломатом.

В институт имени Герцена я на всякий случай пришел вместе с Мишей.

Дружившая с женой Аркадия ближе, чем с Жориной, Мила Ардова, напутствуя меня на встречу с профессором Дарьяловой, никаких дополнительных рекомендаций не давала. Миша тем не менее предупредил, чтобы я не называл ее Софой.

А я и не собирался — в чем угодно можно обвинить меня, но не в тяге к уже осужденному мною выше амикошонству.

Однако, услышав на первом же приеме у профессора “раздень рубашку”, почувствовал себя в большей степени своим, чем если бы предложила она мне рубашку снять.

У Валентина Катаева (в “Алмазный мой венец”) есть эпизод, где он проходит обследование перед поездкой за границу.

По некоторым намекам надо (цитирую дословно) “спустить штаны” и, лежа на холодной клеенке кушетки, максимально подтянуть колени к подбородку — читатель в годах догадается о специализации врача.

У Катаева профессор-уролог — женщина, и при этом хорошенькая. Неловкость позы не мешает писателю рассмотреть ножки профессорши, обутые в изящные туфельки.

Опыт осмотров после пяти лет в клинике у меня был никак не меньшим, чем у Валентина Петровича.

Поэтому, услышав про рубашку, которую следует “раздеть”, я было успокоился, предположив, что натягивать профессору резиновую перчатку не придется.

Но предположения мои не оправдались.

И про Катаева я вспомнил уже потом — для возвращения душевного равновесия.

Катаев мне — редкий случай — помог весьма относительно. Валентин Петрович не встретил свою лекаршу в молодости — и не видел никогда ее танца с прыжками-взлетами чуть ли не на

полметра от пола.

Не знаю (да и лучше мне не знать), о чем подумала (я все же надеюсь на абстрактность медицинского мышления профессоров), ощутив мой напряг, Софья Львовна. Но мне после осмотра стало как-то легче называть ее Софьей Львовной, обращаясь к доктору официально.

Правда, через несколько дней она, позвонив мне единственный раз — предупредить о необходимости какой-то бумажки из клиники, кажется, — назвалась Софой (что-то Миша перепутал) и вдобавок не Дарьяловой, а Вайнер.

И я вспомнил, какой замечательной женой была Софа покойному Аркадию.

Аркадий подходил к обеду творчески — и до последней секунды не мог решить, что будет есть на первое, харчо или рассольник. И доктор наук, профессор, автор толстых монографий о наиболее правильном использовании луча при лечении онкологических больных Софья Львовна Дарьялова готовила на всякий случай три варианта обеда.

На еженедельных обходах Софья Львовна появлялась в нашей палате вместе с Анной Владимировной Бойко, заведующей отделением (профессор Дарьялова заведовала профильной кафедрой).

Анна Владимировна, слушая ответы на свои вопросы от размещенного напротив меня больного, проходившего тяжелый курс химиотерапии, взяла обыкновение слегка приобнимать меня, что придавало мне духу: ласка начальства (тем более медицинского) всегда более чем лестна.

Ученые дамы дружили — и возможно, Анна Владимировна хотела сделать приятное прежде всего Софье Львовне, приободряя ее не слишком афишируемого протеже.

В семье Вайнеров бытовало предание, что редкой удачей женитьбы старший сын обязан отцу.

Он где-то увидел красавицу блондинку не раз воспетых русских статей, но по некоторым приметам, ведомым только такому умному, каким был папа знаменитых братьев, еврею, распознал в ней все-таки еврейку — и тут же решил, что о лучшей жене для Аркадия нельзя и мечтать.

И каким-то образом устроил, чтобы молодые люди познакомились.

Буду на Востряковском кладбище — обязательно поклонюсь могиле Александра, по домашнему Ефима Григорьевича, Вайнера.

V. Предполагаем жить

1

Мы возвращались с похорон…

Как хотелось бы мне не только никому не подражать в манере повествования, но и не ловить себя вдруг на сходстве с кем-то, кого вроде бы не собирался брать за жизненный образец.

Тем не менее первой же строчкой — и тем более теми, что за ней последуют (да и встречались наверняка в предыдущих частях повествования), — напоминаю себе сейчас одного сотрудника Телеграфного агентства Советского Союза.

В помещении, отведенном для спортивной редакции ТАСС, поставили в сторонке стол для пожилого журналиста, никакого отношения к спорту не имевшего.

Фамилия его была Дмитриев. Бравые и бойкие спортивные журналисты, поездившие по миру, посмеивались над стариком, в разговорах чаще всего прибегавшему к эпитету “художественно” и существительному “разгильдяй”.

Специальностью этого скромного, напоминавшего Башмачкина из той самой “Шинели” Гоголя, откуда вышли великие писатели (но спортивные журналисты не только в нее не вошли, но даже не удосужились прочесть), стали отчеты с похорон разных видных деятелей.

Коллеги, не прочитавшие “Шинели”, естественно, в отчеты эти не заглядывали. Был, конечно, в главной редакции ТАСС некто, отвечавший за своевременное освещение номенклатурных похорон. Но сюжет моего воспоминания о Дмитриеве в том, что для одной из его работ читатели нашлись, и весьма заинтересованно-внимательные.

У Анастаса Ивановича Микояна скончалась супруга.

А сам Микоян находился в тот момент на Кубе — уговаривал Фиделя Кастро не обижаться из-за убранных нами ракет, прежде нацеленных на Соединенные Штаты Америки.

Ракеты убрали, но Куба как плацдарм, откуда мы снова в любой момент могли грозить американцам, оставалась для нас необходимой. И даже смерть жены не стала поводом для Анастаса Ивановича оставить без присмотра Кастро, пока не убедится в прежнем градусе нашей с ним дружбы.

Похороны прошли без мужа покойной.

Но уже на следующий после похорон день к генеральному

директору ТАСС Дмитрию Горюнову, в моем повествовании уже отмеченному, явились два министра союзного, как тогда говорили, значения с жалобой, что в отчете о похоронах они оба не фигурируют.

Горюнову проблема показалась не стоящей выеденного яйца — и он легко пообещал огорченным министрам, что допустившие ошибку сотрудники будут строго наказаны или вообще уволены, если ошиблись не впервой.

Но министры объяснили, что для них сейчас ничье увольнение не выход. Вернется с Кубы Анастас Иванович, пробежит орлиным взглядом отчет о похоронах супруги — и подумает, что для некоторых министров смерть жены начальника не повод для официально зафиксировнной скорби.

Такой поворот темы оказался неожиданным для генерального директора. А что, действительно, можно было теперь сделать для исправления ошибки? От растерянности Горюнов велел прислать к нему сотрудника, о существовании которого он до этой минуты не имел представления.

Дмитриев (уже смеюсь родству фамилии незаметного сотрудника с именем Горюнова) за все время службы в ТАСС никогда и не поднимался на этаж, где сидело главное руководство. Тем не менее в кабинете Горюнова он держался с достоинством, давно утраченным сотрудниками рангом много выше. Он твердо сказал, не отводя старчески выцветших глаз от гневного взгляда генерального директора, что в отчете все было “художественно”. “А этих, — он посмотрел укоризненно на министров, — разгильдяев там не было”.

Министры, которых со сталинских времен никто не называл вслух разгильдяями, бросились объяснять несчастному, но гордому старику-сотруднику, где, за какими колоннами, на каком расстоянии от гроба с телом супруги Анастаса Ивановича они стояли.

Знаю точно, что после того случая Дмитриев на службе в ТАСС остался.

И все же в продолжении своего повествования мне менее всего хотелось быть на него похожим.

Но, как видно, не судьба.

2

Мы ехали с похорон…

И опять я должен прервать фразу — объяснить, почему мы с Авдеенко ехали на электричке, а не как обычно, на его машине.

Нон-фикшн — жанр коварный и от чистого сочинительства условно отгорожен, видимо, не зря.

В чистом сочинительстве меньше отвлекающих моментов.

А в жанре нон-фикшн всякое отвлечение от тебя не зависит — зависишь ты от него.

Даже само место, где ты сочиняешь, по законам пресловутого жанра превращается в место действия — и не по твоей воле, а волей ассоциации, ведущей охотнее (на что ничуть не сетую) в сторону от магистрали рассказа, чем к ожидаемому финалу.

К последней части своего рассказа я понял, что только так, повинуясь воле — свободе — ассоциации, и должен писать. “В родстве со всем, что есть, уверясь”, как подсказывал покойный сосед.

И выражение “к слову пришлось” для меня не извинение, а, если хотите, девиз.

Круг действующих лиц естественно-горьким образом сужается с каждой следующей из страниц. Но подчиненная ассоциации память этому противится.

Задуманные мною линии — как линии на ладони — переплетаются с линиями, извив которых я не сразу рассмотрел. Их соприкосновения, параллели, слияния кому-то, возможно, и помимо меня нужны — и вправе ли я от них отказываться?

До бывшей дачи Льва Кассиля, куда поселили знаменитого журналиста Ярослава Голованова, я мог и не дойти, свернув в боковые ворота ДТ и затерявшись в пространствах воспоминаний, вызванных мысленными встречами с теми, с кем я соседствовал в коттеджах, старом и новом корпусах ДТ.

Ярослав Голованов первоначально возник в моем рассказе из-за обстоятельств, едва не ставших вдвойне трагическими.

Возвращаясь с его похорон, Авдеенко в нетрезвом виде, едва проехав Баковку, разбил машину — после чего принял историческое решение не садиться больше за руль выпив; для такого решения потребовалось больше шестидесяти лет жизни и почти полвека за рулем.

Теперь станет понятнее, почему прервал я фразу, объясняя, как получилось, что с других уже похорон мы возвращались электричкой.

Я тоже должен был быть на похоронах Голованова. Но во всем поселке не работала телефонная связь — мы плохо договорились накануне, и Авдеенко уехал без меня.

Потом мы рассматривали разные варианты совместного

(попади я вместе с ним на похороны) возвращения на дачу: либо беседа со мной сделала бы водителя внимательнее, не клонило бы после поминок ко сну, либо, наоборот, отвлекла — и мы разбились бы оба. И перед друзьями-приятелями тогда возникла бы проблема, кому из наших общих друзей представительствовать на чьих похоронах, если они произойдут, как положено, на третий день? У меня место на Ваганьково, у Авдеенко — на кладбище в Переделкине.

Разговор о нашей смерти (и похоронах) непременно в шутливом тоне продолжался до реальной смерти Авдеенко.

И, если кому-то не понравится мой тон в той части повествования, где от разговоров о смерти никак не уйти, сразу отвечу, что тон здесь выбран для продолжения вроде бы шутливого разговора со старым другом на тему, которая с определенного момента общей и частной нашей жизни не могла нас не волновать — и вести ее в другом, чем привыкли мы, тоне я не считаю для себя возможным перед его памятью.

Ярослав Голованов был звездой в профессии, которой я формально учился, но постарался не научиться, сделав, однако, в последние десять лет минувшего века такой вид, что занят ею всецело, — и вот вам поворот сюжета (сюжет в сюжете даже): года три Голованов служил под моим началом.

Не помню, говорил ли я уже, что самый детективный сюжет в рассказе о писательском Переделкине — это ротация арендаторов: кто в чью дачу въезжает, что остается от прежних (временных) хозяев новому жильцу.

Я продолжаю свой рассказ в кабинетике-келье Липкина за его старинным бюро.

Но до Липкина эту дачу занимал знаменитый летчик—испытатель Марк Галлай — и по ночам, когда воображаешь себе в привычной бессоннице прежних хозяев, я думаю о нем чаще, чем о Липкине.

Так получилось, что за три года соседства я не успел познакомиться с Марком Лазаревичем лично. Правда, он позвонил мне однажды по телефону как специалисту по боксу (кто-то ему так меня отрекомендовал). Галлай работал над статьей о благородстве в спорте — и хотел уточнить, правда ли, что олимпийский чемпион Владимир Сафронов, не дожидаясь решения рефери, сам поднял руку своего противника, считая бой для себя проигранным? Володя Сафронов был моим приятелем, но я такого эпизода не помнил и не до конца в него верил. Тем не

менее разубеждать Галлая не захотел.

Мне показалось, что, сделавшись писателем, Марк Лазаревич полюбил литературную среду — и очень хорошо себя в ней чувствует.

В почитании, с каким относились писатели к летчику-испытателю, было что-то и детское: всего профессионального масштаба Галлая пишущей братии понять было не дано, но пиетет к авиации для моего поколения и поколения постарше оставался огромным.

Для ребенка военных лет, тем более живущего в писательском поселке, пилот (особенно такой, как Галлай) в России больше, чем поэт.

Людей помоложе на том же уровне, на каком почитали мы Чкалова или Громова, интересовали создаваемые телевидением и прессой образы первых космонавтов.

Марк Лазаревич был авиационным наставником и Гагарина, и Титова. Когда он лежал в больнице неподалеку от стадиона в Лужниках и Гагарин с Титовым пришли навестить его, в глазах медицинского персонала и врачей авторитет пациента тут же неимоверно подскочил, а космонавты испытали неловкость: они-то понимали, что им, до призыва в отряд космонавтов рядовым летчикам, пилотного величия Марка Лазаревича никогда бы не обрести.

И я иногда думал, что в обществе некоторых писателей, гордых дружбой с Галлаем, сам он порой испытывает нечто похожее на то чувство, что испытали у него в клинике Гагарин с Титовым.

3

Липкин умер вне дачи, на зимней прогулке в нескольких шагах от крыльца. Ему было за девяносто. И мне всегда хочется представить, думал ли он в свои годы о смерти или, привыкнув к долголетию, строил планы на дальнейшую жизнь.

Галлай умер на восемьдесят пятом на даче. Не знаю, в какой из комнат это произошло, не знаю и о том, превращал ли он в свой кабинет келью Семена Израилевича — в доме есть комнаты и попросторнее.

В тот летний день девяносто восьмого года мы с женой вернулись из Парижа с чемпионата мира по футболу (я был туда командирован журналом), до Переделкина добрались, когда уже вечерело. На улице Довженко что-то снимали для рекламного ролика, дорогу нашей машине перегородил тонваген — и я

предположил, что мы сегодня останемся без электричества. И свет действительно погас на всю ночь.

В эту ночь Герой Советского Союза Марк Лазаревич Галлай и скончался.

Сын Галлая — с Юрием Марковичем я знаком, хорошие отношения с ним и его женой Галиной наша семья поддерживает — рассказывал, что отец накануне ездил (за рулем) на прием во французское посольство — и машину, как привык, гнал со скоростью самолета.

Обе старости — и Липкина, трудившегося до девяноста с ясной головой, и Галлая, физической формы не утратившего, — производят сильное впечатление.

Мне до таких лет не дотянуть — и хотелось бы удерживаться сколько смогу на легкой форме не вполне осознанной старости.

Авдеенко был моим первым начальником.

Помню, как Галя Брежнева, чувствуя, что Авдеенко, исчезая среди дня со службы, начинает вести тайную от нее жизнь, спрашивала меня подозрительно-тревожно: “Где твой начальничек?” А я шутил, что у Галины Леонидовны есть возможность организовать мне допрос в известном учреждении с применением активных методов следствия — и тогда Авдеенко, обманывающему дочь руководителя государства, не сдобровать.

Позднее я (уже без всяких шуток) думал о том, что после случая с Авдеенко Галина решила любить только тех мужчин, которым ее покровительство будет жизненно необходимо — и полная зависимость от нее станет самой надежной защитой от их склонности к обману.

Вот тогда и начались брильянты, генералы, певцы, годившиеся во внуки.

Общение же с Авдеенко и его друзьями в АПН можно обозначить как самый романтический период ее жизни после молодости, завершившийся запретом на брак с юным Игорем Кио, нашим будущим другом.

Цирк, конечно же, учреждение замечательное. Но цирковые — и даже те, кто работал, как у них говорят, “по разговору”, — не дотягивали все же до нашей компании, где длинные языки были у каждого — и мололи такого, что на партийных дачах не услышишь. Правда, и папа Галины в своей среде считался острословом (пока не появились сложности с зубным протезом), а на дне ее рождения блистал, я помню, в качестве тамады будущий военный министр (а тогда секретарь ЦК, курирующий оборонку) Дмитрий Устинов. На футболе в Лужниках к ней с веселой шуткой подошел брюнет — и она, когда брюнет отошел, сказала, что любит с ним разговаривать, такой обходительный человек, —

это был глава госбезопасности Семичастный.

Романтика выражалась и в том, что лебезившее перед Галей руководство АПН, наблюдая свободу наших с ней отношений, никого тем не менее, включая Авдеенко, в должностях не повысило.

Нет, непроста была советская власть, многое понимала — и знала, на чем держится.

У меня неоднократно осложнялись отношения с администрацией Дома журналиста — и не раз выходцами из военного флота и партийных органов я объявлялся после буйных вечеров в профессиональном клубе персоной нон-грата.

В один из таких разов сидел я почти до конца рабочего дня в нашем офисе на Пушкинской площади — и не знал, куда себя деть. Галина тоже задерживалась по своим соображениям. Авдеенко не появлялся — она, как всегда, спросила у меня: “Где твой начальничек?” Я, как всегда, ответил шуткой про Лубянку. “Поедем в Дом журналиста?” — спросила Галина. Я объяснил, что ДЖ для меня временно закрыт. “Все равно поедем!” — сказала она. И, пока от Пушкинской ехали до Суворовского бульвара, я предвкушал, как будут посрамлены сейчас администраторы, когда войдем мы с Галей.

Но получилось иначе.

Галя с улыбкой бросилась к бывшим адмиралам-партработникам, не успели они сделать при виде меня строгие лица: “Он хороший мальчик, такие подает надежды, мы все его в АПН любим, он на самом деле скромный, сам расстроен, что вы им недовольны…” Строгость на лицах смягчилась наигранным сомнением: “Ну ладно… Под вашу ответственность”.

Я был не отомщен, а только прощен.

В апээновскую бытность Галина той свободой в средствах, за какую потом всегда ее корили, не располагала (либо не решалась ее афишировать в нашем кругу). Конечно, у нее в сумке денег бывало больше, чем у нас перед получкой. И в такие дни гулять приходилось на ее деньги. Но в день получки Авдеенко подходил к каждому из нас (круг наш состоял человек из четырех-пяти) — и собранные деньги передавал Галине; никаких ее возражений при возвращении долга не принималось.

Сталкивалась ли она потом с подобной щепетильностью в денежных расчетах с теми богатыми мужчинами, что обязаны были ей карьерами?

Другое дело, что Галине нравилось быть хорошим товарищем — вносить некую праздничность в нашу жизнь, используя те возможности, какими располагала, — и это выглядело даже

трогательно.

Сидим мы с Авдеенко у меня в Лаврушинском, потребовалось срочно сочинить какую-то бумагу — дома, не на людях, она сочинялась быстрее.

Звонит Галина со ставшим уже привычным: “Где твой начальничек?” Врать, слава богу, не надо. “У меня”, — говорю. “Что делаете?” — “Варим полусуп” (мы так называли суп из пакетов). — “Вылей, сейчас приеду”. С Кутузовского до Лаврушинского на машине — минуты.

Конечно, у нас и бутылка была — иначе зачем же варить полусуп? Но Галя привезла в целлофановой упаковке польскую “Выборову” (не в обычном гастрономе купленную), сыр и колбасу (явно из домашнего холодильника, не хватает только на обертке грифа “совершенно секретно”, эти сыр и колбасу сам Леонид Ильич приемлет).

Так весело открывалась для меня жизнь в АПН под началом Авдеенко.

В первый мой сезон службы на Пушкинской собрания нашей ордынской компании продолжались, хотя Миша Ардов от них уже отходил, передав мне Галкина, — остальные (Боря, например, или Андрей Кучаев) относились к Гене хуже, чем я, но виду долго не показывали.

Соученик Миши и Гены Леня Лейбзон так и задержался в провинции: Галкин через год из Якутии, куда уехали они с Лейбзоном вместе, вернулся в Москву, а Леня переехал в бывший Сталинград.

Как-то на Ордынке (Виктор Ефимович отсутствовал) Галкин вдруг вышел из-за стола и скрылся в кабинете хозяина. Я из любопытства заглянул к нему — и очень удивился, застав его печатающим на машинке Ардова-старшего.

Гена, оказывается, решил немедленно написать письмо Лейбзону.

До сих пор помню начало письма: “Здравствуйте, дорогой Ленечка! Вы нам не пишете, не интересуетесь нашими делами. А дела неважные… [Галкин, разумеется, прибег к более резкому эпитету, но я стараюсь сократить количество неприличных слов в тексте, все же повествую о людях с университетским образованием.] Дело в том, — продолжал Геннадий, — что наш обозреватель Слон очень недоволен своим начальником Авдеенко…” На этом письмо прервалось (и дальше не продолжилось) — видимо, так же внезапно, как сочинить письмо, автору захотелось теперь выпить водки.

Так мы и не узнаем, в чем же, по мнению Галкина,

заключалось мое недовольство первым начальником.

На самом деле никаких причин быть недовольным Авдеенко у меня быть не могло.

Даже любопытно бы теперь представить, каким бы вырос я в Переделкине, не случись такого старшего друга, как Авдеенко.

Вообще-то мое неуклюжее, рассеянное и не всегда детское по ощущению себя детство никак вроде бы не обещало мне самой близкой — и на всю жизнь — дружбы с наиболее заметными по удали, лихости, ловкости, велосипедному (а затем и автомобильному) суперменству ребятами, как Шуня Фадеев и Саша Авдеенко.

Правда, с Шуней я начал тесно дружить уже взрослым — но как-то весело, сам себя в том убедив, подверстал свое, им незамеченное, детство к зрелой нашей неразлучности.

И мне кажется, что к наступившей позднее дружбе с Фадеевым я подготовлен был намного раньше начавшейся дружбой с Авдеенко.

В конце минувшего века на дне рождения Авдеенко гости, что были меня постарше, вспоминали давние времена в Переделкине — и я себя снова почувствовал среди них самым младшим.

Жена Игоря Кваши Таня Путиевская — вроде бы вчера еще девочка из соседней с Авдеенко дачи — своим девичьим впечатлением от лета то ли пятьдесят первого, то ли пятьдесят второго года и поделилась: как ездила на велосипеде тройка юношей в красных майках — Шуня Фадеев, Саша Авдеенко и Саша Семин с госплановской дачи — и называли их за цвет маек “красненькими”.

Прошло чуть больше десятилетия в наступившем веке — и мы с Таней (уже без ушедших один за другим Авдеенко и Кваши) вспоминали снова красненьких велосипедистов, но теперь уже вместо испарившегося из ее памяти Саши Семина — выдержанного, вроде Авдеенко, малого — появился я. И мне совсем не хочется возражать доктору Татьяне Семеновне Путиевской — и не воспользоваться случаем въехать в миф на чужом велосипеде.

Из-за существенной поначалу разницы в летах я отстал было от Авдеенко в темпах взросления — я только-только школу окончил, а он через год женился. На факультет журналистики пришел — а он уже закончил университет.

Перед моим завершением университета и некоторая пауза в отношениях возникла, могли отвыкнуть друг от друга. Но в АПН все выглядело продолжением детства — он в качестве заведующего оставался для меня все тем же старшим другом. И

вроде бы не в чинах было дело, а по-прежнему в чисто возрастном старшинстве. И подчинение ему казалось мне естественным.

Конечно, я и заигрывался, и о себе, может быть, возомнил, забывая, что публикацией материалов, позволявших возомнить, обязан был Авдеенко.

Поэтому недовольство, замеченное Галкиным в письме Лейбзону, было показным — и разрешенным тем же Авдеенко, поощрявшим меня из сохраненных с детства добрых чувств.

Я искренне считал, что и со всеми начальниками в дальнейшем у меня сложатся такие же, как с Авдеенко, отношения. Но ни один начальник не захотел терпеть моего вольномыслия и самомнения.

На четверть века я остался без штатной работы.

4

Изображать начальника у меня получалось лучше, чем у Авдеенко (в АПН я оставался вместо заведующего, когда он уезжал раза три за летний сезон в Коктебель).

Ему, правда, ничего и не надо было изображать: он рано нашел стиль поведения, исключив на служивых людях выплески вспыльчивости, свойственные ему, например, во время игры в футбол, демонстрируя неторопливую выдержку, равно импонирующую и начальству повыше, и подчиненным.

Изобразить начальника я мог, но не ощущал себя им, как не ощущал себя и подчиненным: всякое подчинение виделось мне унизительным.

Оставаясь без постоянной службы (и соответствующих доходов), я тем не менее физически полнел — и фактура, годная скорее для начальника, вероятно, тоже становилась помехой при попытках поступить куда-нибудь рядовым сотрудником.

Но вот через два с небольшим (насчет четверти века я чуть перегнул) десятилетия — и я начальник.

Мишарин занимает огромный кабинет бывшего редактора с “вертушкой” в специальном зарешеченным ящичке под замком. А мне сделали кабинет рядом, выселив библиотеку.

Выселение библиотеки вызвало недовольство ветеранов журнала. Особенно возмущался заведующий отделом науки Нехамкин (позднее я прочел о нем в записках Ярослава Голованова, они были соратниками). В тот день, когда для меня готовили кабинет, я из тактических соображений на службу не пришел — и о возмущении сотрудников мне рассказали доброхоты.

Мой кабинет окнами выходил на филиал Художественного театра (бывший театр Корша, а в здании, занятом журналом “Советский Союз”, сам Корш и жил). Я смотрел на фасад театра, вспоминал первый спектакль “Современника” в нем — и входил в роль второго лица в редакции (Мишарин настоятельно просил меня приходить теперь на работу в костюме, помнить, что я его *первый первый заместитель, и как можно меньше общаться с остающимся в штате первым заместителем прежнего редактора Колодным, чего мне, заранее скажу, сделать не удалось).*

Нехамкин, как старослужащий, понял, что несколько погорячился со своим возмущением новым заместителем нового главного редактора, — и зашел ко мне с визитом.

Я обрадовался его приходу — мне хотелось понравиться всем сотрудникам бывшего “Советского Союза” (их набиралось человек двести) и тем более такому заслуженному, как заведующий отделом науки.

Я чувствовал, что журналистская среда обо мне не слышала — и сотрудники недоумевают, откуда я взялся на их голову.

Поэтому я захотел сразу дать понять специализировав— шемуся на вопросах науки журналисту, что научный мир мне не чужд.

И сразу же рассказал ему, как ездил когда-то от издательства “Молодая гвардия” в Литву на Неделю русской литературы. В нашей делегации была вдова академика Янгеля — и директор издательства Десятерик упорно называл ее вдовой академика Янкеля, пока на банкете я не объяснил ему, что академик не еврей (как директор, скорее всего, полагал), а эстонец. Нехамкина история про Янкеля рассмешила — и на мой вопрос о научной компетенции вдовы он собирался ответить подробнейшим образом. Но успел лишь с хитрым лицом начать рассказ с имени дамы: “Ира Янгель…” И тут нас прервали.

Ответственный секретарь журнала посоветовал мне (для популизма, вероятно) оставлять дверь к себе в кабинет слегка полуоткрытой — сквозь незапертую дверь просунулась голова и позвала Нехамкина. Он извинился, объяснил, что спешно уезжает на какую-то конференцию, машина ждет внизу, — и пообещал дорассказать историю с женой Янгеля в понедельник (мы разговаривали с ним в пятницу).

Но за уик-энд Нехамкин умер, и я так и не узнал историю профессорши Ирины, вдовы знаменитого академика (в Москве есть станция метро его имени — и улица тоже).

С полуоткрытой ко мне в кабинет дверью связано и еще воспоминание. Заглянул в нее однажды Аджубей. Все знают, что после снятия Хрущева опального Алексея Аджубея, изгнанного из

главных редакторов “Известий”, приютил у себя в журнале “Советский Союз” Николай Грибачев. Но не всем известно, что после снятия в горбачевские времена с поста Грибачева сотрудники хотели избрать Алексея Ивановича Аджубея новым главным редактором — и вдвойне невзлюбили Мишарина (и меня, соответственно, как его фаворита), помешавшего восстановить справедливость.

И вот на меня, сидящего у окна с видом на бывший театр Корша, с нескрываемым любопытством смотрит сквозь непритворенную дверь Аджубей.

Как мне было не вспомнить год, наверное, пятьдесят девятый или шестидесятый. Идем с Галкиным мимо памятника Пушкину в сторону “Известий”, а навстречу Аджубей в светлом плаще и с непокрытой блондинистой головой. Аджубей учился в школе-студии МХАТ на одном курсе с Ефремовым. И княгиня Волконская, преподававшая нам манеры, рассказывала, что великий мхатчик Василий Осипович Топорков объяснял студенту Аджубею, сколь естественно он должен носить на голове цилиндр, чтобы публика не обратила внимания, какая у него большая под цилиндром голова. О должности Аджубея княгиня не знала — сказала только, что он теперь от газеты часто ездит за границу.

Шедший навстречу Аджубей смотрелся солидно и без цилиндра.

Я невольно обернулся ему вслед — и в то же мгновение погас электрический логотип над крышей “Известий”. Галкин тут же сострил: “Алексей ушел и вывеску погасил”.

Я пожалел лишний раз, что Галкин умер — и мне некому рассказать, с каким любопытством смотрел на меня Аджубей, вскоре организовавший для себя “Общую газету” (ныне не существующую и забытую).

Мне, вероятно, не хватало в жизни любви — и я надеялся обрести ее у потерявших уверенность в завтрашнем дне (с нашим к ним приходом) сотрудников бывшего “Советского Союза”.

Степень их неприязни я всего сильнее ощутил, когда мы совместно хоронили их былого руководителя.

Мишарин сказал, что политически будет более правильным, если на похороны поедет не он, а я. (И не сразу сообразил, что имел я в виду, заметив, что мы с Николаем Матвеевичем земляки.)

Свободомыслящие литераторы не любили Грибачева — и были у них на то веские причины.

У Семена Израилевича Липкина, за чьей конторкой вспоминаю я сейчас Николая Матвеевича, Грибачев, названный другой фамилией, стал персонажем летописной повести “Декада”. Липкин сдерживает раздражение — и говорит о Грибачеве жестко, но

стараясь быть объективным, лишней напраслины не возводить.

Сейчас о Грибачеве если и вспоминают, то в связи с его борьбой против молодых поэтов — Евтушенко и других: он относился к ним непримиримо, а они в нем видели ретрограда и оплот реакции.

Хрущев взял Грибачева под защиту, не дал сделать жертвой оттепели — и назвал его, сочтя найденные Грибачевым слова поощрением, автоматчиком партии.

Но и задушить Евтушенко с компанией Николаю Матвеевичу и приспешникам не позволил.

Недавно я слышал воспоминание Евтушенко о том, что он уличил Грибачева в клептомании — воровал строки у Пастернака.

По-моему, такой упрек стоит счесть комплиментом: у ретрограда был вкус, если он крал у Пастернака.

Я стихов Грибачева не читал. Мимо меня прошло и то знаменитое его стихотворение "Нет, мальчики!", где он врезает молодым поэтам, а Роберт Рождественский отвечает ему — и тоже стихом — "Да, мальчики!" (подхватив, как оружие, данное им Грибачевым прозвище).

Не все относились к Николаю Матвеевичу отрицательно. Помню, как в АПН Павлик Катаев говорил о нем с восхищением: "Нет у нас другого такого поэта-философа, разве что Александр Трифонович Твардовский, который в чем-то, может быть, его и превосходит". Миша Ардов тут же ввернул: "В антисемитизме".

Мне не понравились слова обоих — я Грибачева (как большинство, Пастернака), повторяю, не читал, но ставить его с Твардовским (которого читал) на одну доску поостерегся бы.

Кстати, насчет антисемитизма Грибачева. Когда я пришел в журнал, едва ли не половина сотрудников (и большая часть сотрудников руководящих) были евреи. А борьбу с ними начал не кто иной, как ближайший друг нынешнего президента общества "Холокост" Аллы Гербер Александр Николаевич Мишарин. Хотя никто его к тому не понуждал, как понуждали редакторов во времена Грибачева.

5

От библиотеки в моем кабинете оставались подшивки журнала "Советский Союз" за все годы — и я постоянно перелистывал их: старые подшивки моя непреходящая слабость. И у меня, читавшего регулярно "Советский Союз" в отрочестве (журнал начал выходить в предпоследний год жизни Сталина), возникла идейка сделать для нынешнего журнала воспоминание-комментарий.

Услышав о том, Олег Спасский тут же предложил мне навестить Николая Матвеевича дома. Олег был многим Грибачеву обязан, а поездка вместе со мной защитила бы его от возможного гнева нынешнего редактора.

Я понимал, что Мишарин прав, осуждая меня за короткость с первым замом Грибачева, Колодным, и просто замом (и главным редактором спортивного журнала-приложения) Спасским. Они не могли испытывать симпатии ко мне, прямому конкуренту за место в руководстве. Но очень уж давно не был я ни в каком коллективе — и в долгом одиночестве не успел отвыкнуть от советских привычек. Устоять перед любезностью того же Спасского мне удавалось плохо. К тому же Мишарин надувался и передо мной, когда оставались мы наедине и я пытался ему что-то втолковать (я-то хоть в АПН служил, а он к журналистике не имел прежде никакого отношения; но, как человек с оконченным театральным образованием, играл свою роль лучше, чем я с моим неоконченным).

Николая Матвеевича Грибачева в переделкинском детстве я видел обычно издали, через забор, когда проходил улицей Лермонтова. А так все больше на фотографиях.

Когда-то мы и в Лаврушинском жили в одном подъезде, но встреч там не помню. Теперь он жил на Кутузовском в одном доме с Брежневым, где гостевали у Гали мои приятели. Но вход в его подъезд — изнутри дома, со стороны двора.

Грибачев изменился. Исчезло из облика строгое офицерство, голову целиком он больше не брил, по бокам отросли седые опушки. Ему шел восемьдесят третий год, проступала старческая размагниченность. Вокруг кресла, в котором он сидел, были разбросаны оранжевые томики собрания сочинений Ильфа и Петрова. Что-то мне подсказало, что читает он их — и с удовольствием — впервые. К моему появлению Николай Матвеевич отнесся безучастно — его уже мало что волновало.

Не знаю, вполне ли искренне горевали о смерти Грибачева сотрудники. Или скорбь их была в пику нынешнему руководству? Но Мишарин очень медленно врубался в ситуацию — и порядка в редакции бывшего “Советского Союза” было много меньше, чем раньше.

Я вышел из редакции с огромным, купленным на казенные средства букетом — и сел в машину под злыми взглядами набившихся в автобус сотрудников.

В морге собрались люди уходящей номенклатуры — все те же хрущевские автоматчики, пережившие и Хрущева, и Брежнева, оппозиционные к новой власти, но на улицу не выброшенные. Я

различил среди скорее рассерженных, чем скорбных мужчин при параде Героя Советского Союза Владимира Карпова, назначенного новым генсеком руководителем писательского союза вместо Георгия Маркова, и оргсекретаря Юрия Верченко, встретившего меня как родного (я очень удивился, что он знает меня в лицо). Заметив реакцию Верченко, ко мне тут же отечески расположились и все остальные из стоявших близко от гроба. Сотрудники смотрели на меня с еще большей ненавистью. Они не поняли, что автоматчики, не знавшие о моей должности в бывшем журнале покойного, приняли меня за правильно (как у них это называлось, “патриотически”) сориентированного молодого человека. Не демократа из новеньких. Они прочли в моем появлении сыновнее почтение к Николаю Матвеевичу.

В чем-то они были правы.

При любой своей общественной репутации Грибачев оставался для меня папой товарища детства Юры (младшего сына Витю я по инерции считал маленьким, но когда он приходил в редакцию в связи с приготовлениями к похоронам, мы встретились дружески).

Юра был другом и ровесником Саши Авдеенко. Он чаще, чем тактичный Авдеенко, напоминал мне о том, что я младше. Но все равно можно сказать, что до определенного времени мы дружили.

К тому, что порицали тогда, именуя стиляжничеством, он отнесся со свойственной ему страстностью.

Помню, как идет он вслед за Шуней Фадеевым в таком же, как у того, длинном — почти до колен — пиджаке и держит в руке иностранные ракетки для пинг-понга.

Они идут мимо, меня не видят в упор, я смотрю на них с осуждающим (я стилягой не был) восторгом.

Знать бы (а знал бы, что изменилось?), как накрою саваном в гробу ближайшего и любимого друга Шуню в девяносто четвертом, а за два года до того приеду должностным лицом на похороны Юриного папы.

Юре боком вышли его стиляжьи заблуждения; вернее сказать, заблуждались таким образом многие из приятелей младшего Грибачева, но до конфликта с комсомолом дошло у него одного.

Исключенный из университета, он ушел служить на флот.

А вернулся другим человеком — и со всей страстью возненавидел продолживших учебу. И с прежней компанией (писательскими детьми, армии и флота избежавшими) не захотел больше водиться.

Более того, в опубликованным “Юностью” рассказе на авторе (портрет помещен в журнале) форменка матросская и тельняшка. Положительным началом в рассказе выставлены строгий, не

захотевший вступиться за отпрыска отец и любимая девушка, осуждавшая героя за стиляжничество, а вот среди отрицательных персонажей выведены Миша Ардов (в рассказе — Миша Бенский) и его отец (антитеза Николаю Матвеевичу), дающий сыну деньги на ресторан. Реальный Миша, конечно, образцом комсомольца не был (и состоял ли вообще в комсомоле?), тем не менее никаких денег отец ему на ресторан не давал; может быть, и дал бы, поступившись педагогикой, но жили Ардовы намного скромнее Грибачевых и в чем другом, а в материальном отношении баловать детей не могли.

Всю дальнейшую жизнь Юрий Грибачев трудился в международном отделе газеты, второго рассказа, насколько знаю, не сочинил и сторонился всех приятелей из Переделкина, Лаврушинского и, как видим, с Ордынки — кроме Авдеенко, носившего, кстати, студентом брюки, возмущавшие вкус полковника с военной кафедры своим цветом.

Но университет Авдеенко окончил.

Авдеенко обладал счастливым даром ни с кем никогда не ссориться. Помню, как в детстве на Беговой он не пустил меня на дворовый каток за то, что я не поучаствовал в его заливке, но в тот же вечер пришел ко мне с билетами на хоккей — и я пошел с ним на стадион “Динамо”, тотчас забыв обиду.

Мне, однако, кажется, окидывая прощальным взглядом жизнь и судьбу моего друга, что это великолепное качество все же повредило ему в газетной карьере. Он никогда не брал чьей-либо стороны в интригах, редакционных группировках, со всеми сохранял ровно-добрые отношения. И той карьеры, какой ему хотелось как человеку честолюбивому, все-таки не сделал.

Я всегда смеялся, что его рассказ о любой встрече строился по одному и тому же сценарию: каждый встречный ему радовался, восклицал, раскинув руки (Авдеенко непременно изображал эти раскинутые руки): “Саня!”

И это было чистой правдой. Люди при встрече с ним всегда радовались — и едва ли не все, кто знал Авдеенко, его любили: и мужчины, и — что уж стало городской легендой — женщины.

Такому качеству, как талант, и завидовать грех — оно же от природы, от заложенного в гены.

Из моего рассказа о пребывании на руководящих постах мы увидим, что я делал все для любви ко мне сослуживцев, но почти всегда достигал обратного эффекта.

Руководителей, которые добивались власти над подчиненными, а не их симпатий, любили, по моим наблюдениям, больше.

Но Авдеенко и власти не добивался. У него в подчинении

обычно бывали женщины, им это подчинение было, очевидно, в радость.

В девяностые годы, когда редактируемая Авдеенко газета “Экран и сцена” бедствовала (сотрудники и сам редактор получали крошечную зарплату или вовсе ничего не получали, работали за интерес), целиком зависела от подачек театрального или киношного союзов, я испытывал перед ним неловкость, снова оказавшись на руководящей должности в успешном журнале, нужность которого обществу вызывала бóльшие сомнения, чем то издание, с которым мучился мой друг.

Мне хотелось что-нибудь для него сделать, и тайно от Авдеенко я пробовал устроить ему приглашение в новый журнал “Обозреватель” — ответственным секретарем, например. И оказалось, что репутация у него, как у бонвивана, сложилась и у людей заметно помоложе нас, знавших Авдеенко только понаслышке.

Правда, от одного горячего почитателя Авдеенко, моего одногодка, я слышал, что сватал он нашего с ним общего друга к Егору Яковлеву, принявшему после руководства “Московскими новостями” и телевидением “Общую газету”, когда умер Аджубей. Я сам видел, как обнимаются при встрече Егор с Авдеенко. Но ходатаю Яковлев сказал: “Зачем нам этот плейбой?”

Скорее всего, в конце девяностых и в наступившем веке ангажемент прежнего уровня Авдеенко уже не светил — какая-то карьерная фаза (или ступень) была им пропущена.

Но Авдеенко и сам ничего не хотел менять в своей жизни. Он держался за “Экран и сцену”, когда бы любой на эту ставшую зряшней затею давно плюнул.

В своем следующем издании (“Обозревателе”) я с точностью повторил ошибки, совершенные на службе у Мишарина, — и зашел со своим популизмом в тупик, осложнив отношения с тем, кто позвал меня на эту работу, с кем вместе мы начинали строить журнал. Меня бы точно уволили, не закройся издание само по себе. Я долго сердился на господина, стоявшего во главе дела. Но теперь, задумавшись о механизме всякой власти (вне зависимости от ее уровня), я понимаю безосновательность своего гнева и весь резон обиды на меня начальника, понимавшего мои популистские действия как предательство.

Я же чаще оказывался на стороне чужих для него людей, а люди эти и со мною в дальнейшем повели себя как чужие.

Но и в третий раз, превратившись уже в главного редактора, я вел себя точно так же.

В “Обозревателе”, где мы стали с Ярославом Голованом сослуживцами, я сознательно решил ограничиться административной деятельностью. Мы взяли в штат несколько известных журналистов — в то трудное для всех (и для журналистов старой школы особенно) время мы легко могли соблазнить их своими условиями. И я взял над ними что-то вроде шефства, не обижаясь, что воспринимают они меня как бы хозяйственником. Я надеялся, что с их помощью мы сделаем настоящий журнал, — все же некоторый опыт на прежней службе был мною получен.

Наше благополучие доходило до смешного. Однажды начальник пожаловался мне, что его секретарша не успевает делать бутерброды: все приходившие в журнал авторы (солидные, известные люди) не могли отказаться от наших бутербродов с хорошей колбасой. И я сейчас же предложил выход из положения — взять еще одну секретаршу, поручив ей нарезать колбасу для бутербродов.

Я мало интересовался наукой после неудачи моей давней командировки в новосибирский Академгородок. Но к знаменитому журналисту Голованову, занимавшемуся космосом, автору толстенной книги о конструкторе Королеве, относился со всем почтением. И, как шеф-редактор “Обозревателя”, старался создать для него наилучшие условия.

Конечно, иногда я увлекался и начинал давать этому опытному человеку наивные советы (в роль руководителя я все же выгрался) — Ярослав удивлялся, почему я ничего не пишу сам, если раздаю всем идеи. Но сочинять заметки меня по-прежнему не тянуло.

На примере Голованова я начинал понимать, что и самый лучший журналист не в каждом издании способен себя проявить — точно так же, как замечательный артист или выдающийся футболист могут и не найти себя в театре или команде работающих по-другому, чем он привык.

В записках журналиста, опубликованных в его родной газете (“Комсомольская правда”), а потом вышедших отдельной книгой, Слава лишь однажды вспомнил про журнал “Обозреватель” — есть у него сухая запись, что сегодня в “Обозревателе” платят жалованье.

Галлай жил на улице Довженко, Голованову ехать к нему от аллеи классиков меньше пяти минут.

Место действия снова перемещается на дачу, где я пробую

сейчас сформулировать минувшее.

Слава по-соседски заказал Марку Лазаревичу статью для “Обозревателя”.

Материалы, проходившие по отделу Голованова, я обычно визировал не читая — верил Ярославу Кирилловичу на слово. Но тут интерес к Галлаю (я читал его книжки) заставил меня прочесть весь текст. Мне всегда кажется, что если что-то знаю я, то и остальным это известно. Отдельные места новой статьи показались мне повторением уже опубликованного (а я, строитель нового журнала, жаждал эксклюзива) — и кое-что я сократил; заодно поправил показавшуюся мне нескладной фразу. Авторитет Голованова — научного журналиста — был для меня так велик, что, попроси он меня все оставить в точности как у Галлая, спорить бы не стал. Но в завизированный мною материал Слава не заглянул.

Голованов впоследствии уверял, что валялся у Галлая в ногах, умоляя прийти к соглашению по тексту (вплоть до возвращения к первоначальному варианту, не изменив ни запятой) мирным путем.

Но автор был моей (он не знал, что моей) правкой задет — и позвонил с дачи в Москву нашему главному редактору.

Мы с главным редактором поначалу делили огромный кабинет (прежде больничную палату: содержавшая нас фирма “Микродин” купила под один из своих офисов бывшую клинику неподалеку от Октябрьского Поля) — и разговор его с Галлаем происходил при мне.

Марк Лазаревич сказал, что его даже Твардовский в “Новом мире” не правил.

Редактор почтительно выслушал летчика и заверил в своем глубочайшем к нему почтении, пообещав, что отныне каждая строчка Марка Лазаревича пойдет в набор без малейшего редакторского прикосновения.

Конечно, звонком Галлая — и особенно упоминанием в укор ему Твардовского — наш молодой редактор (моложе меня на восемнадцать лет, а Голованова на все двадцать пять) был чувствительно задет. И при мне очень резко выразился насчет подставившего нас Ярослава Кирилловича. Мои попытки отмазать Голованова, взяв на себя вину, начальственного гнева не умерило. Как человек из газеты (он заведовал спортивным отделом знаменитой молодежной газеты, но сейчас был вознесен временем и сильными знакомствами на несколько этажей выше), он не видел ничего предосудительного ни в правке, ни в сокращении текста любого автора. Он просто разочаровался в Голованове.

Я стал свидетелем спора двух журналистских школ — старой (к ней принадлежал допустивший неожиданную для его почитателя-начальника промашку Голованов) и новой (к ней относил себя сам редактор).

Высшим пилотажем (да простит меня Марк Лазаревич) новой школы считалась дружеская короткость со всеми знаменитыми людьми на свете — без нее наш редактор не мыслил работы журналиста.

Помню, он наставлял одну нашу молодую сотрудницу: “Ты так должна себя, Оля, зарекомендовать-поставить, чтобы на любой тусовке тебя, скажем, Саша Абдулов или Коля Караченцов сразу же узнавал издалека: «Привет, Оля!»” Серьезная девушка Оля говорила мне потом, что ей совершенно не нужно, чтобы знаменитости ее всюду узнавали — потом не напиши о них и слова поперек… Но вижу я, что в новой прессе Оля звездой не стала (вышла замуж и родила двоих детей), а редактор, вернувшись к себе газету, дружит теперь не только со знаменитостями во всех областях, но и с мэрами, и вице-премьерами, не считая министров.

Он посчитал журналистским недосмотром (или утратой профессионализма), что великий Голованов не сговорился с великим Галлаем — и тот пожаловался на него начальнику Голованова.

Я присутствовал и при разговоре редактора со слегка сконфуженным Славой. Редактор не высказал ему никаких упреков, лишний раз напомнил, что считает его одним из самых выдающихся журналистов страны, — и только после этого подошел к сути разговора.

Редактор посетовал, что руководство отделом науки отнимает у Голованова время для творческой работы, вынужденные паузы в которой обедняют журнал, лишая читателя удовольствия чаще читать статьи и очерки Ярослава Кирилловича.

Он предложил Голованову график занятий в журнале, позволяющий не ходить ежедневно на службу, а жить журналистско-писательской жизнью на даче, посещая редакцию только в дни летучек (ну и дней выплаты жалованья, что само собою разумелось).

И Голованов стал жить почти безвылазно на даче. А вскоре и я, законфликтовав с редактором, взял (по его настоянию) двухнедельный отпуск — и обосновался напротив дачи Голованова в ДТ.

Слава не знал о моих неприятностях — и навестил меня как начальника. Но пришел сильно (непривычно для меня) выпив — и

заговорил со мной о том, о чем трезвый вряд ли бы заговорил.

Я похвалил его за статью, опубликованную не в “Обозревателе”, а в “Комсомолке” (ему такие вылазки за околицу не запрещались). Он сказал, что справился по своему кондуиту — и эта статья оказалась для него тысяча пятисотой. “И что, — меланхолически продолжил мой сослуживец, — скажут, что я хороший журналист? Я и сам знаю, что хороший. Но мне важнее сейчас моя пьеса — сочинил уже первый акт, читал Мише Рощину, думаю над высказанными им как драматургом замечаниями…”

Ничего он мне в тот приход не сказал особенного, но мне запомнилось состояние человека, въехавшего уже в свое седьмое десятилетие, достигшего в профессии высокого потолка долгим трудом — и все равно готового сделать ставку на то, другое, что до сих пор не принесло ему успеха, равного успехам журналиста, — на литературу (не назовешь же записки Голованова попыткой писательства; он претендовал на литературу — представительство в писательском союзе как автора многих книг Славу ни в коей мере не устраивало).

Свои записки, выдержки из многолетних дневников, он декларировал как “Записки вашего современника”, а я прочел в них об усталом рабе — “Давно, усталый раб, замыслил я побег”.

Я вспомнил об ушедшем Голованове, когда смотрел фильм Германа-младшего “Бумажный солдат” про врача космонавтов. Двое гоняют среди луж на велосипедах вокруг стога сена — под двумя парнями подразумевались Гагарин с Титовым.

Я думал о том, что том-кирпич — добротная работа Голованова о конструкторе Королеве — весомее, на первый взгляд, домыслов и догадок людей, возможно, и более смело одаренных, но свидетелями наших времен по малолетству не ставших. Сейчас, однако, и меня самого увлекает взгляд на знакомые всем факты через линзу самостоятельно осмысленного, а не только зорко наблюденного — и с опасной притом близости, часто лишающей нас долготы размышлений.

Журналист Голованов (с благословления Королева, жаждавшего космонавта с литературным даром) и сам ведь собирался в космос, судьба пообещала ему стать первым космонавтом-газетчиком, тоже своего рода журналистским Гагариным.

Но от затеи остался лишь снимок на стене дачного кабинета, где первый в своем цехе состоявшийся стоит рядом с несостоявшимся из того цеха, что призван был сделать первого состоявшегося космонавта человеком на все времена.

Про Галлая я впервые прочел у журналиста, пожалуй, превосходившего в литературном отношении Славу, — у Анатолия Аграновского. Но мысли о последней ночи Марка Лазаревича при погашенном электричестве волнуют меня больше.

Я не испытывал самолетов, не летал в космос.

Но такие ночи мне легче вообразить.

Космос для немногих, а ночи такие — для всех.

Журналисты умеют писать — владеют профессией ежедневно, газета выходит каждый день.

А профессия писателя — существует ли она?

Писать он вынужден учиться постоянно — и бывают дни (а то и годы), когда пишущий чувствует, что ничего не умеет — и вряд ли сочинит хотя бы еще одну строчку.

Но из писательского неумения (у журналиста нет на него права), откровенности писательского незнания и происходит — не у всех, конечно, не у всех (у тех обычно, кто откровеннее в осознании своего незнания) — открытие той немыслимой простоты, которую наш переделкинский сосед сопоставил с ересью.

Голованов не пропускал собраний и летучек в редакции.

И после того разговора в Переделкине он удивлял меня тем, что вообще появлялся в журнале, и тем, как держался он с нашим редакционным людом и начальством.

Мне он казался во власти какой-то давней инерции, от которой, несомненно, избавлялся, занимаясь своими “Записками”, но в нее же и возвращался, словно соскучился по суете сует.

Наш спонсор — компания “Микродин” содержал и баскетбольный клуб “Динамо” — будущий тверской губернатор увлекался баскетболом.

Бюрократические службы клуба размещались на четвертом этаже, а наша редакция — на пятом.

В пору еще остававшегося у меня влияния разговаривал я в кабинете с нашим главным, как старший с младшим, о том, что если мы с ним (я еще так и говорил — “мы с ним”) не наладим дел в журнале, журнал закроют, а нас двоих за былые заслуги перед спортом переведут работать в пресс-центр “Динамо”.

Голованов в дни приезда с дачи обязательно, по какой-то, видимо, давней привычке, заходил к редактору без какого-либо дела — отметить свое присутствие, вероятно.

Поболтав несколько минут ни о чем, Слава собрался уходить — и сказал редактору на прощание: “Привет маме!” (маму

редактора он видел на гулянке, устроенной “Микродином” в Ильинском).

Когда Ярослав Кириллович ушел, редактор сказал мне задумчиво: “Интересно, будет ли кто-нибудь передавать привет маме, когда мы будем работать в пресс-центре «Динамо»?”

Я стал тяготиться ежедневным пребыванием на службе.

Я не сразу понял, что Голованов, как и мой друг Авдеенко, отравлен редакционной жизнью — и при всех своих планах сотворить что-то, в профессиональный кодекс не входящее, совсем вне редакции они существовать не смогут.

После закрытия “Обозревателя” Голованов вернулся в “Комсомолку”, которая для удержания тиража в изменившихся временах стала превращаться в желтую газету.

В “Записках вашего современника” Слава пишет об одной редакционной вечеринке, где все выражали ему знаки почтения, но сам он ясно понимал, что эти молодые люди и крошечным кусочком завоеванной территории никогда уже с ним не поделятся.

Кроме Ярослава Кирилловича в обновленной редакции “Комсомолки” трудилась обозревателем и еще одна звезда из прежнего состава — поэт, драматург и прозаик сверх журналистской программы.

Слава был единственным мужчиной, который не поддался беспроигрышному эротическому излучению, исходившему от этой всеми признанно интересной дамы (между прочим, и Авдеенко когда-то перед ним не устоял). Голованов и в “Записках” отзывается о ней скептически, засомневавшись даже в ее хваленом очень многими литературном даре.

Я пожалел, что плохо знаю журналистскую специфику — и потому вряд ли сумею распорядиться сюжетом, в котором бы эти испытавшие столько громких любовных связей, не совсем молодые люди, оказавшись вдруг в профессиональной и возрастной изоляции, прониклись друг к другу такими чувствами, что и Шекспира было бы впору воскресить.

Но Голованов приезжал на работу в старое здание “Комсомолки” на улице Правды, а газета Авдеенко, меняя адреса, помещалась теперь всегда в одной комнате, и число сотрудников (работавших теперь уже навсегда за идею) все сокращалось. Тем не менее любящий разные работы на дачном участке мой друг ни за что не соглашался бросить редакцию.

Я не был таким поклонником Ремарка в конце пятидесятых

(или шестидесятые уже начались?), когда повальная мода на его “Трех товарищей” захлестнула всех. Но сейчас, чтобы узаконить право Авдеенко на управление автомобилем в нетрезвом виде (у Алика Марьямова в стихотворении для капустника есть слова про него: “Он опять зовет своих друзей пьяными поехать на машине”), прибегну к авторитету немецкого писателя, вынужденного из-за Гитлера эмигрировать в Америку. Кстати, помню, что Авдеенко “Тремя товарищами” тогда восхищался — и говорил, что не встречал в жизни людей, говоривших так афористично-метко, как персонажи Ремарка.

Я никогда потом “Трех товарищей” не перечитывал, а со спектакля в “Современнике” ушел после первого акта. И не потому даже, что мне так уж не понравился спектакль (вряд ли Чулпан Хаматова плохо играла героиню). На премьеру собралась вся элитная, как принято стало говорить, Москва. Я смотрел будто по телевизору на знаменитых людей, скапливающихся в фойе к началу спектакля, — и думал о том, что все лучшие, по нынешним меркам, люди собрались, а ощущение провинциальности меня не оставляет. И когда спектакль начался, я продолжал думать о пока необъяснимых причинах этой тягостной провинциальности — и спектакль стал казаться (несправедливо, наверное) поставленным не то чтобы для них (премьерной публики), но для той публики, которой эта, премьерная, стала во всем самодовольно, иначе не скажешь, потакать.

Премьера проходила июньским вечером, когда вышли в антракте на воздух, еще не стемнело. Я представил себе продолжение вечера в Переделкине — и, увидев с крыльца театра свободное такси, предложил жене немедленно уехать — никто не заметит нашего исчезновения (точнее, не поверит в его возможность) и обид на нее не будет. Насчет обид я ошибся — на премьеры в “Современник” ее больше не приглашали.

Я не перечитывал “Трех товарищей” и забыл имя героя. Но помню, что старшего из товарищей, бывшего летчика и автогонщика, звали Отто Кестер. И этот Кестер, когда герой после смерти девушки напивается вусмерть, заставляет его учиться делать резкие повороты на мокром после осеннего дождя асфальте — и герой, невольно сконцентрировавшись, быстро приходит в себя.

У меня осталось впечатление, что мои друзья Шуня Фадеев и Саня Авдеенко мгновенно концентрировались, стоило им пьяными сесть за руль, — и ездили лучше, чем трезвые. И я абсолютно доверял им, в каком бы виде они машину ни вели.

Правда, Фадеев (он был на год старше Авдеенко) и лет на

двадцать раньше, чем Авдеенко (правда, он и прожил меньше, чем его одноклассник, почти на те же двадцать лет), решил от экспериментов за автомобильной баранкой отказаться. Когда летом восемьдесят второго года я гостил у него в Жуковке, Шуня, если предстояла ему поездка с дачи в город, за день до нее от вина вообще воздерживался.

Авдеенко и в начале нового века примеру Фадеева не следовал, но некоторым тревожным симптомам именно мне выпало быть свидетелем уже в середине девяностых годов минувшего века.

7

Мы, как обычно, ехали с похорон, но еще на машине.

На поминках старика Габриловича Авдеенко подошел ко мне — мы сидели на разных концах ресторана Дома кино — и напомнил, что сегодня девятое декабря, день, когда мы отмечаем годовщину смерти Александра Моисеевича Марьямова, и надо бы нам часа через два двинуться на Аэропорт.

Похороны Евгения Иосифовича пришлись на такой скучно-счастливый период, когда я мог с совершенно ненужной в общежитии проникающей трезвостью взглянуть вокруг себя — и на ближайших друзей в частности.

Как заведомо трезвому (с повышенным, значит, чувством ответственности) сын покойного Леша (через год и он неожиданно умрет — не от старости, а от не прерванной вовремя молодости, позволим себе так изящно назвать запой) дал мне важнейшее поручение поставить себе под ноги ящик с водкой. Если водки на поминальных столах будет не хватать, ко мне подойдет официантка Карина, и я добавлю ей бутылок десять-пятнадцать, столько, в общем, сколько скажет; а не подойдет — заберем весь ящик к Лешке на квартиру, тогда и на девятый день еще останется).

Я сказал Авдеенко, что к Марьямову мы, конечно же, отсюда поедем, но при условии, что за оставшиеся полчаса он больше двух рюмок не выпьет, а то слышал со своего места, какую околесицу он нес, когда выступал.

Я, конечно, знал, что поедем мы в любом случае, но обратил внимание своего друга, что процесс опьянения уже пошел.

Кто бывал в Доме кино, наверное, заметил, что движение по Брестской (параллельной улице Горького) улице одностороннее. Левый, если ехать от фасада Дома кино, поворот исключен.

Я, не садившийся за руль с отрочества, об этом помнил, а великий шофер Авдеенко, увлеченный новыми мыслями про старика Габриловича, вероятно, забыл. И удивился матерной триаде встречного, уже половину улицы проехав по дороге к площади перед Белорусским вокзалом.

Дальше мы долго стояли в пробке. Я тактично молчал, полагая, что водитель Авдеенко потрясен случившейся промашкой.

Но после продолжительного молчания он обратился вдруг ко мне с вопросом: “Слонтик (он всегда называл меня именем, придуманным Галей Брежневой), а почему мы совершенно не…” Он использовал, естественно, сленговый термин, глагол в настоящем времени, — я понял, что волнует его вовсе не исполнение супружеских обязанностей или чувство вины перед подругами (иногда врывающимися в режим семейной жизни) за недостаточность отведенного им личного времени.

Он сожалел о другом.

Машина, управляемая нетрезвым водителем, под влиянием выпитого на прощании со стариком, широко шагнувшим в десятый десяток, превратилась в машину времени, откатившую нас в годы, когда разветвленность личной жизни, как недавно выразился один ставший высоконравственным поэт, предполагала безграничный секс (хотя в те наши времена мы никогда и не употребляли слова “секс”, предпочитая выражения поэнергичнее, что соответствовало тогдашней энергии организма).

Но пробка на площади перед Белорусским вокзалом рассосалась наконец — и мы вернулись к реальности. Надо было ехать дальше.

Мы выбрались на Ленинградский проспект — и теперь Авдеенко считал, что мы едем на дачу — в Переделкино, куда вообще-то ведет Кутузовский.

Доехали. Но не до Переделкина (куда почему-то рвался Авдеенко, сам же все поминки державший в голове, что мы непременно должны успеть на годовщину Александра Моисеевича), а до дома около метро “Аэропорт”, где жил Марьямов.

Некоторое время Авдеенко посидел за столом, добавил рюмки две — и уложен был в бывшем кабинете Марьямова-старшего.

Он лег с уверенностью, что доехал-таки до Переделкина — и спросил: “А где Лариса?” Я пошутил, что Лариса от него ушла.

Лариса — жена Авдеенко, прекрасная дама с бесконечным, по традиции русских женщин, терпением никуда, конечно, не ушла бы. Мой друг мог не беспокоиться. Да он и не беспокоился —

заснул, не дослушав шутки.

…Разбитую после похорон Славы Голованова машину ремонтировать никто не взялся. Купили у Эмиля Кио подержанный “мерседес” синего цвета — и от фокусов за рулем в нетрезвом виде пришлось навсегда отказаться.

С похорон Игоря Кио — точнее, с поминок в ресторане нового (вместо сгоревшего) Дома актера на Арбате — мы возвращались на электричке.

Мой друг, освобожденный теперь на представительские дни от управления машиной, ни в чем себе за столом не отказывал — и не соглашался покинуть ресторан до момента, когда начал называть Игорьком (именем покойного) остававшегося в живых Эмиля.

В электричке он иногда проваливался в сон, но какая-то мысль всю дорогу его мучила. Сформулировать ее Авдеенко смог только при прощании возле дачи.

Погоревав дополнительно из-за кончины Игоря, он сказал, вне просматриваемой сразу связи, что пережить мою смерть ему все-таки было бы намного тяжелее.

Миша Ардов, когда узнал о предложенной Авдеенко своего рода иерархии скорби, превратил все в шутку и всегда тактично напоминал мне при случае, что переживет мою смерть с не меньшим, чем мой сосед, огорчением.

После моих регулярных — почти пятилетие — больниц, где Авдеенко навещал меня, разговоры о смерти (в данном случае моей) превращались в некий шутливый, как хотелось мне думать, рефрен наших разговоров, особенно если он бывал навеселе, поздравляя с Новым годом, например. Он любил позвонить в первую же секунду наступившего года, сразу же после двенадцатого удара часов.

После смерти Авдеенко я сказал Игорю Кваше, что никто никогда больше не позвонит мне подобным образом.

Но сразу вслед за последним ударом часов, завершивших две тысячи одиннадцатый год, зазвонил у меня телефон — Игорь решил, что не стоит отказываться от традиции, положенной дачным соседом и старым другом.

Традиция все равно вскоре прервалась навсегда: Кваша пережил Авдеенко чуть-чуть меньше, чем на год.

Прежний прогулочный круг — достопримечательность былой писательской местности — то ли разонравился мне (за столько-то лет) и я не хочу никаких новых встреч на нем ни с живыми, ни с

призраками минувшего, то ли пугает он меня смысловым замыканием (как и всякий, впрочем, круг).

Я пытаюсь по мере сил расширить его за счет движения по территории меньшей мемориальности — и мы теперь на прогулках сворачиваем с аллеи классиков в безымянный переулок, выводящий на соседнее селение Лукино.

Прошлым летом, прогуливаясь в одиночестве, я не повернул вовремя обратно, не желая прерывать мысли, — и прошел вдоль железнодорожного пути до самого моста через Сетунь. И уж оттуда по узкой асфальтовой тропинке пошел вверх улицей Погодина.

Навстречу мне шли две немолодые женщины. Я заранее сошел с асфальта на траву, чтобы дать им пройти. Но когда, поравнявшись с ними, поднял глаза, увидел, что уступаю дорогу тете Вале Любцовой, умершей лет двадцать с лишним тому назад.

И тетя Валя, сразу узнав меня, остановилась — спросила: “Саша? Или Миша (так зовут моего младшего брата)?”

И я только тогда сообразил, что это тети-Валина дочь — Галя.

Когда тетя Валя работала на гардеробе в Доме творчества, она, случалось, рекламировала меня писателям помоложе: “Мы-то с ним помним войну, я в бомбоубежище с Галкой пришла, Борьки еще не было (сын Борька родился у тети Вали в конце войны от писателя Нагибина, чем она потом всю жизнь тайно гордилась), а Сашу отец на коляске привез”.

В сумерках засыпанную снегом лавочку перед дачей можно принять за сугроб.

Я смотрел в окно, воображая, как спадут морозы, наступит весна с неудержимым таянием снегов, придет лето — и мы с женой будем сидеть вечерами на этой лавочке.

И тут же подумал, рассердившись на себя, а почему обязательно чего-то ждать — жить предчувствием вряд ли вероятных перемен, а не просто жить сию минуту, сию даже секунду, что электронные часы нам позволяют?

Но чего бы стоила сия минута или даже сия секунда, не вмести она в себя всех предыдущих минут и секунд.

Иллюстрации к книге

Интересно, о чем я думаю накануне своего трехлетия? Война уже далеко от Переделкина, но заклеенные бумажными

полосками стекла — память о ее начале. 1943 г.

Дача в Переделкине. Перед домом вся наша тогдашняя (младший сын еще не родился) семья. Первенец — на руках матушки. 1943 г.

Все (или многое) изменилось во мне и вокруг меня. Но кошек

я люблю по-прежнему. Середина 1950-х гг.

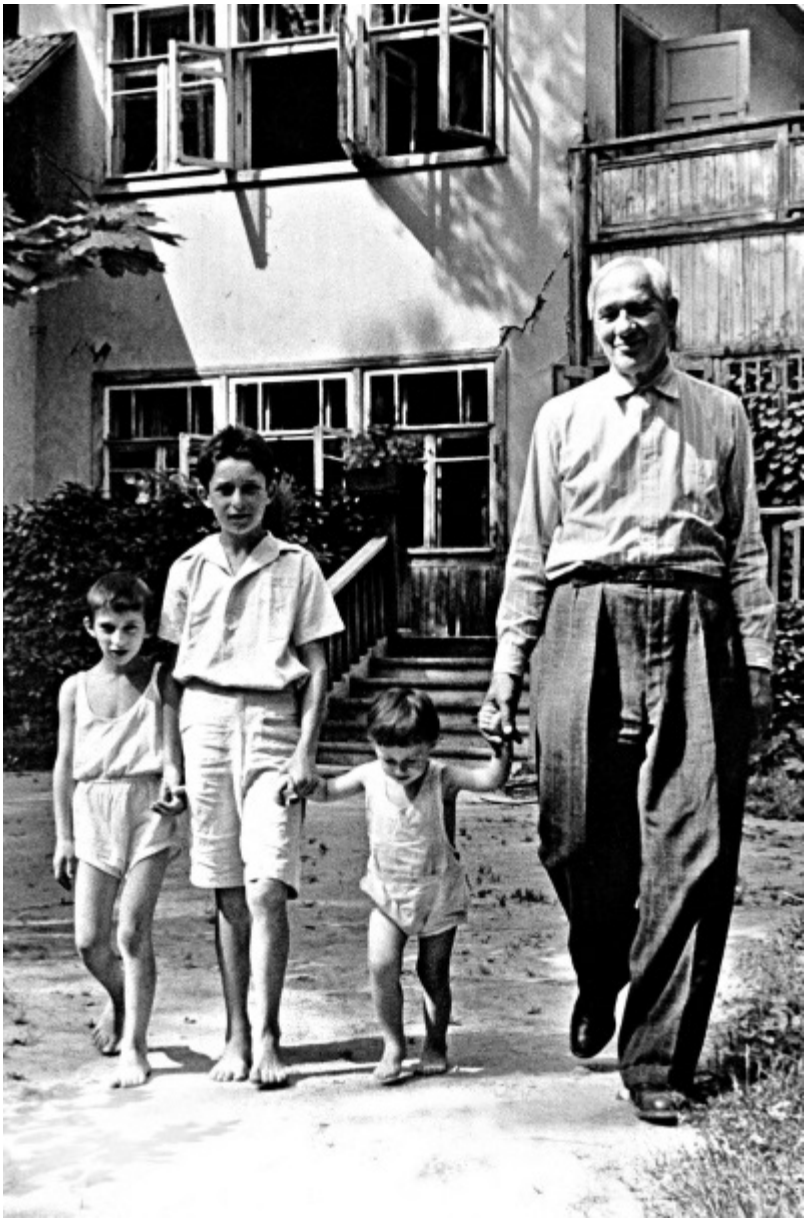
Отец в пору успеха. Павел Нилин, автор повестей “Жестокость” и “Испытательный срок”. Конец 1950-х гг.

Наш знаменитый Самаринский пруд. Отец еще курит, значит, — середина 1950-х гг.

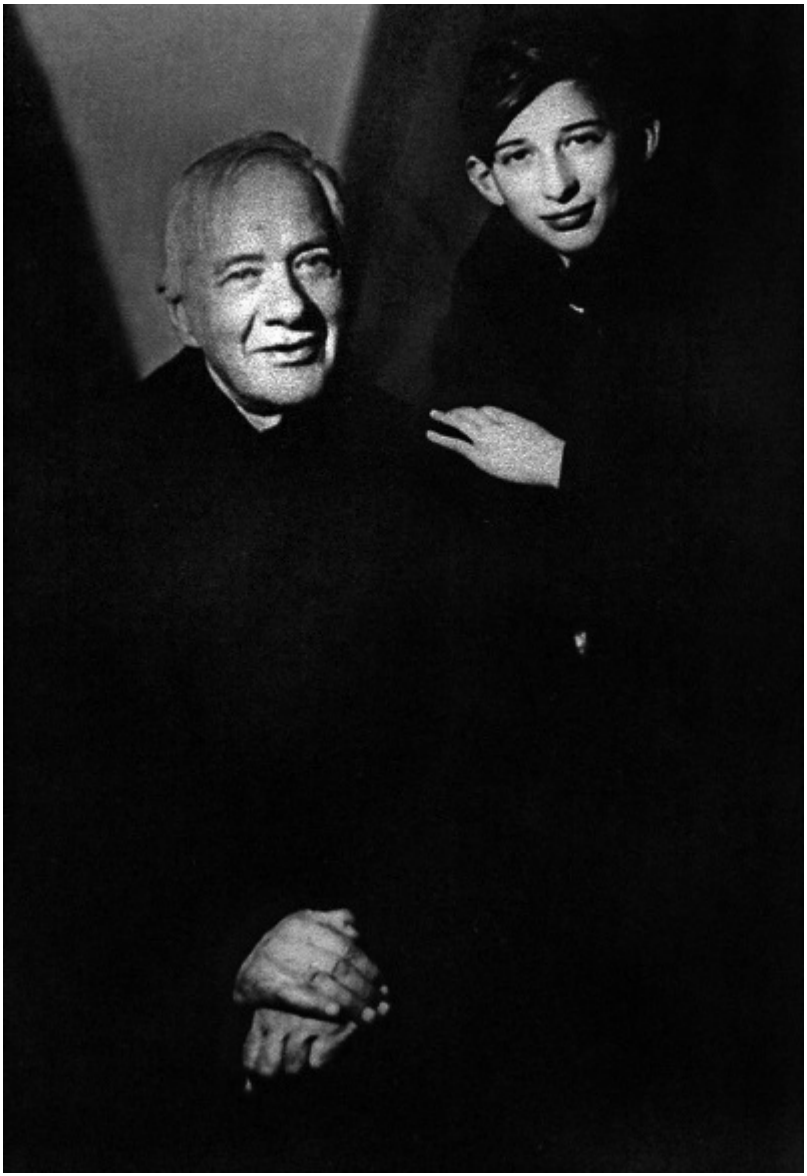
Сказочник Евгений Пермяк сам построил дом, вырыл маленький прудик и решил прокатить на резиновой лодке соседа Нилина.

Мое раннее — в два года — знакомство с Корнеем Ивановичем Чуковским. Слева — мама Матильда Иосифовна. Знакомство пришлось на 7 ноября 1942 г., что удостоверено знаменитым военным фотографом Виктором Теминым.

“Как у наших у ворот…” У ворот дачи Чуковских мой отец и Николай Корнеевич. Конец 1950-х гг.



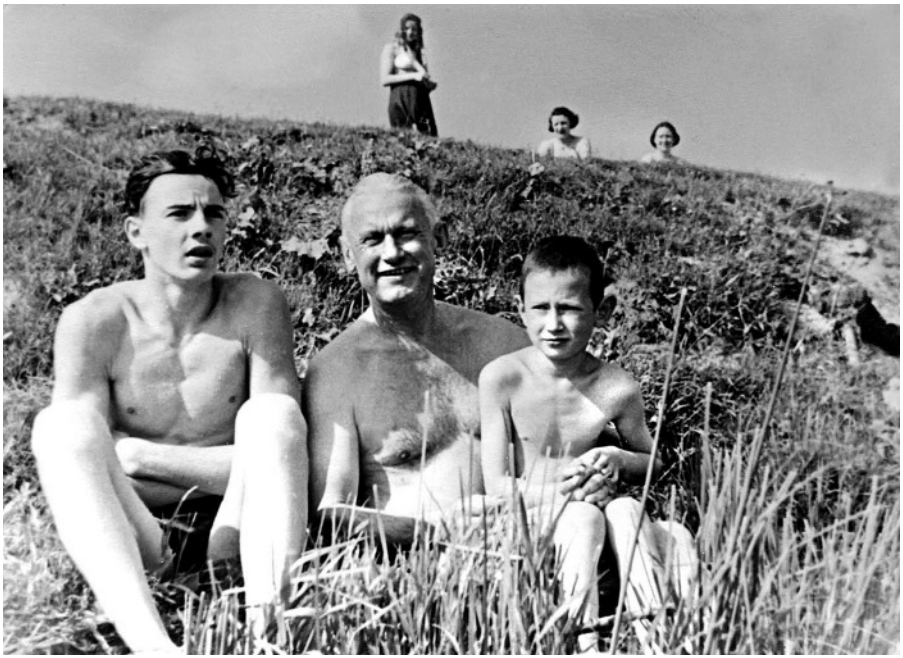
Корней Иванович Чуковский с внуками: младшим Дмитрием, старшим Николаем (по-домашнему Гулькой) и Евгением (Чукером). Переделкино, 1947 г. (ГЛМ)



Таким Чукера отчетливее всего помню. В те времена — начало 1950-х гг. — он был очень близок с дедом.

Детская библиотека наконец открыта. В центре — Корней Чуковский и Павел Нилин. 1957 г.

Дача А. А. Фадеева в Переделкине (проезд Вишневского, д. 3). Дома этого уже нет, но в истории и писательского городка, и литературы он остается. 1946 г. Фото Д. Шварцмана. (ГЛМ)



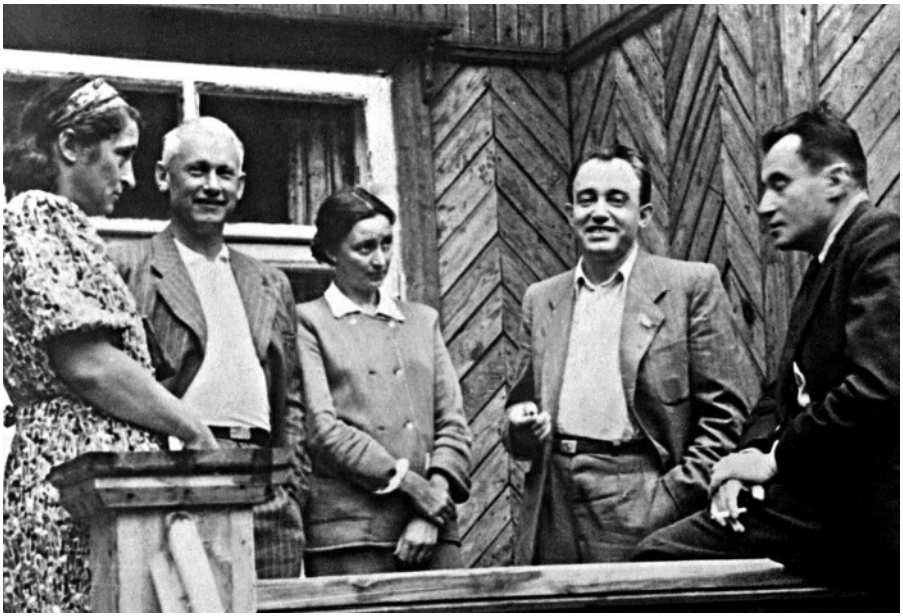
Александр Александрович с сыновьями: старшим Александром (Шуней) и младшим Мишей.

Фадеев-отец был примером для сыновей и в физической выносливости.

Одиночество Александра Фадеева… На берегу Самаринского пруда.

Ангелина Осиповна Степанова, народная артистка СССР — в роли мамы Миши. 1946 г. (ГЛМ)

А здесь в роли посложнее — матери двух очень разных сыновей.



На крыльце фадеевской дачи сплошные знаменитости: от Ванды Василевской (ныне забытой) до Валентина Катаева. На оси мизансцены: Фадеев, Степанова и Александр Корнейчук (кое-кто его еще помнит). 1949 г. (ГЛМ)

Этот семейный снимок всегда висел над изголовьем кровати Ангелины Осиповны. 1950 г. (ГЛМ)

А. Фадеев подписывает свою лучшую книгу «Разгром» землякам с Дальнего Востока. 1950 г. (ГЛМ)

“Я один, все тонет в фарисействе…” Борис Пастернак. Переделкино, 1956 г. Фото А. Лесса. (ГЛМ)

Борис Леонидович, Зинаида Николаевна и пес, в дачном обиходе — Мишка Пастернак. 1958 г. (ГЛМ)

Наши соседи по улице Беговой — Николай Алексеевич и Екатерина Васильевна Заболоцкие, запечатленные у своего дома осенью 1956 г. их сыном Никитой. (ГЛМ)

Автор нестареющих “Двух капитанов” Вениамин Александрович Каверин — его сын Коля (по переделкинскому “Килька”) женился на Наташе, дочери Заболоцких. Москва, 1948 г. (ГЛМ)

Дачные соседи Павел Нилин, Валентин Катаев и Лев Кассиль ближе к объективу, чем друг к другу. У входа в Колонный зал. Москва, 1958 г.

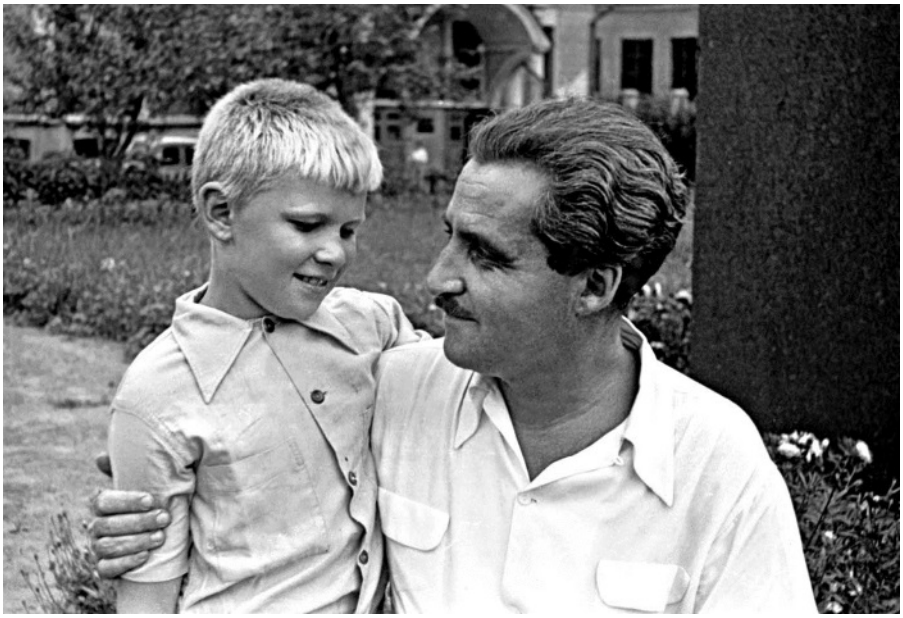
Валентин Петрович Катаев. 1947 г. Фото Д. Шварцмана. (ГЛМ)

Павел Нилин с Юрием Карловичем Олешей. Дом творчества писателей “Переделкино”. 1958 г.

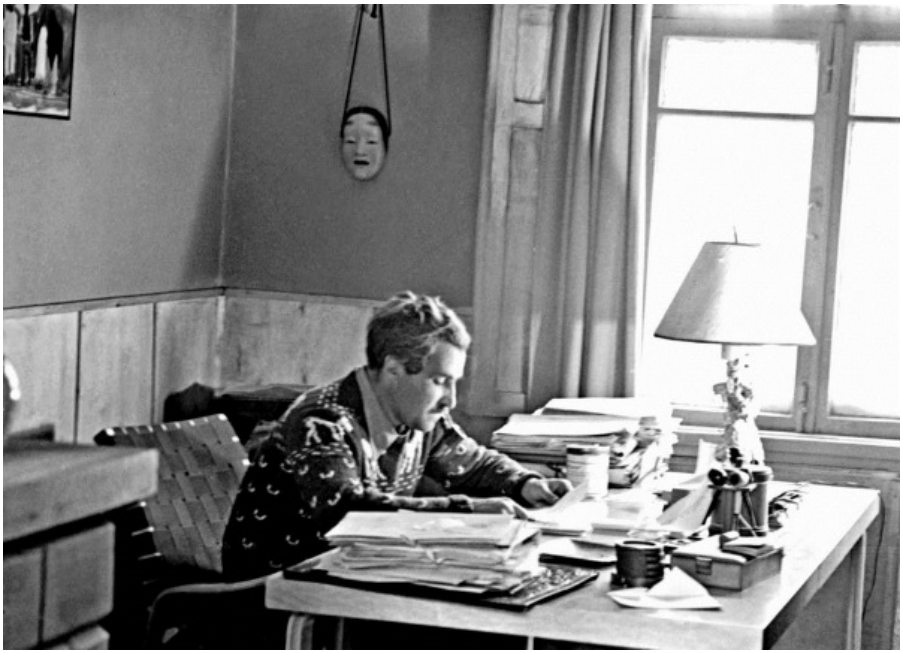
И опять Дом творчества. В столовой после обеда Константин Георгиевич Паустовский рассказывает что-то интересное Александру Яшину и Павлу Нилину. 1960 г.

Актриса и поэт — Константин Симонов и Валентина Серова. 1949 г.

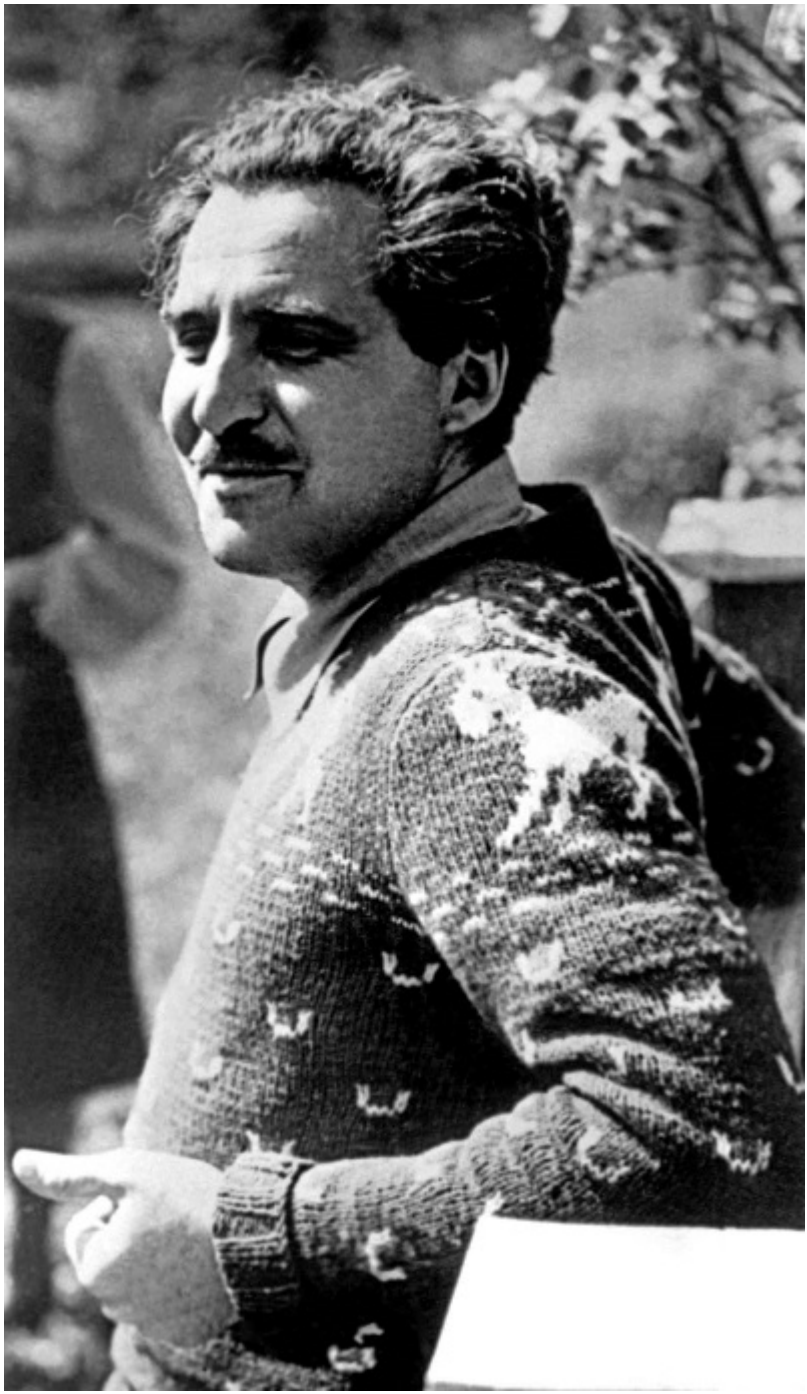
Фото Я. Рюмкина. (ГЛМ)



Толя Серов с отчимом. 1948 г. Фото Е. Ряпасова. (ГЛМ)

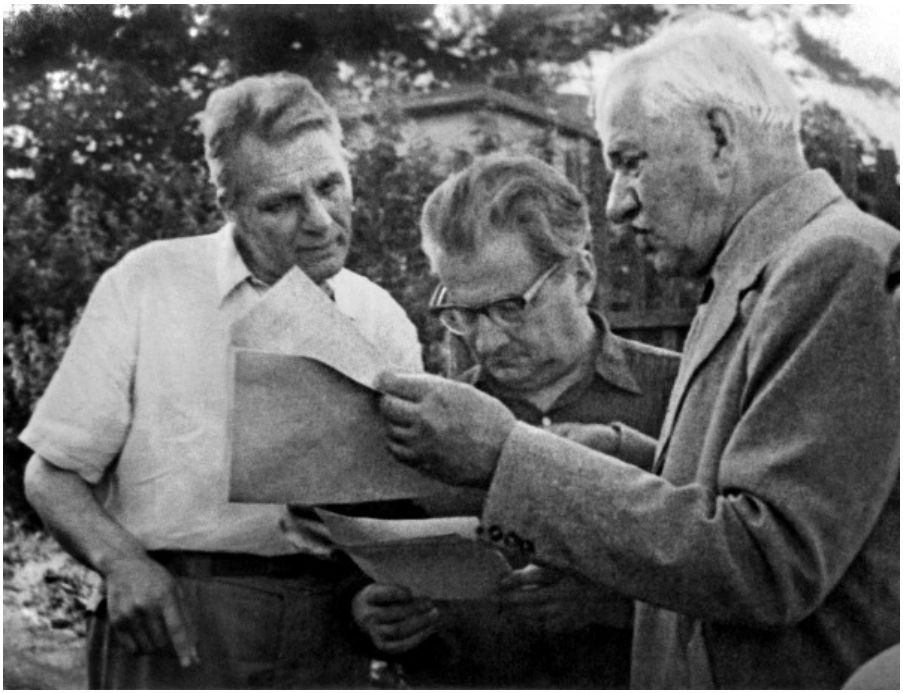


“Общим местом было мнение о неистовой трудоспособности Константина Михайловича”. Фото Я. Халипа. (ГЛМ)



К. Симонов. Переделкино, 1948 г. Фото Г. Зельдина. (ГЛМ)

Переделкинские классики Константин Федин (с трубкой) и Леонид Леонов (с тростью) на прогулке. 1950 г. Фото А. Лесса. (ГЛМ)



Новосел Сергей Сергеевич Смирнов с дачными старожилами Ираклием Андрониковым и Корнеем Чуковским. Конец 1950-х гг.

Под лестницей Дома творчества (возле каморки с телефоном): Ярослав Смеляков, Сергей Смирнов и Павел Нилин. 1960 г.

Наталия Ильина (в центре) привезла в Переделкино свою парижскую племянницу Веронику Жобер. Рядом с ней К. Чуковский. Слева мы с отцом. 1966 г.

Этот снимок Сергея Сергеевича Смирнова с попугаем Арой стоял на письменном столе отца.

Семейный портрет в интерьере. Шуточная фотография семьи Смирновых. Сергей Сергеевич и Виргиния Генриховна с их старшим сыном Андреем, студентом ВГИКа. Начало 1960-х гг.

Сергей Сергеевич с младшим сыном Константином (Котей). 1960 г.

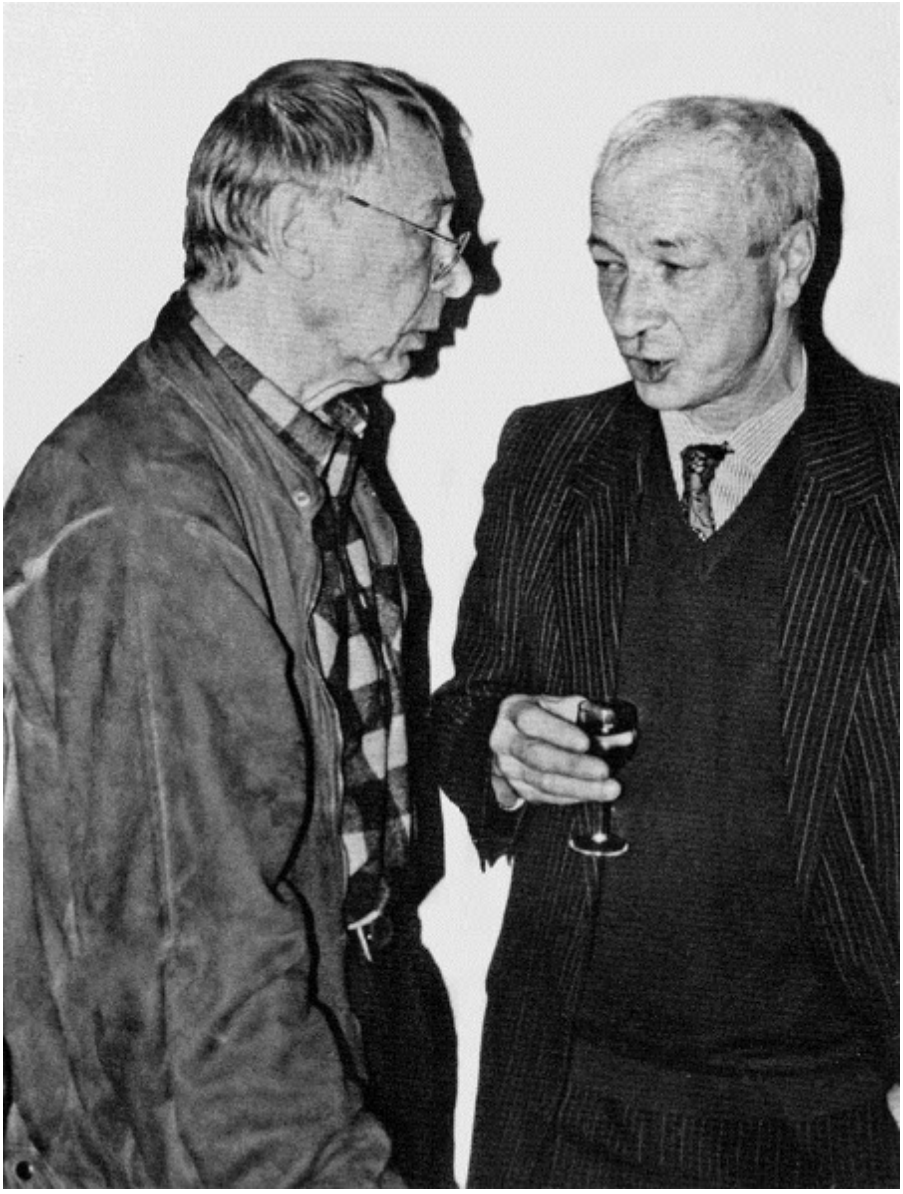
Ответственные роли разбойников в фильме исполнили отец режиссера и один из героев обороны Брестской крепости — Алексей Романов.

“Смирнов-фильм”. Будущий знаменитый режиссер Андрей Смирнов снимает первое кино. В главной роли — брат Костя. Конец 1950-х гг.

Не нравлюсь я себе на этом снимке — мало похож на отличника учебы. Впрочем, я им и не был. 1954 г.

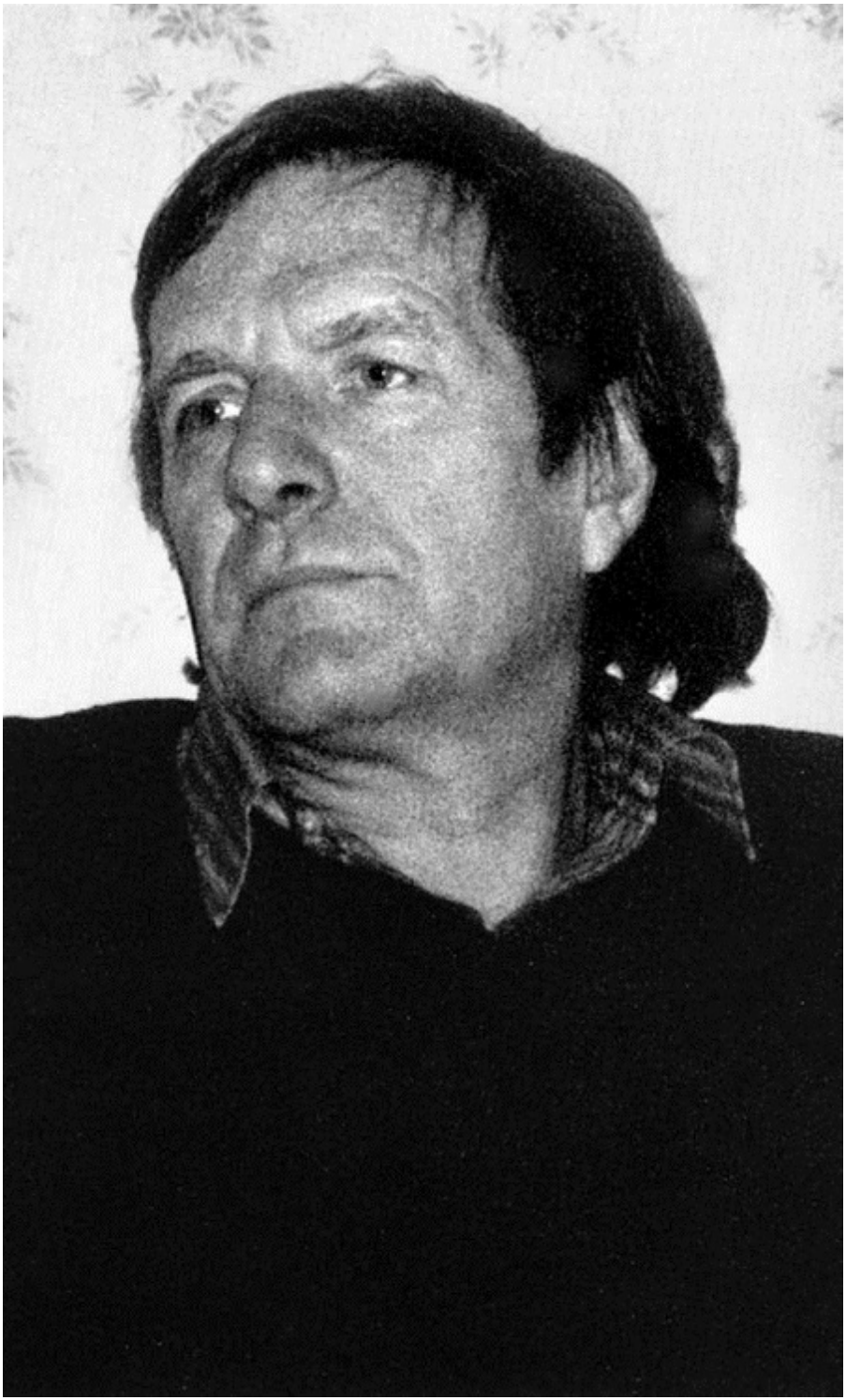
Судя по тому, что за спиной у меня решетка ограды здания Московского университета на Моховой, высшее образование я все-таки получил… 1964 г.

С Александром Авдеенко мы дружили шестьдесят четыре года… Начало 1960-х гг.

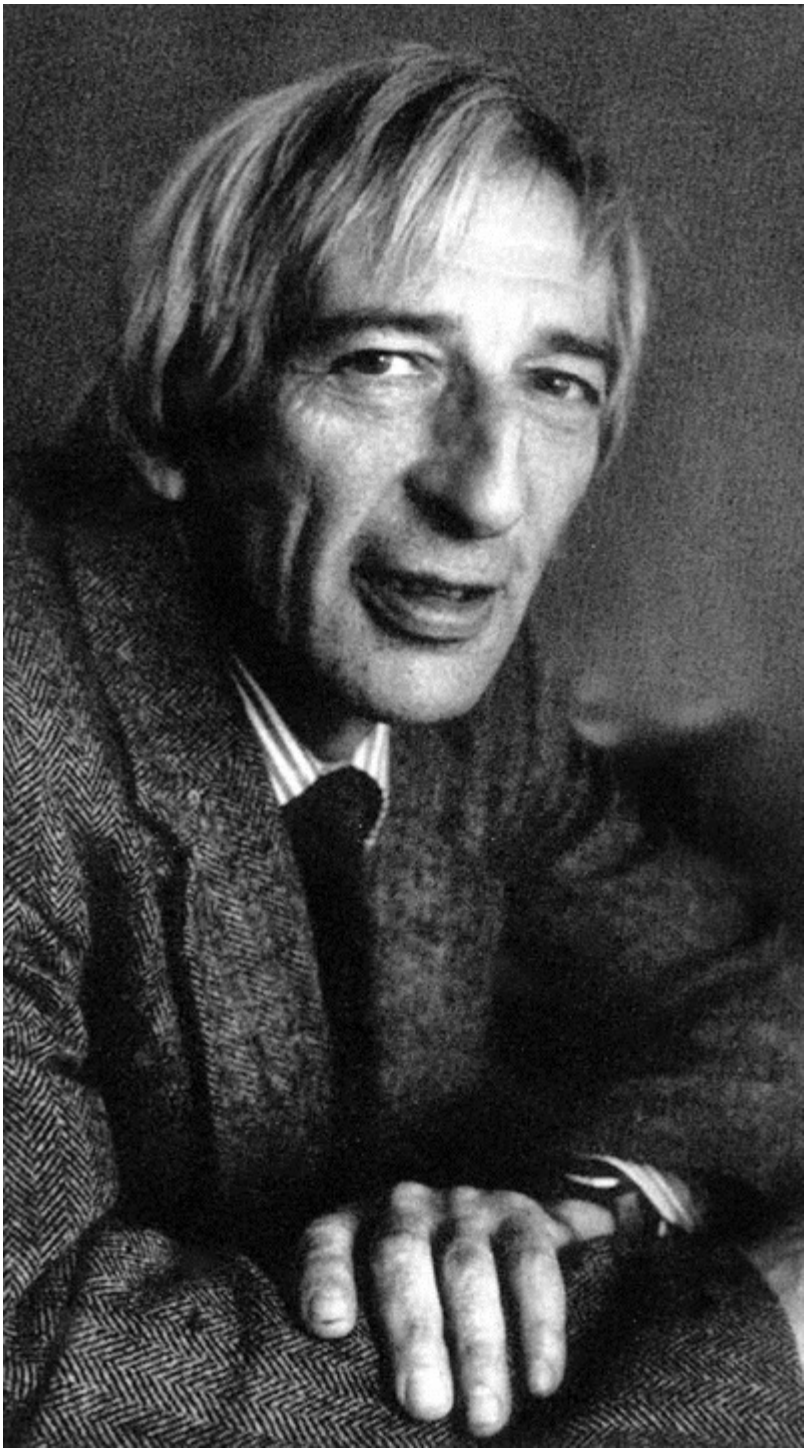


Олег Ефремов и Александр Авдеенко на празднике в театральном журнале. Начало 1990-х гг.

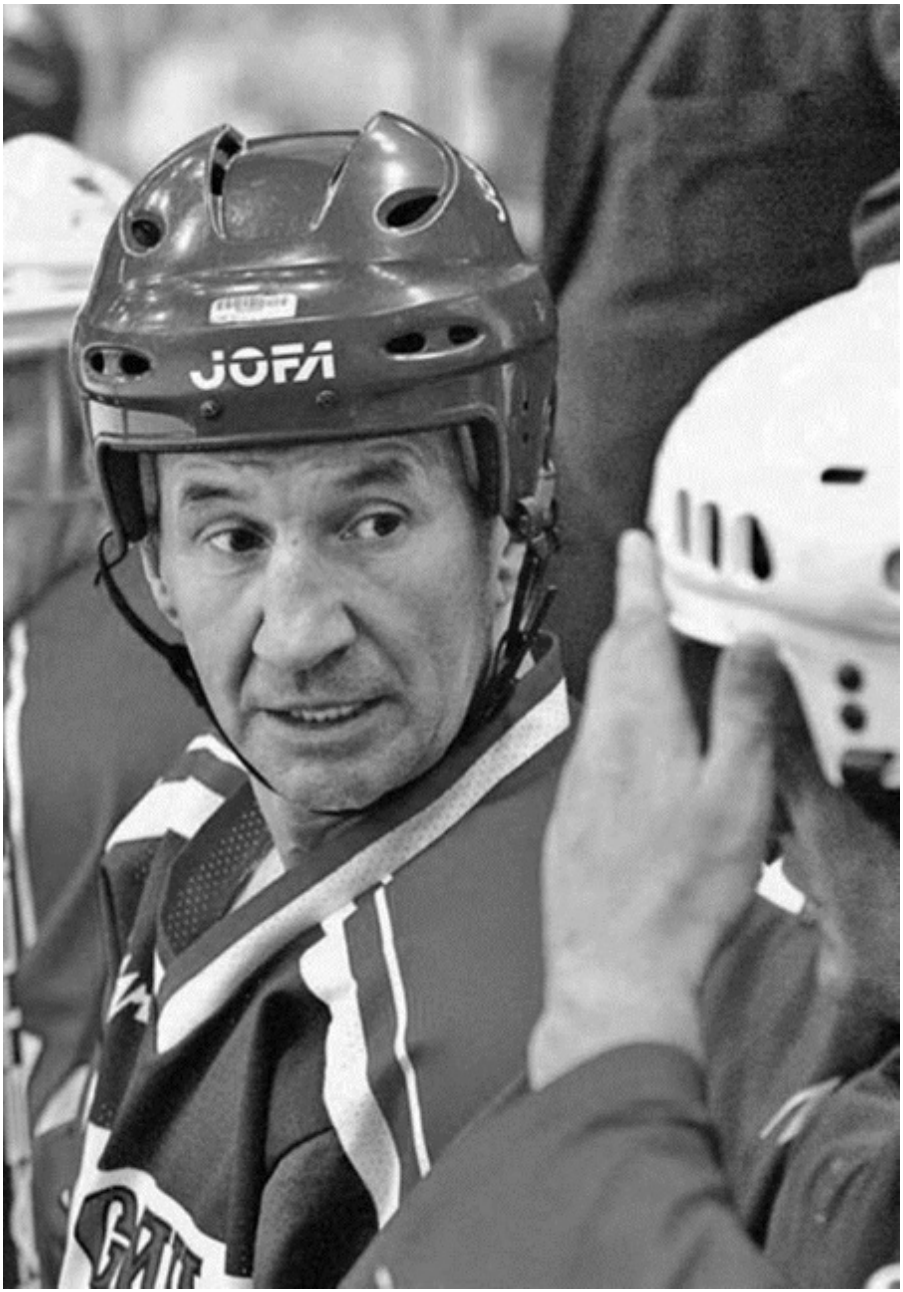
Три моих друга на всю жизнь — Вася Захарько, Алик Марьямов и Саша Авдеенко. Конец 1970-х гг.



Максим Шостакович, пошедший по стопам отца, — пианист и дирижер. Начало 1990-х гг.



Евгений Чуковский, — уже не “в детстве”, а профессиональный кинооператор. Конец 1990-х гг.



Мой одноклассник — Виктор Кузькин, хоккеист, трижды олимпийский чемпион. Середина 1970-х гг.

Писатель Андрей Кучаев до сих пор остается по-настоящему непрочитанным. А он этого заслуживает… Конец 1980-х гг.

“Книги на тщательно проверенном справочном материале напишут другие, а ты, Саша (я то есть), полагайся на эксклюзив собственной памяти”.